



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

# РАБА ЛЮБВИ

И ДРУГИЕ КИНОСЦЕНАРИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО

БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГА

СЕАНС

**БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГА**

СЕАНС

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

**«РАБА ЛЮБВИ»**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2014**

УДК 882  
ББК 84Р7

Г 68

*Книга издана при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках федеральной программы «Культура России»*

Концепция и составление серии — *Любовь Аркус*

Дизайн серии — *Любовь Аркус, Светлана Бондаренко, Алексей Гусев*

Составление книги — *Юрий Векслер*

На первой обложке — кадр из фильма «Раба любви»

Издательство благодарит за помощь в создании книги Никиту Михалкова,  
Али Хамраева, Андрея Кончаловского и архив РГАЛИ.

### **Горенштейн Ф.**

Раба любви [киносценарии] / Фридрих Горенштейн; [предисловие  
А. Кончаловского]. — СПб.: Мастерская «Сеанс», 2014. — 584 с.: ил. —  
(Серия «Библиотека кинодраматурга»)

ISBN 978-5-905669-09-5

В сборник вошли сценарии и сценарные замыслы писателя и кинодраматурга  
Фридриха Горенштейна, известного по работе над фильмами «Раба любви»,  
«Солярис», «Седьмая пуля» и др. Сценарии «Раба любви», «Дом с башенкой»  
и «Тамерлан» публикуются впервые. За исключением «Рабы любви», все сценарии  
остаются нерализованными.

**УДК 882**

**ББК 84Р7**

**Г 68**

- © Ф. Горенштейн, наследники («Дом с башенкой»,  
«Раба любви», «Тамерлан», «Унгери», «Скрябин»)
- © А. Кончаловский («Раба любви», «Скрябин»)
- © А. Хамраев («Тамерлан»)
- © Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов «Солярис», «Раба любви»)
- © ПК «Киномир» (кадры из фильма «Искусство»)
- © Киностудия «Узбекфильм» (кадры из фильма «Седьмая пуля»)
- © ООО «Мастерская „Сеанс“», макет, 2014

*ISBN 978-5-905669-09-5*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Андрей Кончаловский. Горенштейн и кино*  
6

*Юрий Векслер. От составителя*  
11

Фридрих Горенштейн  
ДОМ С БАШЕНКОЙ  
15

Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский  
РАБА ЛЮБВИ  
97

Фридрих Горенштейн, Али Хамраев  
ТАМЕРЛАН  
151

Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский  
СКРЯБИН  
307

Фридрих Горенштейн  
УНГЕРН  
403

Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский  
МАРИЯ МАГДАЛИНА  
синаopsis сценария  
519

Фридрих Горенштейн, при участии Лии Красниц  
ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ  
В ИЗРАИЛЬСКИХ РЕСТОРАНАХ  
синаopsis сценария  
561

Андрей Кончаловский

## ГОРЕНШТЕЙН И КИНО

Кино для выдающегося русского писателя Фридриха Горенштейна не было вынужденным способом зарабатывать на жизнь. Это была страсть. Фридрих во многом был ребенком, и он любил кино, как ребенок. Литература была для него главным видом творчества, но кино он обожал, радостно сочинял для него, и жалко, что по его сценариям было сделано так немного картин.

Лежат нереализованными несколько написанных им сценариев, в частности один, созданный с Тарковским по повести Александра Беляева «Ариэль», а также вошедший в эту книгу «Дом с башенкой», по которому Тарковский мечтал снять картину. Оба они, Горенштейн и Тарковский, обсуждали совместную работу над фильмом «Гамлет». А другой замечательный кинорежиссер, Семен Аранович, незадолго до своей кончины заказал Горенштейну сценарий о Фанни Каплан...

Сценарий о бароне Унгерне, который напечатан в этой книге, хотел снимать Ларс фон Триер, а затем Александр Прошкин. Замечательный сценарий о жизни Марка Шагала Горенштейн написал для Александра Зельдовича. Все это пока лежит.

Но и сделанного Горенштейном, в частности сценариев «Соляриса» Тарковского и «Рабы любви», который мы написали вместе, достаточно для того, чтобы его имя осталось в истории кино.

Первый раз я его увидел в редакции кинообъединения на Мосфильме. Фридрих производил странное впечатление — одет он был как-то по-кургузому, в несколько слов: под пиджаком был свитер, и под свитером — фланелевая рубашка в клеточку. Его ярко выраженный еврейский

местечковый акцент и постоянная смущенная улыбка сразу запоминались. Говорил он скрипучим голосом, глядя куда-то в сторону и лишь изредка бросая взгляды на собеседника. Кажется, мы были с Тарковским, и втроем разговорились о его рассказе, только что опубликованном в журнале «Юность». Публикация такого текста (в то время!) в советском журнале стала оглушительным событием. Фридрих же, в свою очередь, был возбужден нашим сценарием «Андрей Рублев», который был напечатан в «Искусстве кино» и тоже стал своего рода сенсацией.

Не помню, сколько времени прошло с того вечера в буфете киностудии, но достаточно быстро я предложил ему переписывать сценарий «Первого учителя». Повесть Айтматова и сценарий Добродеева были написаны в таком сентиментальном, лирико-драматическом жанре. Я же хотел сделать из этого раскаленный кусок истории — трагедию, которую можно было увидеть в фильмах Куросавы. Творчество Куросавы мы с Андреем Тарковским досконально изучали в фильмотеке «Белых Столбов», и этого нельзя не заметить как в «Андрее Рублеве», так и в «Первом учителе».

Фридрих очень ясно понимал вот эту раскаленность характера учителя, и, главное, он сразу схватил мои намерения. Я очень боялся, что Айтматов будет недоволен, потому что вещь была изогнута в совсем другом направлении. И, надо сказать, к чести Айтматова, он прочитал сценарий и сказал: «Мне очень нравится, не хочу ничего менять».

После успеха «Первого учителя» у нас возникла крепкая и плодотворная дружба. Я понимал, каким талантом и оригинальностью обладает этот несуразный, застенчивый и угловато-неловкий человек, который, кстати, мог очень страстно увлекаться женской красотой и влюбляться. Я подтрунивал над его увлечениями, и он принимал это без обиды.

Мы написали еще несколько сценариев, в частности «Рабу любви».

Уже когда он жил в Западном Берлине, у меня родилась идея сделать фильм о Марии Магдалине. Мы довольно долго работали над сценарием — изучили массу материала,

и у меня до сих пор хранится в архивах около тысячи страниц к этому проекту; есть также и синопсис, который вошел в эту книгу.

А до его отъезда из СССР в 1980 году мы, помимо «Седьмой пули», которую снял Али Хамраев, вместе написали сценарий о Скрябине под названием «Зависть». Его литературная версия также представлена в этой книге.

Еще несколько слов о нашей, наверное, самой известной совместной работе — фильме «Раба любви», по которому и названа эта книга.

В свое время была такая актриса — Инна Гулая. Она была очень похожа на звезду немого кино. Гена Шпаликов за ней ухаживал и потом женился. Мы с Геней решили написать для нее сценарий о Вере Холодной. Мы начали писать, и я собирался снимать по нему картину. Назывался сценарий «Нечаянные радости». Но этому проекту не суждено было сбыться, потому что тогда я уже думал о съемках «Первого учителя». Подробностей я не помню, но, во всяком случае, сценарий со Шпаликовым не был написан, и я предложил работу Горенштейну. Мы написали в итоге «Рабу любви». Начинал снимать Хамдамов, но в процессе съемок Рустам вдруг исчез, растворился в тонком воздухе, как дух, и студия оказалась в странном положении. Меня вызвал директор Сизов и, так как я предложил кандидатуру Хамдамова, потребовал разобраться с производством, которое остановилось. История эта известная, много раз интерпретированная, и все знают, что в результате Никита Михалков начал снова производство и на оставшиеся деньги закончил фильм, который, кстати, был очень успешен.

Горенштейн в совместной работе всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе представить. Он был художником очень смелым, неожиданным и парадоксальным, его характеры, их поведение были всегда крайними и какими-то «горенштейновскими». Он мог затормозиться на каких-то деталях, казалось бы, абсолютно ненужных, а потом перескочить через огромный кусок жизни и опять на чем-то сосредоточиться. Он, подобно Чехову, сжимал и растягивал время в тех местах, где ему хотелось.

Мне кажется, что чем больше так называемых ненужных вещей в произведении, тем более ярко выражается характер писателя, художника или режиссера.

У него есть пьеса, а на мой взгляд — замечательное литературное эссе, которое можно назвать драматургическим, — «Споры о Достоевском». Я не могу сказать, что с драматургической точки зрения это совершенное произведение — через него проламываться сложно. Но ведь так же сложно проламываться и через прозу Федора Михайловича, а глубина и изощренность характеров — во многом достигает уровня Достоевского.

В этом смысле поразителен образ главного героя в его романе «Место» — этот молодой человек, Гона, который в общежитии ест шоколад, накрывшись одеялом, чтобы не делиться... Молодой человек, который мечтает стать диктатором России! Глубочайшая, странная, необъяснимая, как все гениальное, и при этом абсолютно реальная вещь.

Фридрих мог иногда вспылить. Если бы не мое уважение... нет, уважения у меня ни к кому не было тогда, скорее — любовь к нему, то вряд ли мы остались бы друзьями. Но вы знаете, есть люди, на которых трудно сердиться. Можно возмущаться ими, можно ударить по голове чем-то, а сердиться в глубине пельзя, потому что понимаешь, что эта агрессивность на самом деле — форма выражения беззащитности. Мне казалось, что он всегда был готов к тому, что его просто ударят. И он всегда был готов драться, как волкодав. Вместе с тем он был бесконечно нежен и чувствителен. Его достаточно было погладить, что называется, по шерстке, и он обмякал, начинал моргать, и слезы выступали у него на глазах. Такой характер мог бы описать Чехов. Или Кафка.

Человек был абсолютно беззащитен перед системой, перед бюрократией... Могу представить себе, что таким же беззащитным был, наверное, Мандельштам.

И Тарковский, и я, мы очень хорошо понимали, что такое Фридрих. Во время Пражской весны, когда в Чехословакию вошли танки, Горенштейн написал выдающееся эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», которое, естествен-

но, не было опубликовано, но на нас произвело неизгладимое впечатление. Я его часто цитирую до сих пор. У меня в памяти сохранились особенно яркие фразы этого манифеста: «Нет ничего страшнее, чем дикарь с букварем» — или — «Если Толстой и Достоевский — это Дон-Кихоты русской литературы, то Чехов — это ее Гамлет».

К сожалению, сегодня время медленного чтения, время литературы ушло. Горенштейн успел еще ухватить тот период, когда люди читали. Не листали, а читали. И читали не автора, а текст.

Вернется ли когда-нибудь подобное время? Придет ли время Горенштейна? Я не знаю. Но для тех, кто еще не утратил способность к внимательному, сосредоточенному чтению, его романы и повести и представленные в этой книге сценарии способны доставить подлинное удовольствие общения с глубоким и по-настоящему одаренным Богом писателем.

Юрий Векслер

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В творческом архиве Фридриха Горенштейна осталось несколько сценариев — адаптаций литературных произведений, например написанный вместе с Андреем Тарковским сценарий «Светлый ветер» по мотивам фантастического романа Александра Беляева «Ариэль». В этой книге собраны только оригинальные сценарии Горенштейна, написанные им как самостоятельно, так и в соавторстве с Андреем Кончаловским («Раба любви», «Скрябин») и Али Хамраевым («Тамерлан»).

Представлен, в частности, единственный из шести реализованных сценариев Горенштейна — «Раба любви». Картина Никиты Михалкова сразу же после выхода на экраны в 1975 году стала необыкновенно популярной, затем и культовой, а вот сценарий ее публикуется впервые. Также впервые издаются два других сценария: написанный по заказу итальянских продюсеров «Тамерлан», который должен был ставить Али Хамраев, и, скорее всего, самый первый сценарий Горенштейна «Дом с башенкой», в который первой частью целиком вошел впоследствии опубликованный одноименный рассказ, а также его своеобразное продолжение, точнее сиквел. В рассказе речь идет о мальчишке, у которого в дороге из эвакуации умирает мать, и он остается сиротой, а далее в сценарии мы видим этого мальчишка уже взрослым. Он ищет могилу матери.

Кроме сценариев в книге помещены два синопсиса, то есть изложения сценариев практически без прямой речи героев. Оба этих замысла объединяет место действия, хотя во времени они отстоят друг от друга почти на две тысячи лет.

Горенштейн никогда не был на земле обетованной. Но он постоянно интересовался ею, много думал о ней, представлял ее себе. Как Михаил Булгаков, никогда не бывавший за границей, по крупицам складывал для романа о Мольере свой Париж, так и Горенштейн, будучи, пусть на расстоянии, но настоящим патриотом Израиля, воображал себе жизнь на земле предков. Эти полеты воображения и воплотились в двух его ярких, но, к сожалению, не ставших фильмами работах. По инициативе Андрея Кончаловского Горенштейн вместе с ним сочинял сценарий о Марии Магдалине, а вместе с Лией Красниц придумал современный оригинальный фильм «Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах».

Мастер виден на любой стадии развития его замысла, поэтому я уверен, что и синопсисы этих работ доставят читателю удовольствие.

В ответ на мою просьбу рассказать об обстоятельствах возникновения «Еврейских историй» Лия Красниц написала:

Почти двадцать лет тому назад в один из моих визитов в Сан-Франциско редактор тамошней «Еврейской газеты», узнав, что я живу в Европе, в Копенгагене, предложила мне посетить Фридриха Наумовича Горенштейна. Она предупредила, что добиться интервью будет сложно, так как Горенштейн, как она написала, «спускает журналистов с лестницы, и вообще человек нелюдиимый»... Мой опыт, надо сразу сказать, опровергает все подобные мнения о Фридрихе Наумовиче. Со мной он был исключительно доверчив, нередко вел себя вообще как ребенок, который лишен любви... Он мне как-то сказал: «Самое большое счастье в жизни — это взаимная любовь».

Когда я в 1997 году в Берлине впервые пришла на *Sächsische Strasse* в квартиру Фридриха Наумовича, он был очень любезен и пригласил меня поужинать с ним. Причину своего внимания он объяснил тем, что я очень похожа на его маму, которая в молодости, как сказал он, была красавицей. И Фридрих Наумович показал мне старую фотографию. Окончательно его сразило то, что я израильская журналистка и хорошо говорю на иврите.

За ужином Фридрих Наумович был необычайно оживлен, пел, читал стихи. И я, хотя и не читала еще к тому моменту его книг, сразу поняла, или, скорее, почувствовала, что передо мной необыкновенно талантливый человек. Когда я уходила, Горенштейн подарил мне свой роман «Исалом». На другой день он пошел провожать меня на вокзал, посадил на поезд в Копенгаген и неожиданно поцеловал. Через две недели он позвонил и предложил работать с ним. Сказал, что у него есть фонд для поездок. Я приехала в Берлин, Горенштейн поселил меня в Доме писателей на *Fasanenstrasse*, который он называл домом Набокова. Есть сведения, что Набоков, живший (как и позднее Горенштейн) неподалеку, бывал в этом доме. Вечера мы проводили у Фридриха Наумовича. Он готовил мне свои любимые блюда, говорил, что гордится своими кулинарными способностями... Даже больше, чем литературными... Мы обсуждали в основном Израиль. И я была поражена, насколько детально он был осведомлен о жизни в Израэле. Много говорили о политике... Так за одним из наших замечательных ужинов родилась идея «Еврейских историй»... Фильм был задуман наполовину художественным (это описано в сценарии). Документальную и художественную части объединяла журналистка, то есть я, которая приезжает в Израиль собирать истории, влюбляется в одного из героев и остается жить там.

Я отправилась в Израиль. Было трудно выбрать рестораны. Они должны были представлять собой *melting pot* (так называют это в США), то есть такой плавильный котел, в котором все перемешано. Я не буду описывать приключения по сбору материалов, хотя там и было много смешных историй и встреч... Для того чтобы все это описать, нужны отдельная книга и талант Фридриха Наумовича. По моем возвращении мы отобрали наиболее интересные истории (их поначалу было гораздо больше, чем есть в сценарии), и Горенштейн написал текст сценария. Это событие мы отпраздновали — он приготовил несколько блюд по рецептам из сценария, и мы принялись фантазировать о том, как Фридрих Наумович придет на премьеру фильма в Израиль. Посещение Израэля было мечтой и, может быть, как мне представляется,

целью жизни Горенштейна. Казалось бы, что мешало ему просто купить билет на самолет? Но Горенштейн, подобно ребе Шнеерсону, считал, что приезд в Израиль возможен для него только после завершения его писательского труда, как венец дела его жизни.

Я пыталась найти деньги на этот фильм. Синописис *всем* очень понравился, но... Уже после смерти Горенштейна я вспомнила, как Фридрих Наумович говорил, что этот фильм мог бы хорошо снять Иоселлани. Я встретила в Париже с Иоселлани, и он, прочитав синописис, сказал, что это потрясающе, но делать фильм должен все же еврейский режиссер. Я снова поехала в Израиль и даже получила деньги от израильского государственного фонда кино, но не нашла достойного мастера, режиссера, который взялся бы за проект. И все же я по-прежнему не теряю надежды.

Мне остается только добавить к словам Лии Красниц, что я тоже продолжаю надеяться на то, что хотя бы некоторые из написанных, но до сих пор не реализованных сценариев Фридриха Горенштейна еще будут воплощены и обогатят киноискусство.

# **ДОМ С БАШЕНКОЙ**

Мальчик плохо различал лица, они были все одинаковые и внушали ему страх. Он примостился в углу вагона, у изголовья матери, лежавшей на узлах в пуховом берете и пальто, застегнутом до горла.

Кто-то в темноте сказал:

-- Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя... В конце концов, здесь дети...

Мальчик торопливо вынул варежку и принялся растирать лужу по полу вагона.

— Почему ты упрямнись? — спросил какой-то мужчина. — Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылетят. А в эшелоне она умрет...

— Мы должны доехать, — с отчаянием сказал мальчик, — там нас встретит дед...

Но он понимал, что на следующей станции их обязательно высадят.

Мать что-то сказала и улыбнулась.

— Ты чего? — спросил мальчик.

Мать не ответила, она смотрела мимо него и тихо напевала какой-то мотив.

— Ужасный голос, — вздохнули в темноте.

— Ничего не ужасный, — отгрызнулся мальчик. -- У вас самих ужасный...

Рассветало. Маленькие оконца товарного вагона поспели, и в них начали просвечивать верхушки телеграфных столбов. Мальчик не спал всю ночь, и теперь, когда голова притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спиной о дощатую стенку вагона. Проснулся он тоже сразу, от чужого прикосновения к щеке.

Поезд стоял. Дверь вагона была открыта, и мальчик увидел, что мать его несут на носилках через пути четверо мужчин. Он прыгнул вниз, на гравий железнодорожной насыпи, и побежал следом.

Мужчины несли носилки, высоко подняв и положив на плечи, и мать безразлично покачивалась в такт их шагам.

Было раннее, холодное утро, обычный в этих степных местах мороз без снега, и мальчик несколько раз спотыкался о примерзшие к земле камни.

По перрону ходили люди, некоторые оборачивались, смотрели, а какой-то парень, лет на пять старше мальчика, спросил с любопытством:

— Умерла?

— Заболела, — ответил мальчик. — Это моя мама.

Парень с испугом посмотрел на него и отошел.

Носилки внесли в дверь вокзала, и мальчик тоже хотел пройти туда, но медсестра в телогрейке, наброшенной поверх халата, взяла его за плечо и спросила:

— Ты куда?

— Это ее сын, — сказал один из мужчин и добавил: — А вещи где же? Эшелон уйдет, без вещей останетесь...

Мальчик побежал назад к эшелону, но запутался и оказался с противоположной стороны вокзала, на городской площади. Он успел заметить очередь на автобус, старый одноэтажный дом с башенкой и старуху в шерстяных чулках и галошах, торгующую рыбой.

Потом он побежал назад, однако железнодорожные пути у перрона оказались пустыни: эшелон уже ушел. Мальчик еще не успел испугаться, как увидел свои вещи, сложенные на перроне. Все было цело, кроме кошелки с лепешками и сушеным урюком.

— Твои вещи? — спросила женщина в железнодорожной шинели.

— Мои, — ответил мальчик.

— А что в этом узле? — и ткнула ногой грязный, сплюснутый узел.

— Маминны фетровые боты, — сказал мальчик, — и два ватных одеяла... и коричневый отрез...

Женщина не стала проверять, взяла узел и чемодан, а мальчик взял другой узел и чемодан, и они пошли к вокзалу. Они внесли вещи в теплый зал, где на деревянных скамьях и прямо на полу сидело много людей.

— Я в медпункт, — сказал мальчик, — у меня мама заболела.

— Я твои вещи караулить не буду, — сказала женщина.

— Ну еще немного, — сказал мальчик, — я заплачу.

— Дурень, — сказала женщина, — я ведь на работе...

Но мальчик уже выбежал на перрон. Он с трудом нашел двери медпункта. На клеенчатой скамье кто-то лежал, вытянувшись, и мальчик глотнул несколько раз тяжело и, подойдя, увидел руку с синими ногтями. Только тогда он заметил, что это незнакомый старик. Лицо его было покрыто носовым платком, и две женщины сидели рядом, сторбившись. Одна, помоложе, плакала, а другая, постарше, молчала.

Мальчик быстро отступил назад.

— А где моя мама? — спросил он и огляделся.

Из боковой двери вышла медсестра в телогрейке.

— Мать твою в больницу отправили, — сказала она.

— В какую больницу? — спросил мальчик.

— У нас в городе одна больница... Сядешь на автобус, доедешь...

Тогда он вспомнил про площадь, и очередь, и дом с башенкой, и старуху в шерстяных чулках, торгующую рыбой. Он вновь побежал по другую сторону вокзала и увидел все это. Он стал в очередь за какой-то меховой курткой с меховыми пуговицами на патке. Но автобуса все не было, и он побежал через площадь, оказался на узкой улице, среди старых деревянных домов, и здесь вспомнил, что не знает, где больница.

Улица была пуста, лишь у обмерзшей льдом водопроводной колонны две девочки играли с собакой.

— Где больница? — спросил он.

Но девочки посмотрели на него, рассмеялись и убежали в калитку, а собака подскочила к его пяткам и, оскалившись, залаяла. Мальчик поднял кусок ледышки и кинул в собаку. Она завизжала. Из калитки вышла женщина в ушанке и две

девочки, незаметно строящие ему рожи. Женщина начала что-то кричать, мальчик так и не понял, почему и что она кричит.

— Где больница? — тихо спросил он.

Женщина перестала кричать.

— Ты идешь не в ту сторону, — сказала она. — Перейди через площадь и садись на автобус.

Мальчик повернулся, пошел назад и опять увидел дом с башенкой, очередь и старуху, торгующую рыбой.

Он встал в очередь за шинелью с подколотым пустым рукавом, и автобус опять долго не появлялся. Тогда он спросил у шинели, где больница.

— Это далеко, — сказала шинель. — Видишь трубу? За трубой еще километр. На автобусе надо ехать.

Но автобуса все не было, и мальчик пошел по направлению к трубе. Сразу же в начале улицы его обогнал автобус.

Мальчик шел очень долго и за это время успел привыкнуть к тому, что мать его в больнице, а он остался один среди незнакомых людей. Главное было теперь добраться до трубы и найти больницу. В дороге его еще несколько раз обгонял автобус. Вблизи труба оказалась громадной и ржавой, на кирпичном фундаменте. Мальчик постоял немного, отдыхая, держась рукой в варежке за проволоку, идущую от трубы к земле. Проволока была скользкая и холодная. Потом он пошел дальше, и какой-то прохожий показал ему больницу. Мальчик поднялся по ступенькам, пошел в коридор и наткнулся на женщину в марлевой косынке.

— Ты куда, — сказала женщина и растопырила руки, — ты куда в пальто... ты чего?

Мальчик нырнул у нее под руками, толкнул стеклянную дверь и сразу увидел мать. Она лежала на кровати посреди палаты.

— Вот, — сказал он, — вот, вот...

— Что «вот»? — спросила женщина. — Чего «вот»?

Но мальчик держался за ручку двери и повторял:

— Вот, ну вот же...

Мать была острижена наголо, и глаза ее, очень темные на желтом лице, смотрели на мальчика. Она была в сознании.

— Сын, — сказала она шепотом.

И тогда мальчик заплакал.

— Ну тише, — сказала женщина в косынке. — Давай сюда пальто и подойди к матери.

— Я тебя искал, — сказал мальчик, продолжая плакать.

— Мне уже легче, — сказала мать. — Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — сказал мальчик. — А ты скоро выздоровеешь?

— Скоро, — сказала мать. — Поешь кашу. Сестра, дайте ему ложку.

— Это не положено, — сказала сестра.

— Возьми маленькую ложечку, — сказала мать. — И садись на табурет.

— Это не положено, — повторила сестра. — Я вынуждена буду удалить мальчика.

— Кушай, кушай, сын, — сказала мать. — Не бойся...

— Я повешу твоё пальто в коридоре, — сердито сказала сестра и вышла из палаты.

— Надо дать телеграмму деду, — сказал мальчик. — Деньги у меня есть... А вещи я оставил на вокзале... Главное, чтобы ты выздоровела.

— Я выздоровею, — сказала мать. — Как ты похудел...

— Приедем, я поправлюсь, — сказал мальчик. — Война скоро кончится.

Появилась сестра.

— Мальчик, выйди из палаты. Сейчас начнется обход.

— Я дам телеграмму и вернусь, — сказал мальчик. — Я сразу вернусь к тебе.

— Наклонись, — сказала мать.

Мальчик наклонился, и она поцеловала его в щеку. Губы у нее были шершавые и горячие.

Он вышел на улицу, и автобус подошел очень быстро, остановка была прямо против больницы.

«Все в порядке, — подумал мальчик. — Теперь лучше, чем полчаса назад, когда я шел и ничего не знал».

В автобусе было жарко, и мальчик снял варежки и растегнул крючок воротника. Тогда стало холодно, и он снова застегнул крючок, а руки сунул в карманы.

Он сошел на площадку, где по-прежнему стояла старуха, торгующая рыбой, и вдруг почувствовал голод, купил коричневую печеную рыбу и понюхал ее. Она пахла чем-то незнакомым, и, идя через площадь к дому с башенкой, где была почта, силится вспомнить, как подошел к старухе, о чем говорил и сколько заплатил за рыбу.

Он потянул к себе тяжелые двери почты, и за ними была короткая лесенка винтом к другим дверям, а за теми дверями — комната, перегороденная деревянной стойкой. Почтовые окошки заслоняли чужие спины, куда бы мальчик ни подходил, он всюду натывался на спины.

— Ты чего? — спросил какой-то мужчина. — Чего ты здесь нутаешься?

— Мне телеграмму дать, — сказал мальчик и, вспомнив, что никогда в жизни не давал телеграммы, добавил: — Вы мне напишите телеграмму...

— Подожди, — сказал мужчина. — Сядь, не путайся под ногами.

Мальчик присел на стул и отщипнул кусочек рыбы. Под коричневой кожицей она была очень белая и не соленая. Потом он посмотрел в окно и почувствовал беспокойство. Начинало уже темнеть.

— Тетя, — сказал он женщине в платке, — напишите мне телеграмму.

— Какой нетерпеливый. Ну, чего тебе? Какую телеграмму? — сказал мужчина и взял телеграфный бланк.

— Мама заболела, лежит в больнице, — продиктовал мальчик. — Дед, приезжай.

Мужчина и женщина посмотрели на мальчика.

— Ох, народ мучается, — вздохнула женщина. — Ох, страдает народ...

Мальчик заплатил за телеграмму, спрятал квитанцию в варежку, и ему стало спокойно. Он вышел на площадь и побежал к подъехавшему автобусу. Посреди площади он вспомнил, что забыл рыбу на почте, но не стал возвращаться, побежал дальше.

Пока он бежал, что-то мокрое и холодное несколько раз прикосалось из темноты к его лицу, а когда автобус оста-

повилялся у больницы, вдоль дороги были уже белые полосы и мимо фонарей летел снег.

Мальчик быстро поднялся по заснеженным ступенькам, вошел в знакомый коридор, а оттуда в слабо освещенную палату.

— Мама, — сказал он, — я дал телеграмму деду...

— Тише, — появилась откуда-то сердитая медсестра со шприцем в руках. — Мать твоя спит, не видишь...

Мать лежала на боку, рот ее был полуоткрыт, и мальчику вдруг показалось, что она не дышит.

— Она живая? — тихо спросил он сестру.

— Живая, живая, — сказала сестра. — Ей спать надо... А тебя куда девать? Ночевать у тебя есть где?

— Я здесь посижу, — сказал мальчик.

— Здесь не положено. Опять прямо в пальто в палату, — сказала сестра и взяла его за воротник пальто.

Тогда мальчик дернулся и вырвался, но сестра переложила шприц из правой руки в левую и снова, уже покрепче, взяла его за воротник.

— Я милиционера позову, — сказала она.

Потом кто-то взял мальчика за руку и повернул к себе.

И мальчик увидел страшное, лиловое лицо без бровей и ресниц.

— Это сын той, с эшелона, — сказала сестра лиловому лицу.

— Ну-ка расстегни пальто, — сказала лиловое лицо и приложило ко лбу мальчика обрубок руки, из которого рос палец без ногтя.

Мальчик хотел вырваться, но сестра крепко держала его сзади.

— Ну-ка, — повторило лиловое лицо и взяло мальчика за кисть второй рукой.

Вторая рука была обыкновенная, с коротко стриженными ногтями и темными волосами на пальцах, и мальчик немного успокоился.

— Раздевайся, — сказала лиловое лицо.

— Мне можно остаться? — спросил мальчик.

— Да... Мы вас вместе вылечим, и поедете дальше...

— А разве я тоже больной? — спросил мальчик.

— Да, — нетерпеливо ответило лиловое лицо, его звали в другую палату. — Сестра, положите его на эту койку.

Он показал на свободную койку в другом конце палаты и ушел.

— Пойдем, — позвала сестра и вышла в коридор.

Она привела его в каморку среди окон и щелкнула выключателем, но в каморке по-прежнему было темно, видно, перегорела лампочка. Тогда сестра зажгла свечу, и при свете этой свечи почему-то стало знобить.

Он разделся, сбрасывая все на пол, а сестра, ворча, подбирала одежду и заталкивала ее в мешок. Потом он натянул штанину серых больничных кальсон и лег отдохнуть.

Сестра подняла его, натянула вторую штанину, надела рубаху и повела в палату, держа за плечи.

Уткнувшись в постель, мальчик прижался головой к подушке, но сестра снова растормошила его и дала половинку какой-то таблетки.

— Глотай, — сказала сестра. — Набери слюны в рот и глотай.

Во рту у мальчика было сухо, и горькая таблетка растаяла по языку...

— Дайте пить, — сказал мальчик. — И кушать когда у вас дают?

— Вот ты зачем сюда пришел, — сердито сказала сестра. — Ужин уже кончился...

Она ушла в глубину палаты и принесла стакан холодного чаю и несколько галет.

— Бери... Мать не ела...

Мальчик выпил чай, съел галеты и прилег отдохнуть. Между ним и матерью было три койки, и, чтоб видеть мать, он должен был опираться на локоть, потому что ее заслоняла голова то ли старика, то ли старухи с острым носом и острым подбородком.

Мать лежала теперь навзничь, одеяло ее на груди часто приподнималось и опускалось.

Мальчик ненадолго заснул, и ему ничего не снилось. А когда проснулся, по-прежнему была ночь и мать по-преж-

нему лежала навзничь. Он поднялся на локтях, потом сел, чувствуя дрожь во всем теле, подошел босиком по холодному полу к ее кровати и долго стоял так и ждал, пока мать пошевелится. И она пошевелилась, подняла колени и вздохнула глубоко и спокойно.

Тогда он вернулся к себе на койку и, глядя в темноту под потолком, подумал, как они придут домой, в свой город, и будут вспоминать все это. Старик рядом начал ворочаться и стонать, и, чтобы стоны эти не мешали думать, мальчик укрылся с головой одеялом. За ночь он еще несколько раз вставал, подходил к матери и ждал, пока она пошевелится. А потом ложился и то засыпал, то просыпался. Когда он проснулся в последний раз, потолок уже был серый и в окна виден был падающий снег. И он обрадовался, потому что ночь кончилась. Он оперся на локти, посмотрел на мать и опять обрадовался, потому что она шевелилась, даже приподнималась и что-то говорила.

Мальчик улыбнулся, и ему захотелось рассказать матери про телеграмму и про то, как он ночью боялся, когда она лежала неподвижно.

Но вдруг старик рядом крикнул:

— Сестра, женщина умирает.

Мальчик встал с койки и увидел, что мать хрипит, и шея ее выпячивается, а голова глубоко погружена в подушку.

Подошла сестра, взяла мать пальцами за подбородок, а потом привычным движением натянула одеяло сй на лицо. Одеяло приподнялось, и мальчик на мгновение увидел желтую ногу и голый живот.

Он смотрел на неподвижный теперь бугор, укрытый одеялом, и странное безразличие, какое-то странное спокойствие овладело им. Он подумал: «Вот и всё» — и пошел из палаты в коридор.

Его догнала сестра.

— Ты ложись, — сказала она. — Ты больной...

— Где моя одежда? — спросил мальчик. — Я должен сейчас ехать дальше...

Сестра что-то говорила ему, но он не слышал, что она говорит.

В коридоре были какие-то женщины с сумками. Наверно, просто прохожие, как они туда попали — неизвестно. Они смотрели на мальчика, и кто-то спросил:

— В чем дело?

И кто-то сказал:

— Вот у мальчика мать умерла.

И кто-то приложил платок к глазам.

А мальчик сидел на деревянной скамье в коридоре, дрожа от холода, и смотрел на всех этих людей. Он вдруг подумал, что, когда он приедет в свой город, мать встретит его на вокзале.

Он был уже не маленький и понял, что мать его умерла, и все-таки он так подумал.

— Я хочу уехать домой, — сказал он доктору с лиловым лицом.

— Ты не глупи, — сказал доктор. — Вылечись, поедешь...

— Я уже здоров, — сказал мальчик. — Где моя одежда?

В это время с улицы кого-то внесли на носилках. Сзади шел здоровенный мужчина и громко плакал, сморкаясь.

Доктор махнул рукой и ушел следом за носилками. А сестра сказала мальчику:

— Жди здесь, — и тоже ушла.

Она вернулась минут через двадцать и повела мальчика в кладовую.

Она вынула из мешка его мятую одежду, и он начал одеваться. Потом она вынула из другого мешка пальто, пуховый берет и туфли матери и скатала все это в узел.

— А в платье мы ее похороним, — сказала она. — Распшишь за вещи, деньги пересчитай.

Он не стал пересчитывать, расписался и пошел к дверям.

Ночью навалило снега, труба теперь стояла не на кирпичном фундаменте, а на громадном сугробе. Мальчик прошел мимо и вспомнил, как вчера отдыхал здесь и держался рукой за проволоку. Потом он заметил, что идет по снегу, рядом с протоптанной тропинкой, и, наверно, поэтому так устал: спина и шея у него были мокрыми от пота, а правая рука, которой он прижимал к себе узел, совсем окоченела.

Он вышел на площадь у вокзала. Она была совсем незнакомой, тихой и белой. Дом с башенкой был другой, низенький, и очередь другая, и старуха больше не торговала рыбой. Он вошел в вокзал, и его начали толкать со всех сторон.

Людей было много, и они все лезли к кассам. Мальчик сразу понял, что ему ни за что не пробиться.

В толпе его прижали к какому-то кожаному пальто, и, пока их мотало вместе, мальчик успел привыкнуть к этому желтому пальто, а запах кожи он всегда любил.

— Дядя, — сказал он, когда их вытолкнули на свободное место, — закомпостируйте мне билет.

Дядя ничего не ответил, лишь мельком взглянул на мальчика, морщась, подтирая ушибленный об угол локоть.

— Я заплачу, — сказал мальчик.

— Сопли утри, богач, — сказал дядя.

Он опять кинулся в толпу, а мальчик вспомнил, что вещи остались у женщины в железнодорожной шинели, и пошел ее искать.

Он долго ходил по перрону, замерз и пошел греться в зал ожидания. Все скамьи были заняты, он сел на подоконник и увидел дядю в кожаном пальто. Тот возился у громадного чемодана, прижимал его коленом и затягивал ремень, а рядом, на скамейке, спала женщина в точно таком же кожаном пальто и толстячок, удивительно похожий на дядю. Мальчик сразу обозвал его про себя «маленький дядя».

Дядя, наверно, почувствовал, что на него смотрят, и обернулся.

— Вот я тебе, — сказал он. — Чего надо?

— Я тоже жду поезда, — сказал мальчик и показал билет. Вместе с билетом мальчик вытащил еще несколько бумажек, и две из них упали на пол.

Одну подобрал мальчик, другой дядя.

— Что за филькина грамота? — спросил дядя, близоруко щурясь.

— Это справка из больницы, — сказал мальчик.

Дядя одел очки, прочитал и сразу заторопился.

— Ну-ка, пойдём, — сказал дядя, толкнул спящую женщину и положил около нее узелок мальчика, а самого мальчика взял за плечо.

Он провел его через зал ожидания в коридор, где у двери толпилось много людей. Но дядя показал справку, и их пропустили. В комнате за дверью было тоже много людей, и какой-то сидевший за столом железнодорожник начал кричать. Но дядя показал справку, и железнодорожник перестал кричать.

— А где хлопок? — спросил он, и дядя быстро вытащил мальчика из чьих-то спин.

— Это вас вчера сняли с эшелона? — спросил железнодорожник.

— Нас, — ответил мальчик.

— Зайдешь в камеру хранения, заберешь вещи, — и что-то написал на бумажке.

— Земляки, — сказал дядя. — Довежу, как родного сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и что-то написал на другой бумажке.

— Только у меня семья, — сказал дядя, прочитав бумажку, — жена и сын... Будет два сына.

— Ладно, — сказал железнодорожник и переправил цифру в бумажке.

— Пошли, пошли, дружок, — сказал дядя и обнял мальчика за плечи.

Он повел его на перрон, в камеру хранения, и мальчик получил вещи: два узла и два чемодана.

Один узел и чемодан взял дядя, а другой узел и чемодан взял мальчик — и они пошли в зал ожидания.

Здесь он усадил мальчика на скамью, пошептался с женщиной в кожаном пальто и ушел.

Женщина была с кудрявыми волосами, низенькая и толстая. Она покачала на коленях «маленького дядю», запустила ему руку за воротник, похлопала по шейке и сказала:

— Вот видишь, мальчик не слушался маму, и она умерла. Если ты не будешь слушаться, я тоже умру.

— А как она умерла? — спросил «маленький дядя».

— Закрыла глазки, и все, — сказала кудрявая женщина.

— Как дядя Вася? — спросил «маленький дядя».  
— Нет, дядю Васю убили на фронте, — сказала женщина.  
— А их можно оживить? — спросил «маленький дядя».  
— Конечно, нет, глупенький, — сказала кудрявая женщина.  
— А если б можно было, — сказал «маленький дядя», — я б лучше оживил нашего дядю Васю, чем его маму.

— Ой ты мой глухой, — засмеялась кудрявая женщина и начала снова похлопывать «маленького дядю» по шейке. — Ой ты мой глухой, ой ты мой глупый...

Она посмотрела на мальчика, отодвинулась подальше, отодвинула вени и спросила:

— Мать твоя умерла от сыпного тифа?

— Нет, — ответил мальчик. Он сидел и думал, как придет в свой город и встретит мать, которая, оказывается, осталась в городе, в партизанах. А в эвакуации он был с другой женщиной, и это другая женщина умерла в больнице. Ему было приятно так думать, и он думал все время об одном и том же, но каждый раз все с большими подробностями.

— Ты чего улыбаешься? — сказала кудрявая женщина. — Мать умерла, а ты улыбаешься... Стыдно...

Потом появился дядя и рядом с ним какой-то инвалид. Инвалид был в морском бушлате и черной морской ушанке. Вместо руки у него была розовая культянка-клешня, а вместо ноги постукивал протез.

Дядя что-то говорил и улыбался, и инвалид тоже говорил что-то дяде, а потом вдруг сунул ему прямо в нос громадную дулю.

Дядя отстранился и опять что-то заговорил, дружелюбно покачивая головой, и тогда инвалид плюнул ему в лицо.

Кудрявая женщина закричала и побежала к дяде, а дядя торопливо утерся ладонью и снова почему-то улыбнулся.

Подшел патрульный солдат и потащил куда-то инвалида за единственную руку.

— Пристал, няняная сволочь, — сказал дядя, перестав улыбаться. — Я иду, а он пристал. Не трогаю ведь его, иду, а он пристал...

У дяди было злое, расстроенное лицо, и он прикрикнул на мальчика:

— Чего сидишь, собирайся... Билеты я закомпоствировал... Мальчик быстро вскочил со скамейки и взял в одну руку узел, а в другую — чемодан.

Дядя вытащил из кармана веревку, связал два узла вместе и повесил их мальчику на плечо.

— А чемоданы бери в руки, — сказал дядя.

Началась посадка, и мальчик сразу отстал от дяди, и его затолкали в самый конец громадной толпы, откуда виден был лишь верх зеленых вагонов. Мальчик попробовал протиснуться ближе, и это ему удалось. Он уже начал различать окна и лица в окопах и потом увидел в окне дядю. Тогда он начал лезть вперед изо всех сил и почувствовал, что веревка, связывающая узлы, лопнула. Передний узел он успел подхватить зубами, а задний узел упал, и мальчик наступил на него ногой. Но тут мальчика сильно толкнули в спину, и он оказался у самого вагона.

Дядя в вагоне заметил его, потому что он исчез из окна и появился на ступеньках.

— Сюда давай, — крикнул дядя, протянул руку и взял узел у мальчика из зубов, а второй рукой втащил его вместе с чемоданами на ступеньки.

— Вот и в порядке, — сказал дядя и повел его по загроможденному проходу.

— А теперь навверх, — сказал дядя и посадил мальчика на верхнюю полку. — Узел под голову и спи спокойно.

Кудрявая женщина сидела внизу на одной скамейке, «маленький дядя» на другой, а сам дядя стоял и говорил людям с чемоданами:

— Проходите, впереди свободно... Проходите, тут едут три семьи, тут занято...

Потом вагон дернуло, и мальчик понял, что они поехали.

Он увидел заснеженный перрон, забор и за забором площадку и очередь, увидел старуху, торгующую рыбой, она шла через площадку в валенках и с плетеной кошелкой. В конце площадки был дом с башенкой, где была лестница винтом. А если пойти влево, то можно дойти до трубы, а оттуда до больницы. И вдруг что-то повернулось и защемило в груди, и мальчик удивился, потому что его еще никогда так не ще-

млю. В окне уже было поле, все время одинаковое, белое, и одинаковые столбы, которые, казалось, за провода протягивают друг друга мимо окна. И пока мальчик смотрел на провода, щемить стало слабее. Мальчик лежал, свернувшись клубком, потому что в ногах стояли дядины большие чемоданы, и старался не смотреть вниз, где кто-то ходил, позвякивала посуда и мелькали какие-то головы. Он был здесь один, на полке, и полка пошатывалась и везла его домой.

Мальчик заснул, и ему что-то снилось. Но когда он проснулся, то посмотрел в холодное окно, забыл сон и вспомнил, что мама умерла.

У него начало давить в горле и болеть спереди над бровями, он всхлипнул и потом начал всхлипывать громче и чаще и сам удивился, почему это он не может остановиться, а все всхлипывает и всхлипывает.

Рядом с его лицом над краем полки появилась чья-то голова, и мальчик узнал вчерашнего дядю.

— Ты чего, — сказал дядя. — Так не годится. Ты ведь большой мальчик...

Дядя исчез и появился снова с куском пирога. Пирог был измазан кисельным сливовым повидлом, а на повидле лежали тоненькие хрустящие колбаски из теста. Мальчик сначала откусывал колбаски и сосал их, как конфеты, потом вылизал повидло, а потом съел все остальное.

«Хороший дядя», — подумал мальчик и посмотрел вниз.

Было утро, «маленький дядя» спал на громадной красной подушке, а кудрявая женщина и дядя о чем-то шепотом говорили.

Мальчик слез с полки, и кудрявая женщина мельком посмотрела на него, а дядя сказал:

— Сходи, займи очередь в туалет.

Мальчик пошел узким проходом, стучаясь о полки и углы чемоданов, и стал в очередь за каким-то высоким стариком. Старик был в очень рваном пальто, но в красивом пенсне с толстыми стеклами и с кусочком седой, чистенькой бородки под нижней губой.

Впереди начался скандал, какая-то женщина хотела прорваться без очереди.

— У меня расстройство! — кричала она.

— Наплевать на твое расстройство, — отвечал ей мужской голос. — Я сам с семи утра дежурю.

— Нравы, — сказал старик в пенсне и криво усмехнулся; клочок бородки пополз влево. — Нравы третьего года войны...

Он посмотрел на мальчика и, наверно, потому, что было скучно, спросил:

— С матерью едешь?

— Нет. Мама у меня в партизанском отряде, — мальчик сказал это неожиданно для себя и сразу пожалел, но было уже поздно.

— Вот как, — заинтересовался старик. — А ты как же?

— А я так. Я с дядей, — сказал мальчик, чувствуя радостно заколотившееся сердце, и вдруг увидел, что по коридору идет дядина кудрявая женщина.

Он покраснел и торопливо отвернулся от старика, собиравшегося задать новый вопрос.

— Ты за кем? — спросила кудрявая женщина, — Понятно, а за тобой кто?

За мальчиком стояла толстая женщина. Вернее, когда-то она была толстой, теперь кожа на ней висела, как пустой мешок.

— Это не выйдет, — сказала она. — Он может еще полвагона вперед пропустить.

— Вы не волнуйтесь, — сказала кудрявая женщина. — Мальчик уйдет, я вместо мальчика...

Но толстая женщина, видно, была сильно обозлена, что ее не пустили без очереди. Она перегородила коридор рукой и сказала:

— Неплохая замена. Мальчику туда на пять минут, а тебе на два часа...

— Как вам не стыдно, — сказал старик. — Война, люди жертвуют собой... Мать этого мальчика, например, в партизанском отряде.

— Какого? — спросила кудрявая женщина. — Этого? Да что ты врешь, — сказала она мальчику. — Твоя же мать умерла позавчера в больнице...

Мальчику стало очень жарко, и сильно зашумело в ушах. — Горя своего стыдится, — сказала толстая женщина.

Мальчик быстро пошел назад и полез на полку. У него опять начало давить в горле и болеть над бровями и, чтоб не всхлипывать, он крепко закрыл глаза и кренко стиснул зубы. Он лежал, и снизу гудело, и над головой что-то постукивало. Потом сразу все стихло. Мальчик открыл глаза и увидел в окне перрон, по которому бежало много людей. Дяди в купе не было, а кудрявая женщина кормила «маленького дядю» с ложки густым молоком. Мальчик подумал, что это сладкое густое молоко можно кушать, целый день можно кушать, если не пабирать его на ложечку, а макать ложечку и облизывать.

Кудрявая женщина посмотрела на мальчика, и мальчику вдруг стало странно: без дяди она высадит его на перрон, и он опять останется один.

— Деньги у тебя есть? — спросила кудрявая женщина.

— Есть, — торопливо ответил мальчик, полез в карман и вытащил деньги.

Кудрявая женщина взяла деньги, пересчитала и сказала:

— О чем люди думают, когда пускаются в такую дорогу? О чем твоя мать думала... Тут ведь на тебя одного не хватит.

— У нас еще была кошелка с уроком и лепешками, — сказал мальчик, — но она потерялась... и еще есть отрез. Его можно продать.

Он хотел вскрыть грязный, сплюснутый узел, но мать зашила его крепкими суровыми нитками, и мальчик поцарапал палец. Он посмотрел на задравшуюся кожуцу, на побухшую капельку крови и всхлипнул.

— Ты чего там? — спросила кудрявая женщина.

— Я порезал палец, — ответил мальчик.

— И ремень, — сказала кудрявая женщина. — Не стыдно, такой большой бугай.

— Я не реву, — сказал мальчик. — А когда дядя придет, я ему расскажу, как вы на меня говорите.

Тогда кудрявая женщина начала смеяться и сказала:

— Ты лучше застегни ширинку, герой.

В это время поезд дернул, и кудрявая женщина начала кричать:

— Ой, он отстал, он отстал.

А «маленький дядя» заплакал.

Мальчику стало жалко «маленького дядю», и он сказал:

— Ты не плачь, папа догонит поезд на самолете...

Тогда кудрявая женщина крикнула:

— Ты, дурак, молчи... Приблудился на папу шею, — и начала ломать руки.

Но тут появился дядя с полной кошелкой, которую он прижимал к груди, и кудрявая женщина сразу начала ругать дядю, а он молча выкладывал из кошелки на столик хлеб, дымящиеся картофелины, огурцы и большую жирную селедку.

Мальчик повернулся лицом к стенке и закрыл глаза, но все равно не забыл жирную селедку с картошкой и огурцами. Он ел бы все это отдельно, чтобы было больше. Сначала огурцы, откусывая маленькими кусочками, потом селедку с хлебом, а на закуску картошку. Он даже пошевелил губами, повернулся лицом навстречу вкусному запаху и вдруг увидел прямо перед собой большую теплую картошку, и половинку огурца, и хлебную горбушку с довеском мякоти.

— Кушай, мальчик, — сказал дядя, — обедай...

Мальчик съел картошку вместе с кожицей, под кожицей она была мягкая и желтая, как масло. Огурец он сначала обкусал со всех сторон, а серединку оставил на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной газеты, на которой дядя подал ему еду, патер горбушку и мякоть. Получился хлеб с селедкой, и мальчик ел его медленно маленькими кусочками.

После еды мальчику стало тепло и весело, и захотелось сделать для дяди что-нибудь хорошее.

Он вспорол зубами крепкие штки на узле, вытащил пахнущий нафталином коричневый отрез и сказал:

— Дядя, пошейте себе костюм.

Дядя удивленно поднял брови, но кудрявая женщина быстро вскочила и протянула руку.

— Это не вам, это дяде, — и мальчик отдал дяде отрез.

К полке подошел старик в пенсне, теперь он был не в рваном пальто, а в коротенькой женской кофте.

— В такое трагичное время, — сказал он, — трудно быть взрослым человеком... Трудно быть вообще человеком...

«Маленький дядя» посмотрел на старика и заплакал, а кудрявая женщина сказала:

— Проходите, дедушка, вы испугали ребенка.

Но старик продолжал стоять, покачиваясь, часто моргая красными веками, и тогда дядя вскочил, взял его за воротник кофты и толкнул в глубину прохода.

Мальчик рассмеялся, потому что старик сменю взмахнул руками, а пенсне его слетело и повисло на шнурочке, и подумал: «Хороший дядя, прогнал старика».

Поезд шел и шел, полка скрипела, внизу гудело, сверху постукивало — и вскоре мальчик увидел за окном среди снега черные обгорелые дома, и танк с опущенным стволом, и грузовик кверху колесами, и еще один танк, и еще один грузовик...

Поезд шел очень быстро, и все это летело назад. Мальчик ничего не мог разглядеть как следует.

Потом кто-то опять подошел и остановился у полки, и мальчику стало странно, потому что он узнал инвалида с розовой клешней.

Инвалид держал об руку военного в шинели без погон, в ушанке и с гармошкой на плече. Лицо военного было в темно-зеленых пятнах, а на глазах — черные очки.

И дяде тоже стало странно. Мальчик увидел, как дядя поперхнулся селедочным хвостом — хвост теперь торчал у дяди изо рта.

Дядя каплял, а инвалид с военным молча стояли и смотрели.

Наконец, дядя засунул пальцы в рот, выгнул селедочный хвост и сказал инвалиду:

— Здравствуйте, — как будто инвалид никогда не давал дяде дули и никогда не плевал ему в лицо.

— Здравствуйте, — вежливо ответил инвалид. — Мы где-то с вами виделись.

— Конечно, конечно, — сказал дядя. — Может, вы перекусить хотите, так присаживайтесь.

— Спасибо, у нас свое есть, — ответил инвалид и положил на столик алюминиевую флягу и завернутый в газету пакет.

— Кисонька, — сказал дядя кудрявой женщине, — погуляй с ребенком, пока люди пообедают.

Кудрявая женщина сердито посмотрела на дядю, взяла на руки «маленького дядю» и вышла в коридор, а дядя торопливо порылся в корзине и выставил на столик два покрытых никелем железных стаканчика.

Инвалид отвинтил крышку фляги и палил в стаканчик, а военный начал шарить пальцами по столику, натываясь то на флягу, то на пакет, пока не опрокинул один стаканчик.

— Эх, ведь чистый спирт, — сказал инвалид, снова палил и вложил стаканчик военному в руку.

Дядя быстро достал тряпку и начал вытирать лужицу на столике.

— Зачем? — поморщившись, сказал инвалид.

— Как же, как же, — сказал дядя. — Вот товарищ слепой рукав намочит.

Инвалид и военный выпили, крикнули, и инвалид начал разворачивать одной рукой пакет.

В пакете был точно такой же пирог, какой ел мальчик утром. Только не кусочек, а громадный кусок, мальчику его б не хватило на целый день, а может, и на два дня.

— Закуска дрянь, — сказал инвалид. — По коммерческим ценам давали...

Он вынул из кармана тяжелый золотой портсигар и раскрыл его. Портсигар был плотно набит кислой капустой. Инвалид зачерпнул клешней горсть капусты, затем взял руку военного и тоже сунул ее в портсигар.

Они выпили и сразу же, не переводя дыхания, палили и выпили опять.

В это время поезд застучал по мосту, и инвалид сказал военному:

— Вот она, Волга.

Они выпили снова, и лицо военного стало красным, а щеки инвалида, наоборот, поблекли.

Головы их мотались низко над столиком, а за головами в окне до самого горизонта стояли припорошенные снегом танки, машины и просто непонятные бесформенные куски.

— Кладбище, — сказал инвалид. — Наломали железа.

Они выпили, и инвалид сказал:

— Давай фронттовую...

Пальцы у военного часто срывались, он бросал мелодию на середине и начинал сначала.

Вскоре у купе собиралось много людей. Толстая женщина сказала:

— Браток, а, может, ты «Васильки-василечки» сыграешь?

Но военный продолжал играть одну и ту же мелодию, обрывая ее на середине и начиная сначала.

Голову он повернул к окну, и очки его смотрели на заснеженное железное кладбище, где летали вороны, очень черные над белым снегом.

Локоть шинели у военного был вымазан повидлом от пирога, и инвалид взял пирог, встал, пошатываясь, и сказал мальчику:

— Кушай, пацан.

Мальчик увидел перед собой плохо выбритое лицо, дышавшее сквозь зубы горячим, остро и неприятнопахнущим воздухом, и отодвинулся подальше в самый угол.

— Если мальчик не хочет, — сказал старик в пенсне, — я могу взять.

— Нет, пусть пацан съест, — сказал инвалид и положил пирог возле мальчика.

Поезд начал стучать реже, замедлил, дернул и остановился у какого-то обгорелого дома.

— Твоя, — сказал инвалид военному.

Тот поднялся, и они вместе пошли по проходу.

— Унесло? — спросила кудрявая женщина, заглядывая в купе. — Насвинячили, алкоголики.

— Тише, — сказал дядя. — Он еще вернется...

Поезд вновь двинулся, на этот раз без толчка, и, пока он медленно набирал скорость, мимо окна ползли заснеженные развалины и снежная дорога, по которой среди развалин шли люди.

Поезд грохотал уже на полной скорости, когда инвалид вернулся в купе и сел над недопитым стаканом, опершись головой на руку.

Он сидел так долго и молчал, и дядя сидел и молчал на самом краешке скамейки, а кудрявая женщина каждый раз заглядывала в купе и уходила опять.

Наконец дядя очень тихо и очень вежливо спросил:

— Вы, может, спать хотите? Может, вас проводить?

Но инвалид продолжал сидеть и потряхивать головой над недопитым стаканом.

Тогда дядя подошел, осторожно потрогал инвалида за плечо, и тот сказал усталым голосом, не поднимая головы:

— Уйди, тыловая гнида...

Тут появилась кудрявая женщина и закричала:

— Вы не имеете права! У нас был такой случай. Инвалид обругал мужчину, а мужчина оказался работник органов, и инвалида посадили.

— Гражданин, — сказал дядя уже построже, — освободите место. Здесь едет моя жена и ребенок.

Инвалид медленно поднялся, посмотрел на дядю и вдруг схватил рукой дядину полувоенную тужурку, а клешней — дядин нос.

— Барахло назад отдай папану, — сказал инвалид. — Отдай, что взял, лярва...

Дядин нос сначала позеленел, потом побелел, и на дядин полувоенный френч потекла тоненькая красная струйка, через весь френч, на галифе и дальше по сапогу.

Кудрявая женщина громко закричала, а «маленький дядя» заплакал, и мальчик, хоть ему было страшно, тоже крикнул:

— Не трогайте дядю, пустите дядю!

В это время кудрявая женщина наклонилась к чемодану и бросила подаренный дяде отрез прямо мальчику в лицо, а проводник и толстая женщина оторвали инвалида от дяди, и дядя сразу куда-то убежал.

Инвалид устало оперся рукой о полку, облизал губы и спросил проводника:

— У тебя, панаша, гальюн открыт? Мутит меня.

— Нужно оно тебе, — покачал усатым лицом проводник и повел инвалида, придерживая его за спину рукой.

Появился дядя и начал хватать свои чемоданы. Он сказал кудрявой женщине:

— Собирайся. Договорился в третьем вагоне.

— Дядя, подождите, — крикнул мальчик, но дядя даже не посмотрел в его сторону, он очень торопился.

У мальчика опять начало давить в горле, однако он не сжимал глаза и зубы, чтоб не заплакать, потому что ему хотелось плакать, и слезы текли у него по щекам, по подбородку, и воротник свитера и пальцы — все стало мокрым от слез.

— Он ему в действительности дядя? — спросила толстая женщина.

— Не знаю, — ответил старик в пенсне. — Ехали они вместе.

Появился инвалид. Лицо, шея и волосы его были мокрыми, и он каждый раз отфыркивался, точно все еще находился под крапом.

— Гражданин, — сказал он, — отцы и матери, надо довести пацана. Меня пацан, гражданин, боится...

Инвалид зубами расстегнул ремешок часов, подхватил их клешней и положил на столик.

— Довезешь, проводник, папаша? Денег нет... Пропился я, панаша...

Он вытащил из кармана портсигар, вытряхнул прямо на пол остатки канусты и положил портсигар на столик, рядом с часами:

— Золото.... Два литра давали.

Потом вытащил из кармана зажигалку, складной нож, фонарик, потом подумал, расстегнул бушлат и принялся разматывать теплый, ворсистый шарф.

— Шерсть, — сказал он.

— Да ты что, — сказал проводник и придвинул все лежавшее на столике назад инвалиду. — Ты брось мотать... Довезем, чего там...

А толстая женщина взяла портсигар и сказала:

— Он его все равно пропьет... Лучше уж малыцу еды поменять. Скоро станция узловая.

Инвалид посмотрел на нее, качнулся и вдруг обхватил единственной рукой за талию и поцеловал в обвисшую щеку.

— Как из вишней бочки, — сказала толстая женщина и оттолкнула его, но не обозлилась, а, наоборот, улыбнулась и кокетливо поправила волосы.

Инвалид провел руками по глазам, обернулся и подмигнул мальчику.

— Ничего. Ничего, парень, не робей, — сказал он и пошел по проходу.

Мальчик увидал его сутулую спину, стриженный затылок и клешню, две розовые колбаски вместо рук, которыми он поправил, заломил на ухо свою морскую ушанку.

В вагоне потемнело, и проводник зажег свечу в фонаре под потолком.

Мальчик лежал затылком на распотрошенном узле и смотрел, как горит свеча. Толстая женщина дала ему хлеб с белым жиром, стакан сладкого княжтку — и теперь он лежал и ни о чем не думал.

Постепенно шаги и голоса стихли, остался лишь привычный гул поезда да скрип полки. Мальчик опустил ресницы и увидал перед собой яркие розовые круги.

Он понял, что это свеча, повернулся набок — и круги стали черными. Потом он вспомнил, что больше нет дядиных чемоданов, разогнул ноги в коленях и начал уже засыпать, когда какой-то шорох разбудил его. По куше ходил старик в пенсне. Он ходил на цыпочках, с полусогнутыми руками, и заглядывал в лица спящих. Потом он очень медленно, как слепой, вытянул руки вперед и шагнул к окну. Голову он поворачивал рывками то в одну, то в другую сторону, и губы его шевелились. Мальчик лежал неподвижно, он видел часть спящего лица толстой женщины, раскрытый рот и ее потную шею, видел огонек свечи в темном окне и протянутые к этому огоньку пальцы старика. Пальцы потянулись дальше, и огонек появлялся теперь то среди волос ста-

рика, то на его бородачке. Вдруг пальцы быстро прикоснулись к висящей на крючке у окна сетке с хлебом и так же быстро, точно хлеб этот был раскаленный, отдернулись назад.

Толстая женщина издала губами странный, похожий на поцелуйный звук и вынула руку из-под головы. Ресницы ее дрогнули.

Когда мальчик приподнял голову, старика в купе не было.

Мальчик полежал еще немного с открытыми глазами, и сердце его начало биться тише и спокойней. Тогда он прикрыл веки и хотел повернуться к стенке, но вместо этого снова открыл один глаз.

Старик стоял у самой полки. Под седыми, редкими волосами была видна нечистая белая кожа. Он спял кофту и был теперь в шелковой мятой рубашке, обтрепанные манжеты вместо запонки были скреплены проволокой.

Он пошел, пригнувшись — так ходят в кинокартинах разведчики, — и это было очень смешно, но мальчику стало не смешно, а страшно, как утром, когда он проснулся и вспомнил, что мама умерла.

Пальцы старика скользнули по корке, отщипнули маленький кусочек этой коричневой корки вместе с серой мякотью, и в этот момент от оглянулся и встретился взглядом с мальчиком.

Поезд шел в темноте, чуть-чуть подсвеченной снегом. Казалось, за окнами больше нет жизни, лишь изредка мимо окон проносились какие-то неясные предметы.

Толстая женщина опять спала с открытым ртом, и в глубине ее рта поблескивал металлический зуб.

Старик осторожно распрямился, покачивая головой, и переложил хлеб из ладони в задний карман брюк.

Он все время не мигая смотрел на мальчика, и мальчик приподнялся на локтях, отломил угол от пирога, оставленного инвалидом, и протянул старику. Старик взял и сразу проглотил. Мальчик снова отломил снизу, где не было повидла, и старик так же быстро взял и проглотил. Мальчик отдал старику по кусочку всю нижнюю часть пирога, а верхнюю с повидлом и печеными хрустящими колбасками оставил себе.

Пришел проводник и для светомаскировки обернул фонарь темной тряпкой, теперь только тумашное пятно сжималось и разжималось на потолке. Старик стоял, морща лоб и что-то припоминая, а затем пошел вдоль вагона, мимо хрюкающих полок, мимо спящих сидя и полулежа людей до тамбура, где на узлах тоже лежали какие-то люди.

— Неужели это никогда не кончится? — тихо сказал старик и пошел назад.

Он стоял у полки мальчика и смотрел, как мальчик спит. Мальчик спал, лежа на распотрошенном узле и положив щек на голенища фетровых женских бот. Рукава его свитера были закатаны, а ботинки расшнурованы. Мальчику снился дом с башенкой, дядя, старуха, торгующая рыбой, инвалид с розовой клешней и еще разные лица и разные предметы, которые он тут же во сне забывал. Уже перед самым рассветом, когда выгоревшая свеча потухла и старик прикрыл ноги мальчика теплой кофтой, мальчик увидал мать, вздохнул облегченно и улыбнулся.

Ранним утром кто-то открыл дверь в тамбур, холодный воздух разбудил мальчика, и он еще некоторое время лежал и улыбался...

\* \* \*

Мужчина в нейлоновой рубашке сидел в шашлычной и ел шашлык по-карски одним куском. Он брал ломтики лимона, выжимал из них сок на поджаренное мясо и добавлял соус из соусника. Потом он выпил холодного вина, две рюмки подряд, вынул газету, но так и не раскрыл ее, принялся рассматривать себя в висящем напротив зеркале.

Рядом маленький старичок грыз вставными зубами отваренную куриную четверть, часто ковырялся спичкой в зубах и сплевывал в спичечный коробок.

— А вы сами откуда? — спросил старичок.

Мужчина назвал большой северный город.

— А похожи на армянина, — сказал старичок, сдирая скользкую куриную кожу.

В пашлычную вошла очень загорелая блондинка, села за соседний столик и припаялась листать меню.

— Семья у вас там? — спросил старичок, копясь детскими пальчиками в куриной мякоти.

Мужчина отвернулся от старичка и смотрел на блондинку, она была в коротеньком халатике, а две нижние пуговицы халатика были расстегнуты.

— Отец, мать? — спросил старичок, разгрызая куриный хряц.

— Мать у меня в войну умерла, — сказал мужчина. — Я еще пацаном был.

Под халатиком у блондинки был влажный купальник, на груди и снизу халатик промок, а концы волос у нее тоже были влажные, потемневшие. Блондинка заказала гранатовый сок и какое-то клейкое желе. Мужчина слегка повернул голову и смотрел в зеркало, как она ест желе.

Было очень тихо, по потолку скользили тени, старичок ушел за сетцевые портьеры в туалет. И вдруг что-то произошло. Мужчина вначале не понял, что случилось, сзади кто-то вбежал, что-то крикнул, и блондинка перестала есть. Желе капало у нее с ложечки на столик. Из туалета вышел старичок и, вытирая на ходу платком мокрые руки, заковылял к выходу.

— Что случилось? — спросил его мужчина.

— Курортника машина задавила, — сказал старичок. — Теперь отдохнет.... И курсовки не надо.

В пашлычной стало совсем пусто, только мужчина продолжал сидеть у столика над недоеденным пашлыком и блондинка вытирала салфеткой капли желе с халатика.

— Вы боитесь покойников? — спросила вдруг блондинка.

— Наверно, — сказал мужчина.

Блондинка повернулась к нему лицом. Халатик у нее был по-прежнему расстегнут, и виднелись загорелые колени.

— А если война, — сказала она. — Вы ведь мужчины.

На животе у нее тоже было влажное пятно от купальника.

Вошел старичок и снова заковылял в туалет.

— Что там? — спросила блондинка.

— Он жив, — сказал старичок. — Отрезало ногу.

— Ну вот, — блондинка встала и оттянула халатик, провела ладонью по груди и бедрам. — Пойдемте, вы ведь все-таки мужчина, надо закалять нервы.

Мужчина вышел вслед за блондинкой из пашлычной. Улицы была белой, ослепительно белой от солнца, а посреди мостовой вокруг пыльного автобуса молча стояли люди и впису из-под ног слышался крик, изредка затихающий.

Мужчина подошел ближе, лица у людей были как-то необычные, у всех одинаковые. Здесь не было ни сострадания, ни любопытства, просто испуг, и, подойдя ближе, мужчина понял, в чем дело. Пострадавший не кричал, а смеялся, он лежал на мостовой лицом кверху. Это был человек лет пятидесяти, довольно убитанный, загорелый, на лбу у него была ссадина, но небольшая. И смех его не был похож на истеричку, просто он лежал себе на мостовой, поглядывая то на людей, то на свою неестественно вывернутую левую ногу, и хохотал.

Подъехала «скорая помощь». Санитар присел на корточки, приподнял голову пострадавшего, а тот все хохотал и пытался объяснить что-то доктору. Доктор был молодой девушкой, и видно было, что она тоже испугалась, начала подглядывать по сторонам, перешептываться с санитарями, а потом прикоснулась, и вдруг наступила тишина, пострадавший перестал смеяться, и все вокруг молчали. Под штановой был сплюснутый, раздавленный автомобильным колесом протез. И тогда кто-то сзади хихикнул, кто-то приснул в ладонь, кто-то захохотал, даже докторша улыбнулась.

А пострадавший вдруг закрыл глаза, и переноска его побелела. Подошел второй санитар с носилками, у инвалида были все-таки кое-где ушибы, на плече кровь, но, очевидно, не очень серьезно, просто он ударился, упав на мостовую.

Санитары понесли его к «скорой помощи», а докторша шла сзади, прижав локтем обломок протеза с модным узконосым туфлем.

Мимо пробежала собачка, оставляя мокрые следы, капало у нее откуда-то из-под живота. Мужчина посмотрел на собачку и пошел назад в шашлычную, сел над шашлыком. Блондинка доедала желе, у нее были липкие губы и сонное лицо. В шашлычную вошло еще несколько посетителей, какая-то веселая компания, трое парней и две девушки, слышно было, как они еще на улице хохотали, а в шашлычной их и вовсе развезло. Они заказали шоколадный пломбир, каждому по две порции, а старичок с вставленными зубами пересел за их столик и заказал себе сосиски с капустой. Старичок был общительный, но веселую компанию он несколько шокировал; впрочем, рассказывал он действительно какую-то скучную историю про нарывы, мол, в сорок шестом у него вся кожа была в нарывах, и, мол, все это из-за обмена веществ. Молодые люди сидели с поблекшими лицами, только переглядывались, а к шоколадному пломбиру они не прикасались, пока старичок не вскочил и не убежал за ситцевые портьеры в туалет. Тогда высокий парень с бритым загорелым черепом и тростью взял тарелку старичка и переставил ее на соседний пустой столик. После этого молодые люди стали есть пломбир и опять хихикать. А когда старичок подошел, бритоголовый сказал:

— Воняет твоя капуста, банана... И вообще иди от нас к хренам... Вншей напустишь.

— Ты лучше к блондиночке подеядь, — добавил парень с перстнем и с шелковым платком на шее. — Если ей, конечно, поправятся твои протезные зубы... В наше время только ноги выгодно иметь протезные.

И тут они загоготали на разные голоса, парень с перстнем все время хлопал себя по коленке и повторял:

— Цирк, ну и цирк!

А одна из девушек даже опрокинула вазочку с пломбиром.

Старичок постоял немного, потом пошел за пустой столик и начал есть сосиски, низко склонившись над тарелкой.

Мужчина встал и быстро вышел из шашлычной.

Вокруг была тишина и запустение курортного полдня, только посреди мостовой чуть левее того места, где лежал

инвалид, беседовали два велосипедиста с крепкими загорелыми ногами и в белых шаночках. Мужчина несколько часов сидел в шашлычной, но сейчас он чувствовал во всем теле какую-то усталость, словно прошел пешком по жаре много километров, и, чтобы передохнуть, расслабить мышцы, он уперся правой рукой в парусиновый козырек над витриной, а левой ухватился за горячую металлическую подпорку. Он стоял и наблюдал за велосипедистами, пока они не разъехались в разные стороны. Тогда он снова вошел в шашлычную и ласково спросил бритоголового:

— Ты видел когда-нибудь тифозную вошь, парилка?. Настоящую военную тифозную вошь?

Бритоголовый быстро-быстро зашевелил губами, что он отвечал, мужчина не слышал, а блондинка встала, взяла мужчину пошже локтя и сказала:

— Пойдемте отсюда.

Они долго шли рядом, пока не пришли в сквер с гипсовыми статуями, и здесь мужчина присел на скамейку и сказал:

— Извините... Я, кажется, матерился вслух.

— Ничего, — сказала блондинка. — Я в войну в госпитале работала... Горники с дерьмом таскала в четырнадцать лет...

Сейчас она выглядела гораздо старше, чем в шашлычной, на лице морщины.

Неподалеку был фруктовый ларек, продавали персики, и мужчина купил кулек этих персиков. Они были сочные, но сок теплый и кислватый.

— Как вас зовут? — спросила блондинка.

— Сергей, — сказал мужчина.

— Сережа. Ой, Сережа, здравствуй, — сказала блондинка и рассмеялась.

— Вы чего? — спросил Сергей.

Но она продолжала смеяться, запрокинув голову, у нее была полная, красная шея, а морщинки исчезли.

— Вы замужем? — спросил Сергей.

Блондинка промолчала, только улыбнулась и поправила халатик, застегнула две нижние пуговицы.

— А сегодня вечером свободны?

— Может быть, может быть, Сережа, — сказала блондинка. — Первый раз я в шестнадцать лет замуж вышла... за контуженного морячка... Ох и бил же он меня, Сережа... Прямо флотским ремнем...

— Вы разошлись? — спросил Сергей.

— Нет. Он умер, этот морячок, — сказала блондинка, встала и пошла по аллее к выходу. — До вечера.

— В восемь, — сказал Сергей.

— Ладно, — сказала она и улыбнулась.

Он сидел на скамейке, прикрыв глаза. С моря дул ветерок, шелестела листва, скрипел песок под ногами прохожих. Потом он ушел из сквера, пересек пустую площадь, вывел на узкую татарскую улочку, и здесь его кто-то окликнул.

Это был совершенно незнакомый человек в тюбетейке с кисточкой, и шел он, как-то странно подпрыгивая. Наверное, он был пьян.

— Стыдно, — страстно произнес человек, подойдя ближе, — стыдно на сорок третьем году революции с пятнами ходить... Волосы дыбом становятся даже у плешивых людей...

Человек говорил, вынучив глаза, и после каждого слова он делал глубокий вдох.

— Вы о чем? — спросил Сергей, посмотрел на человека в тюбетейке и вдруг расхохотался. Человек в тюбетейке не обиделся, а даже, наоборот, тоже начал хохотать и вытащил из кармана горсть обернутых в серебряную фольгу тюбиков.

— Берем пято, — говорил он, шатаясь от смеха, щеточку в воду, и пятна как не бывало...

— Ах, у вас средство от пятен? — спросил Сергей, вытирая слезящиеся от смеха глаза.

— Средство, — радостно согласился человек в тюбетейке.

Сергей купил несколько тюбиков, а человек в тюбетейке все хохотал и даже полез целоваться, дыша вином. Он был действительно пьян. Сергей легонько оттолкнул его и пошел дальше, поглядывая на тюбики и улыбаясь. Так, улыбаясь, дошел он до набережной, вошел в толпу гуляющих

и сразу увидел блондинку, а она, вероятно, увидела его давно. Он, собственно, оглянулся потому, что она на него смотрела.

— Рановато ты вышел на свидание, Сережа, — сказала блондинка и улыбнулась, но почему-то невесело.

— Я просто гуляю, — сказал Сергей. — А вообще хорошо, что мы встретились.

— Судьба, — сказала блондинка, вынула зеркалаще и подкрасила губы.

— Это я для тебя, — сказала она без улыбки.

Она успела переодеться. Тенерь на ней было светло-голубое платье с оголенными плечами, а на шее какой-то недорогой медальончик.

— Как тебя зовут? — спросил Сергей и взял ее за локоть. — Я до сих пор не знаю, как тебя зовут.

— Вера, — сказала блондинка. — А сейчас отпусти мою руку, я не люблю, чтобы меня держали за руку или об руку, когда жарко.

И тут к ним подошел здоровенный парень в спортивном костюме с двумя порциями мороженого в вафельных стаканчиках. Он мельком глянул на Сергея, протянул один стаканчик Вере и сказал:

— Очередь на целый километр. Мне наш баскетболист взял. Прямо через головы.

— Павлик, — сказала Вера. — Познакомься, это мой троюродный брат.

Павлик сунул Сергею в живот свою громадную ладонь, буркнул:

— Саламатин, — и пошел к пляжу.

— Поїдем загорать, — сказала Вера Сергею и протянула стаканчик: — Кусай.

Сергей посмотрел на широкую спину идущего вперед Павлика и промолчал. Тогда она сунула ему мороженое прямо в губы. Мороженое было фруктовое и пахло сиреном. Он надкусил кусочек вафли и прилипший к этой вафле кисловатый комок, а потом Вера надкусила в том же месте.

Они разделись и легли в горячий песок неподалеку от бронзового орла на гранитной скале.

Орел высился возле самого берега, и вокруг него ходил фотограф с ФЭДом на голом волосатом животе, в подвернутых до колен пижамных штанах и капроновой шляпе. К фотографу подошла толстая дама, настоящая туна в синем кушальнике с золотым браслетом на запястье, и фотограф взял даму за пальцы и положил ей руку на орла, прямо браслетом на орлиный клюв. Сфотографировавшись, дама сняла браслет, отдала его незагорелому мужчине с ускампн и, повизгивая, вошла в воду, а фотограф постоял еще немало, глядя на пляжников, потом поднял орла вместе со скалой, взвалил на спину и пошелся дальше вдоль пляжа.

— Бутафория, — сказал Павлик и почему-то подмигнул Сергею. — Папье-маше.

Они сыграли партию в дурачка, и Сергей проиграл. Он начал тасовать колоду, а Павлик прилег рядом с Верой и осторожно концами пальцев принялся счищать прилипший к ее спине и бедрам песок.

Солнце уже перевалило через зенит, но было по-прежнему очень жарко, и по радио передавали температуру воздуха и воды и сроки пребывания на солнце, в тени и в воде для отдыхающих разных категорий. По пляжу шел человек в тубетејке. Сергей его сразу узнал, он шел, подирывая, и его клонило все время влево, видно, он где-то «подбавил газу».

На этот раз в целях рекламы своего товара он шел песню. Это была грустная песня, но шел он ее весело, прищелкивая пальцами, и пляжники вокруг хохотали.

— Может там, вдали за полустанком, со своей кудрявой головой... — шел он и при этом снимал тубетејку и показывал пляжникам покрытую капельками пота лысину.

— Вот это отрывает. Вот даст, — сказал Павлик и загоготал.

— Пусть не поет, — вдруг тихо сказала Вера. — Или про что-нибудь другое пусть поет.

Павлик сразу перестал гоготать, подошел к лысому, замахнулся — и тот привычным движением человека, которого часто бьют, прикрыл лицо локтем. Появился милиционер, ему было жарко в форме, гимнастерка его была расстегнута, а ремень распущен и провисал.

— Опять ты здесь? — сказал он человеку в тубетейке, взял его за руку и повел. Он вел его, вытирая пот, а человек в тубетейке шел рядом, не сопротивляясь, сторбившись и волоча ноги по песку.

— Правильно сделали, — сказал мужчина с усиками и золотыми зубами. — Таких алкоголиков учить надо.

Но тут полная дама, подкравшись сзади, вылила на него из резиновой купальной шапочки воду, и мужчина завизжал, засмеялся, погрозил даме кулаком и сказал:

— Клавдия Карповна, все равно я вас утоплю.

— Сыграем еще, — сказал Павлик Сергею.

— Нет, я пойду, — ответил Сергей, — У меня в восемь свидание.

— Подожди, — сказала Вера. — У меня тоже в восемь свидание.

И пошла рядом с Сергеем, на ходу одевая платье. Они долго шли берегом и молчали, даже не смотрели друг на друга. Вокруг были колючки, заросли дикой маслины и сильно воняло гнилыми водорослями, а впереди виднелся белый каменный забор и несколько крыш.

— Смотри, сколько чаек, — наконец сказала Вера. — Поидем посмотрим.

Когда они подошли, чайки с криком поднялись, но продолжали кружиться над ними. На прибрежном песке лежала большая рыба с исклеванной головой.

— Это тунец, — сказала Вера. — Какой красавец. Возьми его.

Сергей поднял рыбу за хвост. Тунец был тяжелый, и с головы его капала на песок кровь. Неподалеку на колышках сушились рыболовецкие сети с литыми стеклянными шарами по краям, вокруг этих сетей тоже носились чайки.

— Здесь обойдем кустами, — сказал Сергей.

— Почему? — спросила Вера.

— Солдаты купаются...

Впереди мелькало множество голых тел, слышался смех и крики, а на песке длинной вереницей лежали морские робы и стояли тяжелые флотские ботинки.

— Девушка, — крикнуло какое-то смеющееся лицо, — на-учите Цыпишева портянки стирать.

— Тихо, Васька, — откликнулся другой голос, — рот закрой, кишки простудишь...

— Болваны! — сказал Сергей.

— Матросики, — сказала Вера и улыбнулась. — Пацаны...

Она присела на песок, туго натянула на колени подол платья, так что обрисовались бедра.

— Ну и сиди здесь, — сказал Сергей, он сам не ожидал, что вдруг разозлится.

Вера посмотрела на него, мигая ресницами, и вдруг расхохоталась, легла на спину, положив ладони под голову.

— Вот это баба! — фыркая от восторга, кричал вдали разбитной Васька. — Вот это Матрена!

— Ну и лежи здесь, — сказал Сергей, — Ну и лежи здесь среди...

Последнее слово он проглотил, сплюнул и шагнул в кусты.

— Ой, как ты красно ревнуешь, Сережа, — крикнула Вера вслед, продолжая смеяться.

Все это произошло как-то внезапно, Сергей так и не понял по-настоящему, почему они поругались.

Он шел среди кустов, цепляясь за корни, тяжело дыша, пока не вышел к шоссе, присел на обочине и расстегнул ворот рубашки до самого низа.

Между городом и рыбацкими поселками курсировали старенькие душные автобусы, и Сергей сел на такой автобус, но до города не доехал, слез на остановке «Раскопки».

Раскопки давно уже здесь не велись, просто вышло несколько холмов и полуразвалившийся барак, где жили раньше археологи. Но остановка по-прежнему называлась «Раскопки».

Он огляделся и быстро пошел назад вдоль шоссе, потом шел опять среди кустов, потом берегом. Он устал, слева под ребрами давило и побаливало, и рот изнутри был сухим и шершавым.

— Что со мной происходит, — сказал он вслух. — Какого черта.

Берег был пустой, моряков не было и Веры не было. Сергей лег на горячий песок, нагреб небольшой холмик и прижался к нему левым боком, приподняв рубашку.

Болесть стало тише, он лежал и слушал, как сзади плещется море и кричат чайки, а боль понемногу затихала. Потом он увидел Веру, она вышла из кустов, и вслед за ней вышел морячок, совсем мальчишка. Вера села, и мальчишка опустился рядом, начал тыкаться ей лицом в грудь, как теленок, а она сняла с него бескозырку и, закрыв глаза, гладила по волосам.

Сергей лежал неподвижно. Он лежал, чувствуя все свое тело, колени покалывали песчинки, а он лежал, зарывшись лицом в песок, и ни о чем не думал. Когда он открыл глаза, морячка уже не было, а Вера по-прежнему сидела, запрокинув голову. Сергей встал, подошел и сел рядом. Он посмотрела на него без удивления и ничего не сказала. Так сидели они молча, пока не стемнело и с моря не подул прохладный ветер.

Тогда Вера сказала:

— Я пойду одна.

И ушла.

Несколько секунд еще слышались ее шаги и белело платье. Вдали плыл теплоход, целая куча разноцветных огней в воздухе и в воде, где-то сзади в рыбацьем поселке лаяли собаки, а небо над городом было желтоватым и блестящим.

Сергею вдруг захотелось есть, и он вспомнил, что видал где-то неподалеку закусочную. И, действительно, он очень скоро нашел эту закусочную, нахло там, как на дровяном складе, наверное, из-за разохнувшихся пивных бочек.

— Пива нет, — сказала ему буфетчица.

Она сидела за пивной стойкой и щелкала орехи.

— Я хотел бы поесть, — сказал Сергей.

Буфетчица нарезала колбасы и вынула из плетеной корзины круглую булочку.

В закусочной было пусто, ни одного посетителя, и Сергей сел у окна. Колбаса была жирной, сыльное сало, а булочка сладкая, он не стал есть, а попросил бутылку фруктовой воды. Фруктовой воды не оказалось, он купил бутылку

вина, крепленого и довольно паршивого, но зато холодного, прямо из холодильника, и вынул это вино залпом, один стакан за другим.

— Вы почему не кушаете? — спросила буфетчица. — Все свежее.

— У меня боли в желудке, — сказал Сергей. — Мне жирного нельзя.

— Такой молодой, — сказала буфетчица. — Где же вы подхватили эти боли?

— Война, — сказал Сергей. — Мучная затируха... Знаете, что такое затируха? Это клейстер...

Он взял бутылку и попытался прочитать надпись на этикетке, но не смог и сказал:

— Принесите мне еще этого самого... Или что-нибудь получше.

— Большие нет, — сказала буфетчица. — Вы опоздаете на автобус.

— Все в порядке, — сказал Сергей. — Я сижу у окна и вижу автобусную остановку.

Он помолчал, разглядывая бутылочную этикетку.

— Знаете, — сказал он вдруг, — знаете, как трудно человек умирает от голода... Почти как от удушья. Однажды я видел, как умирает старик, потом мне приходилось видеть еще, как умирают, но это было в первый раз, и умирал он от голода... Он лежал на мостовой, ему совали в рот хлебные крошки, и он пытался есть, но не мог — и крошки оставались у него на губах...

— Мне пора закрывать, — сказала буфетчица. — Уже поздно, и вы пропустите последний автобус в город.

Сергей посмотрел на буфетчицу, пальцы у нее были испачканы колбасным салом, а волосы — крашеные, темно-рыжие.

— Я тебя где-то встречал, скотину, — сказал он скорее даже миролюбиво, с любопытством.

— Хочешь ночевать в участке, — сказала буфетчица. — Хочешь пятнадцать суток, хам.

Сергей поднялся, пошатываясь, вышел из буфета и сказал какому-то человеку, лица которого не разглядел:

— Стыдно на сорок третьем революции году с пятнами ходить...

— Тихий ужас, — пожаловался человек без лица другой неясной в темноте фигуре. — Когда на рыбкомбинате полочка, хоть из дома не выходи.

Вечер был теплый и тихий, лишь изредка шумели заросли дикой маслины, и тогда становилось прохладнее. Шоссе тянулось параллельно берегу, моря не было видно, но песок его слышался совсем рядом за кустами, и, закрыв глаза, Сергей представил, что автобус плывет, покачивается прямо среди волн.

В автобусе пахло кожей, Сергею нравился этот запах. Он устроился поудобнее и заснул. А когда проснулся, вокруг было много света, блестели неоновые рекламы и слышны были голоса, смех, шум автомобилей.

Высокий парень в ковбойке и кожаных перчатках тряс Сергея за плечо и говорил:

— Вставай, друг, конечная...

— Ты кто? — спросил Сергей.

— Я водитель, — ответил парень в ковбойке. — Вставай, приехали.

— Понимаешь, какая штука, водитель, — сказал Сергей, морища лоб и проводя ладонью по глазам, — в детстве у меня тоже такое случилось... Совсем в раннем детстве, еще до войны... Дед мой жил на окраине, а мы в центре. И когда я с матерью возвращался пешком, любил брать ее за руку и закрывать глаза. Иду и отгадываю, мимо чего мы проходили. А открываю глаза уже в центре.

Водитель терпеливо стоял и слушал, потом взял Сергея об руку.

— Ну, пойдём, друг, теперь мы с тобой погуляем.

Он высадил его из автобуса, подвел к газетной витрине.

— Вот, газетку почитай.

И ушел.

Сергей стоял, держась за газетную витрину, и смотрел, как автобус объезжает вокруг клумбы.

— Хороший парень этот водитель, — сказал он и улыбнулся.

Потом он пошел в шашлычную. В шашлычной было много незнакомых лиц, но старичка Сергей сразу узнал. Старичок ел творожный пудинг с изюмом, а рядом с ним стоял стакан со сметаной, и он изредка делал глоток-другой из этого стакана. Сергей заказал шампанское и пирожных и подсел к старичку.

— Панаша, выпейте со мной, — сказал он.

— А вы сами откуда? — спросил старичок, взял заварное пирожное, надкусил его, и в месте укуса вылез шоколадный крем.

— Все отсюда же, — тихо сказал Сергей.

— Квартира там у вас, отец, мать? — спросил старичок. Он ложечкой выковырял из пудинга несколько крупных изюмиш, положил их в пирожное, затем обмакнул пирожное в сметану и проглотил.

— Мать у меня в войну умерла, — сказал Сергей. — Ее я уже не помню... Вначале она мне снилась, когда я еще панадом был, а теперь уже лет пятнадцать не снится... И вспоминаю я о ней редко... забыл вот, и все...

Старичок перестал жевать и посмотрел на Сергея.

— Вам бы отдохнуть, вы где живете?

— Все в порядке, панаша, — сказал Сергей. — Материально мне живется хорошо, две комнаты, приличный оклад и мотороллер... И скоро я женюсь на дочери профессора... Красавица девушка, умница, сама водит автомобиль... А вы, панаша, кушайте пирожные, угощайтесь.

Он встал и прошел между столиками достаточно твердой походкой, не шатаясь. Он пришел в гостиницу, постоял немного у входа, глядя на вращающуюся стеклянную дверь, и вошел в вестибюль, гулкий и прохладный, где ходило много девушек с красивыми ногами, и высокие каблучки этих девушек звякали по цветным плиткам из керамики. Он хотел заговорить с одной девушкой, но она прошла мимо. Тогда он вышел в гостиничном буфете томатного сока, поднялся к себе в номер, заперся и лег на пол, на ворсистый колючий ковер.

В номере было жарко, он встал, открыл окно, вынул из шкафа клетчатый чемодан на молниях и под стопкой от-

утюженных рубашек нашел старый блокнот, а между страницами блокнота — выцветшую фотографию. Лица на ней разглядеть нельзя было, и была она твердой от клея, которым ее много раз скрепляли.

— Мне двадцать девять лет, — сказал он вслух, и было непонятно, зачем он это сказал.

На противоположной стороне улицы мигала громадная, очерченная зелеными неоновыми трубками бутылка минеральной воды. Потом она потухла, как бы растворилась в воздухе. Было уже далеко за полночь. Сергей разделся, вытер насухо лицо и шею и лег в постель.

Проснулся он очень рано, задолго до восхода солнца, посмотрел на испачканную вином нейлоновую рубашку, на измятые брюки, удивленно пожал плечами и сказал:

— Какая ерунда. У меня всегда начинается какая-нибудь ерунда после неудачной любви.

Он сделал зарядку, весело насвистывая, принял холодный душ, надел импортную рубашку прямо на голое тело без майки — шелковое полотно приятно охладило кожу, — и спустился в гостиничный ресторан позавтракать.

В ресторане было довольно пусто, большинство жителей гостиницы еще спали. Лишь за одним из столиков сидел красивый седеющий мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. Сергей поздоровался: мужчина работал в крупном НИИ, и они с Сергеем несколько раз встречались на научных конференциях.

— Вы читали статью Тубеншлага? — спросил мужчина. — Гениальная несуразица, у нас в НИИ его б затюкали.

Он взял яйцо, очистил, разрезал пополам ножом и намазал изнутри сливочным маслом.

— Гениальное блюдо, — сказал он.

— Матвей Николаевич? — спросил Сергей, он чувствовал какой-то странный, нарастающий шум пониже сердца. От легкости и веселья, с которыми он только что спускался по лестнице, не осталось и следа.

— Матвей Николаевич, — повторил он, — что вы делали во время войны?

— Мой миленький, — сказал Матвей Николаевич, — в принципе, у меня после вашего оригинального вопроса должны были б удивленно подняться брови или что-нибудь в этом роде. Но я тоже оригинал, а поэтому просто отвечаю: во время Второй мировой войны я ползал в брянских лесах с огнестрельным оружием и мечтал о крутых яйцах с маслом.

Подошел официант, и Сергей заказал бутылку минеральной воды.

— У вас чересчур легкий завтрак, — сказал Матвей Николаевич и улыбнулся. — Вы не обижайтесь, я понимаю ваше состояние — со мной тоже такое случается, к счастью, довольно редко, — и все-таки у меня есть некоторый опыт, я вам советую завтракать поплотнее. Иногда помогает.

Сергей встал, на ходу вынул принесенную официантом минеральную, попроцался и в вестибюле гостиницы заказал билет на утренний рейсовый самолет.

В самолете ему стало особенно нехорошо. Его не мутило и ничего не болело, вначале чуть-чуть побаливало над левой бровью, но потом перестало — и все-таки ему было нехорошо. Он сидел у иллюминатора и смотрел на облака, они белели снизу сплошным слоем, словно ледяные торосы, и земли не было видно.

— Выхухоль — это млекопитающее или насекомое? — спросил вдруг кто-то Сергея.

Сергей обернулся и увидел рядом с собой пожилого мужчину в тенниске, на коленях у мужчины лежал журнал с кроссвордом.

— Наверное, млекопитающее, — сказал Сергей.

Ему вдруг захотелось поговорить с мужчиной о каких-нибудь обыденных вещах, о выхухолях или насекомых, было невыносимо сидеть так все время и смотреть на облака. Он сказал:

— Знаете, у жирафа не только длинная шея, но и длинный язык.

— Что вы? — изумился мужчина.

— Да, — сказал Сергей, — Доходит до шестидесяти сантиметров.

— Вот ядрит твою, — сказал мужчина и прикрыл рот ладонью, потому что мимо прошла бортпроводница с подносом, на котором стояли пузатые стаканы с минеральной водой и блюдо с леденцами.

— А вообще все это ерунда, — сказал Сергей.

— Что ерунда? — спросил мужчина.

— Все эти разговоры, — сказал Сергей.

Мужчина посмотрел на него.

— Я вас чем-нибудь обидел? — спросил он.

— Нет, — сказал Сергей. — Просто я устал.

В иллюминаторе вспыхнуло неземное ослепительное солнце, Сергей задернул занавеску и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Солнце било сквозь занавеску, сквозь прикрытые веки, и Сергей дремал в ярко-красной темноте, пока она не померкла.

Самолет вновь вошел в облака, на аэродроме шел дождь, правда не очень сильный и довольно теплый, но в городе, куда привез пассажиров автобус-экспресс, давно дождя не было, светило солнце, тротуары были сухими, лишь кое-где видны были подсыхающие лужи.

Он снял дождевик: было попросту жарко, к лоткам мороженого и киоскам газоды стояли очереди.

— Где у вас вокзал? — спросил он стайку девочек-подростков.

Девочки начали перешептываться между собой, хихикать и поглядывать на него.

Они смотрели на его узконосые туфли, на пиджак с разрезом, на манжеты с золотыми запонками.

— Вы москвич? — спросила маленькая девочка с конским хвостом. У нее было красивое личико, и похожа она была на веселую мышку из мультфильма.

— Нет, — сказал Сергей. — Я не москвич.

— У нас мальчики тоже начали носить пиджаки с разрезами, — сказала другая девочка в цветастой юбке.

— Да, — сказал Сергей, — это теперь модно.

— Пойдемте, мы вас проводим, — сказала мышка. — Вокзал тут рядом. Куда вам ехать?

Сергей назвал город.

— Они нам вчера проиграли, — сказала девочка в цветастой юбке. — Их «Спартак».

— Вратарь у них красивый, — сказала мышка. — Черно-волосый и волосы на пробор. Я видела его совсем близко, он после матча ел мороженое в «Пингвине».

— Хотите мороженого? — спросил Сергей.

Ему вдруг захотелось посидеть среди этих девочек.

— Ой, что вы, — сказала девочка в юбке.

— А я хочу, — сказала мышка. — Вы артист?

— Нет, — сказал Сергей, — я не артист.

— Катька влюблена в одного артиста, — сказала девочка в цветастой юбке. — Конечно, заочно.

— Нужен он мне, — сказала Катька. — Просто я собираю открытки артистов.

В «Пингвине» было прохладно, шинела машина, взбивающая молочный коктейль, и официантки разносили мороженое на прозрачных подносах. Было мороженое, которое подавали в пластмассовых чашечках, было мороженое, которое подавали в бокалах.

— Мы вас разорим, — сказала девочка в цветастой юбке.

— Ничего, — ответил Сергей, — я богатый.

Девочки распались, они подталкивали друг друга локтями, перешептывались, хихикали, а Катя вдруг сказала:

— Знаете, у вас красивый профиль.

— Спасибо, — сказал Сергей. — Мне очень приятно.

— Это не я заметила, — сказала Катя. — Это Томка.

— Перестань, — сказала Томка.

Она сильно покраснела, щеки, лоб, шея ее стали просто пунцовыми. Томка была очень красивая девочка, сероглазая, темнорусая, но красота ее не сразу становилась заметна. Только когда она застенялась, Сергей увидал, какая она красивая.

— Выросли вы, девочки, — сказал Сергей. — Через несколько лет в вас влюбляться начнут.

— В нас уже сейчас влюбляются, — сказала Катя. — В Томку влюбляются каждый день.

— Перестань, — сказала Томка. — Как не стыдно!

— Нет, — сказал Сергей. — Через несколько лет в вас начнут влюбляться по-настоящему, и у вас будут хорошие дети... Не истощенные недоеданием... Впрочем, я говорю что-то не то.

— Ничего, мы уже учили это по ботанике и зоологии, пыльца на рыльце, — и рассмеялась.

Мороженое подали в бокалах, по три шоколадных шарика, залитых клюквенным сиропом. Сергей смотрел, как девочки едят мороженое, чувствуя какую-то удивительную приятную тишину, наполненную голосами, звяканьем бокалов и гудением машины, взбивающей молочный коктейль.

— Вы почему не кушаете? — спросила Катя.

— Мне уже пора, девочки, — сказал Сергей. -- До свидания.

— До свидания, — сказала Катя. — Спасибо за мороженое. Наверное, вы все-таки артист, просто скрываете.

Сергей сел в троллейбус, по сошел через одну остановку, пошел к вокзалу пешком. Город был очень красивый, зеленый, похожий на южные города. Он пришел на вокзал, купил билет в мягкий вагон, оставил чемодан в камере хранения и вышел посидеть в привокзальный сквер. Рядом с ним сидела старушка с котенком, а напротив сидела женщина и читала газету.

И вдруг Сергей подумал, что эта женщина с газетой удивительно похожа на его мать. Лицо матери он помнил не очень хорошо: на единственной, твердой от клея фотографии оно было едва заметно, и к тому же лет пятнадцать она ему вообще не сплась, и все-таки он подумал, что если бы мать не умерла, она была б сейчас как эта женщина, сидящая, с маленькими молодыми руками.

Женщина читала газету, а он смотрел на нее. В молодости женщина была очень красивой, это и сейчас заметно — вздернутый носик, стройные ноги, хоть ей уже, наверное, за пятьдесят.

— Эта женщина с газетой очень похожа на мою мать, — сказал Сергей старушке.

— Сестры, может, — сказала старушка. У старушки было доброе лицо, и она все время гладила котенка. — Бывает, живут-живут и не знают друг друга. Вы мамаше скажите.

— Мать моя умерла, — сказал Сергей.

— А, — сказала старушка, — это хуже.

Женщина отложила газету и сидела, щурясь от солнца. Руки ее лежали на коленях. Наверное, кожа на ладонях у нее была гладкая и прохладная.

Сергею вдруг захотелось почувствовать эти руки у себя на лице. Это было попросту глупо, он даже тряхнул головой, до того это было глупо. И все-таки ему по-прежнему странно хотелось взять эти руки и прижать их к своему лицу.

— Как хоронили ее, я не видел, — сказал он старушке; голос его был какой-то странный, чужой. — Мне сказали, что она умерла, я ушел, а она осталась в больнице, укрытая одеялом... глупо я поступил, мало ли что.

Он понимал, что говорит какую-то ерунду, и все-таки ему было приятно слышать свой необычный, чужой голос, и сердце его колотилось необычно короткими толчками, от которых побаливали виски и затылок.

— Глупо, — согласилась старушка. — Верно, глупо.

Это была добрая старушка, она со всеми соглашалась.

— Ведь, бывало, с фронта присылали похоронные известия, а человек жив, верно ведь? — сказал Сергей.

Он говорил уже вообще какую-то несуразницу, он отлично помнил, как мать хрипела, и шея ее выгибалась, а голова была глубоко погружена в подушку.

— Верно, — согласилась старушка.

Это была добрая старушка.

Посреди сквера плескал фонтан, вода лилась из анта с отбитым клювом, вместо клюва у него торчал ржавый кусок трубы, двое солдат в выходных мундирах любезничали с девушкой в посочках, время от времени она начинала хохотать и хлопала то одного, то другого ладонью по спине. Звенели трамвай, со стороны станции слышались гудки паровоза, а неподалеку виднелась закусочная под тентом, высокие столы, цветные колбы с соками, никелированный цилиндр для варки кофе и большой плакат. Его легко можно было прочитать даже отсюда: «Кофе мелется при покупателях».

Сергей видел все это, чувствовал все это, понимал все это и все-таки он подошел к женщине и сказал:

— Простите... У меня испачкано... Вот здесь, на щеке.

— Пожалуйста, — сказала женщина.

Сергей даже вздрогнул, когда она начала говорить, до того у нее был знакомый голос.

— Дайте ваш носовой платок, я вытру, — сказала она.

Он дал ей носовой платок, и она сказала:

— Наклонитесь. Где испачкаю? Я что-то не вижу.

— Здесь, — сказал Сергей, взял ее руку и прижал к своей щеке. — Здесь, — повторил он, проведя этой легкой прохладной рукой по своим глазам и подбородку.

Женщина посмотрела на него, испуганно выдернула руку и оттолкнула голову Сергея от своей груди.

— Что с вами? — удивленно спросила женщина, темного погоды оправившись от испуга.

— Ничего, — сказал Сергей. — Ничего, все в порядке... А вообще извините, я немного пьян.

Женщина отдала ему платок, встала и пошла. На ней была серая юбка и вязаная пушистая кофточка с отворотами, лицо у нее тоже было молодым, хотя ей было уже больше пятидесяти, и волосы ее лишь кое-где еще оставались темно-каштановыми.

Сергей хотел пойти следом и все-таки продолжал стоять. Он пошел слишком поздно, женщины уже нигде не было ни в сквере, ни на улице перед сквером. Он вошел в здание вокзала, он очень спешил, толкая встречных, шел по туннелям-переходам, по гудящим металлическим лестницам, спускался на платформы.

Вокруг были вагоны, девушки в брючках и пожилые транзитники с поезда торопливо хлебали борщ в филиале ресторана прямо на перроне.

Он вернулся назад в сквер очень усталый, ему было жарко. Он снял пиджак и закатал рукав, а золотые запонки положил в задний карман брюк.

Старушка по-прежнему гладила котенка и улыбалась, когда котенок шершавым розовым язычком лизал ее коричневые, как у мошей, пальцы.

Плескал фонтан, аист лил воду из ржавой трубы в выщербленный цементный бассейн, вдали красовалась надпись: «Кофе мелется при покувателе», а на скамейке, где раньше сидела женщина с газетой, сидели теперь трое: светло-рыжий мужчина с большим посом и в шляпе, такая же светло-рыжая посадая женщина, явно сестра, и кудрявая темноволосая женщина в белом пыльнике.

У мужчины на пальце было золотое обручальное кольцо.

— Поговорили? — спросила старушка.

— Нет, — сказал Сергей. — Она куда-то исчезла.

— Что же это вы? — сказала старушка. — Может, действительно, только родственница.

Старушка начала мять котенку живот. У старушки тоже было толстое обручальное кольцо, только серебряное, оно болталось у нее на высохшем пальце.

— Может, она здесь живет? — сказал Сергей. — В этом городе, а может, проездом.

— Тут народу ездит, его и в Москву, и за Москву, и куда угодно, — сказала старушка.

Прошла школьница в форме с кружевным воротником, с виолончелью в чехле. Старушка посмотрела ей вслед и сказала:

— Отличница. Хорошо теперь дети растут. Музыканты.

Сергей глянул на часы, встал и пошел по направлению к вокзалу.

Уже у самого выхода из сквера он остановился, пошел назад и сказал старушке:

— До свидания, мамаша.

— Счастливо, сынок, — сказала старушка и улыбнулась.

Это была очень добрая старушка.

Сергей взял чемодан в камере хранения и вновь пошел по туннелям-переходам, затем по гудящей металлической лестнице.

У вагонов суетились люди, начиналась посадка, но мягкий вагон был почти пустым, и Сергей оказался в купе один.

— Надо спать и ни о чем не думать, — сказал он себе вслух. — Завалюсь сейчас до самого утра.

Он разделся и лег на мягкий диван, поезд уже шел, и пружины тихо позванивали.

Он лежал на правом боку, потом на спине, а пружины позванивали, и он вспомнил вдруг мелодию из фильма, который смотрел еще до войны. Это был американский фильм о композиторе Штраусе.

Композитор любил очень красивую артистку, но все-таки остался со своей худой и некрасивой женой. Некрасивую жену звали Польди — это он тоже вспомнил. «Почему Штраус остался с этой Польди?» — спросил он тогда мать. «Потому что Польди — человек», — ответила мать. Удивительное дело, он очень ясно вспомнил, как он спросил и как она ответила.

Они шли по улице, он закрыл глаза и мать вела его за руку, он любил ходить с закрытыми глазами и отгадывать, мимо чего они проходят.

— Потому что Польди — человек, — сказала мать.

Он ясно слышал ее голос, он даже открыл тогда глаза и посмотрел на мать, но вот лица ее он сейчас не помнит, белое пятно на твердой от клея фотографии.

Потом он подумал о женщине в сквере, как пропала она совсем близко, в серой юбке и пушистой кофточке с отверстиями.

Сергей встал, вернее, вскочил так, что пружины издали протяжный колокольный звон, торопливо оделся, вышел в коридор и спросил проводника:

— Папаша, вагон-ресторан работает?

Проводник был безусый мальчишка. Китель на нем был явно с чужого плеча, висел мешком.

— Подбавить хотите? — улыбнулся проводник. — Третий вагон отсюда в конец.

Сергей прошел через три вагона, два общих и один купейный, и в вагоне-ресторане заказал водки и бифштекс с яйцом.

Он вынул подряд несколько рюмок, а к бифштексу даже не притронулся, съел кусочек яблочки. В ресторане было совершенно пусто, не единого посетителя, но Сергею хотелось поговорить, и он подозвал официанта.

— Последние дни пью как алкоголик, папаша, — сказал он официанту. — А вообще я пью не очень, в меру пью.

Официант, как и проводник, был мальчишкой, длинноволосым, с черным дешевым галстуком-бабочкой.

— Бифштекс какой-то не очень, — сказал Сергей. — Разве это закуска?

— Это вы напрасно, — обиделся официант. — У нас продукция отличного качества. Мы даже за звание боремся.

— Самая лучшая закуска — это кислая капуста из золотого портегара, — сказал Сергей. — Ты пробовал когда-нибудь такую закуску, папаша?

— Нет, — сказал официант, — такой не пробовал.

— Эх, — сказал Сергей, — поздно ты родился, папаша. Интересный ты парень.

— Шли бы вы, гражданин, спать, — сказал официант.

— Это верно, — сказал Сергей и сильно провел ладонью по лицу. — Напрасно я выпил... Знаешь, дорогой, признаться откровенно, страшно мне как-то спать. Жил я неплохо последние годы, спал спокойно. Красивая девушка меня любит, умница... Я тоже не дурак, инженер и, кажется, неплохой. Но понимаешь, миленький ты мой, есть такие слова, их не каждому скажешь... Особенно в детстве их много, и потом, когда подрастаешь.

Официант расслабил галстук-бабочку и присел рядом за стол.

— А когда сказать некому, — Сергей ковырнул вилок бифштекс, — когда некому сказать, они каменеют внутри...

— Вас проводить? — спросил официант Сергея.

— Нет, — сказал Сергей. — Это я сам умею, дорогой.

Он чувствовал себя совершенно трезвым. Вначале водка сразу ударила в голову, но сейчас он был совершенно трезв, просто усталый, и, вернувшись к себе в кунг, он снял пиджак, снял туфли и мгновенно заснул, прямо в брюках, нейлоновой рубашке и галстуке.

Пробудился он среди ночи. Ему что-то снилось: какие-то коридоры, какие-то скалы, и, действительно, после сна у него болели икры ног и поясница.

Он развязал галстук, расстегнул рубашку, вышел в коридор и, опустив окно, жадно глотнул ночной воздух.

Он стоял так, пока не рассвело. Мимо прошел тучный пассажир с полотенцем. Потом пассажир пошел назад, а мимо прошла женщина с усиками и в голубой пижаме. Тогда Сергей вошел назад в купе, задернул занавеску и запер дверь.

Поезд шел, потом остановился, потом снова шел, и пружины тихо позванивали. «Потому что Польди — человек», — сказала мать.

Удивительно, как ясно он помнит этот разговор.

Мелодия в фильме действительно грустная. В этом вся суть, он слишком впечатлительный. А вообще какая ерунда, просто хочется выть от злости. Почему именно с ним такое случилось? Сколько той старушке лет? Семьдесят, восемьдесят? Какого же черта!..

Если б мать не умерла, она была б сейчас похожа на женщину в пушистой кофточке...

В дверь застучали чем-то металлическим.

Было наивно с его стороны надеяться пересидеть в купе. Можно купить мотороллер и жениться на дочери профессора. В конце концов происходит расплата, слишком много слов окаменело внутри...

Это, конечно, наивно и сентиментально. Судьба его сложилась не так уж плохо.

Можно доплатить проводнику и доехать до следующей станции, а потом взять обратный билет. А вообще все это — дерьмо... Проклятая жизнь...

Пружины позванивали уже едва слышно, а затем и вовсе умолкли.

Сергей поднялся, затянул галстук, одел пиджак, взял чемодан и вышел из вагона.

Он думал, что на улице дождь, но на самом деле светило солнце, небо было без единого облачка, и в привокзальном палисаднике цвела черемуха.

Вначале он шел быстро, однако сердце его сильно колотилось и покалывало, тогда он пошел медленнее и, сунув руку под пиджак, начал осторожно массировать левый бок.

Он вышел на привокзальную площадь. Это была маленькая чистая площадь с цветными киосками, голубоватые тепы лежали на асфальте. Пахло черемухой, свежей краской и сладким тестом, очевидно, из станционного ресторана.

Сергей остановился на углу у палисадника, полного захлама черемухи, и увидел дом с башенкой, он ничуть не изменился, такой же одноэтажный деревянный, только на фронтоне реклама: «Каждый может стать вкладчиком сберкассы».

Буквы были стеклянные и поблескивали на солнце, вечером реклама загоралась.

Сергей поставил чемодан и потянулся, хрустнул костями. Сердце его перестало колотиться и покалывать, и Сергей забыл о нем, он стоял и потягивался. Он сильно разгнул руки в локтях, и они приятно похрустывали.

Потом он прогнулся, вынытив грудь вперед, сжав лопатки, напрягая ребра. Глаза его были прикрыты, а на лице невольной появилась блаженная гримаса, он не увидел, а почувствовал ее, кожа на щеках натянулась, и Сергей поспешно выпрямился, схватил чемодан.

Он пересек площадь, подошел к дому с башенкой и увидел плакат — улыбающийся молодой человек, а под ним надпись: «Я подсчитал, фототелеграмма в два с лишним раза дешевле обычной телеграммы».

Тут же приводился образец такой фототелеграммы: «Дорогая Маша! У нас радостное событие. Получили ордер на двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Паркет, мусоропровод, газ, ванна. Третий этаж с балконом. Вчера мама с Петей ездили смотреть, очень понравилась. Приезжай на новоселье. Виктор».

Он потянул к себе двери почты, и за ними была короткая лесенка винтом, к другим дверям, а за теми — дверьми комната, перегороженная деревянной стойкой.

Окна в комнате были открыты настежь, и здесь пахло черемухой, только с примесью канцелярских чернил, а из радиодинамика звучала веселая танцевальная музыка.

За деревянной стойкой сидели две девушки: одна, остроносая и некрасивая, в такт мелодии постукивала по столу

карандашом, а вторая, с кудряшками на лбу, как-то странно подрыгивала плечиками. Лишь приглядевшись, Сергей понял, что она сидя танцует, ноги ее в модных туфельках скользили по крытому линолеумом полу.

— Можно дать фототелеграмму? — спросил Сергей.

Девушка на мгновение замерла, посмотрела на Сергея и протянула ему бланк, а когда он отошел, плечики ее снова задергались.

«Дорогая обезьянка, — написал Сергей, — кое-какие дела выпудили меня уехать. Надеюсь, ненадолго. Мечтаю о встрече, люблю. Люблю тысячу раз. Твой долговязый Сержик».

Он перечитал телеграмму, встал и попросил новый бланк.

«Дорогая Нелла, — написал он, — я уехал на некоторое время, потому что...». Он отложил самописку и задумался.

Ему никак не удавалось сформулировать причину отъезда, и тогда он разорвал второй бланк, а первый протянул в окошко танцующей девушке.

Потом он снова вышел на площадь и у полосатого столбика с надписью «Автобусная остановка» увидал такси.

— Свободно? — спросил Сергей.

— Садитесь, — сказал шофер.

Он был в поношенном комбинезоне военного образца, темно-синем, с накладными карманами.

— Куда? — спросил шофер.

— Пока к трубе, — сказал Сергей. — Тут у вас где-то труба была, что-то не видно ее, а раньше она прямо с площади была видна.

Шофер пристально посмотрел на него.

— Котельную консервного завода вам надо, что ли?

— Наверное, — сказал Сергей.

Шофер пожал плечами и включил счетчик. Они приехали очень быстро. Сергей вспомнил, как шел когда-то к этой трубе, она казалась ему где-то далеко от станции, на краю города, а сейчас они приехали очень быстро, не прошло и двух минут.

Он вышел, взялся рукой за растяжку, а шофер, приоткрыв дверцу, наблюдал за ним.

Сергею было грустно, но не очень. Он стоял и смотрел вдаль улицы. Рядом с трубой высилось четырехэтажное здание промышленного образца с металлическими сетками на окнах, из-за этого здания не видно было теперь трубы с площади.

Он подумал: мне не очень грустно, может быть, потому, что это не та труба, — и спросил шофера:

— Это дорога к больнице?

— Нет, — сказал шофер, — к больнице в другую сторону. Вам к больнице?

— Да, — сказал Сергей, сел в такси, и они поехали назад, вновь через площадь, мимо дома с башенкой.

— Тут когда-то продавали рыбу, — сказал Сергей.

— Магазины «Рыба. Мясо» на главной улице, — сказал шофер. — Мы будем проезжать.

Такси свернуло за угол и сразу оказалось в большом городе. Мигали светофоры, мелькали быстрые противосолнечные козырьки над витринами магазинов.

— Вы когда у нас были? — спросил шофер.

— Давно, — сказал Сергей.

— Узнаете? — спросил шофер.

— Кое-что, — сказал Сергей. — Дом с башенкой узнал.

— Это который? — спросил шофер.

— Возле вокзала, — сказал Сергей.

— Что-то я не припомню, — сказал шофер. — Я здесь родился, а не припомню такого, вы что-то путаете...

— Нет, — сказал Сергей. — Возле вокзала дом с башенкой.

— Не пойму я, — сказал шофер. — Я возле вокзала раз двадцать в день бываю, у меня там стоянка, вы что-то путаете, а может, вы просто не туда заехали, не в тот город, это бывает, — шофер расхохотался, он не был лишен чувства юмора.

— Нет, — сказал Сергей. — Дом с башенкой я запомнил хорошо. Там внутри почта.

— А, — сказал шофер, — почту я знаю. Да, там действительно сверху есть какая-то голубятня.

Он затормозил.

— Вот магазин «Рыба. Мясо».

Магазин был большой, с зеркальными витринами, в витринах стояли горки разноцветных консервных банок и висели громадные стерляди из папье-маше.

Сергей вошел в магазин. Пахло здесь острыми пряностями и морской водой, на мраморных прилавках лежали мокрые свежие рыбины, рыбное филе, украшенная зеленью жирная сельдь в плоских эмалированных коробках и стояли бочонки кетовой икры. Сергей купил золотистую копченую рыбу, понюхал ее и положил на сиденье такси.

— Хорошая закуска. А теперь куда? — спросил шофер.

— В больницу, — сказал Сергей и прикрыл глаза.

— Приехали, — сказал шофер через некоторое время. — Мне подождать?

Сергей увидел несколько белых трехэтажных корпусов, клумбы, посыпанные песком аллеи.

— Это не та больница. — сказал он.

— А я откуда знаю, — сказал шофер. — Я без адреса ехать не могу, еще подумаете, что я нарочно километры накручиваю.

— Нет, — сказал Сергей, — я это не подумаю, просто это не та больница.

Они развернулись и ехали на этот раз довольно долго.

— Здесь, — сказал шофер.

— Это тоже не та больница, — сказал Сергей.

— У нас в городе две больницы, — сказал шофер.

— Вы езжайте, — сказал Сергей.

Он взял из багажника чемодан и рассчитался с шофером. Такси отъездало, потом остановилось, и шофер крикнул:

— Рыба! Вы забыли рыбу!

— Не надо, — сказал Сергей. — Возьмите себе, хорошая закуска.

Больница была обнесена каменным забором, и какой-то человек, очень небольшого роста с громадными ладонями, дремал в проходной.

Когда Сергей вошел, он приподнял веки, посмотрел, но не окликнул его и отвернулся.

По больничному саду бродили выздоравливающие в пижамах, а несколько пижам скопилось у вкопанного в землю столбика, стучали в козла.

Иногда после особенно сильного удара там кто-то выкрикивал:

— Ух ты, мать моя женщина! — и хохотал.

Откуда-то из-за деревьев вышла сестра в белой шапочке и халате.

— Больные, — сказала сестра. — Сейчас второй завтрак.

— Клашенька, — позвал ее больной в пенсне с черным шнурком, а когда она подошла, что-то шепнул на ухо.

— Бардадым, пу вас в башню, — прыснула сестра.

Больные встали и, шумно переговариваясь, пошли к больничному корпусу.

Кто-то рассказывал:

— В 1918 году я работал в Виннице бухгалтером...

— А вам куда, гражданин? — спросила сестра.

Сергей посмотрел на нее и вдруг подумал, что она удивительно красива, просто прелесть что за девушка.

— Понимаете, какая история, — сказал Сергей и немного помолчал. — У меня тут дела.

— Ах, дела, — сказала сестра и почему-то улыбнулась. Шапочка ее была сдвинута на правую бровь, а глаза такие голубые, что под глазами и на переносице лежал голубоватый отблеск.

— Где у вас главврач? — спросил Сергей.

— А мы сами не разберемся? — растягивая слова, спросила сестра и чуть заметно подмигнула, а может, просто прищурила правый глаз.

— У меня мать умерла, — сказал Сергей. — Не в этой, правда, больнице, но в этом городе, мне бы навести справки. Почему вы смотрите на меня так удивленно?

— Не очень-то вы похожи на сироту, — сказала сестра. — Пойдемте.

Они молча шли по лестнице, потом коридором.

— Подождите здесь, — сказала сестра и вошла в обитую клеенкой дверь. Она вышла минут через пять и кивнула Сергею.

Главврач оказался женщиной, крашенной блондинкой с серебряными клипсами. Сергей рассказывал, а она на ощупь перекладывала какие-то папки, выдвигала и задвигала ящики письменного стола.

— Это сложно, — сказала она, когда Сергей кончил. — Архивы вряд ли сохранились. Впрочем, будем искать, напишите фамилию, имя, отчество и год рождения матери.

— Год рождения я не знаю, — сказал Сергей, — только приблизительно. Я ведь мальчишкой был.

— А от чего она умерла? — спросила главврач.

— Не знаю, — сказал Сергей. — Может быть, от сыпного тифа, а может, от малярии... лицо у нее было желтое. Внешность я не помню, но что лицо было желтое, помню...

Пока Сергей рассказывал, ему было грустно, однако, когда он кончил, то вдруг увидел себя в зеркале и подумал, что напоминает сейчас Виктора, удачно экономящего на фототелеграммах.

Губы у докторши были намазаны густо, даже излишне густо, но глаза усталые, и она с сочувствием смотрела на Сергея.

— Как же вы росли? — спросила она Сергея.

— Как-то рос, — сказал Сергей. — Забыл даже, как.

Он встал и попрощался.

Во дворе, за вкопанным в землю столиком, сидела красивая медсестра и ела ложечкой из стакана посыпанную сахаром клюкву.

— Вас Клашей зовут? — спросил ее Сергей.

Медсестра молча кивнула. Шея у нее тоже была очень красивая, а волосы с медным отливом: голубые глаза и темные с медным отливом волосы. Сергей стоял и смотрел на нее, а она молча ела клюкву, изрядно морщась, когда попадалась особенно кислая.

— Вы очень смешно морщитесь, — сказал Сергей.

— Разве? — спросила медсестра и посмотрела на него серьезно, без улыбки.

Сергей снова постоял некоторое время молча, а Клаша тоже молча ела клюкву.

— Понимаете, какая штука. Вид у вас какой-то рассеянный. Однажды рассеянный профессор идет одной ногой по тротуару, другой по мостовой, и думает: «С каких пор я начал хромать?» — сказал Сергей и после некоторой паузы добавил: — Это анекдот.

Клашины губы слегка дрогнули.

— А завтра вы тоже дежурите? — спросил Сергей.

— Завтра воскресенье, — сказала Клаша. — Мне в ночь выходить.

— А с утра что вы делаете?

— С утра я буду заниматься уборкой, мыть полы дома.

— А днем?

— А днем отдыхать перед ночной.

Снова помолчали.

Клаша кончила есть клюкву, завернула в стакан газету.

— Ладно, отдыхайте, мойте, — Сергей переложил чемодан из правой руки в левую. — Как доехать до гостиницы?

— Тут за углом автобусная остановка, — сказала Клаша.

Сергей пошел до угла, сел в автобус, приехав в гостиницу и получил номер люкс с ванной и туалетом.

В автобусе было прохладно и удобно. Администратор гостиницы — милый и вежливый человек, а дежурная по этажу заинтересовалась, не прислать ли обед в номер.

Сергей поблагодарил ее, заперся и некоторое время ходил по комнате, похвастывая.

На круглом почном столике стояла удивительная пепельница, грандиозное сооружение из бронзы, средневековый замок и ров, куда следовало сыпать пепел. Во рву лежало несколько поломанных спичек и обглоданная кость. Сергей взял кость и зафутболил ее прямо в окно. Потом он разделся, вынул из чемодана спортивный костюм, натянул его и сделал разминку.

— Нарпиво мне, — сказал он вслух, но каким-то веселым голосом. — Я хочу погрузиться в пучину печали... Где-то я читал эти пошлые стихи.

Он вошел в ванную и открыл душ на полную силу. Странное чувство испытывал он: ему было грустно, но грусть эта была какая-то придуманная.

Тогда он закрыл душ и некоторое время стоял в тишине. Когда наступила тишина, он почувствовал усталость, она накопилась за несколько дней. Зажмурив глаза, он увидел ее, серые пласты в пахнувшем мыльной водой полумраке.

И эта усталость помогла, стало лучше, исчезли легкость и покой.

Комната была залита солнцем, с улицы слышались смех и голоса, а по коридору кто-то прошел, стуча каблуками.

Он опустил шторы и начал ходить из угла в угол, чтоб не заснуть, и все-таки заснул.

Кто-то постучал в дверь, и он совершенно неожиданно понял, что давно уже не шагает по комнате.

Кровать была очень удобная, низкая, дубовая, он лежал, погрузившись в подушки, и слушал, как стучат в дверь.

Спал он довольно долго, потому что за опущенными шторами уже был вечер, и на потолке мигал отблеск уличного фонаря.

В коридоре кто-то возился у его дверей, шумно дышал и, очевидно, пригибался, заглядывая в замочную скважину.

Сергей встал, открыл дверь и увидел очень высокого человека с крепкой морщинистой шеей и волосатыми ушами.

— Я вахтер в больнице, — сказал человек. — А в сорок четвертом я санитаром работал, в старой еще больнице, там теперь аптечный склад.

— Проходите, — сказал Сергей.

Сердце его билось короткими толчками.

Вахтер вошел в комнату, огляделся, потрогал зачем-то бронзовую пепельницу и сказал:

— Вы когда сегодня приходили, я поинтересовался, что за человек... Помню я это дело, как сегодня было. Женщина с пацаном... Женщина померла, я ее сам схоронил, — он заморгал ресницами, вынул из кармана громадную холстину, прижал ее к носу и издал громкий трубный звук.

— Садитесь, — сказал Сергей. — Я вам очень признателен... Вы садитесь.

— А чего сидеть? — сказал вахтер. — Пойдемте на воздух, я вам все подробно сообщу.

Накрапывал дождь, но было очень тепло и улицы были полны гуляющих.

Где-то впереди, шипя, взлетело и лопнуло несколько ракет.

— Это в парке, — сказал вахтер, — там гуляние... Пиво там всегда хорошее.

— Я хочу памятник поставить, — сказал Сергей.

— Поставь, — сказал вахтер, — Я тебе все подробнее сообщу, сейчас мы посидим с тобой.

Они вошли в парк и уселись в какой-то закусочной. Кто-то за спиной говорил:

— Кепа — парень что надо, но в культурном обществе с ним не ткнешься, то икнет, то еще что-нибудь вытворит, то пальцами в зубах ковыряется...

— Пересядем, — сказал Сергей.

— Пошли в буфет, — сказал вахтер. — Тут буфет есть толковый, народу мало, а пиво — первый класс.

Буфет был похож на снятый с колес фургон.

— Яша, дай для начала по три кружки, — сказал вахтер рыхлому мужчине за стойкой. — И раков. Здесь всегда свежие раки, — сказал он Сергею.

Пиво было черное, ячменное, вахтер глотнул, облизал губы и понюхал вареного рака.

— Ты знаешь, что в них едят? — спросил он Сергея. — Шейку и клецки, лучше пирожного.

— Знаю, — сказал Сергей, — Я ел раков.

Сергей выпил две кружки пива, а вахтер четыре.

— Ты не беспокойся, — сказал вахтер. — Я ее как родную сестру похоронил.

Яша принес еще шесть кружек пива и граненый стакан водки, который он поставил перед вахтером.

— Вам тоже? — спросил Яша Сергея.

— Нет, — сказал Сергей, — я не пью.

— Ну я выпью, — сказал вахтер. — У нас все же вроде бы поминки.

— Ладно, — сказал Сергей, — тогда и я выпью.

Они чокнулись и выпили.

— Красавица-женщина была, — сказал вахтер, обкусывая клешню. — Я как сегодня помню... Мертвая лежала, а лицо свежее... Волосы, как мед, и по самую грудь...

— Волосы у нее каштановые были, — сказал Сергей. — Лица я не помню, но что волосы каштановые были, помню... Сначала она на какой-то станции лежала, на скамейке, это я помню, а потом ей лучше стало, и мы поехали...

Некоторое время они сидели молча. Вахтер прижался подбородком к столу, руки его свисали до самого пола, поздрн вздрагивали и по обросшим седой щетиной щекам текли хмельные слезы.

В буфет вошел парень в полосатой футболке, посмотрел на Сергея, улыбнулся и почему-то подмигнул.

Буфетчик отозвал Сергея в сторону.

— Вы его теперь не трогайте, — шепотом сказал буфетчик. — С ним это бывает.

Сергей расплатился и вышел. На пороге он оглянулся, вахтер продолжал сидеть в той же позе, казалось, он спит.

— Эй, дорогой, — окликнул кто-то Сергея.

Сзади подошел парень в футболке.

— Здорово он тебя, — сказал парень. — На сколько же он тебя наколол, на поллитра?

Парня душил смех, казалось, он не говорит, а икает.

— Это дружок мой, — сказал он. — Я его как облупленного знаю. Артист, любит приезжих пакальвать. «Я, — говорит, — историю одну чувствительную слышал. Я, — говорит, — не я буду, если поминки не справлю...»

Сергей стоял и молча слушал. У парня был белесый чуб, короткий точеный носик, и Сергей вдруг с размаху ударил по этому точеному носику, а когда парень упал, он ударил его ногой.

Он хотел ударить еще раз, но на шум выскочил буфетчик и вцепился в него липкими руками. Сергей толкнул буфетчика на мокрый куст и, чувствуя дрожь во всем теле, тяжело дыша, подошел к ярко освещенным аллеям.

Здесь было весело, много молодых лиц, танцплощадка была обнесена низкой оградой и вокруг нее на проводах покачивались разноцветные фонарики в бумажных колпаках.

Чтобы унять дрожь, Сергей пошел быстрее. Мелькали какие-то ларьки, что-то кружилось, что-то жужжало и всюду лица, лица, лица...

От быстрой ходьбы во рту у него пересохло и начало подташнивать, тогда он привалился к какой-то решетке. За решеткой были странные сооружения: на тонких жердях покачивались громадные многогранники, кубы, усеченные пирамиды, а в центре, вокруг шара-ядра, — пересекающиеся эллипсы.

-- Природа, — сказал Сергей вслух. — Вот она, наглядное пособие, как все просто и ясно. Атомы одних веществ замещаются атомами других веществ... Жизнь и смерть — это просто химический процесс...

Многогранники плавно покачивались, негромко позванивали, и Сергею внезапно стало странно, все исчезло, он был наедине с первозданной материей. «Цикл завершается, — подумал он. — Человек вновь, как в первобытные времена, наедине с природой, лицом к лицу».

И действительно, среди атомов и молекул он увидел человека в кепке и хлопчатобумажном пиджачке.

Человек спокойно ходил, прикоснулся рукой к тонким жердям, и внезапно все затрещало, вслыхнуло, завертелось, сплелось, зеленое, фиолетовое, красное пламя бушевало вокруг многоугольника, сыпались искры, с воем и шипением из гущи пламени вырывались ракеты и лопались, рассыпались в небо, освещая верхушки деревьев, бледнели звезды, длинные тени, неожиданно возникая, проносились по земле в разных направлениях и поднятые кверху хохочущие лица людей становились то ярко-зелеными, то розовыми, то голубыми...

Наконец все стихло, потемнело, пахло дымом и порохом, а многоугольники за решеткой исчезли, дымилась обугленные жерди, лишь кое-где они были темно-вишневые, раскаленные, но и там, шипя, остывали, покрывались сырым пеплом.

Толпа подхватила Сергея, понесла, он очутился возле танцплощадки, купил зачем-то билет и вошел за низенькую ограду.

Дождь давно закончился, все небо было в звездах, больших и ярких, раковина, в которой сидел оркестр, врезалась прямо в это небо — и от этого оно становилось похоже на театральную декорацию.

Оркестр заиграл веселую мелодию. Сергей стоял и мучительно долго вспоминал, где он слышал эту мелодию, и наконец вспомнил: он слышал ее утром, на почте, в доме с башенкой.

Вокруг кружились пары, и Сергея уже несколько раз толкнули, он отошел к ограде и тоже пригласил какую-то девушку, лицо которой сразу же забыл.

Он танцевал, повернув голову в сторону, глядя на фонарики в бумажных колпаках, девушка была невысокого роста, и волосы ее иногда касались его щеки, а плечо, на котором лежала рука Сергея, было острое, костлявое, совсем детское.

Оркестр играл все быстрее и быстрее, и Сергей почувствовал облегчение, исчезла давящая тяжесть в груди, поплыли мимо фонарики в бумажных колпаках, а волосы девушки приятно щекотали щеку.

«Если бы оркестр играл подольше, можно было бы прилично отдохнуть, — подумал он, — но оркестр сейчас кончит».

Они кружились мимо раковины, врезавшейся в небо, музыкантов было четверо, все в белых рубашках и черных галстуках, и по их напряженным лицам, по внашившему в экстаз барабанщику Сергей понял, что они сейчас оборвут мелодию.

Он, как в детстве, прикрыл глаза и начал гадать, где оборвутся последние звуки: сразу же за раковиной, а может дальше, у правой стороны, где ветви деревьев лежат на ограде, или, может, он успеет пройти полкруга и окажется перед входом.

— Мне больно, — сказал кто-то рядом.

Он вспомнил о девушке, открыл глаза и увидел ее: маленькое личико, вздернутый носик, большие серые глаза смотрят на него с восторженным удивлением.

— Вы мне сжали плечо, — тихо повторила девушка.

Он разжал ладонь и вдруг погладил девушку по волосам. Мелодия давно оборвалась, однако он даже не заметил этого.

Их начали толкать со всех сторон, оркестр снова играл, вокруг были разгоряченные лица, десятки ног дружно приотпывали.

— Отойдите в сторону, — сказала девушка, — или совсем уйдемте отсюда. Если вы, конечно, хотите...

— Хочу, — сказал Сергей. — Уйдемте.

— Вы командировочный? — спросила девушка, когда они вышли из парка и свернули на пустую и тихую улочку.

— Да, — сказал Сергей.

— Я так и думала, — сказала девушка. — Я вас никогда не встречала на танцах.

— Да, — сказал Сергей, — на танцах я бываю редко.

Было уже поздно, начало двенадцатого, и во многих окнах уже был погашен свет.

Они некоторое время шли молча, потом девушка неожиданно подпрыгнула, тряхнула ветку дерева, и водопад дождевых капель обрушился на Сергея.

Девушка засмеялась и побежала вперед.

Несколько капель попало Сергею за плечо, он пожегся и тоже улыбнулся.

Девушка стояла посреди мостовой и, смеясь, смотрела на Сергея.

Он сделал к ней несколько шагов и остановился, между ними было метра два освещенного уличными фонарями булыжника, к ногам девушки потянулась ажурная шевелящаяся тень дерева, а у ног Сергея лежала массивная тень какого-то дома.

Он обернулся и посмотрел на дом.

Дом был двухэтажный с железными балконами, и Сергей пошел вдоль стены до соседнего дома, одноэтажного с крыльцом.

Сергей присел на ступеньки, провел ладонью по шершавому цементу.

Кое-где цемент облупился, в проломе был виден красный кирпич.

— Здесь когда-то больница была, — сказал он подошедшей девушке. — Я здесь бывал... Только я с другой стороны приходил... С вокзала.

— Это при царе Горохе, — улынулась девушка.

— Когда ты родилась? — помолчав, спросил Сергей.

— Давно, — сказала девушка, — очень давно, иногда мне кажется, я уже старуха... Все прожито, все позади... Не знаю, почему я вам это говорю, мы ведь с вами совсем не знакомы... Вчера я проплакала целый день.

Сергей встал и молча взял девушку за руку. Пальцы у нее были холодные, и он осторожно сжал эти пальцы.

Вдали виднелась ограда и памятники.

— Это старое кладбище, — сказала девушка. — Здесь уже не хоронят.

Они медленно пошли по проходу между домами к ограде, и Сергей вошел за ограду.

Пахло свежей травой, памятники темнели среди шелестящей листвы, где-то в ветвях покрикивала ночная птица.

В свете луны Сергей разглядел узкую тропку и пошел по ней, осторожно ступая, вглядываясь в памятники.

Вдруг впереди что-то шевельнулось.

— Моя уточка, — сказал кто-то внятным шепотом. — Моя козочка... Мой малосольный огурчик...

Раздался звук долгого поцелуя.

«Чи-чи-чвак», — кричала ночная птица.

Сергей повернулся и пошел назад.

— Мой ежик... Мой маленький голубенький симпампончик, — перечисляли за спиной, на этот раз женским шепотком.

Девушка ждала его у ограды. Сергей пошел мимо ограды по кладбищу, а девушка шла по другую сторону ограды, улицей.

— Страшно все-таки умереть, — сказала девушка. — Что человек чувствует, когда умирает?

Сергей просунул руку сквозь прутья ограды и осторожно концами пальцев провел вдоль ее щек.

— Ты очень хорошая девушка, — тихо сказал он. — Ты моя уточка, ты мой малосольный огурчик...

Проход был в самом конце ограды, и они долго шли, разделенные металлическими прутьями, а у прохода стояли какие-то три фигуры и поглядывали в их сторону.

— Пои́демте назад, — сказала вдруг девушка.

— Почему? — спросил Сергей.

— Я хочу еще погулять.

Они пошли к проходу в противоположном конце ограды, девушка обогнала его и ждала, загородив проход, раскинув руки.

Сергей наклонился, прикоснулся губами к ее волосам, но она продолжала стоять в проходе, глядя на него, запрокинув голову, и Сергей внезапно начал целовать ее лоб, щеки, шею, он взял ее за руки и поцеловал концы пальцев.

— Я пойду, — немотом сказала девушка, — Я живу тут рядом. Завтра я буду на этом же месте в одиннадцать...

Она быстро поцеловала его в подбородок и убежала.

— Что-то со мной случилось, — сказал Сергей влудх. — А что, не поймаю...

Он вдруг подпрыгнул, потряхнул ветви дерева и, когда дождевые капли обрушились на него, рассмеялся.

Улица была уже совсем темной и пустой, даже фонари погасли, и он побежал, футболья сплюсненную консервную банку.

Откуда-то выскочила собака и залаяла, у собаки был мокрый нос и веселая морда.

— Привет, Фрол Потапович, — почему-то сказал собаке Сергей, снова подпрыгнул, потряхнул ветви дерева и обрызгал ее.

Он пошел дальше, увидел трубу на кирпичном фундаменте, взялся за растяжку, прикоснулся к прохладному железу, ощутил кислотоватый запах и увидел небо над трубой, оно теперь было затянуто невидимыми в темноте облаками, лишь кое-где поблескивали звезды.

«Молодость кончается, — подумал он. — Где же мое счастье?»

— Он пьян, — сказал кто-то рядом.

— Ничего, не дрейфь, — ответил другой голос.

Сергей обернулся и увидел трех пареньков, двое были в одинаковых кожаных курточках, а третий — в вязаном пуловере.

— Можно вас на минутку, — сказал один из пареньков в кожанке. — Вы вот что... Вы с этой девушкой дела не имейте, ясно... А то ведь у нас... Знаете, какой у нас город... У нас ребята отчаянные...

У паренька под глазом был синяк, уже не свежий, полурассосавшийся, а на подбородке — след зажившей царапины.

— Кто это тебя? — спросил Сергей и улыбнулся.

— Какая разница, — сказал паренек. — У нас кожа дубленая, мы не дрейфим.

— А у нас кожа тоже дубленая, — тихо сказал Сергей. — Понял, пацан?

Он отпустил растяжку и пошел мимо ребят. Задира с подбитым глазом пытался стать у него на пути, но Сергей легко оттолкнул его и пошел дальше.

— У вас ведь жена есть, — крикнул другой паренек. — Вам лишь бы время провести... А человек без нее жить не может, у него, может, первая любовь.

Сергей остановился и посмотрел на ребят.

— Они с третьего класса дружат, — добавил второй паренек в кожаной куртке и показал на паренька в пуловере.

Паренек в пуловере молчал, голова его была опущена, он стоял скорбившись. Сергей только сейчас как следует разглядел его: кожа на переносице у него была сморщена, а подбородок подрагивал, казалось, он сейчас либо заплачет, либо закричит.

— По городу слухи пойдут, что Люська с тридцатилетним командировочным путается, — сказал задира. — Думаете, ей не влетит от матери?

— Ладно, — сказал Сергей.

Он почувствовал какую-то усталость и вдруг вспомнил, что ничего сегодня не ел, за весь день два вареных рака.

— Ладно, — он махнул рукой и пошел на поблескивающий вдаль свет.

Он вышел к привокзальной площади, она была хорошо освещена окнами вокзала, отблесками станционных огней, к тому же в разных концах площади горело несколько фонарей, а над домом с башенкой светилась красная неоновая надпись: «Каждый может стать вкладчиком сберкассы», и башенка тоже была иллюминирована электрическими лампочками.

Сергей пересек площадь, пошел переулком до водопроводной колонки, нагнулся и окупил лицо в тепловатую воду.

Реклама над домом с башенкой отсюда виделась просто кучей красноватых огоньков, и, казалось, далеко на горизонте висит какое-то громадное здание с красными окнами.

Сергей шагнул, пошел дальше, но вспомнил, что он не знает дороги к гостинице, и повернул назад к площади.

Он увидел на стоянке такси, постучал в ветровое стекло и разбудил дремавшего за рулем шофера.

Шофер зевнул, улыбнулся, нажал стартер и включил фары.

— К гостинице, — сказал Сергей.

— Приезжий? — спросил шофер.

Сергей не ответил, он дремал, завалившись в угол сиденья.

— Интересное дело, — сказал шофер. — Завтра на сто первом километре гонки на мотоциклах, обхохочешься. Неофициальное первенство мира. Эти же инвалиды тоже сдают на права, правила уличного движения, мехчасть, все-таки водители транспорта.

Сергею что-то снилось, когда водитель тронул его за плечо, он слышал еще какие-то обрывки фраз, но, увидев освещенную слабым светом кабину такси, он все забыл, расплатился, вошел в вестибюль гостиницы, ему запомнился синий ночной коридор, и сразу же за этим коридором он увидел низкую дубовую кровать, очень удобную, разделся, посмотрел на бронзовую пепельницу и заснул.

Утром он долго лежал, поглядывал на часы. Он выпимал их из-под подушки и следил за секундной стрелкой.

Первый раз он вынул часы без четверти девять, потом в двадцать минут десятого. В половине одиннадцатого он вскочил, сунулся под душ, оделся и торопливо вышел на улицу.

Было очень хорошее воскресное утро, нахло черемухой, мимо прошли вереницей девушки и ребята в спортивных костюмах и с рюкзаками.

Они пели, а впереди долговязый парень в войлочной шляпе нес голубой флажок с намалеванной на нем веселой мордочкой.

Рядом с Сергеем стоял бритоголовый мужчина в странной соломенной кепке и хохотал.

-- Глянь, -- сказал мужчина и показал пальцем на очередь у автобусной остановки, -- ну и рожки...

-- Вы чего? -- спросил Сергей.

-- Я не по злобе, просто ради интересу. Ты приглянись к людским физиономиям... У одного такая, у другого такая, -- мужчина скорчил несколько гримас. -- Один посапывает, другой, как кот, круглый, у третьего зубы пняные, влево, вправо наперекос.

Он снова захохотал.

Сергей посмотрел на мужчину.

Правая бровь была у него ниже левой, нос расплюснутый, подбородок срезан, а уши росли явно не на предназначенном им природой месте.

Сергей тоже захохотал, и некоторое время они с мужчиной хохотали, глядя друг на друга.

Потом Сергей пошел в ресторан при гостинице.

Он был по-волчьи голоден и съел мясной салат с вареными яйцами, картофелем и майонезом, сочную тяжелую отбивную, блинчики с джемом и очень сладкий густой компот из консервированной черешни.

Сергей вынул часы, было без трех минут двенадцать.

Он заказал порцию сливочного пломбира.

Жирные холодные комочки таяли во рту, и Сергей проглатывал их, он ни о чем сейчас не думал, все было до того просто и ясно. Он искренне удивился, как этого раньше не понимал.

Человек живет, затем умирает.

Случаются войны.

Одним отрывает голову, другим руки, третьим ничего не отрывает... Арифметика... Трижды три — девять...

На стенах ресторана были намалеваны картины: олень среди своры охотничьих собак, патюрморты, связанная в пучок дичь, длинные повисшие шеи, окровавленные клювы...

Сергей вышел из ресторана и сел в автобус.

Пассажиры везли с собой волейбольные мячи, удочки, одна женщина ехала даже с раскладной кроватью.

Автобус проехал по мосту над болотистой речушкой, а за мостом виден был лес и слышен был треск множества мотоциклетных моторов.

— Глянь, сколько их, — сказал кто-то. — На права сдают. Автобус остановился, и Сергей сошел.

Он увидел утрамбованную площадку, а на ней несколько десятков инвалидных мотоколясок и попытался вспомнить, кто ж ему говорил вчера об этом, но никак не мог вспомнить.

Площадка была в сложном порядке размечена флажками, и коляски инвалидов пробирались в этом лабиринте.

Сергей подошел ближе. Вокруг смеялись, шутили, было жарко, и многие инвалиды разделись.

Неподалеку от Сергея сидел широкоплечий инвалид в тельняшке.

Кульянка у него была с татуировкой: какая-то расплывшаяся надпись и часть женской головки, срезанная вкосою.

— Что, Петя, — сказал ему инвалид в старом танковом шлеме, — нижнюю половинку, миленький, потерял?

— Там у меня еще дамское имя было, — сказал Петя. — Красной тушью наколол... В сороковом году... Теперь это, может, и к лучшему, жена ревновать не будет.

— Застрял Мишка, — голубоглазый инвалид показал на заглохшую среди флажков коляску.

Инвалид был в сетке с короткими рукавами и под сеткой, через грудь, у него тянулась лента, на которой держался протез.

— Нет лучше лошади, — заметил круглолицый упитанный инвалид. — Мы на них всю Белоруссию прошли, бо-лта... Лошадь ударишь крепче, она и потянула.

— Ты рассуждаешь, как враг прогресса, — сказал голубоглазый. — Ребята, Перекупенко — враг прогресса. Ты не вовремя родился, Перекупенко. Тебе надо было жить во времена древней Руси, и ноги бы тебе обрубил честной простой секирой, — он похлопал круглолицего по жирной культяпке, — а не оторвали этим проклятым тринитротолуолом.

К инвалиду в тельняшке подошел мальчик лет восьми, на поясе у него висела потертая кобура от нагана.

Инвалид взял его рукой за голову, пригладил волосы, затем застегнул пуговицу на штанишках, а обрубком второй руки осторожно вытер мальчику лицо.

— Это у тебя тэтэшка или парабеллум? — спросил мальчика голубоглазый, кивнув на кобуру.

— Он еще необстрелянный новобранец, — сказал инвалид в тельняшке.

— Вот такие пацаны — самый сообразительный народ, — сказал инвалид в танковом шлеме. — Я в начале войны курсачом был, ну, постарше, но все ж пацан... Немец десант выбросил, а вокруг никаких частей, кроме нас. И как вчера было, помню, немецкий пулеметчик в скирде засел, ничем его оттуда не возьмешь. Зажигательных пуль у нас тогда не было. Так что ж ты думаешь, сообразили, лук сделали, ремень натянули, намочили стрелу в бензине, сожгли его в той скирде к хренам.

— Тише, — сказал голубоглазый, — не ругайся.

Он торопливо заковылял навстречу въезжавшей на площадку инвалидной мотоколяске.

— Здравствуй, Машенька, — сказал он.

Женщине в мотоколяске было лет под сорок.

Светло-русые волосы ее ниспадали до плеч, были забраны заколками вправо, и в левом ушке поблескивал в тонкой золотистой сережке зеленый камешек.

У женщины была красивая шея и высокая грудь под белой прозрачной блузкой.

— Здравствуйте, мальчики, — весело сказала женщина.

Сергей медленно подошел к лесу.

Вдоль реки расположились отдыхающие, слышались хлопки волейбольного мяча, где-то внизу играл оркестр.

Сергей пошел в кустарник и начал пробираться, раздвигая облепленные паутиной ветви, он устал, по лицу его струился пот, а кустарнику все не было конца.

Наконец кустарник кончился, и Сергей снова увидел размеченную флажками площадку, услышал треск мотоциклетных моторов.

Тогда он побежал назад, едва успевая прикрывать глаза от хлещущих ветвей, и наконец оказался в лесу.

Он лег на траву лицом вниз.

Сердце невелилось под ним, ворочалось, прижатое к земле.

В лесу крепко пахло хвоей, кричали птицы, мелькнула рыжая белка.

И вдруг вновь, совсем близко, раздался треск моторов.

Впереди, ограниченный с одной стороны слями, а с другой кустарником, виден был кусок шоссе, белая полоса, похожая на театральный подмосток, и по нему проносились коляски инвалидов.

Это был бесконечный поток искалеченных человеческих тел среди буйной, полной жизни природы, среди щебета птиц, среди тяжелых, палящих соками ветвей, среди травы, полевых цветов, среди всего ползущего, гудящего, прыгающего.

Сергей с трудом повернулся на спину.

Он пролежал так довольно долго, потом встал и пошел, припадая к деревьям, глядя на спокойно и бесстрастно шелепящие высоко, под самым небом, ветки.

Он услышал смех и визг, кто-то кричал: «Квач, квач, дай калач... Васенька, дай калач...»

По поляне бегало несколько мужчин и женщин.

Мелькали лысины, седые волосы.

Женщины тоже были немолоды.

Женщина в сарафане с покрасневшимся лицом взвизнула, ловко увернулась от хохочущего Васеньки и, перебежав через поляну, ухватилась за дерево.

Васенька был полуголый, отстегнутые подтяжки болтались сзади и шлепали под ногами.

У него осталась лишь редкая полоска светлых волос у ушей и на затылке, тело было крепким, загорелым, а на спине и груди виднелись лучевидные шрамы, следы разрывных пуль, заросшие сизо-багровым диким мясом и по краям затянутые жирком.

Какой-то костлявый мужчина подкрался к Васеньке сзади на цыпочках, потянул за подтяжки, Васенька ринулся, пытаясь его достать, но мужчина отскочил и тоже довольно захохотал.

Под кустами в тени светло-голубой «Волги» была расстелена скатерть, и на ней в шелковой нижаме лежал седющий мужчина с усками.

Он хохотал, каждый раз снимая очки в золотой оправе, вытирая глаза и протирая платком стекла.

Одна нижамная штанина его была пуста.

Рядом на траве поблескивал никелированными кнопками новенький кожаный протез, и к протезу этому было прислонено несколько бутылок коньяка и большой промасленный пакет.

Красивая женщина с сигаретой в зубах стояла на коленях, резала мясо, большие сочные куски.

На скатерти лежали толстые копченые колбасы, желтые лоснящиеся круги сыра, стояло несколько вскрытых банок рыбных консервов и фарфоровый бочонок паюсной икры.

Сергей обошел поляну и пошел к шоссе.

Визг сзади прекратился, и нестройный хор мужских и женских голосов затянул:

— Вот один ему диктует: «Здравствуй, милая жена! Глубоко я в сердце ранен, и не жди домой меня...»

Было четверть третьего, к автобусной остановке шли распаренные на солнце люди.

Женщина в соломенной шляпе совала мальчику в губы яйцо.

— Ты обещал мне сегодня быть хорошим ребенком, — говорила она. — Пока я не жалуясь.

— Они кислые, — хныкал мальчик. — У меня от них язык становится кислым.

Подошел старичок с плетеной корзиной грибов.

Сверху грибы были прикрыты еловыми ветками.

— Представьте себе, у Клары Борисовны лучевая болезнь, — сказала женщина с птичьим лицом.

— Что вы! — воскликнула другая женщина с бородавкой у уха. — Ведь у нее был ишиас.

— Это местный коновал поставил диагноз, а она ездила к профессору... Этому самому... Не помню фамилию... В общем, к грузину, оказывается, в прошлом году она попала в Ялте под радиоактивный дождь. Я читала популярную брошюру: печень отекает, а сосуды становятся хрупкими. Такой ужас... Кларе Борисовне просто не везет в жизни. В молодости она пережила ленинградскую блокаду, у нее там половина родных вымерла, старшая дочь умерла... Потом ей попался неудачный зять. Пятнадцать лет они ссорятся из-за жилищной площади...

Сергей стоял у обочины шоссе и слушал песню.

— А второй ему диктует: «Здравствуй, милая жена! Жив я, ранен не опасно, скоро жди домой меня...» -- доносилось с поляны.

Подъехал автобус.

В нем было много молодежи в спортивных костюмах, и там тоже несли, причем частушки со странным припевом:

— Карам-бам-бам-бам-бам-бали, тарам-бам-бам-бам-бам-бали.

Посреди автобуса стоял человек в картузике, очень оживленный, улыбающийся, явный весельчак по природе. Правда, еще и подвыпивший дополнительно.

Он притоптывал ногой и размахивал руками, пытаясь дирижировать.

Руки у него были большие, в порезах, два пальца на левой руке забинтованы несвежим бинтом, а ногти черные, расплюсченные — ногти мастерового.

На остановках входили новые пассажиры, смотрели удивленно, кое-кто ворчал, но большинство улыбалось, некоторые даже начинали подпевать.

«Карам-бам-бам-бам-бам-бали, — подумал Сергей, — какая чушь».

— Бам-бали, — сказал он, — карам-бам-бам-бам-бали.

Человек в картузике подмигнул ему и еще энергичней взмахнул руками.

На остановке перед мостом весельчак выпрыгнул и помахал картузиком.

Не было уже и ребят в спортивных костюмах.

Пели и хохотали какие-то другие люди.

— Карам-бам-бам-бам-бам-бали, — выкрикивал припев Сергей.

Поющий автобус въехал в город.

Сергей сошел на конечной остановке и увидел дом с башенкой.

Он был весь освещен солнцем, а башенка была покрыта чернищей.

Удивительное дело, он только сейчас заметил, что башенка покрыта черепицей, он никогда этого не помнил.

— Карам-бам-бам-бам-бам-бали, — напевал Сергей, глядя на дом с башенкой.

У дома были резные оконные переплеты, слегка подгнившие, крепкий фундамент из неотесанных глыб гранита и, кроме башенки, с противоположной стороны была веранда. Сергей никогда не замечал и не помнил этой веранды.

На веранде сушилось белье, какие-то трикотажные подптанники, и стоял очень толстый человек в синей майке, руки, грудь и плечи его были покрыты густой курчавой шерстью, а в зубах торчала костяная зубочистка.

— Карам-бам-бам-бам-бам-бали, — тихо напевал Сергей. — Тарам-бам-бам-бам-бам-бали.

Так он и шел, напевая, пока не увидел в витрине свое лицо.

Оно показалось ему до того незнакомым, что он даже испугался.

«Пожалуй, не каждый человек очень хорошо знает свое лицо, — подумал он. — Каждый знает только в общих чертах... Это даже забавно, я отлично помню лицо старухи, ко-

гда-то торговавшей рыбой на площади... Мне двадцать девять лет, и ту старуху я видел в детстве не более получаса... А лицо матери я забыл... Белое пятно на твердой от клея фототрафнии...»

За витриной мелькали люди с подносами, он прочел вывеску «Столовая» и вошел в продолговатый зал, присел у столика.

Розовощекая девка в марлевой косынке подошла к нему и начала вытирать столик мокрой тряпкой, тыча оголенные локти.

Локти ее пахли борщом и клеенкой.

Сергей хотел подняться и уйти, но вдруг увидел спящую девочку.

Было ей года два, и спала она на сдвинутых стульях у крайнего столика.

Гремели подносы, в глубине зала была буфетная стойка, там слышалось чавканье пивного насоса, а девочка споконно дышала, положив голову на резинового надувного крокодила.

Рядом сидела белобрысая девчонка лет шестнадцати и хлебала борщ.

— Ты бы ее хоть поближе к окну положила, — сказал Сергей. — Душно ведь здесь.

— Чтoб тюрьму заработать, — сказала белобрысая девчонка. — Простудитесь или выпадет. Это такая язва. Слава богу, что спит... Я у них последний месяц служу, паспорт получу, пойду на консервный завод работать.

Белобрысая девчонка выудила вилкой из борща кусок мяса, намазала его горчицей, посыпала солью и проглотила.

— Родители по курортам ездят, — зло сказала она. — Родная бабка на даче торчит с кавалером, — девчонка хохотнула. — с отставником... А тут и в выходной не погуляешь.

Девочка была босая, туфельки ее стояли рядом на соседнем стуле, и Сергей увидел маленькие розовые ступни.

«Я ведь никогда не держал на руках ребенка», — подумал Сергей.

Как-то ему сунули годовалого родственника Неллы, тот заревел и моментально описался.

Неллина тетка хохоча сказала:

— Тонкий намек на толстые обстоятельства, — поцеловала ревущего инсюна в мокрую попку, и Сергею стало тошно.

Но эта спящая девочка с розовыми ступнями была чем-то совсем другим.

Ее хотелось взять и осторожно поестти куда-нибудь подалее от чавкающего пивного насоса, куда-нибудь в лес, на траву, стоять с ней среди тишины и смотреть, как она спит.

— Можно мне подержать девочку? — спросил он. — Посидеть с ней у окна?

Белобрысая девчонка посмотрела на него удивленно.

Она даже перестала хлебать, намоченная в горячем борце хлебная горбушка дымилась у нее в левой руке.

— У меня такая девочка дома осталась, — сказал Сергей. — Очень похожа. Я здесь в командировке и вот, скучаю.

Белобрысая девчонка поднесла дымящуюся горбушку ко рту, кусанула.

— Берите, — сказала она, пережевывая хлеб. — Только не разбудите, а то крик поднимет, я уже сегодня натаскалась, я уже руки оборвала.

Сергей подошел к девочке, наклонился над ней с сильно заколотившимся сердцем и протянул руку, прикоснулся к розовым ступням и сразу же испуганно отдернул пальцы.

Белобрысая девчонка встала, взяла девочку, положила ее Сергею на руки и, присев, снова начала хлебать борце.

Сергей пошел к окну с девочкой на руках.

Ему надо было пройти довольно большое пространство, он видел плывущие мимо подносы с горячим варевом, потные лица, расстегнутые ворота, чавкающий свинцово-серый поршень пивного насоса, и мышцы его напряглись, словно готовые вступить в схватку, в смертный бой, не знающий пощады, а ноги его осторожно нащупывали твердую поверхность пола.

Наконец он увидал распахнутое окно, улицу, зеленеющие деревья и, переведя дыхание, вздохнул облегченно.

Девочка спокойно спала, у нее были светлые легкие волосы.

Подошла белобрысая девчонка, вытирая жирные губы платком.

— Давайіте, — сказала она. — Вам ведь обедать надо.

— Я уже обедал, — сказал Сергей. — Ты сейчас куда?

— На бульваре буду с ней торчать, — сердито сказала белобрысая девчонка. — Проклятая работа. У каждого воскресенье, а я вроде не живой человек.

— У меня сегодня день свободный, — робко сказал Сергей, — я мог бы с ней погулять.

Белобрысая девчонка посмотрела на него, усмехнулась и пожала плечами.

— Знаете что, — сказала она вдруг, — если на то пошло, вам ведь все равно безразлично, где гулять... В общем, у меня свидание... Парень придет, а я с такой нагрузкой... Если уж вам делать нечего, пойдете вместе... Посидите где-нибудь там с Катькой, это два шага отсюда, — поспешно добавила она.

— Конечно, — сказал Сергей. — Конечно, я поспежу.

Они вышли на улицу.

Вокруг свешивли прохожие, говорили, смеялись, пронесся тяжелый панелевоз, измазанный глиной, и у Сергея вдруг выступала на лбу холодная испарина, а он сам не понимал, что происходит.

Девочка лежала у него на левой руке, а правую он выставил вперед, как щит.

— В чем дело? — спросила белобрысая девчонка. — Пойдемте быстрее.

Она перебежала через дорогу и подошла к парню, прислонившемуся к афишной тумбе.

Парень был в форме ремесленного училнища, фуражечка с обрезанным козырьком сбита к затылку, ворот рубашки расстегнут и видна спортивная майка, а на пальце самодельный, выточенный из стальной шайбы перстень.

Он положил белобрысой девчонке руку на плечо, и они пошли по аллее, парень что-то говорил, и девчонка прискакала.

Потом девчонка подбежала к Сергею, сунула ему надувного крокодила, полплитки шоколада и побежала назад.

— Это отец? — спросил парень.

— Не ори, — сказала девочка. — Это чудак какой-то... Ты тише.

— Я тебя оттуда заберу, — сказал парень. — Скоро ряд получу. У нас токаря знаешь сколько зашибают? Нечего тебе чужих детей нянчить.

Он шепнул ей что-то на ухо, она засмеялась и лягнула его по затылку, так что фуражечка слетела и покатила вдоль газона.

Хохоча, они принялись бегать по бульвару вокруг скамеек.

Сергей неожиданно почувствовал, что на него смотрят, он торопливо оглянулся, с каждым мгновением ему становилось все беспокойнее, и он непрерывно оглядывался, пока не понял, что на него смотрит девочка.

У девочки были темные глаза, такие же темные глаза были когда-то на желтом усталом лице, и на мгновение ему почудился в детском взгляде другой. Давно забытый.

Запелестела листва на деревьях, и это почему-то успокоило.

Девочка еще некоторое время смотрела на Сергея, затем спокойно вздохнула, прикрыла веки и прижалась к его груди.

И в это мгновение что-то с ним случилось, какой-то странный бесшумный взрыв внутри.

Белобрысая девочка шла вперед, обнявшись с парнем, а он шел за ними, дышал глубоко и улыбался.

Они пришли к пустырю, белобрысая девочка с парнем исчезли в кустах, а Сергей осторожно присел на траву, покачивая девочку.

Вдруг он что-то забормотал, он сам не мог понять, что бормочет, он прикасался к розовым ступням девочки и говорил какие-то странные слова-заклинания, которых нигде никогда не слышал.

Потом он понял, что это самые обыкновенные слова, просто произносил он их нараспев, хмельным шепотом, с всхлипами, весь сжавшись, напрягая тело, чтоб не дрожать и не разбудить девочку.

— Маленькая, маленькая моя, — разобрал он, — моя маленькая.

Оказывается, он все время произносил одно и то же слово.

Из кустов появился парень, присел рядом с Сергеем и сказал:

— Дай закурить.

— Не курю, — сказал Сергей и удивился своему спокойному будничному голосу.

Подошла белобрысая девчонка, лицо ее было словно освещено чем-то, хотя стояла она в тени кустарника.

— Спит? — спросила белобрысая девчонка, кивнув на девочку.

— Спит, — ответил Сергей.

Парень обнял ноги девчонки, а она сняла с него фуражечку, вынула гребенку и, счастливо улыбаясь, принялась расчесывать ему вихри на пробор.

— Пойдемте, ребята, — сказал Сергей. — Теперь вы со мной пойдете.

Он поднялся и пошел, по-прежнему покачивая девочку. Надувной крокодил торчал у него из правого кармана хвостом вверх.

Белобрысая девчонка и парень шли сзади и громко целовались.

Они вышли на площадь каким-то узким переулком и в неожиданном месте, дом с башенкой отсюда был виден по диагонали.

Уже вечерело, туман заполнил площадь, он оторвал дом с башенкой от земли, от тяжелого фундамента из гранитных глыб, исчезли подгнившие оконные переплеты, исчезла веранда, где сушились трикотажные подштанники...

— Мне пора, — сказала белобрысая девчонка. — Катьку кормить пора. Я отсюда на автобусе.

Она подонюла, взяла девочку за плечи, но Сергей по-прежнему крепко прижимал девочку к груди, словно не слыша.

— Мне пора, — повторила белобрысая девчонка и удивленно посмотрела на Сергея.

Он выпустил девочку и не знал, куда деть свои руки, после девочки на груди у него осталась теплая полоса, он прижал к ней руки и так стоял, глядя на плывущий по воздуху дом с башенкой.

— Коля, завтра в шесть, — крикнула белобрысая девочка, исчезая в тумане.

— Хорошая баба, — сказал Коля. — Ну ладно, приветик, я пошел на футбол.

— Приветик, — ответил Сергей и улыбнулся.

Коже на лице стало щекотно от слез, Сергей попытался вытереть глаза, однако руки были плотно прижаты к груди, хотелось, чтобы подольше не остывала у него теплая полоса на груди, и он так и шел через площадь с мокрыми щеками.

Он пошел в станционный ресторан, сел за столик и заказал себе ростбиф с жареным картофелем, пирожки с яблоками и лимонное желе.

Башенку, окруженную красноватым ореолом, пошатывало вдали за окном, она сейчас была похожа на речной бакен, который устанавливают в опасных местах, у отмелей или у подводных скал.

Он смотрел на этот бакен и ел пирожки с яблоками.

Потом он съел лимонное желе, а потом ростбиф с жареным картофелем.

1  
1

# **РАБА ЛЮБВИ**

*Черно-белые кадры, стилизованные под немое кино начала века.*

Название картины на фоне размытой фотографии главной героини. Остальные титры на черном фоне, белые буквы.

Из затемнения. Хлещет дождь, блестят мокрые городские крыши. По улице с большим тяжелым чемоданом идет молодая девушка.

Девушка идет по улице. Навстречу ей идет высокий господин с бородкой. Останавливается, говорит. Девушка смущенно отвечает. Они разговаривают. Надписи:

— Извините, мадемуазель, но ведь вам тяжело. Возьмите извозчика...

— У меня нет денег.

— Вы можете отдохнуть в моем доме. Поужинаем, выпьем кофе...

На первом плане извозничья пролетка. Девушка смущена и обрадована. Извозчик выезжает из кадра. Затемнение.

Из затемнения. За столом девушка и господин с бородкой. Горничная вносит поднос с дымящимися чашечками кофе. Господин кладет в кофе сахар. Девушка с удовольствием пьет горячий кофе, но вскоре голова ее опускается и она засыпает. Затемнение.

Из затемнения. Просыпается она на диване. Позднее утро. Она одна. Испуганно вскакивает, зовет. Надпись:

— Серж!.. Серж!!!

Входит горничная. Говорит. Девушка в ужасе. Надпись:

- Господи уехал еще вчера.
- Негодяй!
- Вы находитесь в мебелированных комнатах, здесь не положено кричать.
- Я в мебелированных комнатах?

Девушка ломает руки. Затемнение.

...Дождь, сырой город. Девушка с тяжелым чемоданом уныло бредет по улице...

Тапер наигрывает грустный мотив.

В тесно набитом зале всхлипывают и сморкаются.

Высокий подъезд кинотеатра с уходящей наверх лестницей. Над подъездом — рекламный щит с надписью: «„Жизнь только издалека красива и парадна“. Тяжелая душевнораздирающая драма в четырех частях с участием любимцев публики Ольги Вознесенской и Александра Максакова».

По краям подъезда — огромные рекламные щиты: Ольга и Максаков. Лестница забита людьми, вдоль дома — очередь.

Подъезд набит битком. Люди стоят, тесно прижатые друг к другу. Над окошком надпись: «Билетов нет».

— Я слышал, через запасной ход вчера своих пустили, — хриплым голосом говорил какой-то тощий человек, закутанный в бафлык, сверкая глазами сквозь стекла очков.

— А я вот слышал вчера: Киев большевики взяли!

— Ложь! Не может быть такого!

-- Дай-то Бог...

— А если и так, какая разница, — вмешался в разговор поленьевый господинчик. — Большевики там, все остальное здесь!

— Что же это?

— Все! Ольга Николаевна, Шаляпин! Бунин, говорят, скоро будет! Вертинский!

...У входа, в очереди, какая-то дама под зонтом, закинув голову, смотрела на афишу. Через ее плечо мы видим туфлю Ольги, нарисованную на холсте.

— Ольга Николаевна, голубушка... Ангел вы наш... — губы ее задрожали от охватившего ее чувства.

Застеснявшись своего порыва, она смущенно оглядывается. Мимо, толкнув ее, пробегает взволнованная госпожа.

Взволнованная госпожа появляется в проеме:

— Безобразие, госнода, половина билетов мимо кассы идет!..

Толпа зашумела.

— Депутацию необходимо!

— К директору!

— Почему такое отношение к публике?!

Несколько пролеток с солдатами остановились у кинотеатра. Из первой вылез капитан. Лицо его было бело и кругло; светлыми, почти белыми глазами он уставился поверх толпы. К нему подбежал филер, что-то зашептал. Не дослушав его, капитан пошел к входу.

— А вот и власть, — сказала какая-то дама. — Господи капитан, почему такое безобразие? Публика мокнет под дождем... Я жена губернского секретаря...

Капитан посмотрел на нее, не ответил, прошел мимо. Толпа сомкнулась за ним, глядя вслед.

В углу сцены танер играл на пианино. Вспыхнул свет. Танер перестал играть, привычно закрыл крышку и устроился ждать. Мимо него прошел капитан и остановился перед погасшим экраном:

— Все на местах! Приготовить документы!

Началась паника. Давка.

Филер от двери бросился в толпу.

Какого-то человека солдаты схватили, растянули руки, поволокли.

— Госнода, это опибка, госнода! — улыбаясь, обращаясь человек к ведущим его за руки солдатам.

Он не вырывался, охотно шел сам.

— Ну что вы, ей-богу, отпустите! Я сам же иду!

Кто-то толкнул его прикладом в спину. С него слетела шляпа, он чуть было не упал, но удержали солдаты. Человек опять засмеялся:

— Это несправедливо, — весело сказал он.

Его вели сквозь толпу, капитан шел следом. Они вышли на улицу.

Дождь кончился. Сквозь туман пробивалось солнце. Человек растерянно оглядел стоящую у входа испуганную публику, пожал плечами.

Капитан посмотрел на какого-то унтера, тот кивнул солдатам. Они подвели веселого человека к витрине магазина и, держа его за обе руки, сильно ударили им о стекло.

Посыпались осколки. Человека подняли и бросили через борт в кузов подъехавшего грузовика.

Грузовик тронулся, увозя веселого человека. Капитан мгновение смотрел на толпу, потом погрозил ей пальцем. А еще через мгновение все стало так, как было десять минут назад.

### *Черно-белые кадры.*

Павильон. Декорация богато обставленной комнаты. Горничная — Ольга Вознесенская — убирает комнату. На стене большой фотографический портрет красавца с тонким пробором. Девушка оглянулась, стала на диван и, вытирая пыль с рамы, покрыла портрет поцелуями. Из-за портрета выпала записка... Девушка читает ее... рыдает... садится, держа портрет на коленях и не переставая рыдать...

Слышится команда «Стоп!».

В кресле сидел режиссер. Тучноватый, с барским лицом, он держал в руке потухшую сигарету и смотрел на пепел.

Ольга сидит в той же мизансцене. Тапер перестал играть, вышел во двор.

— Можете выключать! — сказал оператор.

По одному гасли приборы. В углу павильона сидел седой сценарист с помятым лицом и густой шевелюрой.

— Ту-ру-ру-ру, — пропел режиссер. — Ну что ж. По-моему, неплохо... тут бы надпись только... эдакую... а?

— По-моему, — робко заметил автор, — это излишне...

— Я вас не слышу.

Оператор Потоцкий подошел к пианино.

— Я могу написать! — сценарист сел и тут же заскрипел пером.

Потоцкий провел пальцем по клавишам. Было слышно, как во дворе смеются дети.

К большой ветке росшего среди двора дерева были подвешены качели, на них сидел тапер, две девочки — дочери Ольги, — хохоча, раскачивали его. Рядом, в тени, в плетеном кресле сидела старушка — мать Ольги.

Ольга недоуменно оглядела присутствующих:

— Неужели вы не понимаете, что это все ужасно! Просто ужасно! Я все время чувствую себя раздетой! Я беспомощна, нелена, сменила!.. И это так не совпадает со стилем господина Максакова!

Потоцкий стал тихо что-то наигрывать. Ольга встала.

— Я не могу больше сниматься без партнера!..

Режиссер Калягин курил, раскачиваясь в плетеном кресле-качалке; в глубине быстро писал что-то сценарист.

— И когда же, наконец, они придут? — грустно и тихо, почти про себя спросила Ольга.

В глубине, за стеклянной стеной ателье смеялись гример и костюмерша, пили чай.

К фонтану в середине двора подъезжает автомобиль кинопромышленника Южакова. Он вылез из машины, девочки бросились к нему:

— Савва приехал!

Южаков поднял их на руки, поклонился сидящей под деревом Любови Андреевне, Ольгиной матери, на ходу спросил у сидящих на краю фонтана осветителей:

— Почему не снимаете?

Они не ответили, пожали плечами.

— Почему не снимаете? — Южаков громко спросил, направляясь к входу в павильон.

— Пленка кончилась, — за кадром ответил Потоцкий, не переставая играть.

Южаков опешил. Он опустил девочек, и они побежали в парк.

— То есть как?! — изумленно спросил он. — Куда же она девалась?! Должно было хватить еще и на завтра!

— Лабораторный брак.

— Я вычту у вас из жалованья!

Оператор пожал плечами, продолжая играть.

Ольга вышла на порог и, стоя рядом с Южаковым, зашентала нангранно:

— Его зовут Владимир Ф. Он влюблен в даму в желтом. Да, конечно. Она молода, у нее лазурные глаза, они красивые моих...

Она с размаху села в стоящую у входа качалку и почти крикнула:

— Нет! Это невозможно произносить! Это в горле застрекает!

К ней подбежали девочки.

— Оленька!.. — Калягин сидел в кресле. — Ну не надо так... Не так все страшно...

Он обернулся к оператору:

— Как вы считаете?

— По-моему, это вообще все чушь, — сказал оператор, не переставая играть.

Подскакивший Южаков с грохотом захлопнул крышку клавиатуры. Оператор едва успел отдернуть руки.

— Да кто вы такой? Ваше дело ручку крутить как следует, что вы вечно лезете?!

Потоцкий не ответил, медленно двинулся вверх по лестнице.

— Не знаю, как господин Потоцкий, а я ни за какие деньги не согласна жевать эту пошлость! И господин Максаков никогда бы не согласился! — Ольга сидела в качалке во дворе.

— Но позвольте, Ольга Николаевна, ведь мы договорились... — сказал подбужавший Южаков. — Вот режиссер... Господин Калягин!..

Кресло, где только что сидел Калягин, было пусто. Он удалялся по галерее мимо гримерной, напевая:

— Ту-ру-ру-ру-ру...

Потоцкий сидит в кресле, в маленькой конторке Южакова под самой крышей ателье. Это маленькая площадка, где помещаются только стол и кресло. На стене плакаты и портреты Ольги. Потоцкий раскуривает сигару. Внизу Ольга говорит Южакову.

— Мы договорились, что сцена будет переписана, — сердито сказала Ольга. — Что в ней появятся хотя бы элементарные человеческие поступки!

Посреди ателье Южаков кричал на сценариста, прижимавшего к печенн грелку:

— Вениамин Александрович! — Южаков выплюнул и затоптал сигару. — Если вы иссякли, если вы потеряли искру Божью — так честно и признайтесь! Но нельзя же постоянно подводить и меня, и вот... Ольгу Николаевну... Я плачу вам по тридцати рублей за сценариус... Не всякий модный писатель так получает!

— Сейчас будет переписано.

— Ну и жарница! — протянул Потоцкий.

— Вас не спрашивают! — оборвал его Южаков.

Потоцкий распахнул окно.

Калягин прогуливался по дорожкам во дворе, заложив руки за спину...

В доме напротив, за окном, посреди кабинета стоял человек, держа у виска револьвер. Дверь открылась, и вошедшая горничная с ужасом бросилась было обратно, но человек рассмеялся, отбросил револьвер в сторону, схватил перенуганную горничную в оханку, повалил на кресло...

По мостовой медленно проехали два всадника. За ними шли связанные двое — мужчина и женщина. Сзади бежа-

ли маленькие девочки. Замыкали процессию двое солдат с винтовками. Один из них, уже знакомый нам капитан, оборачивается, кланяется Потоцкому:

— Как Ольга Николаевна?

Потоцкий, в окне под крышей ателье, кивнул ему.

— Хорошо. Спасибо.

Режиссер обращался к сценаристу, сидевшему, видимо, в ателье:

— Вы нам дайте, милый Вениамин Александрович, скрытую силу движения образа, — вдохновенно говорил Калягин, расхаживая по двору. — Мрачную или радостную, скованную или победную... Дайте нам с Ольгой Николаевной обобщенно-символический смысл происходящего...

Южаков играл с двумя маленькими девочками — дочерьми Ольги. Он пробежал по двору, они со смехом гнались за ним.

Потоцкий отошел от окна и посмотрел вниз, в павильон.

Ольга стояла в пустом ателье перед портретом Максаква.

Она задумчиво провела рукой по фотографии и, почувствовав на себе взгляд, обернулась.

Потоцкий смотрел на нее. Нежно и серьезно.

Калягин и Южаков ехали в открытом автомобиле. Мягкое осеннее солнце приятно грело лица. Южный ветерок приносил запахи моря, которое виднелось за спускающимися к набережной черепичными крышами.

— Вы меня зарежете с этой пленкой, — говорил Южаков. — Вы же понимаете, что взять ее негде!..

— А я рад, что пленки нет, — улыбнулся Калягин. — Нам снимать нечего. — И тихо добавил: — И не для кого... — И еще тише: — Некогда им в кино ходить — заняты все...

Южаков испуганно посмотрел на Калягина.

Тот сделал «страшные» глаза. И рассмеялся:

— А потом, у нас просто героя нет.

— Понцем актера здесь! На то вы и творец, господин режиссер. Найдите решение! — объявил Южаков.

— Без Максакова, без остальных актеров, без художника...

— Я не знаю, где они! Из Москвы все должны были выехать две недели назад! И ни слуху!.. А если они к Махно попали или к петлюровцам?!

Южаков так разволновался, что проехал через клумбу и чуть не сбил теннисистов, игравших в парке на лужайке в лаун-теннис.

Машина проезжает мимо лужайки. На скамейке Шаляпин с семьей позируют фотографу. Вспышка магния.

*Часть газетной полосы. Фотография Шаляпина с семьей, подпись: «Ө. И. Шаляпинъ, отдыхающій съ семьей на одной изъ лужаекъ нашего города».*

Некоторое время ехали молча.

— Нет! — решительно сказал, наконец, Южаков. — Ждать не будем! Достанем пленку и доснимем. Вместо Дюшам возьмите Вяземскую!

Калягин развел руками, укоризненно покачал головой.

— Зато она красива! — вспыхнул Южаков.

— А вот его можно вместо Максакова, — Южаков кивнул в сторону открытого кафе, которое расположилось в самом центре уютной круглой площади.

Под полосатым зонтом, положив ногу на ногу, сидел молодой человек с идеальными чертами лица. Он был в дорогом светлом костюме, курил папиросу и помешивал в чашечке кофе.

Рядом, за столиком, несколько гимназисток ели пломбир, перешептывались и хихикали, неотрывно смотрели на актера.

— Его?! — возмущенно переспросил Калягин, — Ни за что!

Машина остановилась, потом поехала задним ходом. Калягин оскорбленно посмотрел на Южакова. Южаков притормозил.

— Вы у кого снимаетесь, господин Канин? — поинтересовался Южаков у сидящего в кафе молодого человека.

— У Кажохина. А через час... — молодой человек глянул на часы, — у Бойма начну.

— В какой роли?

— А черт его знает!

Молодой человек вынул из кармана бороду, положил на стол:

— Сказали только, что с бородой...

Машина медленно отъехала.

— А вы что, собираетесь меня пригласить? — весело крикнул Канин вслед.

Калягин вскочил в машину во весь рост и, обернувшись, крикнул, еле сдерживая негодование:

— Мы Максакова ждем! Мак-са-ко-ва!..

— А то смотрите, я сейчас нарасхват! — весело крикнул Канин, после чего обернулся к гимназисткам и о чем-то с ними заговорил.

Гимназистки смущенно хихикали.

Вокруг съемочной площадки, затянутой занавесками от солнца, толпилась масса любопытных. Декорация изображала море. На фоне был натянут холст с изображением морского пейзажа, несмотря на то, что за пейзажем просматривалось настоящее, всамделишное море. Два чернобородых громилы играли на зурнах, головы их были укутаны восточными чалмами. Посреди декорации горел костер. К стволу дерева был привязан грубыми веревками Канин. Он страдальчески смотрел в небо. У костра сидел вооруженный стражник, около него, привязанная к нему за ногу, сидела молодая волоокая девица, бросающая взгляды на пленника.

Шла съемка. Режиссер зычным голосом командовал:

— У стражника сон... Его мучает кошмар... Он ворочается во сне... Пленники не спят... Вздохните глубже!.. Повороти голову к аппарату! Янычары выползают из кустов...

Режиссер метался по площадке, играл за всех, размахивая палкой.

Из-за картошных кустов медленно показалось несколько фигур в чалмах.

— Главный янычар, держи крепче кинжал в зубах, скалься больше, зубов не видно! Окружайте пленников, корот-

кая схватка!.. Хватайте девушку... Убивайте стражника... так! Слушай, эй ты, стражник, умирай поскорее... да чего ты копьём размахиваешь, ты им подойти не даешь!..

Вынучив глаза, стражник размахивал копьём.

— Да ударьте вы его чем-нибудь сзади, у нас пленка копчется!

Один из актеров стукнул стражника по голове. Стражник упал, режиссер победно захохотал.

Южакон дернул Калягина за рукав:

— Поехали, больно смотреть, люди делом занимаются, а мы прохлаждаемся.

-- Он уже три дня спимает, подлец, — покачал головой Калягина. — Еще пара дней, и картина выйдет на экраны.

— Если наши не приедут в ближайшее время, — не слушая, его вздохнул Южакон, -- эти мерзавцы обойдут нас на цедую версту!

Он неожиданно упал на колени.

— Господи, помоги, пронеси, спаси. — Южакон перекрестился. — Загуби их восточную дребедень!..

Южакон начал подниматься с колен, с его движением камера поправилаь на шину...

*Фотография шины на газетной полосе. Подпись: «„Елка и треугольник“. Новинка! Только наши шины позволяют вамь получить счастье оть автомобильного спорта».*

Улица была пустыня. Где-то совсем рядом раздавались свистки. Ахнуло несколько выстрелов. Проскакал всадник. Остановился, круто свернул в проулок. Испуганная горничная с корзинкой зелени выбежала из магазина, что есть духу бросилась через дорогу в подворотню. Пробежало несколько солдат.

Из подъезда вышел человек. Был он в белой рубашке с галстуком и с нагапом в руке. Он огляделся по сторонам и побежал, прижимаясь к домам. Улица была длинной, и он почти добежал до конца, когда сзади раздался выстрел. Это выстрелил увидевший его солдат. Человек с нагапом свернул за угол. И опять на улице стало тихо, появились люди.

...В павильоне готовились к съемке. Сценарист, как всегда, переписывал что-то, сидя в углу за своим столом.

Калягин разговаривал с гримером.

Потоцкий с ассистентом что-то делали около камеры. Ольга ходила по декорации, что-то ренетируя про себя.

Она то останавливалась, то вдруг делала несколько быстрых шагов и вновь замирала, подняв кверху руки, садилась в кресло, вскакивала... Что-то не устраивало ее.

В задумчивости она еще раз прошла за декорацию, зашла в самый дальний угол, к окну, постояла и начала отодвигать занавеску, отодвинула ее до конца и в ужасе отшатнулась. Она набрала в легкие воздух, чтобы закричать, но человек приложил палец к губам и улыбнулся, как мог:

— Ради Бога, тише...

Он начал терять сознание.

— Ольга Николаевна! — услышала она за своей спиной, вздрогнула и обернулась.

— Этот человек явно нуждается в помощи и милосердии, — лицо Калягина было невозмутимо, говорил он тихо.

Потоцкий стоит на улице у открытого окна гримерной. В гримерной Ольга. На диване у стены сидит раненый.

— В четырнадцатом году я училась на курсах сестер милосердия, — быстро говорила Ольга, роясь в аптечке и доставая бинты, пузырьки, вату.

Калягин откупорил бутылку пива, протянул раненому:

— Пивка, может быть...

Тот сделал несколько жадных глотков, улыбнулся.

— Да что вы делаете! — раздраженно оттолкнула Калягина Ольга. — Подержите тампон лучше... Да не так!.. Ах, как вы неловки!..

— Тише, — шепнул в окно Потоцкий, — солдаты!

Послышались конский топот, голоса, шаги, бряцанье ножен.

— Госнода, — испуганным шепотом сказала Ольга, — это же за ним, понимаете?.. Ну придумайте что-нибудь!..

...Капитан медленно прошелся по двору, заглянул за кучу сваленных декораций.

— Как не стыдно, Александр Андрианович... — сказал Южаков.

Он, сложив руки на груди, стоял в другом конце двора у входа в павильон:

— Вы к нам ходите, нас знаете. И вдруг нате вам... Это просто даже обидно... Такие подозрения!..

— Больше ему деваться некуда, ваше благородие, — сказал капитану один из филеров, — все кругом облазили...

— А как Ольга Николаевна? — будто не слыша его, громко обратился капитан к Южакову.

— Ольга Николаевна работает, — укоризненно продолжал Южаков. — А вот ваши люди шумят... Топают... Стрельбу затеяли!

— Так они тоже работают.

Южаков махнул рукой. Пошел в павильон.

— Работнички... Амбиция одна...

— Я не могу так работать! — кричала Ольга.

Киногруппа испуганно притихла.

— Я работаю с головной болью! В ужасных условиях! Почти даром!..

Ольга быстрыми шагами ходила по павильону. Смущенные солдаты в нерешительности мялись у входа, не зная, что делать. Только сценарист, ни на кого не обращая внимания, не останавливаясь что-то писал.

— Вы требуете от меня выполнения контракта! — кричала Ольга Южакову. — Но сами-то вы его выполняете?! Как я могу работать?! Когда по голове стучат сапогами!

Ольга схватила со стула какую-то вазу.

— Ольга Николаевна! — к ней ринулся реквизитор. — Умоляю! Это реквизит!.. С меня вычитут!..

Ольга спокойно отдала ему в руки вазу.

Один солдат толкнул другого:

— Ты гляди, она орет, этот пишет, — и он показал глазами на сценариста, продолжавшего лихорадочно писать. — А этот спит.

И мы видим человека в парике и с бородой, завернутого в плед и сидящего в кресле перед камерой.

— А они трезвые вообще не бывают, — с мрачной завистью ответил второй солдат.

— Черт, черт, черт, черт! — Южаков, вцепившись пальцами в собственные волосы, бегал по кругу.

Наконец подлетел к капитану:

— Умоляю! — страстно зашептал он. — Вы же видите... Пожалейте гения!.. Она ведь у нас одна. На всю Россию!

В глазах его блеснули слезы.

Капитан обернулся к филерам, сказал негромко:

— Склады, погреба, пристройки... Ясно? И не шуметь, тут не казарма... Ясно?

— Так точно.

Солдаты пошли гуськом на цыпочках, держа винтовки наизготовку. Капитан постоял некоторое время и, явно с сожалением, пошел следом.

— Я готова, — спокойно и даже весело сказала Ольга.

— Приготовилась! — сказал Калягин.

Обессиленный Южаков облегченно выдохнул, упал в кресло, но тут же вскочил:

— Минутку! — закричал он.

Вскочил, подбежал к раненому в кресле.

— Кто это?!

— Ту-ру-ру-ру-ру... — запел Калягин.

— Кто это? Александр Александрович! — спросил Южаков.

— Это?.. — поглядев на сидевшего перед камерой раненого, сказал Калягин. — Это... Дымаховский!..

Южаков сел рядом с Калягиным.

— Какой это Дымаховский?

— Ну как же! Новая сцена, по просьбе Ольги Николаевны. Ретроспекция... Голос совести, воспоминания о больном отце. Разве не помните?..

Облокотившись на камеру, Потоцкий неотрывно смотрел на Ольгу. Она поймала его взгляд и улыбнулась ему в ответ.

А в павильоне продолжали переругиваться Южаков с Калягиным.

...По улице в неказистом двухместном автомобильчике ехал Потоцкий. Город просыпался. Появились первые дворники. Вдалеке слышен звон колокольчика.

Напротив центральной гостиницы, расположенной у самого берега моря, висела огромная афиша-анонс: «Скоро новый боевик „Раба любви“ с участием Ольги Вознесенской и Александра Максакова». На афише были изображены два лица — Ольги и мужчины, чей портрет целовала бедная героиня. Потоцкий проехал мимо.

Звон колокольчика стал ближе. Потоцкий проехал мимо повозки с мусорными бачками, перед которой шла девушка и звонила в ручной колокольчик. Из подъездов выбегали граждане с помойными ведрами. Фотограф снимал девушку с колокольчиком. Всныхнул магний.

*Фотография с надписью: «Наконец-то! Наш город будет огражден от нечистот!»*

Потоцкий остановил машину около входа в парк, вышел, прошел дорожкой к большому стеклянному павильону, из которого раздавались дребезжащие звуки рояля. Потоцкий подошел и прижался к стеклу. Ольга стояла у станка, полная дама хлопала в ладони и считала. Ольга занималась. Потоцкий тихонько постучал, она улыбнулась... Заметила его.

Вдоль стены одетые в трико пяти-шестилетние девочки делали балетный класс. Среди них была Ольга. Посреди зала стояла полная дама и хлопала в такт руками:

— Раз, два, три. Госпожа Вознесенская, не отвлекайтесь! Ногу тянуть!.. Прогнуться!..

Потоцкий постоял, потом показал Ольге знаком, что мол, будет ее ждать неподалеку, и отошел от окна в глубь парка.

Занятия продолжались.

Потоцкий сидел на скамейке, курил и ждал Ольгу.

Урок окончился. Ольга вместе с щебечущими девочками выбежала из зала. Потоцкий снял кепку и поцеловал ей руку.

Они пошли по дорожке.

— От наших телеграммы нету? — улыбаясь, спросила Ольга.

— Не слышал.

— Ну, сегодня непременно будет, вот увидите!

— Вы каждый день это говорите.

— Вот увидите!

— Мамочка! Мама, смотри! — какая-то девочка бежала по песчаной дорожке. — Вознесенская живая! Мамочка, скорее!

— Где Вознесенская? — выскочил студент с букетом роз. За ним показались еще какие-то люди.

Ольга и Потоцкий быстро сели в машину и, сразу набрав скорость, покатали прочь.

За авто устремились поклонники:

— Госпожа Вознесенская!

— Умоляю!

— Одно мгновение! Остановитесь!

Машина уносилась вдаль...

Машина мчалась к морю.

— Знаете, я всю ночь не спала, но сегодня свежа, бодрa, занималась с удовольствием, — радостно говорила Ольга. — Ах, как это было прекрасно!

Она засмеялась.

— Спасти человека! Как это прекрасно! Как прекрасно вообще делать добро! И мучиться чужой судьбой... — Она опять засмеялась. — А помните, какой глупый вид был у этих солдафонов, Боже! Какой глупый вид у них был! А Калягин — душка! И талантливый он все-таки! И добрый! Правда?!

— Да, — сказал Потоцкий. — Но ведь вы рисковали, Ольга Николаевна. Во имя чего?

— Фу! Я не думала об этом! Просто был человек, которому нужно было помочь!

— Ну а если он старушку зарезал, и за ним полиция гналась?

Ольга с удивлением посмотрела на Потоцкого. Потом сказала серьезно:

— Я прожила слишком много чужих женских жизней, чтоб меня мог обмануть мужчина. У человека, которого мы спасли, было честное, хорошее лицо.

— Ольга, вы так замечательны! Вы удивительная! Куда поедем?

— В Ботанический сад!

Потоцкий развернул автомобиль, и машина, свернув вправо, понеслась в сторону гор.

Ольга подставила лицо солнцу, закрыла глаза:

— В Москве, наверное, уже дожди и сыро. Значит, Максаков привезет оттуда грипп... Чуть что — простуда...

— Вы очень скучаете по нему, Ольга? — с грустной улыбкой сказал Потоцкий.

— Я по Москве скучаю... — сказала Ольга.

— Вам хочется в Москву?

— Хочется... но что я там буду делать?

— Сниматься в кино.

— Ни мне, ни Максакову там больше делать нечего — кино там больше нет.

— Есть.

— Моя мама потеряла зрение, подшивая кружева. И всю жизнь мечтала поехать в Париж и сейчас мечтает... И потом, у меня контракт, — она вдруг восторженно и весело закричала: — В Париж! Поворачивайте обратно! Поехали к морю!

Потоцкий на полном ходу повернул так, что Ольга с визгом уцепилась за него и, придерживая развевающийся шарф, спросила вдруг:

— А хотите, я вам скажу, кто вы?

— Ну?

— Хотите?!

— Хочу!

Ольга сверкнула глазами:

— Большевик!

Она смотрела на Потоцкого восторженным и в то же время испуганным взглядом. Ветер свистел в ушах. Солнечные лучи озорно светили в лицо.

Потоцкий рассмеялся.

...Потом они ехали молча. Наконец Потоцкий начал:

— Ольга Николаевна, я люблю вас... И вы сами это знаете... Я ушел в четырнадцатом году на германский фронт и уже любил вас... Совсем юнком... Но даже тогда я любил вас не по-юношески... Я любил вас, как любят зрелые мужчины... В моей любви к вам никогда не было юношеской страсти... Я любил вас глубоко и спокойно, как, наверно, можно любить только жену или мать... Когда меня ранили и я оказался в госпитале, мне сказали, что в соседней палате лежит артиллерист, муж актрисы Вознесенской... Мне очень хотелось посмотреть на него, но не пришлось...

У дороги стояла заколоченная будка. Стена ее была оклеена пыльными плакатами актрисы Ольги Вознесенской.

Ольга и Потоцкий шли дорожкой приморского парка. В парке было пусто.

— Мы прожили с ним шесть лет, он был очень хороший человек... Мои дочери очень похожи на него.

— Я люблю ваших двух девочек... Я готов жить ради них так же, как готов жить ради вас...

Оба замолчали.

Молча прошлись.

Вдруг с моря на парк обрушился сильный и неожиданный порыв ветра. Ольга обеими руками схватилась за пляшку, отвернулась, ее легкий длинный шарф, подхваченный ветром, взмыл над головой, медленно пролетел над аллеей.

Они стояли около куста, на который опустился Ольгин шарф, и распутывали его обмотавшиеся вокруг веток концы.

— Ольга Николаевна, милая вы моя... Вас губят сумасшедшая скука и опустошение, вы как под колпаком сидите, из которого постепенно выкачивают воздух. Но ведь вы не похожи на них... Вы живой человек. Живой, сильный! Вы — женщина!

— Виктор Иванович, голубчик, ну что же вы хотите от меня?. Разве ж я виновата?. Вот опять Южак с контрактом обманул... Репортеры сплетни распускают... — говорила Ольга.

Ветер постепенно утих.

Потоцкий хотел что-то сказать, но вместо этого засмеялся и воскликнул, показывая на берег.

От моря к ним бежали две девочки, за ними едва поспевала Любовь Андреевна с зонтиком.

— Мама! Мама! Телеграмма! Они едут!..

— Наконец-то! — закричала от радости Ольга и захлопала в ладоши. — Что я говорила?!

Девочки побежали к воде. Бабушка поспешила за ними.

— Здравствуйте, Виктор Иванович! — задыхаясь, прокричала уморившаяся старушка. — Ольга, едут! Сегодня вечером, поездом!

— Я знаю, почему я не хочу приезда Максакова, — сказал Потоцкий.

— Вы ревнуете, — улыбнулась Ольга.

— Пет... Я не смогу больше гулять с вами по утрам.

— Мама, не давай им туда бегать — там сыро! — вдруг сорвалась с места Ольга. — Я же говорила!

Ольга обернулась и удивленно вскинула брови.

Потоцкий быстро шел по аллее к машине. Ольга посмотрела ему вслед, улыбнулась и крикнула:

— Виктор Иванович! Обещаю вам гулять каждое утро!

Потоцкий, уже сидя в машине, помахал Ольге рукой, машина рванулась и скрылась за поворотом.

Ольга посмотрела ему вслед, потом повернулась к морю.

— Мама! Девочки! Подождите! — Ольга быстро пошла к берегу.

На берегу фотограф снимал человека с пышными усами и двумя картонными гирями...

*Фотография в газете — реклама купальных костюмов: человек с усами и гирями на пустынном пляже.*

К перрону подходил поезд. По перрону, радостно улыбаясь и что-то крича, идут Южаков, Калягин, Потоцкий, ассистенты, реквизитор, гример, актеры. Поезд останавливается, начинают спускаться прибывшие — артист Жуков с женой и сыном, бывшая танцовщица Корелли со своей

группой — пятеркой одинаковых бойких балерин. Спускается молодой человек с лисьим воротником, старый слуга, за ними — старая актриса, мадам Дюшам. На перроне — объятья, слезы, поцелуи.

— Александр Александрович! — кричала Дюшам. — Не верю глазам! Познакомьтесь, господа, — мой новый муж, Стасик.

Она потянула за рукав молодого человека с лисьим воротником.

— Иван Карлович! — хором закричали все встречающие. — Со всем семейством!

В дверях стоял распорядитель киностудии Фигель со всем семейством — женой и сонными детьми на руках горничной. Раскланиваясь со всеми, спустился вниз.

— Слава богу, все мое ношу с собой, — улыбнулся он.

Пронесли сонных детей. Корзины, чемоданы передавали через окна.

Фигель и Южаков обнялись, поцеловались.

— Ну как? — спросил Южаков.

— Я десять дней не мылся, весь чешусь.

— Ну как у них? Недолго?

— Боюсь, навсегда. Все кинопроизводство национализировано.

— Уже? — усмехнулся Южаков. — А пленка?

— У всех частников изъяли все — пленку, химикаты... у всех! — Фигель подмигнул и тихо пропел: — Кроме меня, кроме меня!..

— Не может быть! — недоверчиво прошептал Южаков.

— Я привез сорок тысяч метров негатива, все химикаты!

— Иван Карлович, ты меня спас! Тебе цены нет!

Южаков задышался от счастья. Он схватил Фигеля вместе с дочкой, спящей у него на руках, и так их встряхнул, что девочка проснулась и заплакала, а счастливый Южаков, стараясь развеселить ее, строил ей рожи, тряс бородой, от чего девочка рыдала пуще прежнего.

Ольга опоздала и теперь бежала по перрону, красивая, нарядная, держала за руки обеих своих дочек, тоже в лучших платьях, за ней едва попевала Любовь Андреевна.

Ольга вбежала в толпу, и сразу же потянулись к ней с рукопожатиями и поцелуями. Ольга, радостная и возбужденная, искала глазами кого-то поверх голов.

— Познакомьтесь, Ольга, мой сын, — говорил артист Жуков.

— Оленька, как вы прекрасно выглядите! — жена Фигеля целовала ее и тормозила.

Ольга слушала рассеянно, улыбалась кому-то, но лицо ее было уже встревожено. Рядом с ней оказалась мадам Дюшам и, не переставая ни на минуту, рассказывала об ужасах дороги.

— Вы себе этого даже представить не можете, дорогая моя...

Ольга поднялась в вагон и шла по коридору, заглядывая в пустые уже купе.

— Хлеба нет, холод, рояль за оханку дров продала, — продолжала, идя за Ольгой, Дюшам. — Вы пса моего помните, Рекса? Я всю его овсянку съела! Бедный пес!

Ольга, растерянная, спустилась со ступенек другого тамбура, пройдя до конца вагона.

Подошел Потоцкий.

— Виктор Иванович, — растерянно улыбается Ольга, — а ведь его нет нигде...

— Я знаю, Ольга Николаевна. Он остался там.

— Максаков?! — опомнилась Дюшам. — Да он сумасшедший! Сумасшедший! Заладил одно: Родину не брошу!.. Какая ему там Родина?!

— Нет, каков? — подошедший Южаков был уже слегка навеселе. — Нарушил контракт, отказался ехать!

— Ну как же мы без него? — растерянно говорила Ольга.

— Черт с ним! — сказал Южаков. — Дурак! Спелся с Максимумом Горьким, но тот хоть из босяков, ему простительно!

— Но это глупо, — не могла понять Ольга. — Что он там будет делать?!

— Ту-ру-ру-ру, — пропел Калягин, протянул Ольге журнал и пошел по перрону.

— Слава богу, Канин есть! — веселился Южаков. — Доспимем, Ольга Николаевна!.. А в Париже таких Максаковых... Идемте, господа, сегодня праздник! Даю фуршет!

Все медленно двинулись вместе с Южаковым к выходу. Последним, держа за руки дочерей Ольги, шел Потоцкий.

Ольга стояла, разглядывая фотографию в журнале. Повернулась и медленно, так же разглядывая журнал, пошла к выходу. Остановилась. Потом аккуратно поставила журнал к окну вагона и быстро и весело побежала по перрону, крича:

— Господа, я с вами, я с вами!

Она свернула вслед за всеми за угол, перрон опустел.

*В оставленном Ольгой журнале на всю страницу — фотография Максакова и надпись: «Кумирь дореволюционного кино Александр Максаков принял революцию: „Я впряг в будущее Родины!“»*

В павильоне шла съемка. В кресле сидел Калягин. Потоцкий, прильнув к визирю, крутил ручку камеры. В углу играл тапер.

— Хорошо, — говорил Калягин, следя за тем, что делается на площадке. — Пауза... Посмотри на портрет... Входит граф...

*Черно-белые кадры.*

Ольга стоит на диване и нежно протирает портрет любимого.

— Жуков, пошел! — слышна команда режиссера.

В комнату быстро входит Жуков в гриме старого графа.

— Огляделся... Приставай.

Жуков схватил Ольгу, стал ее валить.

— Отбивайся!.. Пошла графиня...

Вбежала мадам Дюшан. Граф отпрянул в сторону. Графиня замахнулась, чтобы ударить Ольгу. Та в испуге вытянула перед собой руки, как бы закрываясь от удара, и, не меняя выражения лица, сказала:

— Александр Александрович, мне так неудобно.

— Хорошо, изогнись еще, терпи... Стоп! Прекрасно!

Три светильника по очереди гаснут.

Жуков пошел поправлять грим. Мадам Дюшан пила из термоса, принесенного ей Стасиком, чай и говорила с ним

о чем-то. Ольга упала в кресло, взяла газету и накрыла ею лицо. Она была не в духе. Потоцкий разряжал камеру. Тапер пошел курить.

Калягин встал, прошелся по павильону:

— По-моему, прекрасно! — сказал он, потирая руки.

Ольга сдернула с лица газету.

— Да что прекрасно?! — раздраженно сказала она. — Неужели вы не понимаете, что все это неправда! Чуть-какая-то!

Южаков сидел у себя в конторке, под самым потолком павильона. Он что-то писал.

— Какая правда, Ольга Николаевна? — не отрываясь от бумаг, сказал он. — Прежде всего красота... Остальное все максимаковщина... Забудьте... Он нас забыл... А мы его забудем...

— При чем тут максимаков? — вскочила неожиданно Ольга. — Он пуст, как барабан! Он — манекен!..

— Ну, не соглашусь с вами! — покачал головой Калягин. — Все-таки это один из интереснейших артистов! И вы как-никак должны быть благодарны ему!..

Он сел в кресло.

— Я?! За что?! — Ольга уже не могла сдержать себя. — Когда я начала с ним сниматься, я уже имела огромный успех в ваших фильмах! Это он должен быть мне благодарен за то, что я с ним снималась! Ничтожество! Поль!..

Она вдруг разрыдалась.

Потоцкий стоял, опустив голову и о чем-то задумавшись, около камеры.

Южаков перестал писать и смотрел вниз.

Все смотрели на Ольгу. Наступила неловкая пауза.

Потоцкий стал заряжать камеру пленкой.

Один только сценарист сидел согбенный над бумагой и строчил что-то.

Калягин встал с кресла, направился было к Ольге, но она отвернулась от него, и Калягин медленно пошел к окну. Отдернул занавеску.

— Так что, Александр Александрович, зовем Канина? — спросил со своего места Южаков.

Калягин, глядя в окно, пропел:

— Ту-ру-ру-ру...

— Слава богу, — донесся голос Южакова.

К Калягину тихо подошел сценарист.

— А может быть, так... — заговорил сценарист. — Она идет по городу...

— Ему расскажите... — перебил его Калягин и кивнул в сторону Южакова.

Сценарист обернулся.

— У меня есть предложение, — робко сказал он.

— Да, да... — Южаков продолжал писать.

Сценарист вышел на середину павильона.

— Героиню подбирает на улице восточный вельможа... — стал кричать он наверх. — Этот богач разительно похож на Владимира Ф.

Южаков перестал писать, слушал сценариста.

— Он увозит несчастную в свой дворец, там она вкушает райские сладости и чувственные наслаждения Востока.

— Молодец литератор! — закричал Южаков и швырнул ручку на стол. — Вот это другое дело!

Он вскочил с кресла, открыл окно.

— Господин Фигель! Ищите Канна!..

На залитом солнцем дворе стоял Канин и ослепительно улыбался:

— Ты кликнешь, себя не заставлю я ждать! — пропел он и приподнял шляпу.

Потоцкий и Ольга ехали в машине. Ольга ела бутерброд.

— Я не могу больше так, — говорила она. — Все вокруг чем-то заняты, я ничего не понимаю! Это ужасно! Что-то делаем, мучаемся — никому это не нужно. Боже! Как я устаю от всего!.. Все временно, все на бегу...

Она хлебнула из бутылки молока.

— Так жить невозможно. Я известная актриса, мне двадцать шесть лет. Ну имею я право хотя бы ванну вечером принять после работы?! В гостинице уже неделю нет горя-

чей воды! Ночью холодно. Спим с мамой и девочками в одной постели. Нет, к черту все! В Париж! — она раздраженно откусила от бутерброда.

Потоцкий произнес:

Блажен, кто посетил сей мир,  
В его минуты роковые,  
Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир...

Это Тютчев. Я не могу давать вам советов, Ольга Николаевна, вы женщина, вы актриса. А новый мир тревожен и беспокоен, и только тот останется с ним, для кого тревога и беспокойство — смысл жизни. Максаков это понял.

Ольга резко повернулась к Потоцкому.

— Опять?! — воскликнула она. — Да что вы с ним поситесь? Он никто! Понимаете?

— Может быть, — сказал Потоцкий, — но вы любите его, Ольга Николаевна, и страдаете от того, что он остался, ване самолюбие смертельно ранено.

Ольга захохотала и выбросила недоседевший бутерброд.

— Да вы просто глушы, как и все, — насмешливо сказала она.

В зеркальце Потоцкий видел, как ободранные мальчишки затеяли драку из-за хлеба, выброшенного Ольгой.

— Оглянитесь, — сказал он.

— Что это?

Потоцкий не ответил. Ольга смотрела на дерущихся детей и вдруг сказала:

— Я не могу здесь жить. Научите меня. Я хочу понимать все.

Потоцкий резко затормозил. Солдаты и какие-то штатские прогоняли публику на тротуар.

— Назад! — заорал Потоцкому пробежавший солдат. — Закрыто!

Машина остановилась. Потоцкий приподнялся из-за руля, но тут же сел и быстро включил скорость.

— Что там? — Ольга с любопытством взглянула, но вдруг разом побледнела.

На мостовой лежал мертвый человек. Тот самый, которого они прятали на кинофабрике несколько дней назад.

Машина Потоцкого уезжала по улице прочь. Ольга смотрела назад. Она видела, как солдаты приподняли труп, накинули на него рогожу. Уже заворачивая за угол, Ольга увидела, как убитого укладывают на телегу.

Потоцкий молчал, и Ольга сидела молча, покачиваясь, уронив руки на колени.

Они выехали на людную улицу, у кинотеатра стояла толпа. На щитах было нарисовано большое, улыбающееся лицо Ольги, густо покрытое румянами.

— Остановите, — сказала вдруг Ольга и почти на ходу соскочила, торопливо пошла к толпе.

— Граждане, — сказала она, остановившись около какой-то дамы, которая изо всех сил протискивалась вперед к каскам, — зачем вы теряете время... Вас обманывают...

— Не приставайте, — огрызнулась дама. — Хотите без очереди протиснуться... Стыдились бы...

— Но подумайте, — идя вдоль очереди, сквозь слезы говорила Ольга. — Куда вы стремитесь, вас хотят отвлечь от жизни, одурманить... И я виновата... то, что я делаю, — это ужасно, бессмысленно, гадко... Я пришла покаяться... Я каюсь перед вами, из меня сделали идола... Ольга Вознесенская, любимица публики... А я просто несчастная слабая женщина... Я как все, поверьте мне... Вокруг жизнь, вокруг смерть, кровь...

— Где Ольга Вознесенская? — встрепенулся кто-то. — Позвольте, позвольте... Господа... Ольга Вознесенская среди нас...

Человек высовывался из толпы, пытаясь пробиться к Ольге.

Вокруг забурлила толпа, раздалась возгласы.

— Господа, не папайте, прошу вас, господа... Позвольте автограф.

— И мне!

— Прошу вас!

— Прочь от лжи, — сжимая кулаки, говорила Ольга. — Идите на улицы... Протестуйте против преступлений. Там человека убили!

Но к ней уже тянулись десятки рук с блокнотами. Ее никто не слушал. Какой-то пожилой человек со слезами на глазах протиснулся к ней вплотную.

— Я хотел бы вам сказать... — начал он. — Я одинокий человек... Я болен... Но ваш портрет висит у меня над койкой, и мне не так одиноко... Вы мой кумир...

Старик протискивается к Ольге.

Над толпой, опираясь на плечи товарищей, появился какой-то студент.

— Разрешите мне поцеловать подол вашего платья. — закричал он. — Разрешите поцеловать вашу туфлю...

Над толпой поплыли оханки цветов. Они стекались к Ольге с разных сторон. Толпа увеличивалась на глазах.

Набежали репортеры. Зашипели магниевые вспышки.

Ольгу с цветами в руках подняли на плечи и понесли... Раздались аплодисменты, крики «Браво!».

Совершенно растерянную, улыбающуюся Ольгу понесли по улице. Вверх взлетали шапки.

Потоцкий грустно смотрел на удаляющуюся на руках поклонников Ольгу.

Заваленная цветами, улыбающаяся, растроганная Ольга стояла, прижавшись спиной к двери своего номера, и тихо улыбалась.

Ветер плавно раскачивал занавески.

*Фотография Ольги с цветами. Она нежно улыбается. Надпись: «Вчера восторженные почитатели талаита Ольги Вознесенской устроили манифестацию в ее честь».*

Ольга лежала с открытыми глазами. Рядом, закутанные в пледы, халаты и еще какое-то тряпье, обнявшись спали девочки. Худое, старое плечо матери виднелось из-за них. Ольга долго слушала дыхание детей. Потом медленно села.

Девочки вздрагивали во сне. Мама спала. Ее сидящие волосы были убраны в тугий пучок на затылке, и от этого голова на большой подушке казалась совсем маленькой. Она спала тихо, словно и не дышала вовсе.

...Ольга стояла у двери балкона, смотрела на улицу.

Было уже светло и пустынно. Ветер тащил по улице пыль и обрывки газет. С кинотеатра напротив улыбались спящему городу Ольга Вознесенская и Александр Максимов. Ольга стояла за шторой лицом к комнате, сквозь прозрачную ткань видно было, что она плакала.

— Оленька, девочка моя, что с тобой? — спросила мама.

Ольга откинула штору и медленно села на пол.

— Все кончено, мама. Все кончено, — сказала она, закрывая лицо руками.

— Бог с ним, девочка, Бог с ним. — Она погладила Ольгу по голове. — Все пройдет, радость моя, вот уедем... И все пройдет... — Она смахнула рукой побежавшие по щекам слезы. — Ты моя хорошая... Ты моя умница... Не плачь... Счастье мое... Все будет хорошо...

Подожли испуганные девочки. Ольга обняла дочерей, ткнулась в них лицом:

— Боже мой!.. Как мы несчастны... Как мы одиноки... Боже мой!..

Прижавшись к друг другу, всхлипывая и усноканвая друг друга, они сидели на полу у балкона.

Комната наполнялась светом тусклого осеннего утра. Повсюду — на кровати, на стульях, на рояле, на туалетном столе Ольги, даже на полу — лежали засыхающие и осыпавшиеся цветы — все, что осталось от вчерашнего триумфа кумира публики Ольги Вознесенской.

Съемочная группа расположилась на главной аллее дворца эмира бухарского. Ассистенты разгружали тенты, осветительную аппаратуру. В маленьком затененном дворике гримировались актеры.

Южиков сидел под раскидистой чинарой в шезлонге и внимательно наблюдал за мрачным режиссером, который прохаживался перед главным входом во дворец, прикидывая мизансцены.

— Сегодня жара, как летом, — заметил Южиков.

— Значит, так... Она спит. Рядом чемодан. Они крадутся, что-то мешает им напасть. — Калягин плавным движением

руки как бы рисовал в воздухе воображаемое. — Но тут появился он. Выстрел... Где же Потоцкий?..

— Должен приехать на своем авто. Хотите пива?

— Нет.

— Экзотика все-таки великая вещь! — Южаков потянулся в шезлонге. — Посмотрим теперь, господин Бойм, чей рахат-лукум слаще! Вы чего такой мрачный?

Калягин смотрел себе под ноги.

— Это будет моя худшая фильма.

— Ну и что? Зато заработаем. Пива хотите?

— Та-ра-ра-рам... — режиссер величественно удалялся по дорожке, хрустя ракушками.

— Я готов, господа! — вдруг раздалось над самым ухом у Южакова.

За его креслом стоял Канни в черной бороде, во фраке с чалмой, поверх фрака — шелковый восточный халат.

— У нас небольшая заминка, ждем оператора, — обернулся Южаков.

— Может быть, я пока прочту сценариус?

Южаков от изумления рот открыл.

— Да вы что, с ума сошли? — вскричал он. — Нет, вы слышали? Сценариус читать! Даже я его не читаю, чтобы не проговориться случайно. Враги кругом, шпионы! Сюжеты воруют... Нет, голубчик, так работать придется — на таланте!

— Как угодно, — равнодушно сказал Канни.

— Иван Карлыч, где же Потоцкий? В Париж пора! — сказал Южаков.

— Должен приехать, у него свое авто, — ответил Фигель, который сидел на ступеньках дворца и играл с собакой.

Ольга сидела на солнце, держа в руках журнал. Она рассеянно пробегала строчки, потом откинулась и накрыла лицо журналом. С обложки смотрела большая ее фотография.

Маша и Катя — дочери Ольги — играли на изразцовых плитках дворика с двумя серебристыми афганскими борзыми. Ольга сидела на солнышке, прикрывшись журналом, а ее мать и мадам Дюшам — рядышком в тени. У ног мадам Дюшам на маленькой скамейке пристроился Стасик. Он был в гриме негра и держал в руках большой моток шерсти.

Хрустя галькой, по дороге ко дворцу подлетел пыльный автомобиль. Потоцкий помахал рукой, снял самолетные очки и вылез, улыбаясь.

— На что это похоже, господин Потоцкий? — сдерживая себя, произнес Южаков. — Группа три часа ждет вас...

— Прошу прощения за опоздание. Денисова провожали. Покинул наш Денисов Россию навсегда-а-а, — пропел Потоцкий. — Не хотел отпускать.

— Вы еще и нетрезвы!

— Я трезв, я трезв! — Потоцкий широко улыбнулся, достал с заднего сидения две запыленных бутылки. — А это вам он просил передать, из подвалов, отборный марочный мускат. Я, говорит, твоего Южакова из моих подвалов на руках вынесил! Это правда?

Южаков застенчиво хмыкнул:

— Правда!

### *Черно-белые кадры.*

Дворец. На ступенях, сложившись калачиком, спит Ольга, она в бедном платье, рядом чемодан. Появляются два негра. Один из них — Стасик, в руках у него нож. Негры наклоняются над спящей Ольгой, но тут подъезжает роскошный лимузин и из него выбегает вельможа — Канин. Он выхватывает пистоль и стреляет в сторону. Оба негра падают. Ольга просыпается. Вельможа подходит к ней, берет за руки, поднимает. Ольга улыбается ему.

Но в это время в кадр въехала легковая автомашинка, за ней грузовик с солдатами...

— Стоп! — закричал режиссер. — Да когда же это кончится?!

Высочивший первым человек в штатском побежал к машине Потоцкого, осматривая ее. Следом вышел капитан.

— Тысячу извинений, господа! — он подошел к Ольге. — Ольга Николаевна, простите великодушно. Служба.

С Каниным они расцеловались.

— Ох, хорош, Лешка, — капитан стукнул Канина по спине. — Ну, турок, знаменитый!..

— Да... Вот... Так... Александр Андрианович, стараясь... — замялся Канин.

— Ту-ру-ру-ру... — пел по своему обыкновению режиссер, расхаживая по дорожке.

— Ну, знаете, Александр Андрианович! Это уже выше всякой деликатности! — завопил Южаков, вскакивая.

Капитан неожиданно приблизился к Ольге.

— Эх, Ольга Николаевна, если бы не вы... Я бы всю эту кинобанду... — негромко, глядя ей прямо в глаза, проговорил он.

— Простите?.. — Ольга опешила и с удивлением посмотрела на капитана, но тот уже подошел к Южакову, взял его под руку и повел по дорожке.

Капитан держал Южакова чуть повыше локтя. Они шли по дорожке.

— Сегодня у всех кинопредпринимателей проводим досмотр.

— Да, по я-то... Мы-то с вами... Вы у меня чуть не каждый день на съемке... — начал было Южаков, но вдруг скривился: — Ой, ой, больно... Больно...

Капитан отпустил руку Южакова и продолжил, словно ничего не случилось:

— Сегодня на рассвете в Рогачниках карательный отряд расстрелял нескольких негодяев из крестьян. Есть подозрение, что расстрел нелегально снимался на кинокамеру. Кто снимал, установить не удалось. Часом раньше недалеко от того места видели незнакомый автомобиль.

На съемочной площадке режиссер расхаживал по дорожке. Он прошел мимо съемочного аппарата, у которого возился Потоцкий. Тот закопчил свои дела и, несколько шагаясь, направился к сидящей в стороне Ольге. Лег рядом на траву, закинул руки за голову.

Потоцкий глядел в небо и вдруг очень серьезно и тихо заговорил:

— Ольга, послушайте внимательно, только вы можете спасти меня. Это очень серьезно. Не оборачивайтесь... У меня в машине под сидением лежит коробка с пленкой,

ее надо незаметно изъять. Вам это удастся — знаменитость вне подозрения.

Ольга внимательно слушала Потоцкого, боясь взглянуть на него. Когда он замолчал, она чуть повернула голову, подняла глаза и вдруг закричала, вставая:

— Катя, вылезь из машины, я сколько раз говорила!..

В машине Потоцкого за рулем сидела старшая дочь Ольга Катя и крутила баранку. Рядом была коляска с куклами.

За машиной, прислонившись спиной к дереву, стоял сыщик и не отрываясь смотрел на автомобиль.

Неподалеку Южаков и капитан продолжали разговор.

Ольга подошла к машине.

Штатский смотрел на нее с подозрением, словно стараясь вспомнить.

— Что вы на меня так смотрите? — спросила Ольга.

— Не могу признать, — напряженно размышлял филер.

— Вы меня не узнаете? Я Вознесенская!

— Господи! — сыщик стукнул себя по лбу. — А я смотрю и думаю: она или не она?

— Она, она, — засмеялась Ольга и сказала дочери: — Вылезай из машины. Лучше пойдй дай дяде конфетку.

Катя вылезла через другую дверцу, исчезла за машиной. Сыщик присел на корточки и тоже скрылся из виду.

Ольга быстро и спокойно достала спрятанную под сиденьем коробку пленки, кинула ее в коляску, посадила на нее куклу. Толкая коляску перед собой, она пошла по дорожке.

Сидящий на корточках перед Катей сыщик поднял голову:

— «Жизнь только издали красива», — сыщик подмигнул Ольге. — «За каждую слезу по капле крови». «Обманутые грезы» наизусть помню!..

— Пойдем гулять, Катюша, — сказала Ольга.

Девочка побежала к матери. Коляска тронулась. Сыщик смотрел им вслед. По дорожке, толкая перед собой коляску, уходила Ольга, рядом семенила Катя, о чем-то рассказывая. Их догнала младшая, и они пошли все втроем.

Потоцкий лежал на траве, смотрел в небо и улыбался.

...Потоцкий и Ольга ехали по дороге, которая тянулась вдоль моря.

— Какой страшный этот капитан, — весело говорила Ольга. — Смотрит так, — она показала, как он смотрит, — и говорит непонятно.

— Если бы вы знали, какую вы оказали сегодня услугу! — улыбнулся Потоцкий.

— Кому?

— Мне.

— Что я сделала?

— Вы спасли пленку, которую я снимал сегодня утром.

— А если бы не спасла?

— Тогда меня могли убить.

— Ах, как это замечательно! — вскричала Ольга, всплеснув руками. — Делать искусство, за которое могут казнить или посадить в тюрьму! Господи, как бы я хотела делать такое в творчестве, за что могут убить!.. Чтобы мир, страстный и напряженный, шумел вокруг меня! Слиться с этим миром! И приносить пользу! Я хочу быть актрисой! И учителем, и полем, и деревом!

Потоцкий смеялся. Ольга подняла руки к небу и запела:

— Остановите, или я взлечу прямо отсюда.

Потоцкий затормозил и посмотрел на Ольгу, которая кружилась в вальсе. Они закружились вместе.

Выскочивший из-за угла грузовик с солдатами резко вильнул в сторону и едва не сшиб танцующую на дороге нару. Ольга и Потоцкий шарахнулись в сторону.

Солдаты что-то орала, грозили кулаками.

Пыль медленно оседала. Было тихо и пустынно, только подрагивала машина Потоцкого да негромко работал мотор.

Ольга и Потоцкий стояли, прижавшись к скале.

— У меня все вот так внутри, — сказала Ольга. Она закрыла глаза, сжала кулаки и напряглась так, что задрожала всем телом.

— Испугались?

— Нет. Мне кажется, что я освобождаюсь от чего-то тяжелого, что мне мешает и душит...

— Хотите посмотреть то, что мы снимаем? — вдруг сказал Потоцкий.

— Хочу, — тихо сказала Ольга.

— Завтра ночью будет один нелегальный просмотр. Только...

Ольга рукой прикрыла ему рот и быстро несколько раз перекрестилась.

— Как мне одеться? — шепотом спросила она.

— Да какая разница, милая! — засмеялся Потоцкий. — Я за вами заеду в час ночи.

— Я оденусь очень, очень скромно, чтобы меня не узнали, — пообещала она и тоже засмеялась.

Мимо промчался грузовик с солдатами. Они орали песню. Ольга и Потоцкий стояли друг против друга. Пыль медленно оседала.

— Ольга Николаевна, — Потоцкий взял Ольгу за плечо. — Помните, вы однажды просили меня научить вас здесь жить...

Ольга кивнула.

— Я не могу научить вас, как здесь жить. Но я знаю, что что-бы вообще русскому жить — ему нужно жить только здесь!..

Потоцкий замолчал. Ольга мгновенно смотрела ему прямо в глаза, а потом крепко поцеловала его в губы. И пошла к морю.

Потоцкий изумленно смотрел ей вслед, не в силах выговорить ни слова.

Ольга, не оборачиваясь, помахала ему рукой.

В ванной стояли плеск и визг. Ольга и ее мать купали распалившихся девочек.

— Мама, а когда мы поедем? — спрашивает раскрасневшаяся Катя.

— Скоро. Мама, перестань брызгаться, — прикрикнула Ольга на младшую.

— Мама, а мы на пароходе поедем или на поезде?

— Я еду на пароходе! Я еду в Париж!.. Я еду на пароходе!

— Катя, перестань, тебе говорят, — сердито сказала Ольга. — Мама, ну возьми их.

Девочки с головой залезли под одеяло, хихикали там, возлились. Мать Ольги накрыла постель шубой, платком, еще одной шубой. Девочки шептались под кучей пестрых тряпок, смеялись.

Ольга смотрелась в зеркало. Вошла мама. Остановилась, глядя на Ольгу в зеркало.

— Мама, я очень постарела?

— Да ты что? Ты молодая, красная, — Любовь Андреевна обняла ее за плечи.

Откуда-то донесся тоскливый собачий лай.

— Как собака вост! — поморщилась Ольга.

Она отошла, села на край ванны.

— В номере под нами. Сегодня уехали за границу... А собаку оставили...

Ольга молчала, глядя в пол.

— Я потихоньку начала укладываться. — Она села на стул против Ольги. — А ты все одна, одна дома.

— У меня сегодня свидание! — улыбнулась Ольга.

Она рассеянно вертела в руках какой-то флакон.

У Любови Андреевны повернулись слезы на глаза.

— Мама, он прекрасный, умный, красивый и смелый, как в фильме «Весна навечно».

Ольга улыбалась, чтобы самой не расплакаться.

Рука Ольги держит флакон...

*Фотография — женская рука держит флакон одеколона. Это страница журнала с рекламой. Подпись: «Новинка! Одеколонъ „Ориганъ“! Опасайтесь поддельно!».*

Во дворе кинофабрики в автомобиле сидела Ольга. Было тихо и темно. Ольга настороженно разглядывала двор, который так хорошо знала днем и впервые увидела незнакомым и странным ночью. За ее спиной чиркнули спичкой. Ольга вздрогнула и обернулась. Свет спички осветил худощавое лицо молодого человека. Он прикурил.

— А я вас знаю, — улыбаясь сказала Ольга. — Вы в буфете работаете, в парке. Мы с дочками лимонад у вас в жару пили.

Ольга протянула ему руку.

— Ольга.

— Иван.

Он пожал ее холодную руку.

— Я тоже могу сильно жать, — Ольга изо всех сил сдавила здоровенную ручищу Ивана. — Сильно?

Иван смущенно улыбнулся, но не ответил.

Было видно, как за стеклянной стеной павильона быстро прошел человек сверху вниз, вышел во двор и направился к машине.

— Ольга Николаевна, нас ждут!..

Потоцкий подошел к машине.

— Идемте, товарищи! — негромко сказал он в темноту.

Ольга вышла из машины и пошла за Потоцким к павильону. За ними пошел Иван, от дерева неслышно отделился еще один человек, из темноты кустов показались двое, с качелей спрыгнул неслышно высокий в офицерской форме. Все скрылись за стеклянной дверью павильона.

Они вошли в просмотровый зал. Плотный мужчина в тужурке, сзади него огромного роста матрос, затем болезненного вида человек со светлыми усами и бородой, в офицерской форме.

Вошла Ольга, остановилась в дверях. За ней — Потоцкий.

— Товарищи, — сказал Потоцкий, — это Ольга Николаевна, она спасла пленку, которую вы сейчас видите... Ей можно доверять... А это мои друзья, — представил он мужчин.

— Ну, что ж, — сказал мужчина в тужурке, — если ты ручаешься...

— А она предупреждена о последствиях? — спросил офицер болезненного вида. — О том, что случится, если...

Он не договорил и посмотрел на Ольгу. Она встретилась с ним взглядом, и на мгновение ей вдруг стало страшно.

Ольга растерянно посмотрела на Потоцкого.

— Садитесь, товарищи, — волнуясь, сказал Потоцкий. — Сначала посмотрим последний материал и все, что удалось снять за это время.

Голос Потоцкого комментирует происходящее на экране: — Огромная очередь женщин и детей у хлебного магазина... Пустующий завод... Голодающие, распухшие дети...

Демонстрация рабочих в городе. Над толпой виден человек, который что-то яростно говорит. Это тот самый, убитый потом на улице.

Солдаты прикладами разгоняют демонстрацию.

Из здания кинотеатра выводят улыбающегося человека, проводят его сквозь толпу. Бьют его о витрину, витрина разбивается, человека бросают в кузов грузовика. Толпа напуганно смотрит. Над ней — огромная афиша, на которой Ольга и Александр Максаков.

Под коновсом ведут крестьян, закованных в кандалы. Лица у людей изможденные... Привязанные к деревьям люди... Повешенные... Солдаты целятся, белый офицер машет рукой, вздрагивают и падают на землю расстрелянные... Стоят за оградой женщины с детьми на руках, плачут... Лежат на земле убитые люди... Крестьянин с молодым лицом не моргая смотрит в небо, около лица крестьянские сапоги...

Пленка кончилась, но аппарат продолжал работать.

— Что ж, — тихо сказал мужчина в тужурке, — надо нам немедленно переправить эту пленку в Москву... Европа орет о наших зверствах... Пусть посмотрит это!

Офицер болезненного вида резко встал:

— Хватит ждать! Пора! — глаза его были полны ненависти. — Ударить по гостиницам!.. Вокзалу!.. Порту!.. Взорвать водопровод!..

— Но в городе живут не только офицеры, — сказал человек в тужурке. — Среди беженцев женщины, дети...

— А наши дети? — закричал офицер. — Наша кровь?! Они нас не шадят!.. Кто посмеет осудить нас после этих кадров?..

Он посмотрел на человека в тужурке. Человек в тужурке внимательно смотрел на Ольгу. Они сидела, потрясенная, прислонившись к стене и глядя перед собой остановившимися глазами. Она не слышала того, что говорили, и очнулась только от наступившей тишины.

Все молча и внимательно смотрели на нее.

Ольга встала и, пошатываясь, вышла из зала.

...Ольга шла по аллее. Шла, раздавленная, глядя прямо перед собой полными слез глазами.

Из глубины аллеи вслед ей быстро шел Потоцкий. Догнал ее, крепко взял под руку.

— Ольга Николаевна, любимая моя, послушайте моего совета, — ласково сказал Потоцкий. — Уезжайте в Москву... Здесь нет милосердия и долго еще не будет... Кровь и ненависть... А в Москве — искусство... В Москве — Максаков... Вы знаете — мне тяжело говорить это вам... Но я люблю вас больше, чем это чувство в самом себе... И я счастлив... Уезжайте... Будущее сейчас там...

— Хорошо, я поеду в Москву, — сказала Ольга.

По затянутому туманом рассветному перрону шли редкие пассажиры. Ольга, Любовь Андреевна, девочки были одеты по-дорожному. Сзади носильщики несли чемоданы. У третьего вагона они остановились. Кондуктор взял билеты.

— Когда поезд отходит? — спросила Ольга.

— А кто его знает, — сказал кондуктор. — Может, через час, а может, через три.

— Но по расписанию в шесть? — сказала Ольга.

— Расписание вместе с его императорским величеством отменили, — кондуктор сплюнул. — Паровоза нет — забастовка. Пожалуйста.

Он жестом пригласил в вагон.

Ольга стала поднимать сонных девочек в вагон. Проводник прошел вдоль вагона, кликнул кого-то на втором пути. Там стоял вагон санитарного поезда, белый с красными крестами. Перед ним на скамейке — несколько офицеров, позируют фотографу. Вспышка магния.

*Фотография в журнале. Офицеры на скамейке перед поездом. Подпись: «Начальствующия лица военно-санитарного поезда передь отправкой на фронт».*

По коридору, открывая двери всех подряд купе, бежал взволнованный Фигель. Открыл дверь одного купе, облегченно вздохнул:

— Вот вы где!

Из купе вышел Калягин.

— В городе грандиозная демонстрация! Еле прорвался! Вызвали войска! Времени нет! Снимать надо! — зашептал взволнованный Фигель. — Как она?

Он скосил глаза в сторону купе.

Калягин замахал на него руками, знаком показал, чтобы он уходил. Фигель беззвучно повернулся и побежал по коридору назад.

Калягин стал в коридоре, прислонившись спиной к окну, и смотрел в купе, где Южаков говорил с Ольгой.

В купе сидела Ольга, забившись в угол, напротив нее сидели Любовь Андреевна и Южаков, с верхней полки свешивались вниз девочки.

— Ну вы же русская, вы добрая, — говорил Южаков дрожащим голосом. — Разве я сделал вам что-нибудь плохое? Разве я обидел вас?

Ольга устало молчала.

— Ольга Николаевна, голубчик, у нас же контракт... Это работа!.. В городе зреют беспорядки... Зреет катастрофа! Нас ждут в Париже! Как можно так все бросить?! — Южаков всхлинул. — Вы же погибнете там! Что вы со мной делаете?..

— Ту-ру-ру-ру... — тихо пропел Калягин и отвернулся к окну.

— Я хочу чаю и печенья! — крикнула старшая девочка.

— И я чаю... — подхватила вторая.

Они начали слезать со своей полки. Южаков взял младшую и посадил на колени.

— А вы, Любовь Андреевна? — обратился он к старушке. — Вы так мечтали в Париж...

— Ольга, скажи что-нибудь... — Любовь Андреевна тронула дочь за плечо.

Ольга как-то странно, исподлобья, смотрела на нее и молчала.

— Да езжайте вы все, куда хотите! — закричал Южаков в отчаянии. — Езжайте, езжайте в свою Москву... Пейте с Максаковым морковный чай!..

Калягин обернулся и сказал взволнованно:

— Я вас понимаю, Ольга Николаевна, очень вас понимаю... То, что мы делаем, — это бездарно, это дурно... Эх, господи... Сесть бы в этот поезд.. — Голос его задрожал. — Да некуда, некуда больше нам ехать, Ольга Николаевна... Обрато для нас дороги нет...

И он быстро пошел по вагону, напевая что-то.

Южаков изумленно уставился ему вслед, потом посмотрел на Ольгу.

— Ну, что ж, — сказал Южаков спокойно, — тогда другое дело.

Он подхватил на руки одну из расшалившихся девочек, и, смеясь, увертываясь от ее попыток схватить его за нос, пошел по проходу. Вторая девочка хохоча кинулась следом.

Южаков вышел из вагона, помог спуститься младшей дочери Ольги.

— Можете ехать, куда хотите! — крикнул он Ольге и пошел с девочками по перрону.

Вокзал был пуст. По перрону уходил Южаков, держа за руки резвящихся девочек.

Ольга остановилась на ступеньках одиноко стоящего на путях вагона и закричала им вслед:

— Вы лишили меня счастья! Я никогда ничего не сделаю в искусстве! Я погибла!

Южаков с девочками был уже далеко. Навстречу ему вышел носильщик. Южаков, поравнявшись с ним, что-то сказал, тот кивнул и побежал к вагону.

Ольга стояла на перроне около одинокого вагона.

На крыше какого-то дома почти незаметен был человек с аппаратом на треноге. Это был Потоцкий. Он на мгновение оторвался от визира, посмотрел вниз и снова прильнул к аппарату, продолжая крутить ручку.

### *Хроника.*

Десятки тысяч людей вышли на улицы проводить в последний путь расстрелянных карателями рабочих. Шли со знаменами, с песнями... Появившиеся из переулка казаки

врезались в толпу... Началась стрельба... Под ударами шашек, под выстрелами рабочие падали на мостовую, но другие занимали их места, подхватывали выпавшие из рук знамена...

Дочки Ольги стояли на балконе, смотрели вниз.

Любовь Андреевна спала на кровати одетая, только ноги прикрыла платком.

Ольга сидела в кресле.

— Сегодня мы были бы уже в Москве, — тихо, самой себе сказала она.

Девочки вышли с балкона и на цыпочках, давясь от сдерживаемого смеха, подобрались сзади к Ольгиному креслу. Потом разом, хохоча, закрыли ей глаза ладонками. Ольга отняла их руки, обняла обеих, прижала к себе...

*Фотография — три радостных смеющихся лица — Ольга с дочерьми. Надпись: «Знаменитая артистка кинематографа Ольга Вознесенская с дочерьми — Машей и Катей».*

Ольга сидела на террасе пустого кафе.

Сидела прямо, напряженно и держала в руках перед собой чашку с горячим чаем.

Площадь перед кафе была пустынна. Вдалеке дворник мел мостовую, по улице прошла женщина с колокольчиком, за ней проехала мусорная телега.

Вдалеке, там, где начинался парк, в беседке разыгрывались музыканты. Пробежал что есть духу через площадь опоздавший, с медной валторной через плечо, подбежал к капельмейстеру. Что тот ему говорил, слышно не было, но по всему судя — очень ругал.

В перспективе улицы показался автомобиль Потоцкого.

Ольга нервно закурила и едва не подожгла вуалетку на пляше.

Машина Потоцкого выскочила из переулка, взвизгнув тормозами, остановилась за углом на теневой стороне улицы.

Потоцкий, выскочив из машины, оглянулся, вынул из-под сиденья круглую коробку от торта, перевязанную красной лентой. Быстро пошел к столику, за которым сидела Ольга.

— Вы опаздываете, — строго сказала Ольга.

— Простите, Ольга Николаевна, милая... Пришлось крутиться... — улыбаясь, сказал Потоцкий.

Он еще раз огляделся по сторонам, протянул Ольге коробку.

— Это очень важно... Прошу вас, вырчите меня еще раз... возьмите, это отснятая пленка... Очень важная... Оставьте у себя до вечера... Хорошо? — он опять виновато улыбнулся.

Ольга взяла коробку, положила на стул рядом с собой. Потоцкий облегченно вздохнул, сел напротив.

— Я вас так ждала... — порывисто сказала Ольга после недолгого молчания.

Потоцкий видел, как к его машине подошел человек в штатском, потрогал крыло, заглянул вовнутрь, провел пальцем по пыльному капоту, огляделся и быстро пошел по улице.

— Вы не слушаете меня? — спросила Ольга.

— Все, Ольга Николаевна, я здесь... Не сердитесь, — Потоцкий опять улыбнулся.

— Я просила вас прийти сюда, чтобы поговорить... — начала Ольга с усилием.

Она немного помолчала, несколько раз прерывисто вздохнула и нетвердым голосом продолжила:

— Я хотела сказать вам... Я хотела сказать, что... Я люблю вас... — она сама вздрогнула от своих слов. — Нет... Я не знаю... Поймите... Я еще живу там... Москвой... Той жизнью... Макасовым... Но... Если вы можете подождать... Если... Я обещаю вам...

Губы ее дрожали, слова вылетали отрывисто.

— Ольга Николаевна, милая... — едва смог вымолвить Потоцкий.

— Не мешайте мне, я должна сказать!.. — перебила его Ольга. — Я хочу любить вас, жить с вами рядом... Поймите меня! Мне нужны вы... Я это знаю!.. Я бездарная актриса!

— Ольга Николаевна!

— Молчите! Я бездарная актриса... Я ничего не сделала в искусстве и не сделаю никогда!.. Молчите, умоляю!.. Но я же еще человек, я женщина, и я хочу посвятить себя вам... Такому, как вы... Вашему делу... Я ничего не понимаю в этом, но это и не важно... Я буду любить вас, ухаживать за вами, беречь вас...

Потоцкий, пораженный, слушал Ольгу. Но он видел через плечо, как в самом конце одной из улиц остановилась поперек мостовой повозка, вдоль домов побежали солдаты.

— И все умею делать... — торопливо говорила Ольга. — И еще мама... И девочки... Мы все вместе будем любить вас... Только потерните немного... Я должна привыкнуть к этому... К этому чувству... К тому, что я люблю вас... У вас слезы на глазах?

— Да...

— Милый! Боже, как я счастлива, что сказала вам все, — она погладила его руки. — Теперь я свободна, и нет пути назад! Вы любите меня?

— Да.

— Очень?

— Да, очень.

— И я!.. Я тоже люблю вас! Только подождите!.. Подождите немного... Прощу вас... Я привыкну...

На крыше дома напротив устранивались несколько солдат. Потоцкому нужно было уходить, но он не в силах был оторваться от Ольги.

— Ольга Николаевна! Родная моя... Я готов ждать вас всегда... Я не просто люблю вас!.. Я люблю вас так, что готов ждать всю жизнь.

Только одна улица оставалась свободной. Это был его последний шанс.

— Любимая моя!.. Единственная... Теперь мне нужно уходить... Вечером я зайду к вам за пленкой и будем пить чай с джемом н... разговаривать обо всем... — он не в силах был оторваться от нее.

Несколько солдат бежало к единственной пока свободной улице.

— Как хорошо! — счастливо засмеялась Ольга.

Потоцкий сжал ее запястья, выпрямился и посидел мгновение с закрытыми глазами.

Отдыхавший до той поры духовой оркестр в парке грянул какой-то марш.

Потоцкий резко встал и бросился к автомобилю. Он вернулся с полдороги.

— Не мучьте себя, Ольга Николаевна! — с отчаянной улыбкой сказал он. — Любите кого любите. А я буду с вами всегда!

Ольга смотрела ему вслед.

Взревел мотор, машина вылетела на площадь.

Ольга, все так же сидевшая с чашкой, опустил вниз голову, резко повернула голову на звук нестройного, но страшного залпа.

Посередине площади стояла машина Потоцкого. Вся она была изрешечена пулями, шинели пробитые баллоны, все было усыпано битым стеклом. Уронив голову на руль, лежал Потоцкий.

Первым подбежал капитан Федотов. Махнул рукой солдатам, те подскочили и вытащили безжизненного Потоцкого — уже тело.

Ольга сидела в оцепенении. Тонко дрожала в ее руке и звенела о блюдце чашка, в пепельнице еще дымилась оставленная Потоцким папироса.

Ольга металась перед стеклянной дверью, то колотила в нее кулаком, то в отчаянии отбегала на дорожку. В руке у нее — перевязанная красной лентой коробка от торта.

— Умоляю! Откройте! Вы же знаете меня, знаете! Ну, прошу вас, вспомните... ночью, просмотр... помните! Умоляю, Потоцкого убили, вы не понимаете... У меня пленка!.. Он передал... Возьмите... Он сказал, что это очень важно!..

Буфетчик смотрел на Ольгу. Это был тот самый уса-тый человек, Иван, которого Ольга видела на ночном просмотре.

— Не знаю я никакого Потоцкого. Вы, барыня, не в себе, видать.

В отчаянии Ольга закричала:

— Вы лжете, это ложь! Вы не можете меня не знать! Я актриса Вознесенская, моими афишами заклеен весь город! Вы... Вы просто предатель и трус!.. Испугались! — Она заплакала. — Потоцкого убили на площади... Федотов застрелил его, капитан... Он ходит к нам на съемки... Послушайте же!..

— Никого я не знаю. — он медленно отвернулся и побрел в глубину буфета.

Ольга стояла заплаканная, беспомощно опустив руки. Опять подбежала к стеклу, забарабанила кулаками, опять расплакалась, отбежала на дорожку, судорожно ища что-то под ногами, подняла камень, что есть силы бросила его в витрину буфета. И побежала прочь, испуганно оглядываясь.

Буфетчик сидел за стойкой и грустно смотрел сквозь разбитое стекло на убегающую по парку актрису.

Кинофабрика напоминала походный лагерь. В коридоре стояли унакованные ящики. Что-то заколачивали, что-то отдирали от стены. Только часть навильона занимала декорация, приготовленная к последней съемке. Новый оператор, незнакомый человек с тонким хрящеватым носом и козлиной бородкой, устанавливал свет. В дальнем углу среди горящих софитов в кресле сидел одинокий Калягин. То там то здесь в навильоне маячили фигуры вооруженных солдат.

Декорация изображала скромную, убогую комнату официантки. На стене над кроватью висел большой портрет Максакова.

Перед Южаковым стоял сценарист, держа в руках большую корзину с чесноком и луком. Южаков вынул бумажник и, поплевав на пальцы, отсчитал гонорар сценаристу.

— Вы подрядились по тридцати рублей, — сказал Южаков, — но я решил заплатить вам за сценариус пятьдесят... почти как модному писателю. Я вами доволен, несмотря на то что у вас есть «принципы».

— Благодарю вас, — сказал сценарист. — Всего хорошего, господа... Всего хорошего, Иван Карлыч, всего хорошего.

Он раскланялся на все четыре стороны, но никто ему не ответил. Каждый был занят своими мыслями.

— Свет направо, — говорил оператор, — еще правей...  
Выше, выше!

— Вы чего грустите? — спросил Южаков, подходя с сидящему в углу режиссеру.

— Октябрь наступил... Неудачный для меня месяц... То руку обварил кипятком, то в одиннадцатом году жена в октябре ушла... То вот — Потоцкого убили...

— Что делать... Война... Кто его просил в это лезть?. Мы не лезем и живы...

— Живы ли? — тихо сказал Калягин.

— Э-э-э... Какая мерехлюндия. — Южаков обернулся к управляющему. — Иван Карлыч, у нас там шампанское есть? Мы должны весело проститься с этой страной! Шутя, играя...

Южаков топнул ногой от радости.

— Какое счастье! Сегодня последний съемочный день! Да... Еще ни одна фильма не давалась с таким трудом, как эта... Даже «Война и мир»...

Шампанское разлили в бокалы.

— Отметим этот день, Александр Александрович! И не грустите. Вы талантливый человек! У вас нет врагов! — сказал Южаков.

— Ту-ру-ру-ру... — пропел Калягин, глядя, как в бокале пенится шампанское.

— Что, опять я что-нибудь не то сказал?

— Эх, дорогой... В искусстве только у бездарности нет врагов... Посмотрите, сколько их у Горького, у Вахтангова, сколько их было у Чехова, наконец...

Калягин помолчал.

— Надоело быть русским, — он отпил из бокала. — А что здесь делают все время эти доблестные воины?

Подошел Фигель, наклонился.

— Это с Федотовым, как всегда... Пленку опять ищут.

— А-а-а... Дети капитана Федотова... А сам он?

— Здесь где-то и, кажется, в наборе... — тихо заметил Фигель и добавил шепотом: — Но, господа, умоляю... Нам нужно уехать... А он страшный человек, особенно последнее время... Красные прорвали фронт!

Калягин поднялся с кресла, подошел к новому оператору.

— Как дела? — спросил он.

— Последний штрих, — сладко улыбнулся тот.

Калягин пошел в сторону.

— А где Ольга? — поинтересовался Южаков.

— У себя, — ответил ассистент. — Ольга Николаевна отдыхает.

Из глубины павильона к ним на инвалидном кресле, взятом у реквизитора, выкатился капитан Федотов. За ним плелся расстроенный реквизитор. Федотов был в расстегнутом кителе, пьян и небрит. Все сразу замолчали. Капитан остановился напротив столика с шампанским. Оглядел всех присутствующих.

— Эх, господа... Как же я вас ненавижу. Кто бы это знал... — устало сказал капитан.

Никто ему не ответил. Только Фигель захихикал.

Калягин зашел и пошел к декорации.

— Ну, скоро начнем? — раздраженно спросил он у ассистента.

— А это вы у меня спросите, — вмешался капитан и закричал: — Вяли!

Из глубины павильона к нему бросился какой-то человек в штатском.

— Ничего пока, ваше благородие, — сказал заныхавшийся сыщик. — Все нерерыли.

Папеевая, Калягин зашел за декорацию и остановился от неожиданности.

В углу на стуле совершенно прямо сидела Ольга. Заметив ее, Калягин повернулся и быстро пошел в сторону.

Реквизитор наклонился к капитану.

— Господин Федотов, мне паковать нужно, — упрямил он. — Освободите каталочку... Очень прошу...

— Пошел в жопу, — незлобиво ответил капитан.

— Может быть, пока ваши люди проводят досмотр, мы будем репетировать? — как можно деликатнее спросил Южаков у капитана.

— Тю-тю-тю-тю... — передразнил Южакова Федотов. — Запрыгали?. Каши!

В темном углу павильона, обложенный чемоданами, коробками, в пальто, но в чалме и гриме, сидел Канин.

— Я! — Канин вскочил.

— Ты тоже, что ли, убийцей меня считаешь? — насмешливо спросил капитан.

— Никогда! — четко ответил тот.

— Правильно! Я санитар! Охрана среды... Очистка леса... — Он засмеялся. — Давайте, репетируйте свою дребедень. Я посмотрю.

Капитан стоял в декорации спиной ко всем. Он продолжал что-то напевать, но лицо его дрожало, он едва держался.

— Так... — наконец сказал Калягин нетвердым голосом. — Давайте... Где Ольга Николаевна?

— Она у себя, — сказал Фигель.

— Попросите ее.

— Я здесь, — в дверях появилась Ольга, спокойная, отрешенная, словно фарфоровая.

— Вы сегодня прекрасно выглядите, — сказал Калягин и попытался улыбнуться.

Ольга ничего не ответила. Она ни на кого не смотрела, словно кругом было пусто.

— Слушаю вас, Александр Александрович, — тихо сказала Ольга.

Федотов, прищурившись, молча смотрел на нее, потом застегнул крючки воротника, хотя китель был нараспашку.

— Я хочу снять эту сцену одним куском, — говорил Калягин. — Вы, Ольга Николаевна, входите отсюда, берете револьвер... Дайте револьвер!

Реквизитор, уныло стоявший за спиной капитана, подал револьвер Ольге.

— Так... — продолжал Калягин. — Вы идете вдоль стены, смотрите на портрет любимого человека...

Ольга медленно проходила мизансцену, обозначая акценты актерской игры в ней.

— Идете в ту комнату, там выстрел, и вы тихо возвращаетесь сюда, чтобы умереть перед любимым портретом...

Ольга развернулась, медленно подошла к капитану, направила на него револьвер и нажала курок. Загремели выстрелы.

Федотов метнулся в сторону. Каталка опрокинулась, солдаты попадали на пол. Канин, сиросошня, закричал страшным голосом.

И все замерло. Первым нарушил тишину капитан. Медленно поднимаясь, он смеялся, оглядывался по сторонам, потом погрозил Ольге пальцем. Все оживились. Разом заговорили, задвигались, раздался смех.

— Шуточки... — сказал Южаков; он был очень бледен. — Веселая вы женщина, Ольга Николаевна... Вроде Звягинцевой... Она плеснула в глаза своему любовнику серной кислотой... Мы три съемочных дня на этом потеряли... Искали другого артиста.

Говоря это, Южаков несколько раз онасливо посмотрел на капитана.

Федотов отряхивался.

Ольга стояла посреди декорации и беззвучно плакала. И в это время во всем навильоне погас свет. Стало совершенно темно.

— В чем дело?! — закричал Южаков. — Что случилось?!

— Всем стоять на местах! Никому не шевелиться! — раздавался в тишине мужской голос. — Дом окружен!

В углу навильона кто-то кашлянул. Тут же грохнул выстрел. Полюхнула вспышка.

— Сдаюсь!

Яркий луч фонаря на мгновение осветил сидящего с поднятыми руками Канина. Фонарь погас.

Несколько человек быстро прошли по навильону. Двое мужчин подхватили под руки Ольгу и почти вынесли в коридор.

— Не пугайтесь, — сказал один из них и зажег фонарь.

Ольга узнала бумфетчика, который ее не выпустил.

— Я не мог тогда поступить иначе. Не имел права. Простите, — быстро сказал он. — Это вы потом все поймете. А теперь у нас очень мало времени. Нам всего пятеро. Где пленка Потоцкого?

— У меня в гримерной, в шляпной коробке, — чуть слышно пролетела Ольга.

Стоявший рядом человек тут же бросился по коридору.

— Через три минуты мы должны уйти, — сказал буфетчик. — Вам тоже нельзя оставаться. Будьте здесь. Никуда не уходите.

В павильоне раздался выстрел, крики, топот. Буфетчик бросился было туда, но Ольга почти зашентала:

— Голубчик... Родненький!.. Не оставляйте меня одну... Я не могу больше... Миленький, пожалуйста... Я с ума схожу... — она обхватила буфетчика за шею и зарыдала.

— Стойте здесь. Федотов уйдет! — закричал буфетчик.

Он вырвался от Ольги и скрылся в темноте.

В полной мгле металась толпа. Грохнул еще выстрел.

— Где он?! — закричал буфетчик.

— Здесь где-то, — ответили ему.

Кто-то выстрелил на голос.

Сноп света выхватил из темноты белое лицо Южакова с округлившимися от ужаса глазами, стоящего на коленях Фигеля.

Снова выстрел — теперь уже на свет. Взвизгнул рикочет. Фонарь погас.

— Тут он!

Сразу несколько лучей метнулись по павильону. Калитка была перевернута, за нее обеими руками держался реквизитор... Канин стоял с поднятыми руками... Калягин сидел в кресле, вытянув ноги, и держал в зубах потухшую сигару... Мелькали лица, декорации... софиты...

— Здесь! — закричал кто-то.

Все четыре луча сошлись в одном месте. Обезумевший от страха Федотов пытался залезть в лежащую на полу буфеторскую колонну из фанеры, расписанную под мрамор. Сразу несколько выстрелов слились в один.

Со всех сторон к кинофабрике бежали солдаты.

Пять мужчин и Ольга выскочили на улицу. Один из них держал в руках пляшущую коробку. Они скрылись в тумане.

Из тумана навстречу им на бешеной скорости мчался трамвай.

— Стой! — крикнул буфетчик.

Но водитель лишь прибавил скорость.

— Стой! Мерзавец! — опять закричал буфетчик и выстрелил в воздух.

Трамвай затормозил. Пассажиры бросились вон, выскочил и вожатый, но буфетчик поймал его за шиворот.

Кругом слышались выстрелы.

— Это артистка. Знаменитая, — сказал он. — Довезешь до гостиницы без остановок! Смотри мне!.. Головой ответишь!..

— Слушаюсь... — дрожа, ответил вожатый.

Он поднялся в кабину. Ольга вошла в пустой вагон, и трамвай понесся. Появилось несколько солдат. Буфетчик и его товарищи бросились в проулок.

Вагон несся по предраассветному бульвару. Вожатый обернулся к Ольге.

— Революционерка? — радостно улыбаясь, спросил он.

Ольга смотрела на него, и от страха не могла произнести ни слова.

— Не бойсь! Довезем в лучшем виде.

Впереди на повороте показались всадники. Увидев их, вожатый напрягся и кинулся из вагона.

— Революционерка! Держи! — кричал он, показывая на удаляющийся вагон.

Всадники поскакали следом.

Ольга металась по вагону, хотела выпрыгнуть, но испугалась, кинулась обратно. Выстрелы раздавались совсем близко.

Зали хлестнул по трамваю: скамьи, перегородки, пол — все разлеталось под пулями. Ольга кричала, металась по вагону, она в ужасе прижалась к кабине вагоновожатого и кричала.

Медленно вылетела из ствола пуля...

Ольга вздрогнула и, раскинув беспомощно руки, пошла по несущемуся вагону, дошла до середины и упала.

Ольга лежала на полу, улыбалась и не слышала больше ни выстрелов, ни криков... Вокруг еще падали осколки стекла, щепки...

Изрешеченный пулями трамвай скрылся в тумане...

*Хроника.*

И сразу же возникают сцены всенародного праздника. Волнующие документальные кадры, плывут над морем людских голосов знамена... Белогвардейцы разгоняют шашками демонстрантов... Митинг в паровозном депо... И снова кадры народного ликования и народного гнева...

Вспыхивает свет. Зал полон красноармейцев.

На эстраду выходит бывший буфетчик. Он в кожанке, с красным бантом, голова его перевязана.

— Товарищи, красные бойцы, — говорит он. — Капиталисты хотят скрыть от народа правду. Их искусство стремится к наживе и к обману! Но честные художники всегда стремились к правде, хотя не всегда могли достичь ее. Сейчас вы увидели пленку, которую спасла для вас от белых известная русская актриса Ольга Вознесенская. Спасая эту пленку, она погибла от вражеской пули. И сейчас, товарищи, мы покажем вам фильму с участием этой артистки. Это, товарищи, буржуазная фильма. Но если внешний облик Ольги Вознесенской удовлетворял буржуазного обывателя, то ее талант принадлежит нам. Ибо талант, товарищи, — это всегда революция!

— Ура! — закричали в зале.

— Давай, крути!

Погас свет, возникли титры: «„Нечаянные радости“. Тяжелая драма в двух частях. В главной роли любимица публики Ольга Вознесенская».

Теперь, глядя на экран, заиграл...

*Черно-белые кадры.*

Большая, богато обставленная комната. Входит горничная, протирает пыль со стола, встает на диван, смахивает пыль с портрета Максакова, потом целует его. Поворачивает голову и смотрит почти в самую камеру ясными счастливыми глазами любящей женщины.

Конец.

**ТАМЕРЛАН**

Рассветает. Над предгорьями медленно всплывает солнечный шар.

Скачет группа всадников.

Огромный живот беременной женщины.

Трое воинов держат отчаянно вырывающегося мужчину.

Двое других приблизились к женщине, взмахнули короткими мечами. Крик боли и ужаса.

В пещеру врываются воины. Среди коз и овец прячутся несколько беременных женщин. Воины хватают их за волосы, мечами вспарывают животы.

Стремительно раскручивается свернутый ковер, обезумевшая женщина защищает руками большой живот. Сверкнули лезвия ножей.

В большом селении паника. По домам рыщут воины, раздаются вопли, кричат дети.

Нешадно бьет плетью коня молодая женщина. Она часто оглядывается.

Степь переходит в песчаную пустыню. Выбившийся из сил конь с трудом поднимается на высокий бархан.

Бросив павшего коня, беременная женщина уходит в пески.

Мимо заброшенного пересохшего колодца движется торговый караван. Кто-то заметил лежащую без чувств беременную женщину.

Ее приподняли, дали воды. Женщина тяжело дышит.

Вдали показались всадники. Люди из каравана быстро онускают женщину в колодец, закидывают его ветками. Караван уходит.

Всадники промчались мимо заброшенного колодца.

Они догоняют караван, осматривают тюки.

Женщина полусидит на дне высохшего колодца. Изображение медленно уходит в темноту.

Из темноты постепенно появляются барханы. Возвращается караван. Он идет мимо заброшенного колодца. Кто-то подбежал к колодцу, отбросил ветки, заглянул внутрь.

По шею в воде сидит молодая женщина. Луч солнца попал ей в лицо, и она закрыла глаза. В прозрачной воде плавают младенец, трогает мать ручонками, переворачивается, отталкивается от воды ножками. Еще раз появляется надпись:

## ТАМЕРЛАН

*Пустыня. Колодец. Утро.*

Отец младенца Тарагай сажает у колодца деревце. Рядом сидит на лончади молодая мать, ребенок сосет полную смуглую грудь.

*Предгорья. Рассвет.*

Тарагай скачет к горам, прижимая к груди завернутый в шкуру комочек. Ветер клонит деревья, прибывает высокую траву.

Всадник несется по горной дороге...

...У входа в пещеру старик в белых одеждах раскрывает Коран, тычет пальцем. Тарагай наклоняется, читает, благодарно прижимает руку к груди.

— Имя ему Тамурра... — говорит старик.

Старик со словами молитвы трижды плюет в раскрытый рот кричащего младенца.

Во весь опор скачет Тарагай обратно.

*Шатер жены Тарагая. Утро.*

Жадно припадает к налитой молоком груди младенец. Правая рука его сжата в кулачок.

Тарагай пытается разжать крошечные пальцы. Не получается.

Тарагай берет нож и осторожно раздвигает пальцы.

В раскрытой ладонке темнеет запекшийся сгусток крови.

*Степь. Утро.*

Куда это торопятся всадники? Поднимая пыль, скачут их кони по степи.

Старики и старухи вплавь пересекают на лошадях глубокую реку.

Со своими отцами и матерями трясутся в повозках с высокими колесами дети.

Гонят с собой скот: овец, лошадей, быков, коз.

Молятся там, где застал их час молитвы, припадают к земле, стоят на коленях.

*Предгорья. Стойбище скотоводов. Вечер.*

На зеленой траве предгорий сотни шатров. По земле стелются бесконечные белые узкие скатерти с угощением: круглые тонкие лепешки — хлеб кочевников, сладости, сушеные фрукты. Гремит музыка. Со всех сторон прибывают гости.

Острые ножи перерезают горло связанным по ногам баранам, в медные чаши льется темная кровь.

Пьют теплую кровь мужчины и женщины, дети и старики.

Громче заиграла музыка. Появляется высокая повозка, а в ней парадно украшенный жеребенок — ликует толпа.

*Шатер Тарагая. Вечер.*

Тарагай подносит двухлетнему сыну чану с вином.

Мальчуган улыбается, борется со сном.

Лекарь точит кривой нож о брусок.

Спит маленький пасленник Тарагая.

Лекарь двумя пальцами оттягивает кожуцу на конце отросточка и мгновенно отрезает кусочек. Брызнула кровь!

Тарагай вопзает в землю меч у головы сына, возносит руки к небу.

*Предгорье. Стойбище скотоводов. Вечер.*

Еще громче грянула музыка, кучки музыкантов находятся в разных местах праздника.

На самом высоком холме перед белоснежной юртой сидит Тарагай, богатый скотовод племени Барлас. Перед ним святой старец Куляль, родственники, близкие друзья.

— Пусть сын твой, Тарагай, будет красив, как кустарник рая, чист, как святая вода Евфрата, смел в борьбе с безбожниками и христианами, как лев нубийский, и всегда пусть ведет войны — прекрасный и справедливый, как пророк Магомет! — сказал Куляль.

*Школа. Утро.*

На земляном полу, устланном циновками, сидят группками ученики. Перед каждым раскрытая книга.

— И вот я научил тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелию... — читает десятилетний Тимур. — И вот ты делал из глины подобие птиц, с моего дозволения...

— Объясни эти слова, Тимур... — говорит учитель.

— Почтенный Береке, Аллах говорит, что все в мире и сама жизнь существуют по его повелению.

— Ты делаешь успехи, Тимур. Дети, посмотрите в окно!

Из-за гор показался первый луч солнца. Он ударил в лицо Тимур, скользнул по стене, осветил изречение из Корана.

— Вот оно — божье чудо! — воскликнул учитель. — Божье повеленье! Я рад за тебя, Тимур...

— И я радуюсь, учитель. Потому что владыка мира должен быть ученым человеком...

— Ты хочешь стать владыкой мира?

— Я буду покорителем и владыкой мира. Я подниму над всем миром зеленое знамя ислама и белое знамя победы.

Санд, самый высокий и плечистый мальчик в школе, вскочил с места:

— Мир принадлежит богу! Не хочешь ли ты быть соперником бога? Пророк сказал: «А больше всех из людей будут наказаны в день Страшного суда те, кто подражает творениям Аллаха».

— Мой отец видел сон еще до моего рождения, — ответил Тимур. — Толкователи объяснили, что этот сон предвещает мне славное царствование...

Мальчик, сидевший рядом с Тимуром, встрепенулся, оглянулся на улыбающихся товарищей:

— Расскажи про сон, Тимур...

— Нет, я не буду рассказывать. Вы не верите, вы смеетесь надо мной, но когда сбудется, тогда поверите, и перестанете смеяться, и пожалеете, что смеялись! И раскаетесь, что смеялись, и попросите у меня прощения! — На лице Тимура засверкали глаза владыки-деспота.

Школьники притихли.

*Улица стойбища. Утро.*

Тимуру уже лет десять. С поднятым вверх игрушечным клинком несется он по солнечной улице, отдавая приказания.

— Кто назначил тебя амвром? — спрашивает Саид.

— Моя бабушка, — отвечает Тимур. — Приходите ночью в тот сарай, и я вам что-то расскажу важное...

*Сарай. Ночь.*

— Моя бабушка, — рассказывает Тимур своим сверстникам в сарае, — имеет дар отгадывать. Она увидела однажды во сне, что одному из ее сыновей или внуков предстоит завоевать царство и проторять дороги. Этот герой — я! Мое время приближается. Кланяйтесь и кланяйтесь в верности! Кланяйтесь! Кланяйтесь мне!

И все поклонились Тимуру, кроме Саида, который остался стоять, насмешливо глядя на Тимура.

— Почему ты мне не кланяешься, Саид?

— Я не верю ни тебе, ни твоей бабушке. У меня тоже есть бабушка, и она видела тоже во сне, что я великий богодур. Давай бороться, кто победит, тот и прав.

— Хорошо, — сказал Тимур и обхватил плечи Саида, но Саид был выше и бросил Тимура на землю.

— Ну, чья бабушка умнее? — спросил Саид и рассмеялся.

— Помирись, помирись! — закричал Файзулла. — Нехорошо так вести себя между сверстниками!

— Помирись, помирись! — закричали вокруг.

— Хорошо, — сказал Тимур, — я согласен помириться с тобой, Саид, из жалости к тебе. Я прощаю тебе твоё неверие, Саид.

— А я прощаю тебе твою наглость, Тимур! — сказал Саид и протянул Тимуру руку.

Тимур протянул руку Саиду, они обнялись, и в этот момент Тимур сильно ударил Саида головой в лицо. Кровь миглом залила лицо Саида, и он унал как подкошенный.

— Вот видите, — негромко сказал Тимур, — что случается с теми, кто не верит в меня! Кланяйтесь! Кланяйтесь! Кланяйтесь! И клянитесь, что никогда не оставите меня! И ты, Саид, — обратился Тимур к Саиду, которого подняли с земли и который едва стоял на ногах, — будешь ли ты мне верен до конца?

— Буду, буду верен, — разбитыми губами пробормотал Саид.

Тимур и его товарищи играют в кости. У Тимура получилась «стойка» — самая сложная фигура.

— Ты наш амир! — закричали дети. — Приказывай.

— Повесить его! — указывает подросток Тимур на худенького мальчугана. — Он не верит, что я буду владыкой мира.

Саид и еще двое бросаются на испуганного товарища, ловко набрасывают веревку на толстую потолочную балку. Несчастный захрипел, болтает ногами. Заплакали, закричали подростки, кто-то убегает.

В сарае появляются взрослые, снимают потерявшего сознание мальчика, бьют палками Тимура. Он огрызается, словно волчонок.

### *Река. Вечер.*

Тимур и Файзулла купаются ярким солнечным полднем в сверкающей от солнца реке. Ныряют, плавают наперегонки.

— Файзулла, кто раньше доплывет до того куста, тот станет ханом, — говорит Тимур.

— Поплыли! — смеется Файзулла. Оба плывут изо всех сил. Файзулла опережает Тимура, уже почти коснулся куста рукой, но в последний момент Тимур подхватил плывущую по воде палку и коснулся ею раньше.

— Я опередил тебя, — закричал Тимур. — Я буду ханом!  
— Нет, нет! — кричал Файзулла. — Ты коснулся не рукой, а палкой. Пока ты хотел коснуться рукой, моя голова уже была там. Давай еще до того дерева.

В это время послышался с берега крик:

— Файзулла!

— Это Муллача, — обрадовался Файзулла, — мой товарищ. Я тебе говорил о нем...

— Зачем тебе другой товарищ? — сказал Тимур. — Я тебя люблю, и ты поклялся мне в верности.

— Ах, Тимур, ты не знаешь, какой он! Он тебя тоже научит приятному...

— Чему же он меня может научить, Файзулла? Я и без него знаю, что приятно. Приятно помогать нищим, так сказано в Шариаге.

— Помогать нищим?! — засмеялся Файзулла и радостно закричал: — Муллача, плыви сюда, Муллача!

— Да. — сказал Тимур. — С семи лет щедро помогаю нищим и буду помогать им всю свою жизнь. Одежду, один раз падетую, я уже не падеваю, а отдаю нищим...

Муллача засмеялся, подплыл и обнял Файзуллу.

— Я прошу у тебя ласки, — сказал он.

Файзулла засмеялся:

— Проси у меня поцелуя...

— Что мне пользы от твоего поцелуя? — сказал Муллача. — Поплыви со мной к кустам.

И поплыл, широко загребая.

— Вот что ты называешь приятным? — сказал Тимур. — Этот твой друг Муллача с очень дурными склонностями.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Тимур. Это так приятно. Это слаще, чем кишмиш, — и поплыл вслед за Муллачой к кустам.

Вскоре в прибрежных кустах послышались смех, вздохи, восклицания. Все это время Тимур пристально неподвижно смотрел на колеблющийся кустарник. Потом выплыл на берег, взял свой кушак, положил в него камень и, вращая его как пращу, пустил в кусты. Файзулла и Муллача выскочили из кустарников, как затравленные.

— Против таких, как вы оба, предостерегает Корал, — крикнул Тимур. — Когда я достигну величия славы, то возведу всех моих настоящих товарищей, товарищей моего детства. А таких, как вы оба, я велю накормить толченым стеклом и живыми скорпионами!..

*Стень. Утро.*

Тимур стремительно скакал на коне по солончаковой степи. Лицо его радостно, вдохновенно. Видно, что эта скачка в этот ясный день и его собственное, сидящее крепко в седле, налившееся силой молодое тело — все доставляло наслаждение. Он обогнул курган и повернул к небольшому озеру, чтобы отдохнуть и напоить коня. Дорога к озеру шла под уклон, и Тимур несколько сдержал коня и поскакал рысью. Впереди него, тоже рысью, скакал всадник в плаще, какой носят в пустыне бедуины. За спиной у всадника с одного бока было копьё, с другого — колчан и лук. У пояса — широкий меч. Было в этом всаднике что-то опасное и одновременно притягивающее. Что-то вызывающее, настороженное и одновременно зависть.

Тимур прищурил коня и опять перешел на галоп. Пронесся мимо всадника, заметил его сухощавое скуластое лицо.

— Эгей! — крикнул Тимур, — счастливой дороги!

Но тотчас же почувствовал за спиной drobный топот копыт — всадник тоже пустил свою лошадь галопом. Топот все приближался. Тимур пригнулся к шее своего коня. В этом внезапном возникшем конном состязании оба уже скакали на пределе.

Вот вперед вырвался всадник в бедуинском плаще, но затем опять Тимур. Ему удалось обойти. Видно, на рывок всадник и его лошадь потратили слишком много сил, потому что Тимур вырвался далеко вперед. Он успел соскочить со своего коня и растянулся на берегу, на траве, прежде чем прискакал его соперник. Обе лошади, разгоряченные скачкой, жадно пили воду. Всадник растянулся рядом на траве. Меч, копьё, лук со стрелами он положил неподалеку. Остался лишь с кривым ножом на поясе и чрезседельником в руке.

Некоторое время они молча устало дышали.

— А ты хорош на коне, — сказал наконец всадник Тимуру. — Молодой, а в искусстве верховой езды понимаешь. Тебя как зовут?

— Я Тимур, — сын Тарагая из рода Барласов. А вы?

— О, я! — сказал всадник и издал короткий смешок. — Я, юноша, странник. Хожу по миру и ищу звонкую монету. Он опять засмеялся.

— А чем вы занимаетесь? — спросил Тимур.

— Я? Разным. Я уже и обезьяну учил танцевать в Каире, и в Багдаде устраивал петушиные бои, и в Дели носил змей в корзинке.

Было неясно, то ли собеседник правду говорит, то ли шутит. Но его манера, его короткий смешок чем-то привлекали Тимура. И он тоже начал смеяться, слушая эти необычные удивительные слова. Собеседник вынул из-под плаща бутылку и глотнул вина.

— Вот, возьми, — сказал он и протянул Тимуру.

— Нет, это грех. Коран запрещает.

— Я тоже правоверный, — сказал всадник, — у меня Коран всегда с собой.

Он достал из-под плаща небольшую потренированную книжечку.

— Я в Каире на базаре купил. Но я не слишком учен. По слогам выучился. Дервиш один меня научил. Он меня многому научил. Мы с ним в Персии по базарам ходили. Он учил меня, как милостыню просить.

— Я всегда раздаю милостыню нищим, — сказал Тимур.

— Дервиш учил меня, как притворяться нищим и больным, чтобы получить звонкую монету, — сказал всадник и засмеялся. — Как нужно вести себя, чтобы тебе поверили. «Лохмотья приравниваются к знаку благочестия, — говорил дервиш. — Бродячая жизнь — это привычка к странствиям».

Он выпил еще из бутылки.

— Запомни, юноша, совет старого дервиша: «Все видя, притворяйся слепым, все слыша — глухим и хромым, ибо хромым поддерживают. И притворяйся немым, ведь молчанье — это язык радости».

Он протянул бутылку Тимуру, тот взял и выпил.

— Ну что, приятно?

— Приятно, — сказал Тимур и тоже рассмеялся.

— А теперь, юноша, найди, что в Коране о вине сказано.

— Это пятая сура, — сказал Тимур, у которого от вина кружилась голова. — «О вы, которые уверовали: вино — мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь его. Может быть, вы окажетесь счастливыми».

— Хорошо сказано, — после паузы произнес собеседник. — Может быть, вы окажетесь счастливыми, может быть. А что такое счастье, не сказано даже в Коране. Вот другая книга, я ее тоже всегда с собой пошу.

Он достал из-под плаща книгу в кожаном переплете:

— Ты мне нравишься, юноша. Я хочу ее тебе подарить. Дервиш Абусахл, который заменил мне отца и умер у меня на руках в пустыне у костра, — он начал говорить вдруг ожесточившись, его голос стал груб и скорбен, — потому что за нами по пятам гнались стражники. Он умер, истекая кровью, и я не мог добыть ему лекарства.

Он замолк.

— Все пустота, все бессмысленно в этом мире. В этой книжке много сказано о пустоте земного существования и о радостях земной жизни. Это Омар Хайям. Видишь на книжке пятна крови? Это кровь Абусахла. Прочти вот здесь.

Тимур взял книгу и прочел:

Пей вино, нам с тобой не заказано пить,

Ибо небо намерено нас погубить;

Развалюсь на траве, произросшей из праха,

Пей вино и не надо судьбу торопить.

— Меня Джанбас зовут, — сказал собеседник, — я из Хорезма. Читай еще, юноша.

Тимур прочел:

Мы грешим, истребляя вино, это так;

Из-за наших грехов процветает кабак;

Да простит нас бог милосердный, иначе

Милосердие божье проявится как?

— Вот и я так молюсь. Да, благословен будь бог, который создал вино, женщин для утешения горемычных. — сказал

Джанбас, засмеялся и протянул Тимуру стопку картинок с голыми женщинами. — Смотри, персидские картинки. Правится? В Каире есть баня, где на стенах голые женщины нарисованы. Там публичные дома в банях. Приходят женщины, моются, думают, женский день был, а это публичный дом. Хочешь, в Каир поедем? Хочешь?

— Нет. Я другой дорогой иду, я другой обет дал.

— Какой обет?

— Я должен стать владыкой и покорителем мира. Ты мне не веришь?

— Нет, почему, верю, если тебе повезет, — сказал Джанбас и посмотрел серьезно на Тимура. — Но только скучно это.

— Скучно? Быть покорителем мира скучно?

— Да, много лицемерить и врать тебе придется. Власть будет, а свободы у тебя не будет. Чем выше будет твоя власть, тем меньше будет у тебя свободы. А мы, разбойники, имеем полную свободу. Имеем ту же власть, но без вранья и лицемерия. Потому живем свободно и весело. Главное, чтоб сила была.

— Это главное, — согласился Тимур. — Сила всегда права.

— Сила всегда права, — повторил разбойник, — но без удачи она одни убытки принесет. Ты в нарды играешь или в кости?

— Нет, я в шахматы играть люблю, — сказал Тимур.

— В шахматы я не умею, — сказал Джанбас, — жаль. Говорят, шахматы хитрость развивают. Хотел выучиться у дервиша Абусахла, да не успел. Зато я был в Персии в игорных домах, где играют в кости и нарды.

— Коран азартные игры запрещает, — сказал Тимур.

— Ах, юноша, — улыбнулся Джанбас, — Коран и голубей разводить запрещает. А в Каире на каждом углу голубятни и, говорят, сам халиф завидует своему визирю, что его голуби летают быстрее. В Каире тоже есть игорные дома, но тайные. А в Персии — открытые. Там не только деньги, не только одежду проигрывают до рубашки и туфель, но и свободу свою. А порой откупаются дочерьми своими. Поехали со мной — персияночку выиграешь, — он засмеялся. — Давай посмотрим, удачлив ли ты?

Джанбас вынул кости, бросил. Бросил и Тимур.

— Пронграл, — сказал Тимур. — У меня и денег с собой нет.

— Ничего, — сказал Джанбас, — должок за тобой, записываю. Знаешь, чего тебе еще не хватает, юноша? Падо бросать кости уверенно, зная, что ты выиграешь. А без решительности власти не бывает. Ни ханской, ни разбойничьей, никакой. Может быть и сила, и хитрость, и доблесть, но если нет решительности, удачи не будет.

Он вдруг затих, глядя в сторону холма.

Тимур тоже посмотрел туда. По тропке к озеру спускалась молодая красивая девушка с кувшином.

— Правится она тебе? Чего ты смеешься? Я ведь вижу, правится. Красивая. Можно, конечно, томиться по ней, страдать и получать от этого удовольствие. О полнодунне красоты! О обладательница прелестных глаз газели! Свет очей моих, жизнь моего сердца! — Джанбас засмеялся, засмеялся и Тимур. — О, я стремлюсь к тебе, как истомленный путник в пустыне стремится к проклятому источнику! Так, что ли, говорят влюбленные? Можно и так, а можно просто подойти и взять ее...

— Как это просто? — спросил Тимур.

— А вот так, решительно подойти и взять ее силой. Потому что сила всегда права. Это и есть власть, Тимур. Подойди, Тимур, и возьми ее. — Тимур засмеялся. — Я вижу, ты не решаешься. Так и быть, для первого раза, поскольку ты мне нравишься, я тебе покажу, как это делается...

Джанбас встал, взял чрезседельник, подошел к девушке, которая зачерпывала кувшином воду, и вдруг, схватив, повалил ее на землю.

— Ахмед! Ахмед! — закричала девушка. — Помогите!

К девушке по склону побежал молодой парень, выхватив нож. Джанбас умелым ударом выбил нож, схватился с парнем. Но не ожесточенно, а наоборот, весело смеясь. И Тимур тоже засмеялся, глядя на происходящее.

— Беги, Зульфийа, беги! — кричал парень. Девушка опомнилась и побежала, но Джанбас уже успел связать парня чрезседельником и, быстро догнав девушку, связал ее ноя-

сом, повалил и начал насилловать. Девушка кричала и плакала. Кричал и плакал лежащий неподалеку связанный молодой парень. От этого Джапбас смеялся еще больше, перемгиваясь со смеющимся Тимуром. Кончив насилловать, Джапбас встал и сказал Тимуру:

— Теперь ты...

Тимур, ничего не отвечая, продолжал смеяться.

— Ну, дело твое. Пора мне. Солнце уж вышло, — сказал, словно ничего не произошло, Джапбас. — Не хочешь со мной, пожалейшь когда-нибудь.

Он подобрал оружие, сел на коня, посмотрел на плачущую девушку.

— О свет очей моих! Жизнь моего сердца! — засмеялся он. — Что плачешь? Все равно когда-нибудь станешь болтливой старухой...

Обернулся к Тимуру, помахал рукой.

— За тобой должок — это значит, мы еще встретимся!...

И усекал.

Наступила тишина. Не слышен был плач девушки и молодого парня, лежащих связанными.

— Я хочу умереть! — обратилась она к Тимуру. — Зарежь меня, зарежь меня! Прошу тебя.

Тимур подошел и вынул нож.

— Не убивай ее! — закричал молодой парень, — меня убей!..

Тимур перерезал веревки, связывающие девушку, затем — парня. Они обнялись и плакали уже навзрыд.

— Я вам обещаю, — сказал Тимур, — я твердо решил, что когда стану владыкой мира, то уничтожу всех таких преступников.

### *Предгорье. Утро.*

Тимур и его отец Тарагай верхом объезжают стада, им принадлежащие. Чуть позади скачут верный друг Тимура Санд и старший раб.

— Тимур, — говорит Тарагай, — я уже стар и собираюсь уходить в частную жизнь. Все наше хозяйство я хочу передать тебе.

— Но прости, отец, хозяйство я хочу изменить по-своему. Надо разбить рабов на десятки, одного поставить старшим, — говорит Тимур.

Они проезжают мимо баранов.

— Нужно поставить отдельно каждую сотню баранов и отделить самцов от самок, для приплода, — говорит Тимур.

— Этот год был кратный семи, — говорит Тарагай. — У меня и подвластных мне людей все посевы дали богатый урожай, родилось много скота, особенно лошадей.

— Надо каждые двадцать коней соединить в отдельный косяк и каждые десять косяков поручить отдельному рабу.

Они остановились у одного из табунов. Тимур соскакивает с лошади и подходит к стойлу.

— Слишком много корма, — говорит он сердито. — Перекормленная лошадь ленива и дорого обходится.

— Простите, хозяин, — говорит старший раб, — это виноват Али. Он стар и из всех слуг самый плохой конюх.

— Позвать его.

Старший раб побежал.

— Плохих слуг надо выгонять, — говорит Тимур, — незачем переводить корм.

Прибежал назад старший раб.

— Он кормит жеребят. Сказал, придет, как накормит.

— Притащите его сюда! — задрожал от гнева Тимур.

— Я иду, я иду! — слышался голос.

Появился Али. Это был пожилой человек с седой бородой.

— Нерадивый раб! — закричал Тимур. — Как ты смеешь медлить, когда тебя зовет хозяин?

— Я кормил жеребят, — спокойно ответил Али. — Это тоже создание бога.

Саид шагнул вперед и замахнулся плетью, но Тимур остановил его и с интересом посмотрел на седобородого конюха.

Из-за холма вдруг показались всадники. Со страшными криками они рушили шатры, копьями закалывали людей, насильовали женщин.

— Монголы! Спасайтесь!

На своих пизкорослых лошадях сотни монголов заполнили стойбище, грабя и предавая все огню. Во главе скачет хакан Туглук.

Тимур подсадил отца на коня, хлестнул плетью. Тарагай ускакал. Двое монголов навалились на Тимура, но он вырвался и побежал. С разбегу вскочил на круп коня, свалил всадника. За Тимуром началась погоня...

*Степь. Дорога. Вечер.*

По дороге едет богатый монгол в повозке. Рядом два телохранителя на лошадях. В одного из них впирается стрела. Он падает. Второй выхватывает саблю и тут же ловит стрелу в шею.

Из-за большого камня выбегает Тимур, замахивается копьём на монгола. Тот, дрожа от страха, слезает на землю...

Тимур скачет с тремя всадниками...

Тимур с десятком товарищами нападает на караван...

Тимур с отрядом в сто удальцов врывается в стан монголов...

*Пустыня. Колодец. Утро.*

Вырос и окреп платан, посаженный когда-то отцом Тимура. Тимур взрывает мечом землю у основания дерева. Долго сидит, задумавшись...

*Горное пастбище. Ночь.*

Заговорщики собрались ночью на отдаленном пастбище при свете костра. Среди них Барлас, Сальдур и другие недобвольные амиры. Говорил Барлас:

— От чужеземных угнетателей мы можем избавиться доблестью, а чем избавиться от собственного тирана? Казган жесток, еще более жесток, чем монгол Туглук, но его льстецы выдумали, что он милостив и справедлив.

— Ты имеешь в виду меня? — спросил Тимур.

— Нет, ты говоришь о справедливости и милости Казгана по молодости и неопытности, Тимур. Ты говоришь, что Казган добр, но запомни: два самых худших зла для

страны — это безделие и нужда. Казган посеял и то и другое. Он освобождает простодушных бедняков от необходимости работать, и одни из них занимаются грабежами за стенами города, а другие — мошенничеством в самом городе!

— Наши рабы, глядя на казгановых, ленятся трудиться, — сказал амир Сальдур.

— Все зависит от правителей, — сказал Тимур. — Людям, не имеющим имущества, кроме собственного тела, действительно трудно выдержать такого рода жизнь.

— Мы сейчас говорим не о том, каким должен быть хороший правитель, — сказал Барлас.

— Мы не занимаемся учеными разговорами. Надо выбрать удобную минуту и убить Казгана, — сказал Сальдур. — Присоединяешься ли ты к нам, Тимур? Или так и будешь промышлять на дорогах?

— Я подумаю, — сказал Тимур.

— Думать времени нет, — сказал Барлас. — Пока Казган занимается Туглуком, мы можем овладеть властью!

### *Шатер Тарагая. Ночь.*

Плач, причитания. Тимур, его отец Тарагай и другие родственники у тела умершей матери Тимура.

Плакальщицы окружили тело матери Тимура, начались похоронные причитания. Все присутствующие тоже плакали.

В дверях показался амир Сальдур, который тихо окликнул Барласа. Барлас подошел к нему, продолжая плакать. Рядом с Сальдуrom стоял худой человек с нервным злым лицом.

— Это амир Тамул, — сказал Сальдур. — Ты знаешь его, Барлас.

— Да, — продолжая плакать, сказал Барлас. — Его жена Гульмалик — дочь Казгана. Она сообщила, что твой племянник Тимур написал Казгану тайное письмо и выдал наш заговор.

— Кто подружится со свиньей, тот будет валяться в грязи, — первое произнес Тамул.

— Я тебе говорил, — сказал Сальдур, — не надо было рассказывать о заговоре Тимуру! Он не знатного рода, а рвется в правители!

— Не надо в такой момент ругаться, — сказал Барлас, — надо подумать, что делать.

*Дворец Казгана. Вечер.*

Впервые Тимур очутился во дворце правителя Казгана и был поражен роскошью и великолепием, золотой и серебряной посудой, одеждами, жемчугом и драгоценными камнями. Все это было ничтожным по сравнению с роскошью, которой окружит себя в будущем сам Тимур — покровитель многих стран и народов, однако пока еще Тимур был молодой амир из не слишком знатного и богатого рода Барласов. И перед ним, властолюбивым мечтателем, власть впервые предстала не только как идея, но как материальное воплощение во всем своем блеске и притягательности.

Впрочем, сам Казган оказался человеком простым, с круглым толстым лицом и тройным подбородком.

— Какой молодой амир Тимур, сын Тарагая, — сказал Казган, ласково улыбаясь и нежно, почти женственно обняв Тимура своими толстыми руками, украшенными перстнями. — Вот он какой — гроза караванов!

Он показал на такого же толстого, как и он, человека с безвольным подбородком:

— Это мой сын и наследник Абдулла. А это его сын, мой внук Хусейн, твой сверстник, правитель Герата.

— Мы подружмся, — сказал Хусейн, улыбнулся одним лишь ртом, тогда как глаза его смотрели настороженно, словно ощущивали Тимура.

— А это верный амир Бакир — пачальник воинов моего внука, а это командующий моих воинов, храбрый Хисрау Баян-Куль, среди близких самый близкий человек. А это мой зять амир Тамул, лично взявший в плен жестокого Крава. Ну, своего дядю амира Барласа и амира Сальдура ты знаешь.

Слуги внесли еду — большие дымящиеся блюда мяса, густой суп, плов. Перед Казганом поставили маленький зо-

лотой подносик, рыбу в кисло-сладком соусе, жареную морковку с сельдереем, салаты из овощей с яйцами.

— Я люблю китайскую еду, — сказал Казган, — она легкая и приятная, а у меня одышка и боли в желудке. Бывали ты в Китае?

— Нет, не бывал, — сказал Тимур. — Я маленький человек, я нигде не бывал.

— А я слышал, что святой Куляль предсказал тебе великое будущее, — улыбнулся Казган.

— Разве все предсказания сбываются? Все зависит от того, полюбит ли тебя судьба! Как сказал поэт:

О судьба, ты насилье во всем утверждаешь сама,  
Беспределен твой гнет, как тебя породившая тьма.  
Благо подлым даришь ты, а горе — сердцам благородным.  
Или ты не способна к добру, иль сошла ты с ума?

— Ты пишешь хорошие стихи...

— Нет, это не мои стихи. Это стихи Омара Хайяма.

— Я бы хотел его пригласить. Я люблю, когда поэты выступают или когда фокусы со змеями показывают.

— Его нельзя пригласить. Он далеко.

— Я оплачу дорогу...

— Нет, он умер двести лет тому назад.

— Ах, как жалко. Но зато ты жив, — засмеялся он, дружески хлопнув Тимура по плечу.

— Еще один поднос с китайской едой, — сказал он слуге. — О Китай! Ты должен побывать в Китае! Китай — вершина мира. Кто владеет Китаем, тот словно сидит на горе и смотрит на весь мир сверху, как господин!..

— Тот покоритель мира? — спросил Тимур.

— Да, покоритель мира и своего желудка!.. — Казган опять захохотал. — Я, признаться, люблю поесть: пекинские утки, кантонские сладости, эта рыба с изюмом, попробуй! И привкус, привкус? Эта приправа называется «у сянь мышь». Тебе нравится?

— Очень нравится, — сказал Тимур, прикрывая рот ладонью и кривясь.

— Э, я вижу, ты поморщился, — засмеялся Казган. — Но ты привыкнешь и полюбишь китайскую кухню.

Они с Тимуром вышли в небольшую комнату, обтянутую коврами. На китайском столике лежали маленькие китайские колокольчики. Казган позвонил, слуга внес на подносе бутылку, налил в золоченый стакан.

— За твою честность и удачу, — сказал Казган.

Они вышли, и Тимур, выпучив глаза, схватился за горло.

— Что, горячо? — засмеялся Казган. — Это китайская рисовая огненная вода. Сейчас станет лучше. Вот, закуси, — он пододвинул закуску на золоченом блюдецке. — Это сушеные каракатицы, а вот бамбук в соусе. Ну что? Вкусно? Уже лучше? Теперь я хочу с тобой поговорить. Я получил твое письмо о грозящей от заговорщиков опасности. Благодарю тебя!

— Я рад, что мог хоть чем-то послужить такому благородному правителю, — ответил Тимур.

— От кого они узнали о твоём письме? Я догадываюсь, от кого — от дочери моей Гульмалик, жены Тамула, это она предупредила заговорщиков. Она безумно любит своего мужа, и вот заговорщики узнали и сами написали мне письмо, во всем признались, раскаялись и обвинили тебя в злом умысле. Теперь я все понимаю, я тебе доверяю, я тебя проверил. Я понял твою правоту по твоим честным глазам.

— Благодарю вас, великий амир, — смиренно сказал Тимур.

— А им я не доверяю, их раскаянию не верю! Как мне с ними поступить?

— Простите им, — сказал Тимур. — Простите им, но запомните их замыслы!

— Хорошо. Вполне доверяя тебе, я милостиво прощаю их. А теперь выпьем еще китайскую воду, — он налил и выпил. — Вот видишь, теперь приятнее и легче!

— Легче, — сказал Тимур, у которого от водки шумело в ушах.

— Это началось твое познание Китая, — засмеялся Казган. — Я уверен, ты полюбишь Китай, как я его люблю. А сейчас я позову свою внучку Альджан. Хотя Коран и не одобряет учение женщины, она сама выучилась читать и любит

читать. Она и считать умеет... Позови Альджан, — сказал он слуге. — Ее мать умерла, да упокойт ее всевышний, отец Абдулла совершенно о ней не думает, также как и ее брат Хусейн... Альджан, — сказал он вошедшей внучке, — вот этот ученый молодой человек — амир Тимур, пусть он послушает, как ты читаешь!

Потунив глаза, Альджан взяла толстую книгу, раскрыла ее.

От нее пахло лепестками розы.

— «Что касается полезных свойств вина, — читала Альджан приятным мелодичным голосом, — то оно дробит камни, укрепляет кишки, прогоняет заботу, возбуждает великодушие, помогает пищеварению, делает здоровым тело, выводит болезни из суставов, очищает тело от вредных жидкостей, порождает восторги и радость, усиливает природный жар, укрепляет мочевой пузырь, придает крепость печени, открывает запоры, румянит лицо, очищает от нечистот кровь и мозг и задерживает приход седины. Если бог велик, он и славен, не запретив вина. Не было бы на лице земли ничего, что могло бы заступить его место...»

— Ничего, кроме любви... — сказал тихо Тимур.

— О, ты заговорил о любви? Это радует меня, — сказал Казган. — Хочешь, я отдам тебе в жены свою любимую внучку? Почему ты молчишь?

— Милостивый амир Казган, — сказал Тимур, — это так неожиданно для меня!

— А посмотри, какая она у меня хорошая! Красивая! Она родит тебе много хороших сыновей. Почему ты молчишь?

— Я поражен такой честью, — произнес Тимур. — У меня отнялась речь.

— Я дам за нею много имущества и скота, — радостно улыбаясь, сказал Казган.

Жена Тамула Гульмалик подслушивала у двери.

— Он сватает Альджан за молодого Тимура, — тихо шепнула она приблизившемуся к ней мужу.

— Этого еще не хватало! — зло прошептал Тамул. — Тогда Барласы захватят власть!

— Я давно уже говорила, что из-за Альджап мы переживем много бед, — сказала Гульмалик. — Надо было дать ей отравленную халву...

— Молчи, женщина, — сказал Тамул, — что за глупости ты говоришь? Твой отец Казган, вот кто живет слинком долго! И не уступает дорогу твоему брату, наследнику Абдуллы, при котором нам будет хорошо!

— У отца есть привычка, — сказала Гульмалик, преданно и влюбленно глядя на мужа, — часто бывать на могиле моей матери. Ты должен отправиться с книжалом на кладбище, убить его и труп бросить в колодец. Или хочешь, я это сделаю сама? Спрячу книжал, помолюсь: «О всевышний, разве я не достойна счастья шаче, как пролив кровь своего отца?»

Она заплакала.

— У тебя жар, Гульмалик, — сердито сказал Тамул. — Я беспокоюсь за твой рассудок.

— Я очень люблю отца, но еще сильнее люблю тебя. И для тебя я готова на все.

— Иди к себе, — мягко сказал Тамул и поцеловал жену. — Я подумаю, как поступить...

### *Степь. Шатер Казгана. Ночь.*

Ночная мгла окружает охотничий шатер Казгана.

Казган и Тимур сидят за обильным ужином.

— Хорошая местность, — жуя, говорит Казган, — здесь много дичи!

— Да, удачная охота, — сказал Тимур. — Но мне не нравится, что мы остановились почевать в этой местности. Людей вокруг мало, кроме ловчих, никого нет.

— Отчего? — сказал Казган добродушно. — Моя власть сильна, особенно после взятия Хорезма...

— А у меня есть сведения, что вас собираются убить.

— Кто же?

— Амир Тамул и Баян-Куль.

— Ну, тебе всюду мерещится заговор. Мои родственники — люди, которым я сделал так много добра, и многим я делал добро! Мой народ меня любит! Может быть, я не слинком учен, но я честно делаю свои дела правителя.

Извне послышался резкий крик, ему ответил другой.

Тимур настороженно повернул голову.

— Это перекликаются ночные птицы, — сказал Казган.

— Я пойду посмотрю на своего коня, — сказал Тимур.

— Подожди, — сказал Казган, который выпил и от еды отяжелел. — Тут так удобно и мягко сидеть, а на дворе тьма, дождь, слышишь, как он барабанит по шатру? Лучше расскажи мне о Хорезме...

Опять послышался крик.

— Это ночная птица, — сказал Казган.

За деревьями, в канаве, слышны были тихие разговоры.

Тамул, прикрыв рот ладонью, кричал птицей.

— Сколько их там? — спросил Тамул.

— Не знаю, — ответил шепотом Баян-Куль, — думаю, немного. Нас семеро с саблями, вполне хватит.

— Пойдем, — сказал Тамул и закрыл свое лицо платком. — Нам надо не упустить удобного случая и избавиться от него! А заодно и от Тимура...

### *Степь. Шатер Казгана. Ночь.*

— Я слышал, что хорезмцы гостеприимны, — говорил разомлевший Казган. — Если к ним является путник, они спорят из-за него и соревнуются в гостеприимстве, тратят деньги, как другие соревнуются в накоплении денег!

Послышался шорох, кто-то наступил на сухую ветку.

— Я все-таки выйду к коню, — сказал Тимур.

Он вышел из шатра и увидел цепочку людей, которые приближались. Он вбежал в шатер, схватил ничего не соображающего Казгана, вытащил его и шепнул:

— За тот камень.

Казган сам наконец сообразил, что происходит и, дрожа от страха, спрятался за валун. В этот момент подбежали заговорщики.

— О черт! — закричал Тамул, рубя саблей шатер, разбрасывая ногами еду и питье. — Он исчез!

— Он не может быть далеко! — крикнул Баян-Куль. — Надо искать!

Тимур быстро сел на коня и галопом поскакал на заговорщиков, сбив двоих. На шум прибежали ловчие, сопровождавшие Казгана. Заговорщики бросились бежать...

*Дворец Казгана.*

Большой, испуганный Казган лежит в постели у себя во дворце. Охает и стонет.

— Ты был прав, Тимур! Ты был прав! — с причитанием говорил Казган. — За что все хотят меня убить?! И они не успокоятся, пока не убьют меня! Надо искать заговорщиков!

— У меня есть сведения, что амир Тамул, опасаясь мести за заговор, бежал в горы.

— О боже! За что ты меня караешь?! — стонет Казган. — О дьявол, почему ты соблазняешь людей на дурное?! Мой зять хотел меня убить. О, дочь моя Гульмалик, жена Тамула, огорчена бегством мужа, сильно заболела, она в беспмятстве! Я опасуюсь за ее рассудок!

— Она знала, что ее муж хочет вас убить...

— Не верю! Не верю! Не могу поверить! Где же правда? Не верю! Она так меня любит! Рассудок не позволяет мне поверить...

— Если вы не верите своему рассудку, о благородный Казган, то поверьте своим глазам... — сказал Тимур.

— Да, глазам я вынужден верить, — печально сказал Казган. — Они прибежали с саблями и рубили мой шатер... Теперь, когда я тебе дал несколько крепостей, особенно Хорезм и Сагман, ты сможешь собрать много дани и богато одарить своих вонпов, чтобы они были верными тебе... Хотя разве я мало одаривал своих воинов? Почему же меня ненавидят? А если меня убьют, то кому достанется власть? Я беспокоюсь о судьбе моего народа. Скажи, Тимур, предан ли ты мне?

— Я предан вам, как родной сын, — сказал Тимур.

— Я знаю это, я знаю! Ты это доказал, я просто спрашиваю для порядка. Как правитель, желающий добра и блага своему народу, я решил после смерти передать всю власть целиком тебе! В твои руки, в твои крепкие руки, согласен ли ты?

— Я согласен... — дрогнувшим голосом ответил Тимур. — Я оправдаю ваше доверие, великий и благородный амир Казган! Я готов на себя взять тяжелую и почетную обязанность власти...

— Тогда позовем писца и составим грамоту...

Подошел писец, и Казган начал диктовать:

— Во имя всевышнего, великого и благородного, передаю всю власть над Тураном амиру Тимуру из рода Барласов...

Тимур слушал, с трудом сдерживая радость.

*Горы. Ночь.*

Беглый амир Тамул, дрожа от холода, жарил на костре куски мяса. Сырое дерево горело плохо, и Тамул злобно ругался.

— Будь все проклято, — бормотал Тамул, — из-за Тимура я должен торчать здесь...

Послышался свист. Тамул вскочил, схватил меч, выглянул из-за камня. По тропинке к нему поднималась его жена Гульмалик в сопровождении нескольких слуг.

— Я чуть не околел, — сердито сказал Тамул, — все тебя не дождусь. Принесла ли ты мне теплую накидку?

— Я не могла раньше выбраться, — сказала Гульмалик, — Тимур повсюду расставил своих людей, он уже управляет, а не мой отец!

Она отвела Тамула в сторону.

— Я соскучилась по тебе...

— Давай быстрее накидку! — стуча от холода зубами, сердито сказал Тамул. — Днем здесь жарко, а ночью и утром страшный холод...

— Сейчас я тебе сообщу новость, и тебя бросит в жар, — сказала Гульмалик. — Мой отец Казган назначил Тимура официально наследником и подписал для этого специальную грамоту!

— Как? — закричал Тамул и начал бегать туда-сюда, разрывая на себе одежду. — Чудовище! Чудовище!.. — повторял он. — Твой отец осел, которого надо было убить, баран, которого надо было давно зарезать! Он отдает нам имущество, нашу землю, нашу казну этому Тимуру! Надо быть

слепым, чтобы не видеть, как притворяется этот человек. Как он издевается над нами! Если он захватит власть, то он нас всех уничтожит!

— Успокойся! — погладила по вспотевшему лбу и всклокоченным волосам мужа Гульмалик. — Криком делу не поможешь! Я знаю своего отца, что-нибудь придумаем...

— Да, только вы, женщины, можете помочь. Только женская хитрость...

*Дворец Казгана. Утро.*

Выздоровевший Казган, мурлыча от удовольствия, сидел, опустив ноги в таз с теплой ароматной водой, и два цирюльщика трудились возле него: один мыл голову, другой стриг ногти на ногах.

В это время из соседней комнаты послышался женский крик:

— Воздух стал мутным! Земли не видно под кровавой грязью! Солнце скорбит о происходящем и не желает глядеть на все эти мерзости! Горе нам, горе!

— Что происходит? — поднял глаза Казган. Кто кричит такие страшные слова?

— Разве ты не узнаешь голос нашей дорогой дочери Гульмалик? — сказала, входя, Куральян, жена Казгана.

Она была в длинной одежде, и на одном плече у нее сидела голубка, а на втором — попугай.

— Разве ты не узнаешь родной голос? Твоя дочь, жена амира Тамула, огорченная бедствием своего мужа, лишилась рассудка...

Куральян начала трястись и ломать руки, отчего попугай и голубка поднялись с ее плеч и начали летать по комнате.

— Но ведь Тамул хотел убить меня, — сказал Казган.

— Это все хитрые выдумки Тимура, — сказала Куральян, — он околдовал тебя. Тимур, вот кто желает твоей смерти, чтобы стать правителем. Как ты мог подписать такую грамоту? Ты обокрал своего сына, своих детей! О горе мне! — и она начала рвать на себе волосы.

Тут же вбежала Гульмалик, одетая в саван, в котором покойников кладут в гроб.

— Меня заклевал орел, — закричала она. — Я голубка, заклеванная орлом по имени Тимур!

— Бедная моя дочь, — запричитал добрый Казган. — Надо вызвать к ней лекаря...

— Ее может вылечить только возвращение любимого мужа, — сказала Куралаяш. — Ты должен написать письмо Тамулу, простить его и пригласить вернуться назад.

Она хлопнула в ладоши, и появился слуга с бумагой.

— Письмо уже готово, тебе остается только его подписать и поставить печать...

— Поставить печать! — закричал попугай, сидящий на плече Куралаяш.

### *Горы. Вечер.*

Воины Тимура, оставив копей у подножия горы, начали подниматься по тропке к пещере, где скрывался Тамул.

— Тамул! — крикнул Тимур. — Если ты хочешь избежать заслуженных тобой пыток, скажи во всеуслышание, что ты намеревался убить нашего правителя — амира Казгана!

— Если бы амир Казган был мудрым, он не доверился бы тебе! — крикнул Тамул и бешено выскочил с саблей навстречу Тимуру.

Один из воинов натянул тетиву лука, но Тимур остановил его.

— Не надо! Не надо облегчать его смерть, — сказал он и пошел навстречу Тамулу, также обнажив саблю.

Тамул бешено наносил удары, Тимур отвечал скупыми точными движениями. Вскоре ему удалось прижать Тамула к скале и выбить у него саблю. Но в этот момент послышались звуки трубы и голос прискакавшего гонца:

— Во имя бога милостивого, милосердного правитель Турана амир Казган объявляет прощение вины амиру Тамулу и приглашает вернуться назад...

Тимур в бессилии опустил саблю. Тамул поднялся с земли, отряхнулся и, усмехнувшись, направился к гонцу, который держал на поводу другую лошадь.

— Опять амир Казган переменил свое решение... — прошептал Тимур.

Тамул посмотрел на Тимура и криво усмехнулся.

— Ты преждевременно обрадовался, — сказал он. — У нас есть законный наследник — сын Казгана Абдулла, а ты хочешь захватить власть в нарушение закона?

— В одном Тамул прав, — тихо сам себе сказал Тимур, — увы, Казган слабый правитель! И я ничем ему больше помочь не могу...

*Комната Тимура. Ночь.*

Тимур, задумчивый, молча сидел перед зеркалом. У него появилась привычка долго сидеть перед зеркалом, глядя на себя, и думать.

— Ты отдохасшь? — входя, спросила Альджан. Она была беременна, с большим животом и пятнами на лице. — Я потревожила тебя?

— Что? — рассеянно спросил Тимур.

— Я помешала тебе?

— Я всегда рад видеть тебя, — сказал Тимур и поцеловал жену в лоб.

— Это правда, что к нам едет дедушка? — спросила Альджан.

— Какой дедушка? — думая о своем, рассеянно спросил Тимур.

— Мой дедушка, — сказала Альджан, — амир Казган.

— Да, это правда, — продолжая думать о чем-то своем, сказал Тимур. — Он собирается посетить Хорезм.

— Я рада, я соскучилась по нему.

— Я тоже рад! — Тимур был далек, но-прежнему в своих мыслях.

Альджан села рядом с мужем.

— Я рада, — повторила она, — но я боюсь, что с дедушкой что-то плохое случится в дороге.

Тимур вдруг резко повернулся к ней.

— Почему ты так подумала? Наслушалась сплетен своей тетки, своей сестры?

Он сильно схватил ее за плечи и тряхнул. Она заплакала.

— Ничего я не слышала, ничего не говорила. Я просто так, беспокоюсь, и все!

— Прости меня, Альджан... Я сегодня раздражен... Разные дела: вот туркмены вчера ограбили караван...

— Об этом я и беспокоюсь, — сказала Альджан. — Дедушку надо встретить.

— Я сам его буду встречать с воннами, — сказал Тимур. Он обнял жену.

— Ты должна беречь себя ради него, — он погладил ей живот.

— Тимур, — спросила Альджан, прижимаясь к его плечу головой, — я все не решаюсь тебя спросить: по каким признакам мужчина выше женщины?

— Ты с этим не согласна?

Нет, я с этим согласна, раз об этом говорится в Коране. Но вот там сказано, — она раскрыла Коран и прочла:

«Мужчины выше женщин по причине качеств, которыми бог возвысил их над ними. Это существа несовершенные, созданные для мужчины, но полные хитрости». Это обо всех женщинах сказано? Разве все женщины одинаковые?

— Нет, есть добродетельные женщины, — сказал Тимур, — послушные и покорные, они заботливо сохраняют во время отсутствия мужа то, что всевышний велел сохранять в целостности. Ты понимаешь, о чем написано в Коране?

— Понимаю. Избегать совокупления с другими мужчинами? Но разве я похожа на свою тетю?

— На какую тетю?

— На Гульмалик — жену Тамула. Когда я была совсем маленькой, я видела, как она совокуплялась с моим братом Хусейном. Они за это будут в горячей смоле?

— Да, они будут в горячей смоле, — рассеянно сказал Тимур. — А теперь иди к себе, отдыхай. Я должен еще подумать...

### *Река под Самаркандом. Утро.*

Тимур и Саид едут вперед отряда воинов.

— Мы договорились с амиром Казганом встретиться у реки Джейхун, — говорит Тимур Саиду. — Оставим воинов здесь и дальше поедем вдвоем.

— Да ведь здесь опасно. Здесь разбойничьи места. Почему оставляем воинов? — сказал Саид.

— Делай, как я говорю!

Подъехав к зарослям, тянувшимся вдоль берега, Тимур слез с коня.

— Слезай и ты, — тихо сказал он Сауду. Он осторожно раздвинул кустарник. Вдали уже скакал Казган с несколькими людьми, чуть выше по течению. Тимур приложил палец к губам.

— Оставайся на месте, — сказал он Сауду.

Вдруг послышался топот. Точно кто-то вел лошадей шагом. Показались амир Тамул, Баян-Куль и с ними еще несколько человек.

— Вот он, — сказал шепотом Тамул. — Значит, слуга Тимура — перебежчик, не обманул, они действительно встречаются здесь!

Казган безоружен, — сказал Баян-Куль. — Здесь нам представляется удобный случай наконец покончить с ним, куда не приехал Тимур,

Надо действовать быстро, — сказал Тамул и, сев на коня, выехал из зарослей, а за ним остальные.

Казган, увидев Тамула, улыбнулся.

— И ты здесь? А я здесь условился встретиться с Тимуром. Хорошие места для охоты...

— Да, хорошие! — улыбнулся в ответ Тамул. — Замечательные места для охоты на крупную дичь!

Он подъехал ближе, выхватил саблю и ударил ею Казгана. Остальные начали рубить слуг. Окровавленный Казган упал с коня и с криком побежал к реке. Несмотря на раны и большой вес, он бежал быстро и кричал. Его с трудом догнали и начали рубить и резать в несколько пожей и мечей. Сауд рванулся из кустов, но Тимур крепко схватил его за плечи.

— Так надо, — сказал Тимур. — Что ты смотришь на меня, Сауд? Разве тебе мало, что я плачу? Я плачу горькими слезами, посмотри, у меня все лицо залито слезами!

Он с яростью схватил Сауда за ворот и притянул его вплотную к себе.

— Ты видишь, я страдаю, — сказал он уже спокойнее, оттолкнув Сауда. — Какой замечательный человек погибает, добрый, смешной, доверчивый! Прощай, милый Казган,

прощай! Ты мог быть хорошим садовником, но ты был плохим правителем. Прощай, добрый Казган, мы отомстим за тебя твоим убийцам!

— Все кончено, они убили его, — тоже утирая слезы, прошептал Саид.

Тело Казгана, залитое кровью, лежало неподвижно, а убийцы убежали в заросли.

Тимур вскочил на коня и поскакал к убитому:

— Злоден! Я опоздал, я опоздал! Вы убили правителя! — Тимур поднял тело, продолжая кричать: — Гнусное злодеяние! Гнусное злодеяние!..

Вскоре вокруг собрались воины, сбежался народ.

*Самарканд. Улицы. Вечер.*

— Будь благословен, Тимур! Наш новый правитель! — кричал народ на улицах Самарканда.

— Я буду справедливым правителем, — сказал Тимур. — А тело амира Казгана в глубокой печали похороним с почестями на берегу реки Джейхун.

— Слава Тимуру! Слава!

*Дворец Казгана. Вечер.*

В одной из комнат дворца собрались Тимур, Барлас и Сальдур. Стол уставлен едой и питьем.

— За долгий, дружественный союз трех амиров, на благо нашего народа, — говорит Барлас, подняв бокал. — Спасибо тебе, Тимур, что ты послушался своих родственников.

Все трое выпивают. Сальдур, схватившись за горло, падает на стол.

— Опился вином и умер, — говорит Барлас, — какая печаль... Теперь нас осталось двое...

Тимур нахмурился.

Звучит музыка. Правители Тимур и Барлас смотрят на выступления танцовщиц. Служители приносят еще один стул и ставят рядом.

— Кто велел поставить третий стул?

— Это я велел, — говорит Тимур. — У покойника есть сын, власть переходит к нему в нашем тройственном союзе...

*Дворец Тимура. Вечер.*

— Мне уже двадцать восемь лет, — говорит Тимур в задумчивости, садясь у своего любимого зеркала, — пора уже становиться эмиром. Я давно хочу быть единовластным правителем. И народ тоже этого хочет. Но я понимаю, что добиться такой власти почти невозможно в настоящее время. Наша страна — как рассыпанный на куски дом. Любой враг без труда нами овладеет. Мы как верблюжий помет, валяющийся на дорогах.

Тимур спросил Саида:

— Как ты мне посоветуешь?

— Надо разделить их и бить поодиночке, перессорить их между собой, — сказал Саид.

Тимур ходит по комнате.

— Мне ясно, в открытую, силой ничего нельзя добиться, только хитростью, только одна хитрость может мне помочь...

Он подходит к зеркалу, смотрит на себя:

— Каждому правителю в отдельности и тайно от других надо написать письмо и предложить вступить со мной в союз, чтобы общими усилиями избавиться от остальных правителей. Натравить их друг на друга.

*Спальня Тимура. Ночь.*

Кричит, плачет ребенок на руках счастливой Альджан.

Тимур берет у нее ребенка из рук, прижимает к груди и взволнованно говорит:

— Этот год счастливый для меня по приметам: три планеты — Луна, Юпитер и Венера — в этот год расположились благоприятно для пророка. Поэтому я даю сыну имя Мухаммед. Также в этом году начались завоевания. И я к имени Мухаммед присоединяю имя Джахангир — властитель мира.

Отдает сына Альджан, целует ее в лоб, целует сына.

— Иди к себе, иди, мне надо подумать.

Садится перед зеркалом, долго смотрит себе в глаза.

— Хусейн или Барлас, кто опаснее сейчас, Хусейн или Барлас?.. Саид, — позвал Тимур. — У меня есть сообщение шпионов, что зять Барласа составил против него заговор, чтоб посадить на его место своего сына.

— Да, — сказал Саид, — такие сообщения есть.

— Я вот что подумал, Саид, — сказал Тимур, — и мне кажется правильным сделать так, чтоб Барлас узнал намерения зятя. Да, да, найти способ тайно сообщить ему об этом.

— Но ведь вы радовались, что таким путем удастся избавиться от коварного врага, каким стал Барлас?

— Я передумал, Саид. Конечно, от Барласа хорошо бы избавиться, но Барлас подл и глуп, а его зять, как я узнал от шпионов, человек разумный, значит, опасный. Барлас, конечно, зятя казнят, а мне будет благодарен...

*Хорезм. Дворец. Комнаты Тимура. Вечер.*

Дождливым ветреным вечером Тимур совершал перед сном вечернюю молитву, когда Саид доложил, что приехал Барлас и срочно просит о встрече.

— Я так тебе благодарен! — закричал Барлас, едва увидев Тимура. — Если б не ты, я был бы уже мертв. Они ведь хотели меня этой ночью зарезать. Если б не ты, я попал бы в большую беду, ты настоящий родственник.

— Отчего ж, — сказал Тимур, — вместо этого холодного вечера вы наблюдали бы сейчас райские кущи, дядя, и слушали бы райскую музыку.

— Ты любишь пошутить, — усмехнулся Барлас.

— Какие же тут шутки, — сказал Тимур. — Дядя, а почему у вас руки в крови?

— Действительно, — глянув на руки, сказал Барлас, — я так спешил тебя поблагодарить, что не успел даже как следует вымыть руки, у меня и вся одежда была в крови, я едва успел переменить одежду, а вот в спешке не отмыл руки. Я не стал дожидаться палача, скажу тебе откровенно, я сам зарезал своего зятя и его жену. Я был так возмущен, ты должен меня понять, ведь если б ты меня не предупредил, они бы убили меня. Коварство, повсюду коварство! Ты слышал, что совершил амир Хусейн? Он овладел Бадахшаном и без всяких причин казнил трех бадахшанских амиров.

— За такое злодеяние он получит возмездие в день Страшного суда, — сказал Тимур.

— Ты ведь доверял ему, — сказал Барлас.

— Ошибался, — сказал Тимур. — Я не знал, что в его характере соединились своеобразно, подобно четырём стихиям, определённые свойства.

— О чём ты? Какие стихи?

— Те качества, которые, к сожалению, присущи не одному лишь Хусейну. Четыре дурных качества: зависть, скудность, жадность и высокомерие.

— Я с тобой согласен, — сказал Барлас. — Если, например, взять моего подлого зятя, между нами говоря, мой родной внук ведь знал, что зять готовил против меня заговор. Я хочу обратиться к тебе за советом: не стоит ли отделаться от потомка казненного зятя?

— Дядя, можно ли так говорить? Казнить собственного внука!

— Но ведь он знал, что меня должны убить, он хотел занять мое место!

— А может, вы сами виноваты, дядя? Ваш брат — мой отец амир Тарагай — добровольно ушел в частную жизнь и уступил свое место мне, а вы тоже уже стары, дядя. Может, и вам надо уйти в частную жизнь?

— Ты умный человек, — сказал Барлас. — Я пошимаю покойного амира Казгана, который подписал грамоту о назначении тебя наследником и правителем. Такой правитель нам и нужен, при таком правителе спокойствие воцарится в стране.

— А разве не вы, дядя, говорили о моих великодержавных замашках?

— Клевета, клевета! Это Джалаир, он совсем из другого племени. Он действительно твой враг, а лучшего друга, чем я, у тебя нет. Хочешь, я могу поклясться на Коране!

— Не надо, дядя. Не надо лишних клятв!

— Но теперь-то ты мне веришь?

— Верю. Если вы послушаетесь моего совета и простите своего заблудшего внука, то считайте, что я вам поверил!

— Пусть будет так, — сказал Барлас. — Я рад, что мы с тобой помирились, ты меня уговорил.

Он хотел обнять Тимура, но тот отстранился.

— Простите, дядя, я уже совершил сегодня обряд омовения, а у вас руки в крови...

— Я сегодня очень устал, — сказал Тимур Санду, когда Барлас ушел. — Я лягу спать пораньше, и буди меня, если только крайне важная и срочная весть.

*Сон Тимура. Река. Вечер.*

Тимуру снилась большая река. Он стоял на берегу реки, и в руках у него большой невод. Он закинул невод, который охватил всю реку, и вытащил на берег одновременно всех рыб, населяющих воду.

— Это предвестие твоего великого и славного царствования, — послышался голос с неба, — настолько славного, что все народы мира подчинятся тебе.

Послышалась музыка. Два ангела взяли Тимура за руки, повели его и посадили на престол.

— Поздравляю с вступлением на престол великого хана! — сказал один из ангелов.

— Ты должен передать эту власть своему потомству, — сказал второй ангел...

*Самарканд. Спальня Тимура. Рассвет.*

Но в этот момент послышался стук, и трон, на котором сидел Тимур, начал шататься. Тимур открыл глаза, послышался стук в дверь.

— Кто это? — спросил Тимур.

— Срочная весть, — ответил Саид. — Гонец принес грамоту.

Было еще темно, рассвело. Тимур взял грамоту и прочел:

— «Я — Туглук, потомок Чингисхана, Хакан, сын Хакана, хан Джете приказываю тебе со всем народом и со своими войнами присоединиться ко мне».

— Судьба поставила новые испытания на моем пути, — сказал Тимур.

— Может, срочно собрать воинов? — спросил Саид.

— Нет, — ответил Тимур, — это будет означать гибель. Туглук идет сюда с бесчисленным войском...

*Степь. Утро.*

Степь дрожит от конского топота. Хакан Туглук похож лицом на деда своего — Чингисхана, он скачет в окружении монгольской конницы. Всадники приближаются к реке и начинают переправу. Местное население бежит от них в страхе.

*Дом Тарагая. Ночь.*

Умиравший отец Тимура — амир Тарагай лежит на подушке, положив бледную руку свою на руку Тимура. У изголовья умирающего мулла негромко читает Коран:

— «Сам бог старается примириться с теми, которые согрешили по неведению и тотчас же покаются».

Тарагай шепчет:

— Помни, что все мы рабы бога. Будь доволен всем дарованным тебе. Будь благодарен за все милости к тебе. Повторяй непрестанно имя бога, неповедай его единственного, будь послушным его велениям и не делай того, что запрещено...

— «Раскаяние совсем бесполезно тому, — читает мулла, — кто постоянно делает дурные дела и только при приближении смерти кричит: „Я раскаиваюсь!“ Для тех нет пощады, кто умирает неверующим. Мы приготовили для них достойное наказание...»

— Не рви родственников уз, — с трудом произносил Тарагай. — Никому не делай зла, обращайся снисходительно с каждым созданием бога.

Он затихает.

*Площадь кладбища. Утро.*

Повозка с мертвым телом Тарагая останавливается у площади. Торжественный обряд похорон. Лицо Тимура залито слезами. Тысячи людей проводили в последний путь главу племени.

*Стан монголов. Утро.*

Тысячи шатров, дымят костры. Орда монголов обедает. Великий Туглук важно восседает на коне в окружении сво-

их приближенных. Тимур спешился, пошел пешком, поклонился ему и поцеловал стремя его коня.

— Да будет благословен твой приход, — сказал Тимур, — ибо имя твое Туглук означает «благословенный».

— Я доволен твоей покорностью, — усмехнулся Туглук и посмотрел на повозки с богатыми дарами.

— Прости, великий хакап, — сказал Тимур, — я задержал свой выезд навстречу, потому что должен был похоронить своего отца, амира Тарагая.

— Это похвально, — милостиво сказал Туглук. — Мой великий дед Чингисхан всегда почитал старших своей Орды.

### *Шатер Туглука. Утро.*

В шатре за чаем с лепешками и урюком хакап Туглук сказал:

— Кое-какие люди из здешних мне о тебе плохо говорили.

— У меня, как у каждого человека, имеющего власть, есть враги, — сказал Тимур.

— Да, это так, — согласился Туглук. — Вот и у меня повсюду бунты. Сейчас мне сообщили, что амиры Бухары подняли знамя бунта. Скажи, как мне лучше поступить? Самому ли идти на них и примерно их наказать, или послать одного из моих тысячников наказать их?

— Если ты пошлешь кого-нибудь, — сказал Тимур, — то будет две опасности. Если ты пойдешь сам — одна опасность. Умный человек тот, который предпочитает одну опасность двум.

Туглук захохотал.

— Ты мне нравишься! Я весьма доволен, что ты добровольно присоединился ко мне. Как сделать власть мою прочной?

— Посмотри на этот шатер, — ответил Тимур. — Твое величие подобно огромному шатру, который раскинут над твоими владениями. Столбы, которые поддерживают этот шатер, — справедливость. Веревки, на которых покоится крыша, — беспристрастие. Колья, которыми укрепляются

палатки, — правда. Эти три качества поддерживают твое величие, как колья, столбы и веревки поддерживают шатер. Всякий пойдет спасение под сенью шатра. А идущий против — погибает.

Хакан Туглук обнял Тимура и сказал:

— Ты мне нравишься, ты брат мой! Поедем со мной вместе осматривать владения.

*Степь. Дорога. Утро.*

Тимур верхом едет рядом с хаканом Туглуком в сопровождении свиты. Все вокруг кланяются им. Амир Баязит Джаланр, подъехав, поцеловал хакану Туглуку руку, а Тимуру сказал:

— Благодарю тебя за то, что ты заступился перед великим хаканом за наши земли. Прости меня за то, что я был к тебе несправедлив.

— Если лев перепрыгивает через сайгака, — сказал Тимур, — то прощает его и отпускает на волю.

— Ты хорошо ответил, — сказал Туглук. — Я вижу, тебя уважает местная знать. Как ты добиваешься этого?

— Хороших людей поощряю дарами, — ответил Тимур, — дурных стараюсь исправить наказанием.

*Шахрисябз. Городские ворота. Утро.*

Хакану Туглуку делегация горожан вручила послание.

— «О великий хакан Туглук, мы — пострадавшие, приносим тебе жалобу на твоих приближенных, которые ограбили народ и продолжают его притеснять...» — читает писарь.

— Я ведь запретил грабить здешних жителей! — сердито сказал Туглук и приказал начальникам отрядов немедленно вернуть все награбленное.

— Начальники оскорблены этим приказанием, — сказал Мухаммед-шах. — Вот-вот может вспыхнуть бунт! Воины тоже недовольны!

— У турок ум такой же узкий, как и глаз, — сказал Тимур. — Чтобы добиться от них преданности, необходимо насытить их глаз и сердце.

— Хороший совет, — опять рассмеялся Туглук. — Как поступить в подобных обстоятельствах?

— Не всегда воин грабит от жадности, — сказал Тимур, — иногда он грабит потому, что ему вовремя не выплачивают жалование. Снабжай воинов своих всем необходимым, а слугам своим плати жалованье исправно. Пусть твой воин будет убит, но жалованье его должно быть уплачено вперед.

— Я очень доволен твоими советами, — сказал Туглук.

Тимур и Туглук вместе молились в мечети. После молитвы хакан Туглук спросил Тимура:

— Как мне поступить? Кнички бунтуют, а амры тоже взбунтовались.

— Я посоветовал бы вам, великий хакан Туглук, удалиться в страну Джете, откуда вы пришли в Туран. Вместо себя оставьте верного человека, который хорошо знает эту страну.

— Этот совет мне нравится, — сказал Туглук.

Он позвал писцов и продиктовал:

— Грамота на управление: «Я, хакан Туглук, отдаю страну Туран брату своему — амиру Тимуру. Я так сделал для того, чтобы избежать притязаний со стороны моих врагов и междоусобиц».

— Теперь можешь прямо отправляться в Самарканд как правитель. Ты ведь любишь Самарканд?.

— Благодарю за доверие, — сказал Тимур. — Я люблю Самарканд, но там слишком много врагов, я сделаю пока столицей Шахрисябз.

### *Шахрисябз. Площадь. Вечер.*

Торжества в Шахрисябзе. Вся знать приносит Тимуру поздравления. Читается молитва.

— Такую молитву читают только для лиц, получивших верховную власть, — шепчет Джалаир Барласу.

— Я вернулся на родину, думая, что здесь после ухода монголов царит справедливость, — сказал Барлас, — а Тимур еще хуже монголов.

— Он овладел уже всеми городами Турана, а ведь у него нет прав! Он незаконно принял верховную власть, — сказал Баязигт.

— Мы не признаем власти отступника Тимура! Он ее получил из рук чужеземца!

Крики:

— Смерть! Смерть! Смерть отступнику!

*Степь. Стан Барласа. Вечер.*

Тимур со своими войсками приближается к стану. Среди множества юрт и лачуг высится большой шатер.

Навстречу под звуки музыки вышли Барлас, Джелаир со свитой.

— Не надо входить в шатер, — тихо пешнул Саид.

Но Барлас и Джелаир обняли Тимура, один слева, другой справа и дружески повели внутрь. Внутри шатра было много угощений.

— Ты сделал благое дело, что поверил нам, — радостно сказал Барлас и переглянулся с Джелаиром.

— По твоей племянник, кажется, тоскливо? — сказал Джелаир и улыбнулся Барласу.

— Его не радует наша встреча, — сказал Барлас. — Вот лучшее греческое вино, вот китайское мясо. Покойный Казган привил тебе любовь к китайской еде. Возьми этот кусок...

— Я не люблю мясо с кровью, — сказал Тимур.

— О какой крови ты говоришь, племянник?

— Я говорю о той крови, которая течет у меня из носа.

Тимур резко пошел к выходу. Джелаир и Барлас бросились следом, но перед ними появился Саид с обнаженным ножом. Воины Тимура поскакали навстречу. Тимур вскопчил на коня...

*Степь под Самаркандом. Утро.*

Конница Туглука огромной густой массой скачет по степи. Опять Тимур должен покорно и униженно припасть к стремени Туглука.

— Я пришел сюда не один. Со мной мой сын Ильяс-Ходжа. Я надеюсь, вы с ним подружитесь, — сказал Туглук.

*Шахрисябз. Дворец Тимура. Вечер.*

Во дворце Шахрисябза Тимур сидит по левую руку от Туглука, по правую сидит Ильяс-Ходжа.

— Положение Турана тяжелое, — говорит Тимур. — Люди и простые, и знатные терпят жестокость от несправедливых правителей.

— Я наведу порядок с помощью моих воинов, — самодовольно говорит Туглук.

— Это будет подвиг славный, — говорит Тимур.

— Пускай амиров, — говорит Туглук своим приближенным.

Амир Джалаир входит и падает ниц перед Туглуком:

— Я выражаю полную покорность и готовность верно служить. Я запер ворота Самарканда и двинулся к тебе навстречу...

— Немедленно убить, — приказал Туглук.

Ползет на коленях Баязит.

— Немедленно убить!

Вводят плачущего Барласа.

— Убить!

Всех троих противников Тимура убивают на его глазах...

*Предгорья. Река. Вечер.*

Хусейн вместе со своими воинами в страхе и изнеможении бежит. Скачет по степи, торопливо переправляется через реку.

В изодранной одежде, без чалмы карабкается на гору.

*Шахрисябз. Дворец. Утро.*

— Мои военачальники, — говорит со смехом Туглук сыну Ильясу и Тимуру, — рассказали мне, что Хусейном и его воинами овладел невероятный страх. Его преследовали до самых гор Индустана и захватили большую добычу. Что дальше?

— Покончили с Хусейном, — говорит Тимур, — надо отправиться в Самарканд и убить Баян-Куля...

— Еще один хороший совет, — соглашается Туглук.

*Самарканд. Улицы.*

Туглук, Ильяс и Тимур въезжают в Самарканд. Народ приветствует их. Баян-Куля волокут на аркане.

— Великий Туглук, — лепечет Баян-Куль, — припадаю к вашим ногам, выражаю полную покорность!

— Что ты скажешь, Тимур? — спрашивает Туглук.

— Неискренний, нехороший человек, — говорит Тимур.

— Немедленно убить, — говорит Туглук.

Баян-Куля тут же убивают.

*Самарканд. Дворец. Вечер.*

Ширшество. Туглук берет кусок жареного мяса и подносит его Тимуру.

— Возьми из моих рук этот хребет быка как почетный дар! Ко мне, к несчастью, пришла плохая весть — амиры Джете возмутились против меня. Я оставлю вместо себя сына своего — Ильяса, а тебя, Тимур, я поставлю первым визирем. Справедливый я правитель?

— При первой нашей встрече я говорил вам, что такое справедливая власть, — сказал Тимур.

— Да, да! — сказал Туглук. — Ты очень хорошо говорил, ну-ка, напомни мне кратко.

— Всякая власть подобна палатке, которая опирается на столбы — справедливость правителя...

Туглук поморщился.

— Первый раз твои слова мне больше понравились, — помрачнев, сказал он. — В этот раз я что-то их не совсем понял.

— А я его понял, — сказал Ильяс. — Всего слова намек на вашу несправедливость!

— Ты недоволен? — спросил Туглук. — Скажи мне прямо!

— Я потомок Чингисхана! — крикнул Ильяс. — А ты, Тимур, едва ли в родстве с Чингисханом!

*Самарканд. Улицы. Утро.*

Женский визг. Воины Ильяса силой выволакивают десятки девушек, вяжут их и увозят. Крики, плач.

*Самарканд. Дворец. Спальня Тимура. Вечер.*

— Жители Турана пожаловались мне, — говорит Тимур Ильясу, — что твои воины требуют предоставить им тысячу девушек, они схватили уже четыреста девушек.

— Я запретил им всякое насилие, — говорит Ильяс. — Ты ведь начальник амиров, почему они не обращают внимания на твои распоряжения?

— Кто-то велит им не слушать меня, — говорит Тимур. — В стране нет правителя.

— Значит, я не правитель? Я знаю, что твои святые старцы всюду распространяют слух, что я не обладаю качествами, необходимыми для правителя!

— Но ты ведь раньше никогда не был правителем!

— Я знаю, чего ты хочешь! Ты хочешь власти, ты нарушаешь повеление Туглука! — крикнул Ильяс. — Я велю схватить святых старцев! Они смутьяны!

Воины Ильяса хватают святых старцев, вяжут и волокут в тюрьму.

*Тюрьма. Вечер.*

Воины Тимура нападают на тюрьму. Жестокая схватка. Святых освобождают, увозят на больших телегах.

*Самарканд. Дворец. Спальня Тимура. Ночь. Сон.*

Тимур спит. Большая птица прилетела к нему во сне и уселась на руку.

— Это птица Шагин, — тихо произнес кто-то.

Послышалось мычание. Много коров подошло к Тимур, и он начал доить их.

— Эта птица Шагин предвещает тебе счастье, — сказал чей-то голос. — Птица, усевшаяся на руку, означает могущество, а множество коров предвещает многие выгоды для тебя. Ты освободил моих потомков — получишь награду...

*Монгольский стан. Вечер.*

Хакан Тугдук читает письмо, которое привезли ему два посланца Ильяса. Рядом, почтительно склонившись, сидит Тамул.

— Тимур нарушил свое обещание и заповеди предков, — сердито говорит Туглук. — Я ему верил, верил, а он произвел возмущение против меня и пытался овладеть Тураном.

— Я давно говорил вам, что он намерен восстать против вас и сделаться самостоятельным правителем, — говорит Тамул. — Я знаю его коварство. Эти Барласы — род отступников...

*Дорога. Ночь.*

Тимур, его жена Альджан, Санд скачут по почной дороге.

Санд часто оглядывается назад.

*Степь. Палатка. Ночь.*

Тимур и Альджан лежат в палатке.

— Мы скрываемся здесь, как разбойники! — говорит Альджан. — А наши враги царствуют!

— Что ж! — улыбается Тимур. — Если нас победят, то победят лишь разбойников, а если мы победим, то победим царей!

— Что будет с нашими детьми, если мы погибнем? — говорит Альджан. — Хакан Туглук верил тебе, может, он простит тебя, если ты покаешься и попросишь простить моего брата Хусейна?

— Альджан, что сделано, то сделано! Належь-ка мне лучше вина! — сказал Тимур и поцеловал жену. — Вспомни, что писал Хайям:

Когда фиалки льют благоуханье,  
И веет ветра вешнее дыханье,  
Мудрец, кто пьет с возлюбленной вином,  
Разбив о камень чашу покаянья.

— Что-то здесь не пахнет фиалками и вешними ветрами! — говорит Альджан. — Я слышала лошадиное ржанье!

— Тимур, вставай! — слышен крик Санда...

*Пустыня. Вечер.*

— Впереди колодез, — сказал Тимур, привстав в стремени. — Дальше степь кончается, начинается пустыня.

— Как бы не встретить нам разбойников, — говорит Санд. — Здесь бродят шайки разбойников-туркмен. Их главный товар — рабы, особенно молодые женщины, которых они продают дорого. Может быть, мы вернемся назад?

*Пустыня. Ночь.*

В темноте мелькали всадники, слышен был звон оружия. Тимур и Альджан, полуодетые, выскочили из палатки.

— Не отставай от меня! — крикнул Тимур, беря одной рукой повод лошади, а другой Альджан. Бешено понеслись напролом.

— Слава богу, все целы! — сказал Санд.

Тимур странно ругался:

— Будь ты проклят, гнилой сифилигтик, пусть сгниет мясо на теле твоей монгольской матери!

Тимур лег с женой на голый песок, было холодно и неудобно, но от усталости он быстро закрыл глаза.

Черный ворон сел на плечо Тимура, и от тоски, сжавшей его сердце, Тимур заплакал. Рой мух со всех сторон слетелся к плачущему Тимуру. Он отгонял их, но они летели и летели. Он задыхался от усталости и ярости и от невозможности отогнать мух.

Открыл глаза. Альджан трясла его за плечо.

— Ты плакал во сне, — сказала Альджан.

Был холодный, сырой рассвет. Поеживаясь, Тимур сел со скорбным лицом...

*Площадь перед мечетью.*

Ранний рассвет, но у мечети уже много народа. Тысячи людей, одетых в траурные рубища, в руках у многих факелы, фонари, колокола, изображения солнца и полумесяца на шестах и пестрые куски материи. Молодой венецианский путешественник Николо тоже одет в траурное рубище, голова его повязана чалмой.

— Я давно мечтал проникнуть на мусульманский праздник, — говорит он своему проводнику Якубу, — и вот недаром проделал такое путешествие из Венеции.

— Говори тише, — предупреждает проводник. — Если узнают, что ты не мусульманин, я рискую вместе с тобой.

Загремели барабаны, ударили медные тарелки, шествие началось. Впереди шли люди, одетые в длинные черные рубахи, они били себя в грудь. За ними двигались другие мужчины, тоже в черных рубахах, которые били себя по спине и плечам цепями. Потекла первая кровь.

Тимур, который наблюдал за всем этим из толпы, поморщился.

— Это аза — процессия огорчения, — шепотом говорит Якуб. — В память гибели имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Вот идет хади, предводитель процессии, который рассказывает о гибели Хусейна в битве при Кербеле.

— После смерти пророка Мухаммеда, — громко, патетично говорит хади, — халифом стал тесть пророка Огубак. Умирая, он передал власть своему тестю Омару, его убили отступники.

Плач и крики в процессии стали громче.

— Возьми флакончик со слезами, — шепнул Якуб Николо и протянул флакончик. — У кого не хватает собственных слез, принесит их во флакончике. Здесь нельзя выглядеть равнодушным.

Николо взял флакончик и сбрызнул глаза.

— Праведный Али, двоюродный брат и зять пророка, — с пафосом продолжал хади, — новый халиф, был убит при выходе из мечети после пятничной молитвы.

Крики стали еще громче, кровь потекла обильнее.

— Праведный Али завещал привязать свой труп к верблюду и пустить его в пустыню. И похоронить его там, где верблюд опустится на колени.

— Я-алли! Я-алли! — кричали из шествия. — О боже!

— Власть захватил проклятый Муавия, — продолжал хади. — Он потребовал присяги сыну своему, проклятому Езиду.

— Шайтан! Шайтан! — яростно кричала толпа и поднимала сверху кулаки и оружие.

Уже восходило солнце. Улицы наполнялись все большим и большим количеством людей, присоединявшихся к шествию.

— Сын убитого Али, внук Мухаммеда, имам Хусейн в сопровождении двухсот приближенных, по зову жителей своего города Элькуфы, отправился туда переменить власть, принадлежащую ему по праву.

— Я-алли! Я-алли! — кричала толпа.

Звонили колокола, раздавалось пение.

— Армия Езида в четыре тысячи человек преградила ему путь. Хусейн повернул к Евфрату, но и здесь натолкнулся на врагов. Они засыпали канал, ведущий к его лагерю. Хусейн и его приближенные умирали от голода и жажды...

Вопли из толпы достигли предела. Многие в шествин избивали себя цепями, к которым были привязаны мелкие гвоздики, ранили кинжалами, вонзали в тело иглы. Уже несколько искалеченных лежало на обочине. Николо отворачивался, смотрел с трудом.

— Такова наша вера. Ради веры люди не жалуют своей жизни, своей крови... — сказал Якуб и, помолчав, добавил: — И чужой тоже.

— В битве при Кербеле, — продолжал громко, нарастая выкрикивать хади, — все приближенные Хусейна были уничтожены, а сам Хусейн убит Езидом. Голову Хусейна по наущению Езида отрезали и подвергли надругательствам.

Отдельной группой шли люди, которые острыми палашами наносили себе удары по голове. Из этой группы слушатели уже вытащили одного мертвеца.

— Это либо фанатики, — тихо сказал Якуб, — либо люди, давшие обет «азакамат», если святой имам Хусейн поможет исполнению их желаний. Камат — это острый меч, которым они бьют себя по голове.

*Пустыня под Бухарой. Колодец. Вечер.*

Тимур и его спутники подъехали к колодцу и снеслись. У колодца было много народу. Шла меновая торговля.

Несколько пастухов брали воду для овец. Под ветвистым деревом сидели трое: дервиш и двое непонятно что за люди, у них на лицах виднелись следы побоев. Дервиш громко распевал гимны из Корана, а двое его спутников молча испуганно озирались.

Заметив Тимура, который мыл ноги у колодца, один из них подбежал к нему и, низко кланяясь, сказал:

— Великий амир Тимур, позволь мне поцеловать твои ноги...

Тимур брезгливо посмотрел на грязное небритое лицо кланяющегося.

— Я совершил обряд омовения и не хочу быть оскверненным.

— Тогда позволь мне хотя бы поцеловать пыль у ног великого покорителя мира, — сказал человек.

— Кто ты? — спросил Тимур, несколько смягчаясь после этих слов.

— Я старый, немощный верблюд. Я верблюд, который никому не нужен, которого никто не хочет купить. А кто покупает, требует деньги назад. Но туркмены не брезгают даже дохлятиной, они продадут меня за драхму.

— Это странствующий комедиант. И тот, пожалуй, тоже, а дервиш слишком бел лицом, одежда дервишей нередко служит прикрытием для лазутчиков и шпионов из греческого Рума, — сказал Санд.

— Да, господин прав, мы актеры, — сказал человек. — Мир тесен, я веселил публику на празднике вашего обрезания.

— У вас есть лошади или ослы? — спросил Тимур.

— Мы пешие...

— Надо вместе переночевать, — сказал актер, — здесь очень опасно. Туркмены любят захватывать людей и продавать их на рынке.

— Мы будем почевать отдельно, — сказал Санд Тимуру. — От них могут переползти вши. Я уже договорился в одной богатой юрте...

### *Пустьня. Шатер туркмена. Вечер.*

Тимур сидел за чаем. В стороне стояли хозяин юрты и его сын.

— Прошу простить меня, — говорил хозяин, — сейчас приготовится ужин. Мы люди небогатые, только вареная рыба и кислое молоко. Зато у нас хорошая юрта, и прохлада освежит вас.

В юрту заглянул человек:

— У тебя тоже гости. Поздравляю тебя с гостями! — он незаметно подмигнул.

— Наше племя очень гостеприимное, мы любим гостей, — обратился он, улыбаясь, к Тимур и его собеседникам. — Поужинаете и сладко уснете.

— Когда я еще был маленьким, — рассказывал актер, — я учился актерскому ремеслу у одного шута.

Он состроил гримасу. Сын хозяина рассмеялся, но отец прикрикнул на него:

— Чего ты мешаешь людям, иди, скажи, чтобы подавали быстрее ужин!

В это время вошел дервиш и благословил всех. Хозяин подал ему лепешки.

— Туркмен никогда не отпускает дервиша с пустыми руками, — сказал хозяин.

— Ты дервиш? — спросил Тимур, подавая ему деньги.

— Да, — сказал дервиш. — Мы, дервиши, живем своим благочестивым трудом, деньги мы никогда не берем. У дервиша деньги считаются грехом.

— А мы берем! — сказал второй актер и рассмеялся.

Меж тем хозяин в соседней половине за занавесом ругал жену:

— Почему не кладешь цепи куда следует? Где цепи? Немедленно найди и подай их. Почему ничего не лежит на месте, где цепи?

Потом он обратился к сыну:

— Бездельник, негодяй! Почему ты не подсыпал опиум в чай, они бы уже давно уснули. Что из тебя получится? Ты никогда не станешь настоящим мужчиной! У соседа сын младше тебя, а он уже убил двух персов и захватил пятерых в рабство. Поэтому сосед богат, а мы нищие! За двух персидских девушек, которых он продал в Бухаре, он купил десять верблюдов!

— Но ведь это не персы, это правоверные, — сказал сын.

— Молчи, бездельник! — раздосадованно сказал хозяин. — Все годятся в рабы, все!..

— Хозяин, где ужин? — послышался голос актера.

— Они требуют ужина, а могли бы спать в цепях, — сердито сказал хозяин.

Надев на лицо улыбку, вошел с поклоном:

— Прошу простить. Сейчас, сейчас!

Вошел невольник в цепях с блюдом рыбы.

Сын взял у него блюдо и подал. Потом он уселся неподалеку, глядя, как гости едят. Хозяин то входил, то выходил, успевая надевать на лицо улыбку, потом, выходя, опять снимал ее с лица.

— Я слышал, он ищет ценн, — сказал актер.

— Но ведь с нами дервин, — сказал Тимур.

— Это такой народ, — сказал актер, — они продали бы в невольники самого Магомета, если бы он попал к ним в руки!

Хозяин наконец вошел, так и не найдя ценей, и сел неподалеку.

Потом подали зеленый чай, халву и сладкий кумыс. Невольник в цепях ходил и убирал.

— Хозяин, — спросил дервин, — вы человек набожный, как же вы можете продавать своего единоверца в неволю вопреки постановлению пророка, которое гласит, что каждый мусульманин свободен?

— Кхей, — ответил хозяин хладнокровно. — Коран — книга божья, конечно, благородней человека, а все-таки ж Коран продается и покупается за несколько монет. Наше туркменское племя не ученое, но мы гордимся за наших братьев в стране Азербайджан. Там они очень учены.

Он обратился к актеру:

— У тебя музыкальный инструмент. Ты играешь и поешь?

— Да, я играю и пою за деньги и почт, — ответил актер.

— Спой азербайджанскую песню. Если нам, туркменам, хочется послушать что-нибудь необыкновенное, мы просим азербайджанскую песню...

При свете костра актеры поют песню. Чем больше убыстряется ритм, тем сильнее и сильнее раскачиваются туркмены, горят глаза, слышны гортанные выкрики. Тяжело дыша, они вдруг вцепились себе пальцами в кудрявые волосы и раскачиваются взад-вперед.

— Хорошие воины! — сказал Тимур. — Когда я буду правителем, у меня обязательно будут туркмены.

— Однако бедному путнику лучше с ними не встречаться! — сказал дервиш. — Надо постараться как можно быстрее покинуть эти места, чтобы не очутиться в цепях!

— Тебе и верно надо быстрее покинуть наши места, — сказал Тимур, — ты ведь итальянец или испанец. Ну, говори прямо. Как тебя зовут?

— Николо, — тихо ответил дервиш. — Я из Венеции, уже не первый раз здесь. Но я не шпион, я путешествую по Азии, потому что хочу знать здешних ученых и поэтов. Я тоже поэт и перевожу на итальянский язык Омара Хайяма и Беруни.

— Прочти что-нибудь, — сказал Тимур, — чтоб я удостоверился, что ты не врешь. Прочти сначала по-нашему, а потом по-итальянски.

Николо прочел:

Если в городе отличишься,  
Станешь злобы людской мишенью.  
Если в келье уединишься —  
Повод к подлому подозрению.  
Будь ты даже пророк Ильяс,  
Будь ты даже бессмертный Хизр,  
Лучше стань никому певедом,  
Лучше стань невидимой тенью.

— Да, да. Тебе надо стать невидимой тенью, — сказал Тимур. — Уходи из этих мест. Я тебя не выдам, но ты можешь попасться другому, который стихов не читает. И он отрубит тебе голову. Если же ты когда-нибудь вернешься, привези мне из Венеции латинские книги, Аристотеля и других.

— Как я тебя найду?

— Ты меня найдешь, — сказал Тимур. — Когда ты вернешься, ты меня найдешь...

*Пустыня под Бухарой. Колодец. Утро.*

— У нас украли коней! — Крик этот разбудил Тимура, и он выбежал из шатра.

— Перед рассветом я пересчитал коней. Все были на месте. — сказал Санд. — А сейчас трех не хватает...

— Проклятый итальянец! — пробормотал Тимур. — Неладом говорят: «Ум итальянца занят у дьявола».

Подошли, сочувственно кивая, хозяйева.

— Как же в путь пойдете без копеей? Положите до завтра, — сказал хозяйин, — вместе пойдём.

— Нет, нам надо торопиться, — сказал Тимур. — Из-за кражи коней моя жена и сестра будут вынуждены идти пешком.

### *Пустыня под Бухарой. Утро.*

Маленький отряд движется по барханам. Вокруг тишина и пустота. Мужчины едут на лошадях, женщины идут пешком, держась за стремя, утирая пот.

— Погибнуть здесь легко, — шепотом говорит Тимур, — сделаем привал. Попросим в своих молитвах о безопасности.

— Ещё немного, — сказал Саид, — и мы достигнем твердой равнины. Смотрите, впереди виден хребет!

— Горы, горы! — радостно закричали все.

— Слава богу, мы уже близки к цели! — сказал Тимур.

— Песка становится меньше, — сказал Саид. — Вон впереди облако пыли. Наверное, стадо!

— Это не стадо, — тревожно сказал Тимур.

### *Пустыня под Бухарой. Вечер.*

Стало темно, послышался сильный шум. Вначале им удавалось перекликаться, но затем голоса пропали. Все заглушил шквал. Тимур и Альджан успели соскочить с лошадей, которые тоже поспешно легли. Ураган с густым шумом пронёсся, постепенно затих. Когда Тимур и Альджан выбрались из-под песка, вокруг никого не было.

### *Пустыня под Бухарой. Утро.*

— Эй! Эгей! — закричал Тимур.

Ответа не было.

— Они пошли в другую сторону, — сказал Тимур.

— У меня, кажется, лихорадка, — сказала Альджан.

Тимур идет, поддерживая в седле Альджан.

— Альджан, потерши, скоро колодец.

— Я не могу сама сойти с седла, — говорит Альджан. — Наступил мой последний день, Тимур...

— Потерши, потерши! — говорит Тимур, снимая ее с лошади.

Лошади, измученные жаждой и ветром, торопливо шли. Но когда Альджан выпила, ее вырвало. Тимур тоже попытался и плюнул.

— Вода пригодна для животных, но непригодна для людей, — сказал он. — Все-таки поспим здесь, может, у колодца нас найдут пастухи.

Он обнял жену, они улеглись, утомленные, прямо на землю и быстро уснули. Проснулись они от того, что их окружили люди, говорившие невуче и мягко.

— Персы, — сказал Тимур. — Не туркмены, а персы! Мы ушли далеко в сторону, мы в Персии.

— Пить, пить! — повторила Альджан.

Подали сосуд.

— Персы, — улыбнулся Тимур и вдруг заметил, что у всех окруживших их людей на руках и ногах цепи. — Это персы-невольники, которые стерегут туркменских овец. Альджан, надо идти дальше, чтобы миновать туркменскую стену.

— Не могу, — сказала Альджан.

— Тогда придется почевать здесь, — сказал Тимур.

### *Старый колодец. Ночь.*

Отряд туркмен пробирался ночью, ведомый одним из невольников. Невольник показывает на сияющих Тимура и Альджан. Туркмены набрасываются на Тимура и Альджан и вяжут их.

— Зачем ты это сделал? — говорит проводнику другой невольник. — Разве ты не знаешь, что такое рабство?

— Мне за это была обещана свобода, — говорит невольник. — Я хочу увидеть своих детей и свою старую мать...

### *Шатер Курбана.*

Туркменский амир Курбан сидел на войлочной кошме и ел абрикосы, в то время как ширюльник брил ему бороду.

Связанных Тимура и Альджан привели и поставили перед ним. Туркменский амир, ничего не говоря, продолжал есть. Так в молчании прошло несколько минут.

— В тюрьму, — сказал он.

Тимура и его жену поволокли и втокнули в темную яму.

*Туркменская яма-тюрьма. Рассвет.*

Тимур делает зарубки камнем на стене.

— Скоро уже два месяца, как мы томимся в этой кишасей паразитами яме, — говорит Тимур.

— Солнце бывает здесь только ранним утром, — говорит Альджан. — Маленький луч ненадолго освещает край стены, я всегда жду этого момента, он длится недолго. Мне хочется хотя бы перед смертью увидеть солнце. От темноты кожа у меня стала, как киноварь. И от паразитов чешется тело.

Тимур сидит, сжав голову руками.

— Надо вырваться отсюда, — говорит он. — Выбраться любой ценой. Вчера один из стражников, которому я обещал щедрую награду за помощь, не дал мне никакого ответа, но и не ругался...

Слышны шаги, в дыру просовывается голова стражника.

— Эй, что ты разболтался?

— Подумай о награде, которую я тебе обещал, — говорит Тимур, — принеси лестницу...

— Я могу принести веревку, на которой тебя повесят! — и стражник захохотал, позвал других стражников, чтобы посмеяться вместе.

— Проклятый, — говорит Тимур, отходя от дыры. — Проклятые жеватели опиума! Плуты! Паразиты! Бог задумал мир как прекрасный рай! Но мир этот попал в руки еретиков. Все прекрасные страны на свете перепали в руки еретиков, отступников или неверных: Индустан, Китай, Персия, Россия, Греция, Рим — всё, всё в руках еретиков! А наша любимая родина Туран в руках отступника Туглука и его глупого сына! Но я клянусь, Альджан, мы выберемся отсюда! Отсюда! — закричал он совсем громко, в лихорадке блестя глазами. — Из этой смрадной ямы начнется мое движение к власти над миром!..

— Эй, — просунулась в дыру голова стражника. — Если ты будешь кричать, то я пуцу к тебе скорпионов.

— Принеси лестницу! Ты станешь богатым человеком, — говорит Тимур.

— Может быть, тебе еще принести коврик, чтобы ты подкрепился на нем?! Подать куски нежного мяса козленка, жареных кур, яйца, мягкие, как задница?! А? Принести тебе все это, а? Ты, висельник! — и он опять захохотал.

Альджан подошла, обняла Тимура, они уселись на камень.

Тимур положил ей голову на плечо и закрыл глаза.

— Эй! — позвал кто-то. — Эй-й...

В дыру смотрел молодой стражник.

— Возьмите! — и меч вошел в землю недалеко от ног Тимура. Послышался шорох — это упала лестница.

— Свершилось, — сказал Тимур. — Это рука бога...

По веревочной лестнице Альджан и Тимур поднялись наверх.

Стражники играли в кости, когда Тимур неожиданно появился перед ними.

### *Двор тюрьмы. Рассвет.*

— Я сейчас пройду мимо вас, и никто не двинется из страха за свой живот. Не пытайтесь преградить мне дорогу, слышите? Кто из караульных решится преградить мне дорогу? Кто хочет, чтобы мой меч оказался у него в кишках?

Стражники, загипнотизированные, не шевелятся.

Держа Альджан за руку, Тимур вышел на улицу. Вокруг были слышны крики: «Бежал! Бежал!»

Тимур пошел по улице, народ расступался перед ним. Он зашел к хану Курбану.

### *Шатер Курбана. Рассвет.*

— Амир Тимур, — сказал Курбан, — я собирался освободить тебя сам, потому что получил два письма от своего брата. В первом письме он пишет, что если ты посетишь меня, чтобы я принял тебя с надлежащим почетом. Но нехорошие

люди не передали мне первого письма. Я узнал о нем только из второго письма, которое получил сегодня.

— Кто эти нехорошие люди? — спросил Тимур.

— Амир Хусейн, — сказал Курбан. — Он передал мне только письмо, в котором брат просит принять его, Хусейна, хорошо, а письмо насчет тебя он мне не передал.

— Это неправда! — крикнула Альджан.

— Правда! — оказал Тимур. — Твой брат коварен и подл. Он знал, что я сижу в тюрьме, и не сделал никакой попытки выручить меня, несмотря на то что я сижу с тобой, с его сестрой!

— Я дам тебе своего коня и двенадцать всадников для сопровождения, — сказал Курбан.

### *Стень. Утро.*

Горячий солнечный день. Тимур сидит в тени, прислонившись к полуразрушенной стене. Он привстал, смотрит, как муравей пытается забраться на стену: взберется немного, упадет вниз, потом опять взберется, доберется доверху, опять упадет.

— Тимур, — позвал его Саид.

— Тише! — шепотом сказал Тимур. — Этот маленький муравей и слепой, и хромой, но упорством и настойчивостью достиг все-таки своей цели. Упорству и настойчивости надо учиться не у львов и орлов, а у маленьких насекомых...

Подшли и другие спутники Тимура.

— Но сейчас нам надо уходить! — сказал Саид. — Здесь нельзя долго оставаться, сюда идут монголы, а у нас всего пятьдесят конных, остальные пешие!

Двигается отряд Тимура, впереди всадники, позади пешие.

— Табун лошадей, — говорит Саид. — Захватим!

— Мы не в туркменских степях, — отвечает Тимур, — и я не занимаюсь грабежом!

Отряд подъезжает ближе. Хозяева табуна узнают Тимура и кланяются ему.

— Это подвластные мне люди, — обрадованно сказал Тимур, — надо уговорить их уступить нам коней.

*Река. Утро.*

Небольшой отряд Тимура быстрою рысью движется в конном строю. Впереди блестит река.

— Смотрите! — кричит Саид. — На другом берегу монголы!

— Нет, это наши люди! — говорит Тимур. — Это Мубарак и амир Термеза пришли присоединиться ко мне...

*Устен Кадагара. Ночь.*

Уже тысячное войско Тимура при звуках труб подходит к Кадагару. Разбуженные жители и воины заполнили крепостные стены.

— Надо послать к правителю, чтобы щедрыми подарками склонить его сдать нам город. А пока, на всякий случай, приготовим штурмовые лестницы, — говорит Тимур.

*Шатер Тимура. Утро.*

Шир. Еда. Питье. Правитель Кадагара вручает дары Тимуру.

— Мы очень довольны тобой, — говорит Тимур правителю, — чтобы этой ночью Кадагар подчинился мне.

*Кадагар. Дворец правителя. Утро.*

— Амир Хусейн просит принять его, — сказал на следующее утро Саид, войдя в комнату дворца, где Тимур отдыхал.

— Пришел, униженный, просить прощения, — сказал Тимур. — Как это похоже на него! Подлый, коварный человек!

— Что ответить ему?

— Пусть войдет. Когда ни на кого нельзя надеяться, приходится вступать в вынужденный союз с негодяем...

Входит улыбающийся Хусейн.

— Как я рад видеть тебя, — говорит он, широко распахивая объятия. — А где моя сестра Альджан? Я соскучился по ней!

— Альджан я отправил домой. Она болеет после тюрьмы.

— Ах! Это так ужасно! Я пошлю ей полезные для желудка китайские корни, сладкого салата в уксусе и меду. Ты не

должен на меня обижаться, я не знал, что ты в тюрьме. Ты должен понять меня, среди этих туркменских дикарей я боялся за себя.

— Да. Я разделяю власть над Капдагаром и дань с него пополам, уступлю одну половину тебе, — сказал Тимур.

— Ты благороден, — сказал Хусейн, — по я тоже тебе хочу сделать подарок. Хочешь, подарю тебе русскую паложницу, которую я в Хорезме выменял за туркменскую лошадь? Ты ее увидишь и поймешь, почему я лучшего туркменского скакуна не пожалел. У нее голубые глаза, кроткий характер, и она прекрасно готовит.

Тимур и Хусейн, сидя рядом, смотрят на русскую паложницу.

— Ну, что я тебе говорил? — засмеялся Хусейн. — Посмотри, какие у нее светлые волосы, они не крашены хной. Это дело природы. Посмотри, какой у нее румянец на белом лице! Я думаю, что в России ее кормили медвежьим молоком. Посмотри, как она сильна в работе! И во всем! Ты меня понимаешь? И смысленая. Я ее учу мусульманской вере... Пойди сюда, Ксения! Расскажи, про что я тебя учил?

Ксения подошла, наморщила лоб.

— Про Сусеня, — сообщила она. — Ты Сусеня! И учил меня про Сусеня, про святого Сусеня... У нас святым тоже имя дается...

— Это она про Хусейна говорит «Сусеня», — засмеялся Хусейн. — Ну, расскажи про святого Хусейна, внука Мухаммедова.

Ксения опять наморщила лоб и долго молчала.

— А те убили Сусеня, — наконец сказала она, — Олейневых детей и внучат Мухаммедовых. Оп их проклил. И семьдесят городов развалилось...

Хусейн захохотал. Ксения тоже засмеялась и уселась к нему на колени.

— Нет, теперь вот твой хозяин, — сказал Хусейн, — я тебя ему подарил. Амир Тимур... Ти-и-мур...

— Тимур, — повторила Ксения и уселась к Тимур на колени.

Тимур отстранил ее.

— Знаешь, как она золотом умеет вышивать? — сказал Хусейн.

— Коран предостерегает мусульман от применения золотых нитей и украшений, — сурово сказал Тимур. — Я отошлю ее в свой дом, и старшая жена найдет ей работу на скотном дворе.

Тимур, глянув, увидел смотрящие на него голубые глаза, сердце его вдруг встрепенулось, он постарался сохранить суровость и отвернулся.

— Ты уж с ней слишком суров, — сказал Хусейн, когда Ксения ушла. — Если бы я знал, то не подарил бы ее тебе. Такую красавицу и для скотного двора? Для скотного двора достаточно и безносою старухи.

— Шарнат и улемы учат нас праведной жизни и предостерегают от прелюбодеяний, — сказал Тимур.

— А может быть, ты с ней так суров потому, что она тебе понравилась? — Хусейн громко захохотал.

*Кандагар. Дворец. Комната Тимура. Вечер.*

После молитвы Тимур сидел перед зеркалом. Вошла Ксения и внесла дымящееся блюдо.

Тимур посмотрел раздраженно.

— Саид, — крикнул он, — почему эта девка не на скотном дворе? Я велел ее отправить.

— Повар заболел, — сказал Саид, — а она вкусно готовит.

— Что же она варит? — Тимур посмотрел на блюдо. — Это же какая-то христианская еда! Она меня еще свиной накормит!

И он бросил блюдо на землю.

Ксения продолжала стоять, смотреть своими голубыми глазами на Тимура. Тимур взглянул опять на нее мельком.

— Чего ты стоишь? Подбери!

Она наклонилась и начала подбирать осколки разбитого блюда, рассыпавшуюся еду. У нее были стройные ноги, крепкие бедра, высокая грудь.

— Что ты молчишь? — спросил ее Тимур.

— А что мне делать?

— А почему ты не плачешь?

— Я привыкла, господин! — сказала Ксения. — Меня все обижают. Только когда жила при матери и отце, меня любили.

— Ты сильно тоскуешь по дому? — спросил Тимур.

— Тоскую, господин, — сказала Ксения. — Земля у нас красивая, лесной бог украшает ее цветами, птицы поют! А зимой на санях ездят и блины едят.

— Кто тебя учил варить?

— Отец-хлебник, — сказала Ксения. — При нем печь хлеб научилась и готовить научилась.

— Ты пробовал ее еду? — спросил Тимур Саида.

— Пробовал, вкусно.

— Ну-ка, еще принеси, пока она осколки собирает, — сказал Тимур Саиду.

Саид принес блюдо.

— Вкусно, — попробовав, сказал Тимур, — только мало перца. У вас как это называется?

— Цельмени, — улыбаясь, сказала Ксения.

— Вкусно, — поедая, сказал Тимур. — Только у нас лук с мясом мелко нарубленный. Я тебя научу, сядь.

Ксения присела.

— Ты можешь идти, — сказал он Саиду.

Саид вышел.

— Поешь!

— Спасибо, господин, я сыта.

— Садись, поешь.

— Как вам угодно.

Она села, робко взяла цельмень и начала есть. Некоторое время они молчали, ели молча, потом переглянулись и оба засмеялись.

— Плохо тебе без отца и матери? — спросил опять Тимур.

— Плохо без заступника, — сказала Ксения. — И птенцы радуются под крылом матери своей.

— Тебя амир Хусейн исламу учил? — спросил Тимур.

— Учил, только я ничего не понимаю.

— Значит, плохо учил! Всегда быть справедливым и милостивым, вот, в двух словах, чему учит ислам. Я тебя сам

буду учить. Пророк говорит: «Обучить одного неверного важнее, чем тысячи верных».

— Я вашей милости, господин, радоваться буду, как дерево сухое теплому дождю...

*Кандагар. Дворец. Вечер.*

— Не хочешь ли сыграть партию в шахматы? — спросил Хусейн Тимура после совместного завтрака.

Он расставляет фигуры.

— Садись, поиграем!

— Что ж, попробуем, — говорит Тимур и усаживается за доску.

Некоторое время они играют молча. Тимур делает ход конем, беря пешку.

— Тебе везет, — говорит Хусейн.

— Мне уж давно приходилось слышать, — говорит Тимур, — что тех, кому везет, преследует зависть.

— Зависть судьбы? — улыбается Хусейн.

— Я не язычник, чтобы верить в судьбу, — говорит Тимур. — Я верю в предначертания бога.

— Но согласишься, — говорит Хусейн, — кроме святых молитв есть еще и радости жизни. Да, эту русскую палочку, которую я подарил тебе сгоряча, я хочу получить назад. Ведь она тебе не нужна. Ты отправил ее на скотный двор.

— Она мне нужна, — помрачнев, сказал Тимур. — Она вкусно готовит.

— Вот как? Ну хорошо! Я тебе дам отличного повара, верни мне ее.

— Нет, она мне нужна, — сказал Тимур.

— Я не хочу, чтобы ты мне ее вернул бесплатно, я тебе заплачу. Хочешь белую арабскую кобылицу?! Я не понимаю, почему ты так сердито на меня смотришь? А, может быть, ты в нее влюбился? — Хусейн засмеялся. — Ты не обижайся, даже мудрые философы не пренебрегали своим телом.

— Я ценю истинных философов, а не вульгарных болтунов, — сказал Тимур. — О своем теле я забочусь не как какой-нибудь похотливый козел, не напоказ и не пренебрегая им! Тебе шах!

В этот момент вошел Саид.

— Амир Мубарак ночью тайно удалился от нас и ушел в Систан. Получена весть, что нам угрожает нападение систанцев.

— Что ж, от него этого следовало ожидать, — сказал Тимур. — Слишком горячо клялся мне в своей вечной верности.

*Холмы. Утро.*

Туманное рассветное поле. Воины выстраиваются в боевой порядок перед боем с монголами.

— Надо поделить воинов на три части, — говорит Тимур, — Ты, амир Хусейн, с одной частью богодуров составишь мое правое крыло. Ты, Саид, — другое, расположишься слева, я сам буду предводителем третьей части, составлю середину боевого порядка.

— В первый ряд поставим стрелков-лучников, за стрелками воинов, вооруженных коньями.

— Они приближаются! — крикнул Саид.

Тимур с холма, окруженный двенадцатью личными телохранителями, следит за боем.

Затем он бросается в самую середину сражения. Лязг мечей, свист стрел. Две стрелы почти одновременно попадают в Тимура. Одна в правую ногу, другая в правый локоть. Разгоряченный боем, он не замечает этого, раненый продолжает сражаться с торчачими в теле стрелами. Бегут воины Тимура, преследуют их монголы.

— Ты ранен!.. — тревожно кричит Саид.

— Ранен, — говорит Тимур.

Он слезает с коня.

— Пить очень хочется.

Он сделал несколько шагов и упал.

— Где Хусейн? — спросил Тимур и потерял сознание.

*Пустыня. Колодец. Утро.*

Огромный платан распростер свои ветви над колодцем. С толстой нижней ветви и кривой боковой облетели все листья. Голые стволы белеют на фоне густой зеленой кроны.

*Кандагар. Сад. Вечер.*

Бледный Тимур лежит под цветущими абрикосами. Ксения осторожно массирует ему тело специальной мазью.

— Слаб я стал, как ребенок, — тихо говорит Тимур. — Мне теперь и ходить надо учиться, как ребенку.

— Выучишься, — говорит Ксения, улыбаясь. — Я тебе матерью буду. Обопришь на меня.

Тимур с трудом встает и, опираясь на плечо Ксении, идет, хромя.

— Рука не сгибается, — говорит он — Теперь левой рукой надо учиться многое делать.

— Выучишься, амир, выучишься! — говорит Ксения. — Бог захочет, выучишься. Отец меня в детстве учил Бога любить, людей любить, и будет тебе награда.

— Хорошая ты, Ксения, — говорит Тимур и целует ее. — Бога я люблю, а людей мне любить теперь не обязательно. Мне теперь, хромоту и однорукому, людей особенно понимать надо, а не любить. Жизнь надо понимать не хуже муравья, чтобы до цели добраться. Всю злобу, которую я от многих людей испытал, собрать воедино, как тяжелый камень, и обрушить на их же головы.

— Не злись, милый! От злобы раны плохо заживают.

— Раны на теле заживут, а с врагами я посчитаюсь. Ты только, Ксения, дай мне свою любовь. Ты мне как наложница не нужна. Хочешь, я тебя на волю отпущу, в родную землю, пойдешь к отцу, матери? Я тебе денег дам!

— Я очень хочу, но оставить тебя одного сейчас не могу.

— Благодарю тебя, Ксения. Устал я, прилечь бы!

Ксения помогает Тимуру лечь в постель.

— Саид, — зовет он.

Входит Саид.

— Что ж ты про Хусейна ничего не сообщаем? Уже давно послал его с двумястами всадниками в сторону Бадахшана?

— Амир Хусейн овладел Бадахшаном, — говорит Саид, — и все заботы направил на то, чтобы побольше награть богатства. Он забросил все дела, управление страной. Все войны страшно злы на него.

— Что ж ты мне не сообщил?

— Не хотел тревожить, пока раны не зажили.

— Раны уже зажили, — говорит Тимур. — Где теперь Хусейн?

— Монголы напали на амира Хусейна, тот был разбит в бою и бежал на юг.

— Он погубил лучших моих воинов! — сердито говорит Тимур. — Все мои люди рассеяны по разным местам. Сколько мы можем собрать всадников?

— Не больше сорока.

— Проклятый Хусейн! Когда-нибудь он будет держать ответ за свою злобу, за свою жадность, за свою глупость...

— Не сердись, милый! — сказала Ксения, утирая вспотевший лоб Тимура, и поднесла ему кувшин.

Тимур жадно и долго пил.

*Предгорья. Ночь. Сон.*

Хромая, с согнутой правой рукой, Тимур медленно и долго взбирается на гору. Неподвижно сидит при лунном сиянии один.

— Наступает перелом в моей судьбе, — тихо произносит он. — Отсюда я пойду от крайнего унижения к большой славе. Слепой и хромою муравей достигнет своей цели. Я пока еще слеп к путям судьбы и хром по велению судьбы, но бог управляет и судьбой.

Тимур становится на почную молитву, долго молится, потом ложится спать. Быстро засыпает. Он видит себя в пустыне. Вокруг множество народа, а вдали виден свет. Тимур спешит по направлению к свету. На дороге лежат три кучи золы. Он смотрит на них и идет дальше.

Слышен голос:

— Видишь тех пятерых впереди? Снеши за ними.

Начинается сильная буря. Один из пятерых оборачивается и говорит Тимуру:

— Буря означает, что посланник бога восходит на небо.

И тут Тимур увидел вдали силуэт посланника.

— К великому счастью, я могу поклониться посланнику бога!

Тимур подходит ближе и кланяется посланнику бога.

— Терпение — ключ к радости, — говорит посланник...

Вдруг поднялся порыв ветра, и посланник превращается в Эблиса.

Эблис смеется:

— Ты, Тимур, силой оружия покоряешь людей. А я в их головы силой духа привношу злобу и непокорность.

Тимур выхватывает саблю и прислоняет острис клинка к шее Эблиса:

— Мгновенье — и нет головы... И нет злобы и непокорности!

Эблис перестает смеяться.

Тимур прячет саблю в ножны и удаляется по пустыне.

Эблис выхватывает из-за пояса кинжал и метает в уходящего Тимура.

### *Степь. Шатер Тимура. Ночь.*

Тимур вскрикивает и просыпается. Рука с кинжалом бьет его по груди, по спине, но зная, что даже ночью Тимур не расстается с кольчугой.

— Саид! — кричит Тимур.

Вбегают Саид и стража. Втаскивают через дыру в шатре убийцу.

— Какой страшный сон! — говорит Тимур. — Я знаю, это человек Хусейна.

### *Самарканд. Утро.*

Тимур торжественно въезжает в Самарканд. Звук музыки. Толпы народа приветствуют его криками.

### *Шатер Хусейна под Самаркандом. Утро.*

— Я рад, что вы согласны со мной, главы племени тумны, — сказал Хусейн. — Ханом следует сделать не безродного Тимура из племени Барласов, а родовитого Джагатай из племени тумны.

— Умер Джагатай, — сказал первый глава.

— Тогда сделаем ханом его сына, — сказал Хусейн.

— Убит, — сказал второй глава.

- Тогда внука...  
— Внук Джагатая Кабул живет неизвестно где и, по слухам, в полной бедности, — сказал третий.  
— Отыскать! — сказал Хусейн. — Отыскать и сделать ханом!

*Самарканд. Улицы. Вечер.*

Толпы народа, музыка. Худой, напуганный юноша Кабул в сопровождении Хусейна и его амиров въезжает в Самарканд.

— Сто двадцать лет жизни великому хану Турана Кабул-шаху! — кричит Хусейн.

Народ громко закричал приветствия. От криков этих Кабул-шах вздрогнул и съезжился.

— А сейчас по случаю въезда хана в Регистане будет праздник! Там поставлены большие котлы с ханским пловом!

Тимур смотрит на суету народа вокруг котлов.

— Трудно добиться похвалы от своих сограждан, — говорит он. — Ведь даже если кто-либо явится к ним в блеске славы, они стараются отнять ее у него и всяческими уловками умалить его значение. Хусейн, конечно же, превратит бедного Кабул-шаха в марionетку и будет им управлять, как захочет. На мое письмо он не ответил, не обратил никакого внимания, и я промолчу. Как учит Омар Хайям:

Ты, счет ведущий всем делам земным,  
Среди невежд будь мудрым, будь немым,  
Чтоб сохранить глаза, язык и уши,  
Прикнись здесь немым, слепым, глухим.

Саид, собирай наше имущество. Я поеду в Карши и останусь там. Наконец у меня появится возможность обложить себя рукописями и книгами...

*Карши. Дворец Тимура. Ночь.*

Зимний вечер. Холодный ветер с дождем и снегом. Тимур ходит, хромя, по комнате, диктуя пиццу:

— В молодости я хотел остаться в мечети. Не совершил ли я ошибку, отказавшись от этого? Бог создал людей и населил ими землю. Пиццу им щедро доставляла земля. Были

у них пышные луга, на которых пасся скот, зеленые горы и достаток плодов. Бог создал жизнь без войн, без оружия, без охраны, мирную жизнь без распри, здоровую и не знающую нужды. Не бог, а сами люди придумали войны из зависти к величию бога, стремясь возвеличить себя. Мне тридцать семь лет. В тридцать пять я стал калекой. Я провел большую часть этих лет в войнах, ненависти, я пролил слишком много своей и чужой крови. Я давно уже жду весны не как время свежих запахов, а как время, когда подсыхают дороги, когда степь делается пригодной для передвижения конницы...

*Самарканд. Сад. Утро.*

Цветущие сады Самарканда. Хусейн собрал совет.

— Ходят упорные слухи, что Джете с большим количеством воинов собираются напасть на Туран, — говорит Хусейн. — Я собрал вас, преданные мне амиры, и жду вашего решения, что делать?

— Воевать с воинами Джете без участия Тимура — немыслимая вещь, — говорит один из амиров.

— Не нужно обращаться к Тимуру, — говорит сидящий на троне Кабул-шах. — Я ваш хан и запрещаю это делать.

— Прогоните этого дурака, — говорит Хусейн, — пусть не мешает нам. Где воспитатель? Воспитатель, уведи своего воспитанника!

— Вы не смеете так обращаться со мной! — кричит Кабул-шах. — Я ваш повелитель!

Огромный воспитатель хватается Кабул-шаха за плечо, стаскивает с трона. Выволакивает кричащего и плачущего хана из комнаты.

— Не хочется обращаться к Тимуру, — говорит Хусейн, — но в безвыходном положении придется обратиться к нему... Я напишу ему письмо.

*Карши. Дворец Тимура.*

Тимур читает письмо Хусейна.

— Какой-то человек просит принять его, — говорит Саид. — Он сообщает, что приближенный Кабул-шаха.

— Это несчастный юноша, — говорит Тимур, — мне жаль его. Пусть гонец войдет. Может, он принес мне от него весть?

Входит воспитатель с мешком, кланяется.

— Хотя и назначили меня воспитателем Кабул-шаха, я всегда считал, что настоящим ханом Турана должен быть такой мудрый, храбрый воин, как амир Тимур, а не глухой, трусливый Кабул-шах. Прощу принять к себе на службу. А чтобы доказать свою преданность — вот.

Он выбрасывает из мешка голову юного Кабул-шаха.

— Только очень дурной человек мог решиться убить своего повелителя! — гневно говорит Тимур. — Такого человека следует за гнусное злодеяние наказать самым достойным образом. Схватить его!

Воины хватают и вяжут воспитателя.

— Отослать его к родственникам убитого Кабул-шаха, чтобы они отомстили злодею так, как он того заслуживает!

Воспитателя уволакивают.

— Надо послать гонца к амиру Хусейну, сообщить, что я собираюсь идти войной на Джете. Пусть амир Хусейн присоединяется там ко мне...

*Балх. Дворец Хусейна. Утро.*

Хусейн в гневе разрывает письмо.

*Степь. Утро.*

Воины Тимура преследуют бегущих монголов.

Тимур, наблюдая окончание битвы с холма, спрашивает Саида:

— А где Хусейн?

— Он и его люди так и не появились. Расположились у реки...

— Предатель, — сказал жестко Тимур.

*Карши. Дворец. Спальня Тимура.*

Большая Альджан лежит в постели.

— Альджан, — говорит Тимур, — зачем ты написала своему брату письмо, что я хочу убить его?

— Я ничего не писала, — слабым голосом отвечает Альджан.

— Я рад, что ты так отвечаешь! Я надеюсь, что ты говоришь правду! — говорит Тимур. — Значит, это письмо написали мои враги, чтобы навредить мне.

— Мне очень жарко, — говорит Альджан.

— Я пришло к тебе хорошего лекаря, Альджан, — говорит Тимур.

— Тимур! — позвала Альджан. — Ты должен помириться с моим братом Хусейном.

— Нет, Альджан, ссора между мной и Хусейном не может окончиться больше примирением!

— Я люблю вас обоих, — тихо сказала Альджан. — Мне страшно за вас обоих.

— Выздоровливай, Альджан, — сказал Тимур, поцеловал ее в лоб и вышел.

*Карши. Дворец Тимура. Утро.*

Муса и Аль-Дарвини перед Тимуром.

— Мы слышали, что ты собираешь воинов против Хусейна, — сказал Муса. — Мы хотим присоединиться к тебе.

— Вы должны вернуться к Хусейну, — сказал Тимур, — и убедить его, что я не желаю ему зла.

— Напрасно ты надеешься, что тебе удастся убедить Хусейна.

— Он ненавидит тебя! А то, что ты не хочешь нас принять, пожалеешь об этом!

И оба вышли.

— Я им не доверяю, — сказал Тимур, — они могут изменить в бою в решающий момент. Лучше иметь врагов, чем изменников!

— Не хочу тебя огорчить, — сказал Саид, — но Аббас и Джугай, твой родственник, тоже бежали к Хусейну, они летают взад и вперед, как птицы.

— Такое происходит потому, что нет твердой власти, особенно теперь, когда воины Джете ушли в свои края. Но что бы ни происходило, будем готовы к походу на Самарканд, — сказал Тимур.

*Самарканд. Улицы. Вечер.*

Тимур вступает в Самарканд. Его приветствует народ.

— Так бы они приветствовали и Хусейна, — тихо говорит Тимур Саиду. — Когда нет твердой власти, народ подобен развратной женщине.

*Самарканд. Дворец. Вечер.*

Саид докладывает Тимуру.

— На первом переходе к Самарканду от нас бежали Сулейман и Чадартти, они присоединились к Хусейну, от Хусейна, наоборот, бежали и присоединились к нам Аль-Дарвини, Бухари, Аль-Буг.

— Все бегут, — усмехнулся Тимур. — Если бы я сам перебежал и возглавил их, как Хусейн, а Хусейн перебежал бы и возглавил мои войска, никто бы этого не заметил... — Он засмеялся. — Вот была бы хорошая шутка!

Входят гонцы и подают Тимуру письмо.

Тимур читает и закрывает лицо руками. Сидит так долго молча.

— Что-нибудь нехорошее? — спрашивает Саид.

Тимур открывает руки от залитого слезами лица.

— Моя жена Альджац, сестра Хусейна, скончалась.

Он опять закрывает лицо руками.

— Хусейн уже знает о смерти своей сестры? — спрашивает он у гонца.

— Да, — отвечает гонец. — Он тоже очень огорчен.

— Со смертью моей жены прекращается родство наше с Хусейном, — говорит Тимур. — У меня не осталось ничего к нему, кроме вражды и ненависти...

*Кариши. Дворец Тимура. Утро.*

Тимур завтракает с тремя юношами, сыновьями убитых бадахшанских амиров.

— Лишившись в детстве отцов, вы выросли в прекрасных, красивых, сильных юношей, которым уже жениться пора, — говорит Тимур.

— Мы не думаем о радостях жизни, — сказал старший из юношей, — пока не убьем убийцу наших отцов.

— Я хочу только одного, — горячо сказал младший из юношей. — Я готов погибнуть, если мне суждено, но только после того, как убью преступника, лишившего нас отцов.

— Ислам допускает справедливую месть, — говорит Тимур. — Конечно, это личное дело каждого. И я не могу давать вам советы...

— Но что вы будете делать, если мы убьем Хусейна?

— Что делать? Я пойду утешать его вдову, — сказал Тимур, — а вас поздравлю с окончанием доброго дела...

### *Лагерь Тимура. Ночь. Сон.*

Стоянка. Снит Тимур. Хусейн на серебряном блюде приносит меч Тимуру. Клинок его весь облеплен мухами.

— Вся власть, которая принадлежит Хусейну, перейдет к тебе, — слышен голос. — Скоро ему власть не понадобится! Тимур просыпается...

### *Холмы Бадахшана. Утро.*

Местность у Бадахшана. Тимур и Хусейн слезают с коней и обнимаются. Вокруг стоят муллы. Они благословляют примиренные.

— С тех пор как мы решили помириться, я чувствую себя совершенно свободно и хорошо, — говорит Хусейн. — Чувствуешь ли ты себя так же хорошо?

— Бедствия родины, угнетаемой другими, мешают мне пользоваться свободой и чувствовать себя хорошо, — говорит Тимур.

— Эти сыновья бадахшанских амиров пошли дорогой своих отцов. Их должна постигнуть та же участь, — сказал Хусейн.

— Ты хочешь, чтобы я помог тебе казнить сыновей, как ты казнил отцов? — спросил Тимур.

— Наказывать врагов смертью, — сказал Хусейн, — святое дело. Тем самым спасаешь от смерти себя. Ведь ты тоже боишься смерти и наказываешь своих врагов?

— Тот, кто хочет поднять над миром знамя ислама, не должен бояться смерти. Он должен остерегаться ее, чтобы не погибнуть прежде, чем осуществит свой замысел.

— Ты все еще не забыл свою тщеславную выдумку. Все еще мечтаешь нарушить договор, записанный между нашими предками на отдельном листе? По договору тебе предназначена совсем другая судьба.

— Судьба подчиняется богу. Что бог задумал на небе, то свершится, — сказал Тимур.

— Мне показалось, что в твоих словах угроза, — сказал Хусейн. — Ты опять угрожаешь мне?

— Нет, я просто напоминаю тебе указание Корана, которое учит уклоняться от дурного, — сказал Тимур.

— Я никогда не желал овладеть чужим имуществом, не думал о богатстве, не завидовал богатым, — сказал Хусейн. — Все, что ты, Тимур, говоришь, — лицемерие и ложь. Ты мечтаешь о власти! Ты хочешь всех превзойти! И превратить всех в рабов!

— Нет, Хусейн, — кротко ответил Тимур, — я только хочу высоко подняться над вселенной знамя ислама. Я знаю, что правая вера и великая власть рождены как бы из одного чрева. Только та власть сильна, которая основана на правой вере и честности.

— Ты воображаешь, что никогда не явишься перед богом и не понесешь наказания! — говорит Хусейн. — Ты, как Эблис, дьявол, надулся гордостью и стал в числе неблагодарных! Худшее, что есть в мире, — это неблагодарность! Вспомни, кто ты был? Ты был маленький человек. Мой дед, амр Казган благодетельствовал тебе, дал тебе в жены мою бедную сестру, дал тебе богатство. А мне говорили, что это ты организовал его убийство, чтобы захватить власть. Я не хотел этому верить, но теперь я понимаю, что это правда. Ты хочешь коварством и хитростью захватить власть над нашей страной, чтобы потом залить кровью весь мир. Ты был бедняком и умрешь бедняком. А я родился богатым и умру богатым.

— Может, я и умру бедняком, — сказал Тимур, — но я никогда не умру из-за жадности, как погибнешь ты...

Стрела, пущенная из кустарника, попала Амиру Хусейну в грудь. Стоявшие в стороне муллы испуганно отшатнулись.

— Клятвопреступник! — захрипел Хусейн. — Это ты! Ты организовал засаду!

— Нет, — спокойно сказал Тимур, — это не я. Ты гибнешь не из-за меня. Ты гибнешь из-за своей жадности. Поучительна твоя судьба.

— Проклятье! — захрипел Хусейн. — Мои проклятья останутся на тебе до дня воздаяния...

Последним усилием он выхватил нож и шагнул к Тимуру.

Вторая стрела, пущенная из кустарника, попала Хусейну в живот.

— Зачем ты безо всякой причины казнил трех бадахшанских амиров? — укоризненно, тихо сказал Тимур. — Теперь сыновья убитых амиров убили тебя самого.

Последним рывком Хусейн метнул нож, который пролетел рядом с головой Тимура и воцарился в дерево.

Третья стрела попала Хусейну в горло. И он упал возле ног Тимура.

— Последний мой враг мертв, — тихо сказал Тимур. Хромой муравей дополз до вершины стены и с этой стены перед ним откроется весь мир, освещенный солнцем и луной...

Муллы начинают читать молитву за упокой души Хусейна.

*Самарканд. Дворец. Тронный зал. Утро.*

В тронном зале министры и вельможи.

Почтительным поклоном встречают они Тимура.

— Я выбираю себе четырех министров, справедливых и милостивых. Из них главный — Мухаммеднах Харасанский, — сказал Тимур.

Мухаммеднах выходит вперед и кланяется.

— И Насреддин Мухаммед.

Насреддин Мухаммед выходит вперед и кланяется.

— Я приказываю вам, — обращается к ним Тимур, — всегда следить за моими поступками и останавливать меня всякий раз, когда я буду несправедлив, буду верить словам лжи и буду посягать на чужое добро. Обещаете ли вы мне это?

— Общаем! — говорят министры.

— Потом я начну походы по завоеванию мира и распространению ислама во всем мире. Первый поход мой — на Иран, где господствуют брамины, идолопоклонники...

*Иран. Стан браминов. Вечер.*

Капище. Люди в светлых одеждах поклоняются брамишским богам. Тут же четыре жреца поют гимны, произносят заклинания. Особенно много людей у статуи человека с огромным детородным органом. Они поют брамишские гимны, поднимают детей, чтобы те могли видеть его, целуют детородный орган — символ потомства и плодородия.

Вдруг крик:

— Мусульмане! Мусульмане!

Двигается огромная армия Тимура. Войны Тимура врываются на капище, начинают разрушать идолов.

-- Разрушить капище до основания! — говорит Тимур.

Седобородые брамины-жрецы опускаются перед Тимуром на землю.

-- Попадай наше святилище! -- говорит древний брамин. -- Ты не знаешь нашей веры. Но всякая вера должна быть терпима и добра.

-- Мы никому не причиняем зла! Мы предаемся здесь своему мирозерцанию!

-- Я пришел распространить истинную веру, — говорит Тимур.

-- Истинную веру нельзя распространять мечом, — говорит брамин. -- Давай беседовать перед лицом тех, кто верит тебе, и тех, кто верит мне.

О чем беседовать с тобой? — говорит Тимур. — О каменных идолах, которыми ты одурманиваешь народ, как гашишем? Кто они, эти идолы? Есть ли у них имена?

-- Эти каменные идолы, — говорит брамин, — символы восьми стражей мира. Это — Индира, владыка богов, Агнию — бог огня, Сурья — бог солнца, Варуна — бог моря, Шивана — богиня ветра, Яма — богиня смерти, Кувера — богиня богатства, Кама — богиня любви, Ганема — богиня мудрости.

— Посмотри на нас, — кричат джинны. — Посмотри на нас! Мы плодимся и размножаемся, как люди, только тело у нас состоит из тонкого огня и воздуха, а у вас сверх того — из земли и воды!

— Воды, — шепчет Тимур, — воды!

— Ты хочешь пить? — смеются джинны, причудливо изгибаясь. — Иди туда! Туда, где чистый и свежий воздух над прохладным источником!

Тимур видит бьющий из-под земли водяной ключ, он принадлежит к нему, но вода превращается в огонь.

— Неи! Неи! Что? Больно? Тебе не уйти от нас! Мы повсюду! Мы живем в камнях, в деревьях и в идолах.

— Я разрушу ваших идолов, — говорит Тимур. — Ты слышишь, Эблис? Бог послал тебя и все твое дьявольское племя в адский огонь!

— Мы вместе с тобой будем в адском огне! — хохочут джинны.

— Ты лжешь, дьявол! Я — мусульманин! И чту Коран! говорит Тимур.

— Мы тоже чтим Коран! — говорят джинны. — Мы слушаем Коран и дивимся ему! Мы подслушиваем все, что происходит на небе. Ты ведь стремишься стать владыкой мира? А мы уже давно владычествуем над этим падшим миром!

— Я знаю тебя, — говорит Тимур. — Ты Эблис проклятый! Эблис!

— Ты узнал меня! Наконец-то ты меня узнал! А ведь я давно рядом с тобой, — говорит Эблис и начинает хохотать.

По мере того как Эблис говорит и хохочет, всё усиливается шум, хохот, движение.

— Ты только мечтаешь владеть миром, а я уже владею им. Ты только мечтаешь о многочисленном потомстве, а посмотри, какое у меня многочисленное потомство!

Вокруг Тимура, улюлюкая, появилось много свиней, безобразных мужчин, отвратительных женщин, диких зверей и птиц. Все это хохотало, кричало, рычало, свистело...

Тимур проснулся. Было тихо. В углу, разметав ручки, сладко спал младенец. Утирая пот, Тимур долго смотрел на безмятежно спавшего ребенка.

— Здесь проходит граница между адом и раем, — тихо произнес Тимур. — Этот младенец спит в раю. Мне теперь рай не доступен.

Появились первые лучи солнца. А Тимур все сидел и смотрел на сладко спящего младенца.

— Как я завидую ему! К чему я стремился? О всевышний, — шепотом говорил он, — и чего я добился? Может быть, я буду повелителем мира, но такой спокойный, сладкий сон мне больше никогда не будет доступен. Может быть, спокойный, сладкий сон — это и есть рай? Это и есть высшая награда, которую получают только святые отшельники и безвиные младенцы? Всех же остальных ждет то, о чем писал Омар Хайям:

Мы чистыми пришли и осквернились,  
Мы радостно цвели и огорчились,  
Сердца сожгли слезами, жизнь напрасно  
Растратили и под землею скрылись.

Великий эмир! — позвал Санд.

Чего тебе? — недовольно спросил Тимур.

Гонец ночью привез из Самарканда письмо.

— Почему же ты его не передал мне ночью же, дурак?

— Я слышал, вы с кем-то разговаривали, и боялся помешать.

— Я разговаривал с Эблсом!

— Вы шутите, великий эмир?!

— Хорошо, хорошо, шучу. Давай письмо.

Тимур взял письмо, прочел его и горестно опустил глаза.

— Сбываются проклятья браминов, — сказал он печально. — Случилось большое несчастье: в один день умерли моя дочь, моя сестра и моя вторая жена.

— Да, в Самарканде беспокойно, — говорит Санд. — Враги распространяют подлые слухи о вашей смерти...

— Может, они и правы? И теперь я действительно умер... Мы ведь часто умираем гораздо раньше, чем нас хоронят.

— Я не понял, великий эмир.

— Зачем тебе понимать? Тут судьбу надо понимать! Отдай приказ! Я прерываю поход и возвращаюсь в Самарканд.

*Уворот Самарканда. Утро.*

Вдоль дороги, по которой возвращается в Самарканд войско, стоят люди — простые, вельможи, погруженные в скорбь, одетые в черное и голубое, с головами, покрытыми пылью. Жители с непокрытыми головами, в рубищах, плачут, приговаривая:

— Как жаль, что великий Тимур, столь храбрый воин, мелькнул на земле, как роза, которую уносит ветер. Как жаль, что смерть низвергла в могилу такого справедливого повелителя.

— Пока не надо говорить им ничего, — произносит Тимур. — Я хочу побывать на собственных похоронах.

Он еще больше прикрыл лицо краем чалмы.

— Но ведь враги могут воспользоваться вестью о вашей смерти, — говорит Саид.

— Врагами пусть займутся мои министры, — сказал Тимур, — а я займусь похоронами своих близких и, может быть, самого себя.

Скорбная церемония прощания. Тимур у трех гробов, в которых лежат три близкие ему женщины.

Процессия движется к кладбищу.

*Самарканд. Улицы. Утро.*

Тимур в сопровождении свиты, хромя сильнее обычного, идет за гробами. Он бледен. Выглядит уставшим и исхудавшим. Слышен шепот вельмож.

— Хоть слухи о его смерти, слава богу, не подтвердились, выглядит он плохо, — говорит один.

— Три смерти одна за другой приостановили его честолюбие! — говорит другой.

— Он не хочет больше забот о государстве, — добавляет третий.

— Его словно подменили!

— Говорят, он сам тяжело болен?

— Ходят слухи, он хочет стать отступником и отказаться от мусульманства...

*Самарканд. Дворец. Комната Тимура. Утро.*

Тимур один сидит перед зеркалом, смотрит на себя.

— Я понял, что предчувствия, зарождающиеся в душе, никогда не обманывают, — говорит он. — В ранней юности я хотел уйти в мечеть, посвятить себя богу...

— Теперь уже поздно. Ты слишком долго наслаждался жизнью среди людей, — сказал кто-то.

Тимур глянул в зеркало: чье-то улыбающееся отвратительное лицо мелькнуло там. Он оглянулся назад.

— Нет, нет, я только здесь, — сказал голос, — сзади меня нет. Я буду теперь все время рядом с тобой, буду наблюдать за твоими поступками, подстрекать к дурным делам, остерегать тебя от дел хороших.

Голос захохотал.

— Я буду бороться с тобой, — сказал Тимур.

— Поздно! Мы скреплены пролитой тобой кровью. К каждому человеку приставлен злой джинн. Но ты хочешь слишком многого. Ты хочешь завоевать весь мир, поэтому сам я, Эблис, сам сатана, буду рядом с тобой.

— Будь ты проклят! — крикнул Тимур и ударил в зеркало, которое разбилось.

— Тебе не одолеть моей силы, — сказал Эблис. — Тебе меня не одолеть! А без меня тебе не одолеть твоих многочисленных врагов! Послушай меня, Тимур! Будь тверд, решителен, мужественно иди по предсказанному тебе пути. Это я, Эблис, тебе говорю! И ты достигнешь всего, чего хочешь!

— Мой путь предсказан свыше, а не тобой, сатана!

— Разве ты не знаешь, что бог никогда не наказывает злодеев сам? Он всегда это делает моими руками. Сам господь нуждается во мне! А ты, слабый, хочешь мной пренебречь?! И со мной бороться?! Как ты будешь со мной бороться, если я нигде и всюду?

— Ты, лжешь, нечистый! Я вижу тебя. Вот ты! Вот ты!

— Нет, я не там, — захохотал Эблис из противоположного угла. — Убедился, что я всюду?..

— Вы меня звали? — вбежал со стражником в комнату Саид.

— Кто ты? — блуждающим, воспаленным взглядом окинул его Тимур.

— Я — Саид, ваше величество, — встревожась, сказал Саид. — Министры и иностранные послы собрались в тронном зале и ждут вас!

— Разве ты не видишь, что я болен? — сказал Тимур. — У меня горячая голова и холодные руки.

— Я немедленно пришлю лекаря, — сказал Саид.

— Мне не нужен лекарь, — сказал Тимур. — Мне нужны тишина и уединение. Я собираюсь в путь, но ветер мне пока не благоприятствует.

Он встал, сделал несколько шагов и упал.

### *Летний дворец. Терраса. Утро.*

Тимур лежал на простой постели, застланной козьими мехами.

Была весна. Вокруг цвели деревья. Ксения подала ему в кувшине теплого молока с сахаром и медом.

Он выпил, вытер губы и бороду.

Ксения внесла мальчика, уцелевшего во время резни в Персии.

— Ата! — сказал мальчик Тимуру и улыбнулся.

— Я полюбила его, как родного сына, — сказала Ксения и поцеловала мальчика.

— Мама! — сказал он Ксении, прижавшись к ее груди.

— Ангелочек! — погладил Тимур мальчика по голове. — Будет ли мне прощение от Аллаха?

— Молись, милый, — сказала Ксения. — Бог для всех один.

### *Дворец Тимура. Ночь. Сон.*

Тимур спит, спокойно дыша. Он видит себя отдыхающим в роскошном саду. Там растут всевозможные великолепные цветы, различные фруктовые деревья, посреди сада протекает большая река, слух ласкают нежные звуки музыки.

Проснувшись, Тимур еще некоторое время улыбается. Входит Ксения и подает кувшин молока.

— Я видел очень хороший сон, — говорит Тимур. — Значит, я буду прощен за все нехорошие дела. Порадуйся со мной, Ксения!

Он хочет ее обнять, но она отстраняется и отворачивается, вытирая слезы.

— Что с тобой? — спрашивает Тимур. — Отчего ты не радуешься вместе со мной?

— Умер мальчик, — говорит Ксения. — Он отравлен теми, кто боится, что ты слишком любишь его и, когда он вырастет, ему дадут слишком много власти.

Тимур темнеет лицом, его начинает трясти.

— Ангел добра покинул меня, — говорит он. — Что ж, враги могут отнять у меня и мою любовь, но им не отнять моей ненависти!

Входит Саид, кланяется.

— Великий эмир, министры, вельможи и прочие знатные люди собрались в тронном зале и спрашивают о вашем здоровье. Придете ли вы?

— Передай, что я совершенно здоров, — говорит Тимур. — Я приду.

Тимур встает, начинает одеваться, глядя в зеркало, с потемневшим лицом, сурово сжатыми губами. Надевает на себя плащ, говорит:

— Надевая царский плащ, я тем самым отказываюсь от покоя, который вкушают на лоне бездействия.

### *Сад при дворце в Самарканде. Утро.*

Роскошный сад при дворце Тимура. Высоко бьет фонтан, а на дне фонтана цветные яблоки. Гости толпятся в ожидании приема. Среди них много иностранцев. И среди иностранцев — Николо.

— Когда вы приехали? — спрашивает у него испанский посол.

— Два дня назад, — говорит Николо. — Я рад, что эмир согласился сразу принять меня. У нас в Венеции проявляют большой интерес к эмиру.

— Но эмир, судя по всему, проявляет не слишком большой интерес к Венеции, — говорит испанский посол. —

Я жду уже шесть дней, а вот китайский посол ждет десять дней после своего приезда. Чем важнее для Тимура посол, тем больше времени он ждет.

Китайский посол вежливо улыбается, кивает головой.

— Мы, китайцы, всегда умеем ждать: десять дней, десять лет, десять тысяч лет... Враги наши нетерпеливы, а мы умеем ждать и размышлять. — Он засмеялся. — Тот, кто заставляет слишком долго ждать, сам теряет радость. Я привез великому эмиру весть, что принцесса Каньё согласна стать его женой.

Вошел слуга и объявил имя Николо.

— Первыми Тимур принимает незначительных лиц, — сказал испанский посол.

Николо приблизился к трону и хотел поцеловать Тимуру руку, но один из приближенных оттолкнул его.

— У нас не принято целовать руку важным лицам, — сказал он и показал глазами вниз.

Николо опустился на землю и поцеловал Тимуру ногу.

— Твое лицо оставило меня равнодушным, — сказал Тимур, — но твой затылок показался мне знакомым. Обычно по затылкам узнают воров, когда они удирают с краденным. Ты никогда ничего не крал? Подумай! Подумай! Не торопись с ответом.

Николо посмотрел на него.

— Это вы? — пробормотал он.

— Это я! Тот, у которого ты в пустыне украл коня. А посягательство в пустыне на коня и воду означает посягательство на жизнь.

— Если бы я не украл у вас коня, великий эмир, меня бы уже не было в живых! А я надеюсь вам пригодиться как переводчик латинских книг.

— Этого френги надо убить! — сказал Санд. — Все они шпионы и отравители. Они привозят в наши края всевозможные предметы, усыпанные ядовитой алмазной пылью.

— Я привез только книги, — сказал Николо и вынул несколько книг, которые были у него в сумке. — Это философ Платон, это — Аристотель, это — Сократ.

— Несмотря на твои дурные наклонности, я решил проявить к тебе милость, — сказал Тимур, разглядывая книги, которые ему с поклоном подал Николо. — Иди к казначею, пусть он выдаст тебе содержание как переводчику. А остальное уже зависит от тебя. Но помни, твоя вина записана за тобой, как должок при игре в карты.

*Загородный сад и дворец под Самаркандом. Вечер.*

Свадьба Тимура с китайской принцессой Каньё. Песни, танцы, дорогие столы. Каньё была в шелковом платье светлых тонов, с длинным хвостом, который держали пятнадцать девушек. На голове была высокая чалма из ткани, вышитой золотом, с большими жемчугами и множеством рубинов. Наверху был маленький золотой венец с драгоценностями и жемчугами, который закапчивался диадемой, украшенной огромными рубинами. Еще выше были длинные белые перья, которые свисали вниз, почти до глаз.

Вся знать и вельможи рядами стояли и осыпали Тимура и Каньё дождем драгоценностей, жемчуга, золота, серебра.

Виночерпий поднес Тимуру и Каньё на золотом подносе золотые бокалы с вином.

Николо наблюдал за всем этим из толпы придворных.

Эмир доволен, что какой-то придворный льстец, выйдя, произнес:

— Великий эмир налил рубины вина на изумруды полей!

— Тысячи лет! Тысячи лет! Счастья вам, великий эмир!

— Ты довольна, Каньё? — тихо спросил Тимур.

— Я верю судьбе, — ответила Каньё. — Главное — с каким иероглифом связана судьба. А ты, мой господин, доволен своим счастьем?

— Счастье, как сказал поэт, — ответил Тимур, — лестница: чем выше поднимаешься, тем больше страдаешь при падении.

— Тысяча лет! Тысяча лет счастья! — слышалось с улицы.

Свадебный кортеж двинулся по улице.

— По случаю свадьбы эмира всем жителям велено показать наиболее красивые результаты своего мастерства! — сказал Николо его спутник.

Жители стояли по краям дороги с дорогими коврами, посудой, изготовленной ими обувью, одеждой. Тут же кипели котлы с пловом, тут же были балаганы, играли трубы.

— Триста девушек сопровождают невесту эмира, — шепнул спутник Николо.

Кортеж направился к мечети. Там был сооружен помост, и на помосте сидел сухой, бородатый человек.

Все затихли, ожидая, что будет говорить этот человек.

— Это святой, ученый и уважаемый старик, — шепнул Николо спутник. — Он получил разрешение из Мекки читать народу «Касыду шариф» — «Священные стихи».

Служители, почтительно сгибаясь, поставили перед стариком чашу с водой. Старик начал читать напевные стихотворения, раскачиваясь. Окончив, он плюнул в чашу. Служители почтительно забрали чашу, поставили новую. Человек опять начал читать и, окончив, опять плюнул в чашу. Служитель опять забрал чашу и поставил новую. Потом он плюет в рот кричащим младенцам.

— Это слона, пропитанная святостью слов, — почтительно сказал Николо его спутник. — Она продается потом как священное лекарство.

— Кто же может получить это лекарство? — спросил Николо.

— Тот, кто больше заплатит, — ответил спутник.

— Мой господин, — сказала Каньё Тимуру, со скрытой с трудом брезгливостью глядя на всю процедуру. — Я устала, я хочу спать. Я привыкла перед сном читать китайские стихи, они меня успокаивают.

— Тебе придется привыкнуть к нашим обычаям, — ответил Тимуру. — Мы уважаем священные стихи и мысли священников-толкователей. Рано утром, например, я отправляюсь на могилу шейха Ясави, где мне будут гадать перед походом.

### *Мечеть Ясави.*

В мечети — знамена и гробницы хазрета Ясави.

Тимуру гробницы.

— Святой хазрет правоверных Ясави! Я приступаю к завоеванию мира — ради распространения веры ислама.

Я прошу погадать мне здесь, у чудотворного гроба, — говорит он гадалыщнику, — желаю узнать наперед, осуществится ли мое намерение.

— Если во время войны тебе будет грозить опасность, — говорит гадалыщик, — стоит тебе поднять глаза к небу, отчитать одно тайное четверостишие, и успех всего дела будет обеспечен.

Он что-то шепчет на ухо Тимуру.

Слышится гром боевых барабанов, звуки труб.

Тимур шевелит губами, уставившись в небо...

### *Поселение в степи. Утро.*

Гром барабанов и боевая музыка звучат на фоне движущихся масс конницы Тимура, топчущих, рубящих все на своем пути. Пыль оседает. Сражение заканчивается. Воины Тимура стоняют пленных в толпы.

Тимур молится в переносной розово-голубой мечети. Тут же неподалеку расположились казначей с халатами.

Воины вереницей подъезжают к казначеям. У каждого к хвосту лошади привязаны женщины и дети, а к седлу — большой мешок. Каждый воин слезает с лошади с поклоном, дарит пленных Тимуру. А затем развязывает мешок, берет его за два угла, и к ногам казначеев и их помощников высыпаются головы, с бородами и без них. Приемщик пересчитывает головы и, в зависимости от количества, вручает халат.

Иногда всыхивают ссоры.

— Ты что мне подсовываешь? — кричит казначей, вытащив из кучи женскую голову и выбрасывая ее в сторону. — Мы не принимаем женские головы!

— Мужчины кончились! — говорит воин.

Слуги сталкивают ногами принятые головы в одно место. Иногда у молодых слуг это переходит в веселую игру. Они начинают пинать головы, как мяч, перекидывая друг другу. Так что Санду даже пришлось ударить одного распоясавшегося слугу плетью.

Окончив молиться, Тимур вышел из мечети и в сопровождении свиты начал обозревать происходящее.

— Поддай мне вон ту голову, — вдруг крикнул он. — Эту! Эту голову! Это голова поэта Дуранни! Я им не велел трогать поэтов! — гневно закричал он.

— Я неграмотный, великий эмир, — испуганно сказал вонн.

— Это тебя на первый раз спасает, ишак. Пошел вон! Саид! На двери всех поэтов и мудрецов навесь таблички. Я ведь это сказал! Всех остальных жителей Исфагана уничтожить! Из мужских голов построить башни! Передай: кто не принесет ни одной головы, положит свою. Я всегда поступаю справедливо.

Увидев Николо, он повернулся к нему:

— Тебе не нравятся наши законы?

— У каждого народа свои законы, великий эмир, — сказал Николо.

— Да, — сказал Тимур, — мы живем по своим законам. Жители Исфагана убили моего заместника, поэтому я велел перебить их всех, оставив только поэтов, философов, монахов и лекарей. Жаль, что среди моих воинов много неграмотных, и они зарезали некоторых поэтов. Поэтому после возвращения из похода я решил построить большое медресе. Я хочу управлять просвещенным народом, который знает, кого резать и кого оставлять! Там, где просвещение, там благозаконие! Там земля дает здоровый плод, там правверные живут в радости, а враги-отступники обречены на смерть...

### *Шатер Тимура. Ночь. Сон.*

Лунная ночь освещает пирамиды из голов. Головы, головы, головы вокруг Тимура. Головы превращаются в сосуды с вином, и Тимур разбивает один сосуд об остальные. Затем он рубит сосуды мечом, но меч зазубрился. Тимур просыпается от звука голоса.

— Я видел пззубренный меч, — говорит он вошедшему Саиду, — и считаю это дурным предчувствием.

— Великий эмир! — говорит Саид, — хан Золотой Орды Тохтамыш с громадным войском напал на Туран. С ним в стоворе эмиры Джете и Хорезма.

— Я предчувствовал, что это произойдет. Этот Тохтамыш позабыл мою дружбу, — говорит Тимур, — позабыл все услуги, которые я ему оказал в разное время. Это я посадил его ханом Золотой Орды. А Хорезм, который я так любил и где когда-то в молодости, еще при Казгане, был наместником, Хорезм я вообще разрушу до основания и посажу на его месте ячмень...

*Хорезм. Утро.*

Пыль. Грохот. Рушатся стены под ударами стенобитных орудий. Тимур стоит на холме, наблюдает. К нему гонят толпу измученных, израненных пленных.

— Мятежники долго сопротивлялись и убили много наших воинов! — говорит Саид.

— Значит, смерти они не боятся? — говорит Тимур. — Что ж, я их не убью. Сколько их?

— Тысячи две.

— Неплохой строительный материал. Сложить в кучу, живых, один на другого, обложить кирпичом на известковом растворе...

*Хорезм. Шатер Тимура. Вечер.*

Кричащая банша из человеческих тел и кирпича. Крики доносятся в палатку, где Тимур читает книгу.

— Может, облить башню горячей смолой? — спросил Саид.

— Нет, нет. Не надо. Это будет слишком жестоко. Тем более крики наказанных, по-моему, затихают.

— А что делать с остальными, великий эмир?

— Всех остальных жителей Хорезма переселить в Самарканд. Хорезм должен быть мертвым городом. Только под ветром должен шелестеть ячмень! Не правда ли, в этом есть какая-то поэзия?..

*Венеция. Храм святого Марка. Вечер.*

Тихие, ласкающие слух звуки пения. Чистота, плеск волн. Переливы света на стенах дворцов Венеции. В храме святого Марка идет церковная служба.

Когда правитель Венеции, великий дож, в сопровождении свиты вышел после службы, к нему подошел служитель и тихо сказал:

— Письмо от Николо.

— Я уж думал, что Николо погиб, — обрадованно сказал дож, принимая письмо.

*Венеция. Дворец дожа. Утро.*

Большой совет в одном из венецианских дворцов, украшенном картинами и статуями.

— Наше положение с появлением Тимура в Закавказье становится все более неустойчивым, — говорит дож.

— Наоборот, — возражает ему один из членов совета, — это ослабляет на нас давление монголов в Вазоре, а турок — на Босфоре.

— Мы отделены от Азии морем, — говорит другой член совета.

— В этом наше спасение. У Тимура нет флота, а на лодках море не переплывешь. Вспомним древность. Гунны не смогли до нас добраться. Наоборот, бежали от Аттилы и создали нашу морскую республику! Мы живем торговлей, а не мечом, — говорит дож. — Наша страна процветает. По последней переписи у нас двести тысяч жителей и всего сто восемьдесят семь милиц. Но если Тимур захватит и разорит наши колонии, это будет страшный удар по нашему благосостоянию.

— Наш флот состоит из трехсот кораблей, — говорит один из членов совета. — Неужели мы не можем защитить наши колонии? Мы разгромили Геную и спасли тем самым венецианскую торговлю...

— Нет! У нас множество врагов и в Европе, — говорит дож, — которые жадно смотрят на наше благосостояние. Для борьбы с Тимуром у нас не хватает военных сил. Мы можем бороться с ним только путем дипломатии. Доверим же нашу судьбу искусству своих дипломатов и героизму своих шпионов. И будем просить у святого Марка помощи в этом рискованном деле. Николо надо перевести четыре тысячи дукатов. Семьсот для него за верную службу вене-

цианской республике, остальное — для подкупов. И да хранит нас от разорения святой евангелист Марк! Пусть поможет он нам и христианским мученикам Закавказья!

*Кавказ. Утро.*

Огромная армия Тимура растянулась у подножия Эльбруса. Все офицеры стоят на коленях, держа лошадей за узду, и произносят клятву верности:

— Во имя Аллаха и его посланника Мухаммеда мы клянемся тебе, великому повелителю мира, наместнику Мухаммеда, распространителю ислама, в вечной покорности нашей до самой смерти. Мы готовы за тебя умереть. Умирая за тебя, мы умрем за дело ислама и за посланника Аллаха Мухаммеда!

— Почтенные воины ислама! — сказал Тимур. — Ваши слова покорили мое сердце. «В красноречии — волшебство!» — это изречение из Корана. Не ради своих удовольствий и выгод пришли мы сюда, а для того чтобы нести по миру волшебные, священные слова Корана. Пусть разят они врагов сильнее мечей наших!

Тимур слез с лошади и встал на молитву. После молитвы святой Берке снял шапку, поднял руки к небу и произнес:

— Слава тому, кто панет землю мечом, кто сеет в ней, как зерна, святые слова Корана! Слава пахарю и сеятелю Аллаха, великому Тимуру! Дай, всемогущий, победу Тимуру!

— Да сбудутся слова твои, святой потомок пророка, — сказал Тимур. — Я лишу неблагодарного отступника Тохтамыша короны и назначу в Монголию другого правителя!

Берке нагнулся, взял комок земли и бросил его со словами:

— Я бросаю эту землю в глаза врагов! Пусть их лица будут очернены срамом поражения!

Потом обратился к Тимуру:

— Ты иди! И будешь победителем!

Затрубили трубы с обеих сторон, и оба войска сошлись.

*Кавказ. Утро.*

Битва с Тохтамышем. В поднявшейся пыли ничего нельзя распознать, лишь изредка появляются, словно из облаков, то всадник Тимура, замахнувшийся мечом, то пускающий стрелы лучник Тохтамыша, то гневное лицо, то искаженное болью, смертной судорогой...

*Кавказ. Вечер.*

Был уже вечер, а сражение все продолжалось.

Вдруг какой-то всадник, закутанный в бедуинский бурнус так, что не видно было лица, подъехал к Тимуру неизвестно откуда и сказал:

— Хорошо пахнет кровью! Ты чувствуешь этот сладкий запах, Тимур? Воздух стал мутным, земли не видно под кровавой грязью! — Незнакомец засмеялся. — Смотри, Тимур, даже само солнце не желает смотреть на столько мерзостей, затуманилось и прячется за горы. Хорошо как! Какое прекрасное зрелище! Но скоро произойдет перелом в сражении. Не беспокойся, Тимур. Знаменосец Тохтамыша заранее подкуплен. Скоро он получит знак и бросит знамя. Это заставит Тохтамыша прекратить сражение...

Всадник в бедуинском плаще поднял руку.

— Слышишь крики, Тимур? Враги отступают!

— Кто ты? — спросил Тимур.

Всадник поднял вторую руку. Это была волосатая, когтистая лапа Эблиса.

— Эблис! — вскричал Тимур.

— Я же сказал, что буду возле тебя, — засмеялся Эблис. — Мы теперь с тобой едины.

— Убирайся, дьявол, в преисподнюю! — крикнул Тимур.

— Не спеши меня проклинать! — сказал Эблис. — Вель сказано: поспешность — от дьявола, а медлительность — от милосердия бога! Я буду просить за тебя, чтобы не вменялось тебе в вину все, что ты совершаешь. Надейся на меня, Тимур!

Сказав это, Эблис исчез.

— Вы не ранены, великий эмир? — услышал Тимур тревожный голос Сауда.

— Я переутомился, — ответил Тимур, встряхивая головой и приходя в себя.

— Полная победа! — радостно говорит Саид. — Знаменосец бросил знамя, и Тохтамыш обратился в бегство! Он оставил тысячи трупов и бежал в Грузию.

— Поидем за ним в Грузию. В Грузии и Армении живут те, кто поклоняется кресту. Надо приподнять над ними завесу заблуждения и показать истинный свет шарията. Ведь, по словам Мухаммеда, самая высокая степень святости, которой можно достигнуть, — это воевать с неверными! — сказал Тимур.

*Грузия. Утро.*

Войска Тимура рушат все вокруг.

— Щадить только тех, кто примет мусульманство! — говорит Тимур.

Людей бросают в колодцы и засыпают землей.

— Беглые христиане прячутся в ущельях! — кричит один из воинов.

— Истребляйте их, — говорит Тимур, — истребляйте всюду, где найдете!

Воины Тимура в ящиках спускаются в пропасти и нападают на скрывающихся там христиан. Высокая молодая женщина упорно отбивается, защищая маленького сына. Она поразила нескольких воинов. Когда же спустилось множество других, женщина со слезами сказала мальчику:

— Они не возьмут тебя, мой ягненок! — после чего убил мальчика мечом, бросилась навстречу воинам и упала, пораженная.

На площади перед горячей церковью собрались те, кто ценой отречения от своей религии и принятия мусульманства согласился спасти свою жизнь. Воины Тимура выносят из церкви иконы и бросают в костер. Перед собравшимися горит распятие. Огонь охватывает тело и лицо Христа.

— Смотрите! — смеется воин Тимура. — То, чему вы молились, — простое дерево, оно горит, как чурка!

Многие христиане плачут укладкой.

Подъезжает Тимур. Все ему кланяются.

— Если вы хотите жизнь свою спасти и адских мучений избежать, вы должны принять ислам, — говорит он.

— Примем ислам! Но вернешь ли ты нам добро, которое взял у нас? — робко спрашивает одна женщина.

— По-настоящему примете ислам? — спрашивает Тимур. — Произнесете исповедание веры, будете совершать пятикратную молитву, совершать омовения и тридцатидневный пост соблюдать, тогда ни вам, ни вашему народу не сделаю вреда. А не захотите — вот!

И по званию Тимура воины бросили в огонь связанного грузинского священника.

— Он не хотел понять свет истины, — сказал Тимур.

— Принимаем ислам! — неуклюже заговорила толпа.

Люди начали снимать с себя пательные кресты и бросать их в огонь.

— Грузинский царь Ишюкрат взят в плен! — говорит Санд и показывает на связанного царя, привязанного к хвосту его лошади.

— Что с ним делать?

— Развяжите его, приведите ко мне, — говорит Тимур. — Я сам хочу просветить этого христианина сведениями о религии Мухаммеда.

### *Грузия. Шатер Тимура. Вечер.*

Тимур и царь Ишюкрат сидят за беседой. На столе стоит вино, прочие кушанья...

— Я читал ваши христианские книги и убедился, что коварное учение галилейнина представляет собой злобный людской вымысел, — говорит Тимур. — В этом учении нет ничего божественного. Вино возбуждает и оно воздействует на неразумную часть душ. Нужно ли верить тому, кто учит любить врага, можно ли верить в учение, которое советует не сопротивляться врагу, подставлять свое лицо для побоев? Так могут говорить только корыстолюбцы, сумасшедшие или лжецы. Разве полчища крестоносцев, которые приходили на мусульманские земли, не жгли нас, не грабили, не резали? Ваше учение противно человеческой природе...

— Мы несем наказание и жертвуем собой за грехи наши, — говорит Иннократ.

— Вот в этом ванне корыстолюбите, — говорит Тимур. — Мы, мусульмане, жертвуем собой не ради грехов, а ради бога нашего милостивого.

Он взял Коран и прочел:

— «Не говори, что те, которые погибают за бога, умирают, ибо они живы». Так сказано во второй суре: счастлив мусульманин, павший в этих священных битвах, он становится славным мучеником. Вход в рай для него открыт. Хочешь ли ты в рай или предпочитаешь ад, после того как умрешь на костре, или на виселице, или закопанным живым?

— Я предпочитаю рай, — говорит тихо Иннократ.

— Я рад, что по особому действию благодати прозрение проникло в твою неверную душу, находящуюся во мраке. Значит, ты, Иннократ, согласен выйти из заблуждения и сделаться мусульманином?

— Согласен, — тихо сказал Иннократ. — Ради спасения своего народа. Если ты уйдешь в свои земли...

— Благодарю Аллаха за то, что он дал мне силы просветить еще одного неверного, — говорит Тимур. — Иди, отдыхай и считай этот день самым счастливым в своей жизни.

— Я считаю этот день самым счастливым, — говорит Иннократ.

*Грузия. Улицы города. Вечер.*

Он уходит на улицу, освещенный пламенем пожаров.

Кругом валяются трупы.

Воины Тимура хватают христиан и бросают их в огонь, некоторых живыми закапывают во рвах. Их останавливают командиры.

Царь Иннократ, отрешившись от своей религии ради спасения своего народа, идет, закрыв лицо руками, чтобы громко не разрыдаться.

— Здесь дело сделано, — говорит Тимур Санду. — Поидем следом за Тохтамышем. Он убежал в подвластную ему Русь. Поидем на Русь!

*Поход на Россию.*

Войска Тимура перенаправляются через Терек. Бешеный ритм погони за Тохтамышем. Ярко светит солнце. Воины едут прямо в седлах.

Светит луна. Воины меняют лошадей. Снят в седлах, похранивая. Ночь. Храп.

Оправляются.

Стень. Рассвет. Воины просыпаются на ходу. Многие на ходу совершают малую и большую нужду.

Мелькают березовые рощи, села с церквушками. Это уже средняя полоса России. Войска проносятся через села, хватают девушек и молодых женщин, насилуют на ходу и сбрасывают.

Какой-то подхватывает старушку.

— Ничего другого не поймал, — говорит он, как бы оправдываясь.

Пад ним смеются.

— Плохой ты рыбак!

— В обозе в телеге едет и Ксения, со слезами смотрит на давно покинутые места, столь родные.

Тимур, окруженный свитой и телохранителями, объезжая воинский строй, подъехал к ней.

— Что, Ксения, приятно тебе видеть свою родную землю?

— Как же! — говорит Ксения. — Во всем мире не может быть земли приятней этой, воздуха, лучше этого, воды, слаще этой, лесов и пастбищ, обширнее этих!

— Вода хорошая, — соглашается Тимур, — а воздух чище в пустыне, здесь он болотом и говном пахнет. И пастбища для коров пригодные, но не для коней. Вот в кипчакской земле пастбища большие! Здесь зимовать конному войску нельзя. И земля разоренная, бедная...

*Устен Ельца. Вечер.*

— Русские заперли ворота и готовы защищаться! — докладывает дозорный.

— Как город называется? — спрашивает Тимур.

— Елец.

— Е-лец! И не произнесешь! Не хочется мне здесь воннов терять. Мне они нужны для настоящих походов. На Багдад! На Дели! На Пекин! А не на эти болота! Пусть послы скажут русским, что мы пришли с миром. Не с ними воювать, а с Тохтамышем.

— Ксения! — говорит он, подъезжая. — Пойдешь с послами, переводить будешь.

*Палаты Елецкого князя. Вечер.*

В палате у Елецкого князя посольство Тимура с подарками. Тут же — русские вельможи.

— Великий эмир Тимур, — переводит Ксения, — пришел освободить вас от Тохтамыша поганого, мы ваших земель не хотим, ни городов ваших, ни сел ваших. А вы заключите с нами мир. Тохтамыш, мы слышали, много бед вам сотворил, и сам он враг. Потому мы его бьем.

— Передайте хану Аксак-Темиру, — говорит князь, — что мы подумаем, как решать.

Послы кланяются и уходят.

— Хорошо будет, если они поганого Тохтамыша прогонят. А может, и помогут от татар вообще избавиться?!

— Все они татары, — говорит воевода, — нельзя верить. Они коварны, жестоки и неумолимы.

— Лучше все миром уладить! — говорит богатый купец. — Откупитесь лучше. Вот великий князь Дмитрий Донской на Куликовом поле Мамайя побил! А Тохтамыш за это пришел и Москву сжег. И побил столько, что триста рублей стоило только похоронить всех! А платить-то по рублю за восемьдесят покойников пришлось...

— Рублевая ты душа, Еремей! — сердито говорит купцу воевода. — Князь Дмитрий Донской своей победой надежду всей земле русской подал!

— А как Тохтамыш на Москву пришел, так князь Дмитрий Донской все бросил, и купечество, и подвластный ему народ, и убежал! — отвечает купец. — Нет, лучше миром поладить.

— Не надо междоусобиц, — примирительно говорит князь. — Аксак-Темир, верно, с Тохтамышем воюет и его прогнал. Пойдем с миром навстречу Аксак-Темиру.

— Смотри, князь, — говорит воевода, — как бы не сделались мы добычей еще более кровожадного, чем Тохтамыш, завоевателя!

— А мы понадемся на честной крест! И благоволение Матери Божней!

Князь выходит на крыльцо, перед которым собрался народ.

— Люди елецкие! — говорит князь. — Вот был Тохтамыш, зло причинял неисчислимое нам и нашим родичам. Москву сжег. Вот теперь Аксак-Темир пришел сюда, на нашу землю. Как нам с ним, воевать или нет? Как нам поступить?

— Сам знаешь, князь, твоя воля, — сказал один. — Прикажи, повоюем с Аксак-Темиром. Либо его сокрушить сумеем, либо головы сложим свои. Как прикажешь, так и будет.

— У Аксак-Темира сила большая, — говорит князь. — Но нам он обещает мир. Думаю, надо судьбе поклониться и ворота перед ним открыть.

— Сам знаешь, князь... Воля твоя... Приказывай... — доносилось из толпы.

### *У стен Ельца. Вечер.*

— Упрямые русские, — говорит Тимур. — Уже полтора столетия под Золотой Ордой, а всё бунтуют. Чингисхан — великий полководец, и сыновья его, и внуки, Батый — все хорошие воины, но не просвещен: они не были светом ислама. Первым делом, как Русь сокрушили, надо было церкви разрушить, мечети строить и ислам вводить вместо христианства. А они дань собирать начали. Дань — дело временное, а ислам — вечное! Мамай ислам принял, да слаб оказался уж, поздно. А Тохтамыш вообще трусливый и подлый! Нет теперь таких людей, как Чингисхан! Эх, жаль, вовремя Чингисхан ислам не принял! Где теперь Мамай?

— К генуэзцам сбежал, в Корфу, — сказал Николо, который был в свите Тимура и постоянно что-то записывал на ходу.

— Если и меня русские побьют, итальянцы возьмут меня? — улыбнулся Тимур. — Латинские книги поеду к вам изучать.

И он засмеялся.

Послышались звуки церковного колокола.

Распахнулись ворота, и вереницей вышли жители во главе с князем и вельможами.

— Слава Аллаху! — сказал Тимур. — Когда я овладею всем миром, больше не будет звона. Разрушу все христианские церкви и запрещу культ Христа. И уничтожу всех, кто не примет ислам. Только так можно сделать победу ислама прочной и выполнить предписание всевышнего.

Князь и вельможи приблизились, поклонились Тимуру.

Стройная девица подала ему по русскому обычаю хлеб и соль на золоченом блюде. Тимур взял хлеб и бросил его на землю. Это был сигнал. Воины Тимура со смехом и шутками начали бить и вязать...

*Елец. Вечер.*

Они ворвались в город, разграбили, подожгли дома и церкви. Со смехом же князя, воевод, купца и прочих знатных связали, повалили, положили на их доски. Тимур со своими амирами и прочими воинами сели на доски пообедать.

Пока ели жирными руками горячий плов, большие манты, густую лапшу-лагман, пили кумыс, играла музыка, и захваченные с собой комики веселили шутками, показывая то курлычицков оннума, которые смешино дрались между собой, то моющихя в бане, то всевозможные шутки проносили:

— Почему петух, просыпаясь по утрам, поднимает одну ногу?

— Потому что петух устал бы, подняв сразу обе ноги.

Общий смех.

У шута, который ел рыбу и зашивал ее молоком, спросили:

— Как это ты не онасаешься заплотить свой желудок одновременно рыбой и молоком?

Он ответил:

— Разве рыба почувствует молоко? Ведь она мертвая.

Общий смех.

Амиры и прочие воины напились вина и русской белой водки, громко хохотали, слушая комиков, и поедали обильные кушанья. Пока они смеялись, под досками стонали, хрипели, умирали раздавленные русские князья и вельможи.

Николо и Ксения наблюдали за всем этим издали.

— Я обманула их, и они умирают, — сказала Ксения тихо. — Помоги мне, Николо, убей меня.

— Жизнь дарована Господом, и не мне ее у тебя отнимать, это грех. Умереть по своей воле — это грех.

— По-моему, для меня жить — грех, — сказала Ксения. — Прощай, пусть хранит тебя Христос.

И ушла.

#### *Устен Ельца. Лес. Вечер.*

Когда Тимур проезжал мимо лесной поляны, он увидел Ксению, висевшую на дереве. Он остановил коня и помолчал несколько минут.

— Это война, — сказал он тихо, — здесь свои законы, слабые умирают. Снимите ее и закопайте в лесу поглубже, чтобы звери не разрыли могилу и не съели ее тело.

Он снова помолчал, глядя, как Ксению закапывают.

— Я сейчас на Москву не пойду, — сказал он. — Я и армия утомлены и нуждаемся в отдыхе...

#### *Елец. Вечер.*

Стоят недоеденные казаны с пловом, валяются остатки еды, под досками лежат раздавленные русские вельможи, дымят потухшие костры.

#### *Берег Волги. Утро.*

Молодые девушки с длинными волосами, заплетенными в косы до земли, подносили вино в золотых кубках. Тимур, весел и радостен, слушал песни, смотрел на танцовщиц. Вокруг было обильное угощение, много пили и ели, а вдали за загородкой, где содержались захваченные в походах рабы, звеневшие цепями, служители бросали им остатки пищи, которую те жадно ели. В отдаленной загородке со-

держались знатные пленные и среди них — грузинский царь Иншократ. Им принесли плов, фрукты и вино.

Простые рабы, которые ели отбросы, ругали знатных рабов и под смех стражи бросали в них огрызками.

Грузинский царь Иншократ, закованный в цепи, ел плов и плакал. Арбузная корка, брошенная кем-то из рабов, попала ему в плов, обрызгав лицо. Когда ему, как знатному пленнику, привели женщину, немолодую уже и не слишком красивую кипчачку, он перестал плакать и успокоился.

Мулла, который был направлен к нему, как к новообращенному, сказал:

— Ты теперь мусульманин, я пришел, чтобы напомнить тебе предписание Корана. — И он прочел: — «Во имя Аллаха милосердного и милостивого, о верующие, очищайтесь после сокоупления с женщинами. Когда вы в дороге исполнили потребность природы или имели сокоупление с женщинами, совершите обряд омовения, вымойте лицо и руки до локтя и почти до пяток. Аллах не хочет налагать на вас никакое бремя, но хочет сделать вас чистыми».

— Я выполню предписание Аллаха, — сказал новообращенный Иншократ и удалился с женщиной за загородку.

### *Берег Волги. Утро.*

Множество офицеров и солдат совершает омовение. Совершил омовение и Тимур в палатке, в которой спала молодая, красивая кипчачка. Поднялось солнце. Опять были взнузданы пагулявшиеся на лугах кони, рабов согнали бичами в толпу.

— Я оставляю армию с добычей опытным полководцам, — сказал Тимур Саиду, — а сам поеду в Самарканд.

— Я с вами, великий эмир, — сказал Тимур Николо. — Мне можно с вами? Мне нужно взять в Самаркандской библиотеке книги, необходимые для переводов.

— Хорошо, — сказал Тимур. — Ты будешь дорогой развлекать меня чтением своих переводов. Да, мы хорошо отдохнули.

— Я это вижу по измятым и оскверненным цветам, — сказал Николо.

— Да, это прискорбно, — сказал Тимур. — Я люблю красоту цветов. Ведь бог, который сотворил все эти цветы и всю эту земную красоту, когда хочет учинить на этой земле какое-нибудь землетрясение или недород, или сражение, приказывает это сделать святому ангелу смерти Джабранлу, руки которого, как сказано, сжимают жилы земли. Так и я, как повелитель мира, по воле всевышнего сжимаю жилы земли и должен жертвовать красотой во имя ислама, переворачивая все вверх дном на этой земле...

*Москва. Хоромы князя Василия. Утро.*

Князю Василию докладывают:

— Многоплеменное и несметное воинство свое ведет Тимур-Аксак на землю русскую. Прошел он все земли татарские и Золотую Орду, подошел к рубежам княжества рязанского, захватил Елец, а князя елецкого и его людей умучил...

— Надо быстрее собирать войско, — говорит князь Василий, — и встретить врага на Оке. Благослови, святой митрополит, нас на битву с мучителем христиан.

— Надо срочно послать во Владимир за иконой святой Марии Богородицы. Помолнимся ей, и силу получим, и басурман одолеем.

— Срочно послать во Владимир за иконой Богородицы, — приказывает князь Василий.

*Ока. Лагерь Тимура. Вечер.*

Тимур спрашивает у разведчиков:

— Что делают русские?

— Молятся.

— Молятся?

— Да, — усмехнулся Саид. — Молятся своей святой, нарисованной на большой доске. Сейчас самое время ударить.

— Пусть молятся, бедняги, — сказал Тимур. — И мы помолнимся своему богу...

Он сошел с коня, и все войско встало с Тимуром на молитву. День был светлый, солнечный, нели птицы, блестела река, и по обеим сторонам реки готовые вступить между собой в бой люди молились каждый своему богу.

*Ока. Лагерь Тимура. Шатер. Ночь.*

— Пусть эти бедняги думают, что их спас не мой разумный расчет, а их святая, намалеванная на доске. Зачем нам бедная, разоренная Москва? Пойдем домой через города богатые, там нашим воинам есть где погулять...

*Ока. Лагерь русского воинства. Утро.*

Радость в русском стане. Крики.

— Темир-Аксак ушел! Мы спасены!

— Побежал от нас в ужасе, — говорит князь Василий. — Видно, вспомнил судьбу битого Мамаю.

Митрополит утирает слезу:

— Это Матерь Божья, святая Марья Богородица спасла. Возблагодарим ее молитвой...

И тысячи воинов русских снова пали на колени перед иконой из стольного града Владимира.

*Иран. Утро.*

Почтовый голубь летит над барханами пустыни, над степью, бегущими стадами газелей и диких ослов. Он опускается на крышу небольшого строения. На заднем дворе мечети слепые и увечные произносят стихи из Корана у могилы святого и кричат:

— О Бах-эддин, избавь нас, облегчи нам наши увечья!

Привратник снимает с ножки голубя письмо и привязывает его к ножке другого голубя.

*Каир. Вечер.*

Шумная толпа. Голубь садится на окно винной лавки. Виноторговец снимает с ланки голубя письмо и выходит на улицу. Он идет по улицам и площадям, пока не доходит до торговой улицы, где на углу стоит водонос, кричащий:

— О Аллах всемогущий, нет напиток, как изюма, нет сближения, кроме как с любимой, и не сидит на почетном месте никто, кроме разумного!

— Напои меня, — говорит виноторговец.

Водонос подал ему кувшин. Виноторговец выпил воды и вместе с монетой сунул водоносу письмо.

*Венеция. Площадь святого Марка. Вечер.*

На площади идет представление комедиантов. Среди зрителей дож со свитой. Входит Иуда, с ним множество народа с мечами, кольями.

— Кого я поцелую, тот и есть, — говорит Иуда. — Возьмите его, ведите осторожно.

— Вот он! Вот он! — кричат зрители. — Иуда проклятый, смотри, вот он вошел!

Иуда подходит к Христу.

— Равви, Равви, — говорит он и целует Христа.

Тотчас же пришедшие бросились на Иисуса.

— Иуда, — сказал Иисус, — целованием предаешь ты Сына человеческого.

— Бей его, бей! — кричали зрители и начали бросать в Иуду камнями и грязью.

— Господи, не ударить ли нам мечом? — спросил Петр.

— Вложи меч в ножны, — говорит Иисус. — Взятый меч — от меча и погибнет, да сбудутся слова, реченные им: из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого...

Опять звучит церковный хорал.

Один из комедиантов обходит с подносом зрителей и собирает пожертвования. Служитель передает письмо дожу.

— Слава Иисусу сладчайшему, — прочитав, говорит тот. — Николо сообщает: Тимур остановил движение на Запад и намерен идти на Персию, Ирак, Индию, а потом, может быть, и на Китай. Александр Македонский ушел в Азию, и тем Европа была спасена. Чингисхан хотел овладеть миром, но завяз в Азии. Будем молиться, чтобы тем же кончил и новый азиатский деспот Тимур, возмечтавший сокрушить христианство и водрузить над миром знамя беспощадного ислама. Надо послать в помощь Николо еще одного человека. Трудно справляться одному среди злобного, недоверчивого народа.

*Летний дворец под Самаркандом. Вечер.*

— Я ждала вас, господин мой, — сказала Капье, обнимая Тимура.

— Получила ли ты подарки, которые я тебе и другим женам присылал? — спросил Тимур.

— Да, я рада вашим подаркам, господин мой.

— Но лицо у тебя не слишком веселое.

— Я знаю, ты любишь меня, — сказала Каньё, — потому что, как я слыхала, ты завел себе в походе новую красивую наложницу. У нас в Китае умные жены. Про них говорят, что если муж завел себе красивую любовницу, значит, любит жену, а жена всегда стремится, чтобы у мужа была красивая любовница, на которой он возбуждает свою мужскую силу. Я хотела бы посмотреть на твою наложницу.

Тимур позвонил. Вошел слуга.

— Приведи из гарема кинчачку Бартакшини, — сказал он.

Слуга, кланяясь, удалился.

— Господин мой, — сказала Каньё, — я знаю, что ты разбираешься в поэзии, и потому хотела бы, когда придет время, почитать тебе поэмы «фу» поэтов династии Хань, никто лучше их не написал о любви.

Вошел евнух и с ним наложница, которая поклонилась Тимуру и Каньё. Каньё начала ее разглядывать, обмахиваясь веером.

— Пусть она обнажится, — сказала Каньё.

Наложница разделась догола, и Каньё начала осматривать ее, все сильнее обмахиваясь веером.

— Правда, она красива? — сказал Тимур.

— Красива-то красива, но никакого обаяния, — сказала Каньё. — В походной палатке, может быть, она и годится, но это простонародье. От нее за версту разит, просто невмоготу. Она, видно, впервые пользуется пудрой и маслом для волос, она так себя намазала, что просто невмоготу. Вели ей уйти.

Тимур сделал знак евнуху, кинчачка быстро оделась и ушла.

— Господин мой, — сказала Каньё, — прошу тебя довериться мне и моей любви. Отныне я сама буду подбирать тебе любовниц. Я уже приготовила тебе кое-какой подарок.

Каньё хлопнула в ладоши, и из соседней комнаты вышла юная китаяночка, которая поклонилась Тимуру и Каньё.

— Ее зовут Хунь Янь, — сказала Каньё. — Правда, она хороша?

— Хороша, — улыбнулся Тимур.

— Как говорится, еще не разрезанная тыковка, — сказала Кальё. — Для нее настал седьмой день седьмой луны. Она как одинокая яшма. Поистине, про нее строки: «В прозрачной воде отражается холод людской». Это из поэта династии Хань.

— Кто она? — спросил Тимур.

— Хунь Янь — начинающая певичка, она хорошо поет.

— Хунь Янь, — сказал Тимур, — говорят, ты хорошо поешь? Спой что-нибудь.

— Я хотела бы чашечку китайского вина, настоящего на жасмине, — сказала Хунь Янь. — У меня тогда лучше звучит голос.

Подали вино в маленьких чашечках. Хунь Янь выпила вино, села перед металлической тарелочкой, вытщила из волос заколку из слоновой кости и заняла, отбивая ритм этой заколкой по тарелочке.

— Я рада, что у моего дорогого мужа будет теперь такая молодая красивая любовница, — сказала Кальё.

### *Самарканд. Базар на лошадях. Утро.*

Покупатели и продавцы все на лошадях. Шум, ржание лошадей. Женщины, сидя на лошадях, продают молоко кобылиц, бараны меха, полные молока, вливают ловко порциями в рты жаждущих. Возле цирюлен на земле сидят курильнички опиума. Один весело смеется, другой дрожит от страха. В пятнадцати цирюльнях бреют головы. В одну из цирюлен входит человек, одетый кунцом. Цирюльник начинает разводить пену в тазу, одновременно расспрашивая, как водится, клиента о разных новостях.

— Откуда ты, благородный человек? Какой товар привез?

— Разный товар, — говорит кунец, щурясь от удовольствия, когда цирюльник намыливает ему волосы. — Полотна, ситец, шерстяные товары.

— А не привез ли ты товары из Френгистана? — спросил цирюльник.

— Нет, я не торгую товарами неверных, — сказал кунец.

— Это правильно, — сказал цирюльник, — проклятые френги сильно желают нам зла и постоянно привозят сюда отравленный товар. Я слышал, они как-то привезли целый ящик отравленного порошка, чтобы отравить всех жителей благородного города Самарканда.

Цирюльник начал брить купцу голову.

— Но тем не менее я слышал, что у них есть масло из листьев травы, помогающее от мужского бессилия.

— От мужского бессилия помогает греческое вино, — сказал купец. — Я стараюсь каждый вечер выпить несколько чашечек и тебе советую.

Он рассмеялся, разглядывая себя в зеркало.

— По-моему, я вполне годюсь для молодой? Вот только бороду мне побрить непоможко.

— Что ты сказал? — вытаращив глаза, спросил цирюльник.

— Я говорю, бороду чуть подбрить.

— Ты что, сумасшедший? — спросил цирюльник. — Разве ты не знаешь, что мусульманину запрещено брить бороду, если он в здравом уме? За это могут наказать смертью.

— Я пошутил, — сказал купец, торопливо вставая с кресла и протягивая деньги.

— Я не возьму у тебя денег, — сказал цирюльник и закричал: — Эй, правоверные, этот человек просил побрить ему бороду, это сумасшедший!..

— Это френги, — сказал один из сидевших среди курильщиков оннума.

Купец пытался бежать, но его схватили и повели.

### *Дворец Тимура. Подвал для пыток. Ночь.*

Измученный пыткой купец стоит перед Сандом и палачом. В кресле сидит Тимур, при нем связанный Николо.

— Мне много раз доносили, что ты шпион, но я не хотел доверять этим слухам, потому что ты хороший переводчик и еще не успел перевести до конца жизнь Александра Македонского, а также воспитателя Александра Македонского — Аристотеля.

— Счастлив правитель, у которого такой воспитатель, — сказал Николо.

— Согласен, — сказал Тимур. — Поэтому я предлагаю тебе сделку: я сохранию тебе жизнь, а ты отречешься от христианства и примешь нашу веру, ислам. Я помещу тебя не в тюрьму, а в монастырь, и ты продолжишь переводы на наш язык латинских философов. Ты видишь, как я ценю тебя?

Тимур сделал знак, и два служителя внесли распятие.

— Плюнь на своего ложного идола, — сказал Саид куincu. Тот начал дрожать и отворачиваться, чтобы не смотреть на Христа. Тогда палач поднес раскаленное железо к его спине. Куиец закричал и уиал. Они плеснули водой и опять поднесли распятие. Он плюнул и забился в судорогах.

— Бедный Иуда, — сказал Николо.

— Теперь ты, Николо, — сказал Тимур. — Мы, мусульмане, умеем ценить ученых людей. Мы не посылаем их шпионить, а даем возможность зарабатывать деньги полезным и благородным трудом. Конечно, мы посылаем шпионов, но среди них нет ни одного поэта или философа. Каждому поэту или философу, который мне по душе, я даю красивый дом, я даю ему рабов и деньги. Плюнь на изображение, которому ты по темноте своей поклонялся, плюнь!

Николо посмотрел на изображение Христа, увидел близко к его телу поднесенное раскаленное железо, затем перевел взгляд на Тимура и вдруг плюнул Тимуру в лицо. Саид вместе с палачом бросились и начали избивать Николо.

— Оставьте его. Я умею владеть собой. Я утру твой наглый плевок. Ведь и Александру Македонскому плюнул в лицо наглый раб, — говорил Тимур, пока служители торопливо утирали ему лицо и протирали благовониями. — Но клянусь непорочным семенем моего отца и священной утробой моей матери, что я одержу победу над богохульным крестом и водружу над миром белое знамя ислама!

— Господь не допустит всемирного насилия зла над добром, — сказал Николо.

— Это мы, мусульмане, — зло, а вы, христиане, — добро? — спросил Тимур. — А разве король Франции Карл VI, который прозван из-за распутства и жестокости Безумным, мусульманин? Разве мусульманами были крестоносцы, которые жгли наших детей и насильовали наших женщин?

Наша религия предписывает нам уничтожать своих врагов. Ваша коварная религия учит вас любить ваших врагов. Мы, мусульмане, живем по закону нашей религии, нравится она вам или нет. А вы, христиане, живете против закона своей собственной религии.

— Это так, — произнес Николо, — но не за вашу правду, а за наши грехи усилилось на земле семя печестивых.

— Завтра, в первый день недели, на площади Мертвых казнь разбойников, — сказал Тимур. — Ты будешь казнен вместе с ними.

— Благодарю вас, великий эмир, за оказанную честь, — сказал Николо. — Ведь и Господь наш Иисус Христос был казнен вместе с разбойниками.

— Но казнь твоя будет позорна, — сказал Тимур. — Ты будешь не распят, а забросан. Распятие считается у нас позорной казнью, но я казню тебя еще хуже, ты будешь побит не камнями, а твердыми кусками земли, как распутная женщина, чтобы ты умирал подольше. И, может быть, перед самым вступлением в ад ты попросишь прощения у Аллаха, которого ты оскорбил в моем лице...

*Самарканд. Площадь Мертвых. Утро.*

На площади Мертвых у мечети на еженедельное зрелище собралась большая толпа. Многие пришли с детьми. Тут же сновали продавцы еды и питья.

— Сегодня не отсечение головы, руки или ноги, а вешние, — сказал какой-то зритель. — Это более интересно.

— А побитие камнями? Нет, комьями земли, — возразил другой зритель. — Значит, казнят очень развратную женщину.

— Вы ничего не знаете, — возразил толстый человек, жующий с аппетитом. — Вешать будут знаменитого разбойника, а побьют комьями земли френги — иностранного индиана...

— Тише, уже начинается!

Под звуки музыки, в сопровождении свиты вышел Тимур и уселся в кресло на помосте, устланном дорогим ковром. Тотчас же привели преступников. Из трех разбой-

ников один все время плакал и просил прощения. Другой ругался, показывая народу непристойный жест. А третий, седой, стоял молча, смотрел по сторонам. Привели и Николо, поставили его в яму и по поясу засыпали землей.

Вначале повесили плачущего разбойника, потом ругающегося. Когда накинули петлю на старого разбойника, он схватился за петлю руками, растянул ее и крикнул:

— Великий эмир, помнишь ли ты меня? Это я, тот, который встретил тебя в юности и подарил тебе Коран и книгу дровнина Абусахла!

— Я вспомнил тебя, — сказал Тимур, взглядевшись в разбойника. — Я тогда пообещал твоим жертвам, что буду наказывать таких преступников. Видишь, я держу свои обещания. Вот, возьми. Кажется, я тебе еще должен деньги.

Тимур выгащил деньги и бросил их на помост.

— Да, ты усвоил уроки власти, которые я тебе дал. Да, может, когда-нибудь и твои жертвы восстанут против тебя!

— Ошибаешься, — сказал Тимур. — Ты лил кровь во имя собственной корысти, а я — во имя святой иден. Но я считаю тебя разумным. Сказал Аллах в своей великой книге: «Подавляющий гнев и прощающий людям». Ты, во всяком случае, прощен не потому, что преступление твое мало; преступление твое велико, но я прощаю тебя при условии, что ты поклянешься остаток жизни прожить честно. Но и не в этом дело. Главное — я прощаю тебя, чтобы показать народу, что даже преступление старого разбойника заслуживает снисхождения по сравнению с преступлением врага пелама.

И он указал на Николо.

— Слава великому эмиру! — закричал народ.

— Твоя милость пронзила мое сердце и встревожила мою печень, — сказал разбойник. — Этот день благословенен для меня. Но позволь мне во имя искупления крови правверных, которую я проливал, пролить кровь этого неверного врага веры, ведь это святое дело. Окажи мне честь первым бросить в богомерзкого христианина ком земли.

— Я дарю тебе такое право, — сказал Тимур разбойнику и повернулся к Николо. — Стоя на пороге ада, который ты заслужил своим богохульством, можешь ли ты хотя бы рас-

каяться, чтобы уйти из этого мира спокойно? Посмотри вокруг, на холмы, пески, деревья, зверей и птиц, которые все прославляют единого, покоряющего! И только ты уиорествуешь.

— Я вижу, ты отоцал телом, зловредный старец! — сказал Николо. — И жаждешь насытиться новой кровью. Но да сбудутся слова пророка нашего: когда будешь призывать Бога, да не услышит он, ибо ты осквернил руки свои кровью и ноги свои, быстрые на человекоубийство. Не Бога ты оставил, а самого себя. Пролитую кровь взыщет с тебя Господь!

— Клянусь всемогущим! Я заставлю его замолчать первым же камнем! — крикнул прощенный разбойник и бросил твердый сухой ком земли, который попал Николо прямо в рот.

Тотчас посыпался на Николо град сухих каменистых комьев. Вскоре весь он был покрыт серой пылью и красной кровью. Николо начал петь псалмы с окровавленным ртом, сначала громко, а потом все тише и тише:

Перед Богом потрясется земля, поколеблется небо! Солнце и луна помрачатся! И звезды потеряют свой блеск!..

— Смотрите! Смотрите! — весело кричал народ. — Как нес подыхающий враг Аллаха!

И они поднимали детей, чтобы те видели.

— Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. Солнце со светлыми померкнет, и звезды потеряют свой блеск!.. — уже хрипел Николо.

Вдруг начало темнеть среди яркого дневного света. Черное пятно покрыло солнце. Сразу похолодало, подул ветер. Народ в ужасе закричал и начал разбегаться.

— Злобные джинны и идолы, которым служит враг веры, пришли проститься со своим слугой! — сказала Тимур.

— Нет, я пришел не к нему, а к тебе, — сказал кто-то рядом.

— Эблс! — сказала Тимур.

— Я по тебе соскучился! — сказал Эблс. — Мы ведь с тобой теперь как родные братья.

И он захохотал.

*Самарканд. Дворец. Крыша. Утро.*

На крыше дворца, где были установлены телескопы, звездочет и десятилетний внук Тимура Улугбек смотрели на небо.

— Жаль, что дедушка Тимур сегодня занят, — сказал Улугбек. — Я хотел показать ему в китайскую трубу полное затмение солнца.

— Улугбек! Я давно предсказал твоему великому дедушке, что когда солнце достигнет своего четвертого дома, созвездия Овна, он овладеет престолом. Так оно и случилось.

— Заблуждаетесь, — сказал Улугбек. — Четвертый знак Зодиака не Овен, а Телец.

— Ты, Улугбек, еще слишком молод, чтобы учить меня, старого звездочета, — раздраженно сказал звездочет. — Ты должен чаще думать о звезде Муштари. Звезда Муштари покровительствует соблюдающим шарнат. Достаточно ли ты учишь шарнат для понимания звездного неба?

— Я учу китайскую астрономию и законы Птолемея.

— Я не думал, что у великого Тимура внук будет говорить еретические речи, — в ужасе сказал звездочет.

*Дворец Тимура. Самарканд. Вечер.*

Торжества во дворце. Собрались все жены с детьми, вельможи, послы.

— Я провозглашаю своим наследником в Хорасане и Систане моего сына Шахруха! — говорит Тимур и вручает сыну меч.

После этого он нежно поцеловал сына.

— Кто любит его, — обратился Тимур ко всем, — тот любит меня. Кто почитает его, тот почитает меня. Кто ему повинуется, тот и мне повинуется.

— Слушаем и повинуемся! — произносят вельможи в разных концах зала.

— Я клянусь на этом мече, что этим мечом поражу каждого, кто дерзнет не признать твою власть над миром, отец, — сказал Шахрух.

— А теперь вы, визири, вельможи и знатные люди, — сказал Тимур, — сделайте моему сыну подарки!

И со всех сторон начали подносить Шахруху золототканые одежды, золотые дшары, драгоценности. И все родственники подносили подарки. Когда дошла очередь до Улугбека, он поднес чистый листок бумаги:

— Отец подарил тебе меч, а я подарю бумагу, потому что с помощью бумаги ты можешь овладеть могуществом во врачевании, в астрономии, геометрии, чтении по звездам, алхимии, белой магии, науке о духах и прочих науках.

Тогда Шахрух сердито разорвал бумагу и сказал:

— Ты, Улугбек, хочешь быть не мужчиной, а свиухом!

*Самарканд. Дворец. Золотая комната. Вечер.*

Тимур и Улугбек сидели в комнате, увешанной золототкаными коврами и золотыми тканями. Был вечер. Утомленный Тимур решил перед сном повидать своего любимого внука.

— Ну, какие загадки хочешь ты загадать мне сегодня, мальчик? — спросил Тимур, ласково улыбаясь и глядя Улугбека по голове.

— Мужчина, да не мужчина, — сказал Улугбек, — бросил камнем, да не камнем, в птицу, да не в птицу, которая сидела на дереве, да не на дереве.

— Первое — свиух, — сказал Тимур, — второе — пемза, третье — летучая мышь, а четвертое — виноградная лоза.

— Дедушка! Ты такой мудрый! — сказал Улугбек.

— Пет! Просто я тоже был маленьким, и учитель мне тоже разъяснял детские загадки, — засмеялся Тимур.

— Вот вторая загадка, — сказал Улугбек. — Не смертен, и, однако, не бессмертен он, не божеской живет он жизнью и не человеческой, рождается каждый день и исчезает вновь, незрим для глаз и в то же время всем знаком.

— Это уже загадка посерьезнее. Ты говоришь про сон. Животным и простолюдным сон дан для отдыха и прекращения тягот, но такие люди, как мы с тобой, люди особой судьбы, узнают грядущее в сновидениях.

— А вот и третья загадка. Было три брата. Один из них умер праведником, один — грешником, один — малым ребенком. Какова будет их судьба после смерти?

— Это ясно, — улыбнулся Тимур. — Праведник попадет в рай, грешник — в ад, а ребенок, так как он еще не успел себя проявить, не попадет ни туда, ни сюда и останется в промежуточном состоянии.

— А если ребенок обратится с жалобой к богу и спросит его, почему он не дал ему возможности добрыми делами добиться доступа в рай, что ответит бог?

— Бог ответит: «Я знал, что если ты подрастешь, то станешь грешником и обречешь себя на адские муки. Поэтому я отнял у тебя жизнь рано», — сказал Тимур.

— А тогда грешный брат в отчаянии возопит: «Почему ты, великий бог, не умертвил меня ребенком?! Дал стать грешником!»

Улыбка сбегала с лица Тимура. Он оторопело посмотрел на внука, который торжествовал свой успех.

— Почему, дедушка? Почему?

— Научение сатанинское, — прошептал Тимур и крикнул: -- Эй! Уведите мальчика спать!

Возли слуги. Взяли Улугбека за руку и повели.

— Дедушка! Ты мне не ответил! -- кричал Улугбек. -- Дедушка, отвечай!..

### *Дворец. Комната Тимура. Ночь. Сон.*

Уже увели Улугбека, а Тимур долго сидел, встревоженный, перед зеркалом, глядя себе в глаза.

— Этот мальчик до крайности растревожил меня, — сказал он сам себе. — Что ждет меня в будущем? Той ли дорогой я иду? Будет ли мне оправдание во всех делах моих? Кто даст мне на это ответ?..

Утомленный Тимур лег на постель и быстро уснул...

...Он шел по пустыне, и вокруг были дикие звери. Он не знал дороги. Блуждал, то идя вперед, то возвращаясь назад. Наконец он прошел пустыню и попал в сад. В саду было множество плодов, лежали на земле музыкальные инструменты. Посреди сада стоял громадный трон. Около трона стояла высокая башня. На вершине башни сидели какие-то люди. Перед каждым из них лежали книги, и они что-то выписывали, что-то вписывали перьями в эти книги.

Тимур с трудом поднялся на высокий трон и оттуда спросил:

— Что вы пишете?

— Наше дело, — ответил один из писцов, — вести запись тому, что должно случиться в жизни с каждым человеком.

— Разве ты не знаешь из Корана, что есть книги, в которых записываются все дела человеческие? — сказал другой писец.

— Я знаю, — ответил Тимур. — И очень заинтересован узнать, кто записывает события моей грядущей жизни?

— Ты боишься своей судьбы? — спросил один из писцов.

— Я хотел бы ее знать заранее, чтобы не совершать ненужных ошибок, ибо от моих ошибок зависит судьба многих людей, — сказал Тимур.

Тогда один из писцов прочитал стихи:

Странящийся судьбы, спокоен будь!

Ведь все в руках высокого провидца!

Пусть в книге судеб слов не зачеркнуть,

Но что не суждено, тому не сбыться...

— Мне знакомо твое лицо, — сказал Тимур, вглядываясь в писца, читающего стихи, — но я не могу тебя вспомнить. Нет, я узнал тебя! Я узнал тебя!

И тут вдруг проснулся, сильно встревоженный.

— Как не вовремя я проснулся, — сказал он тихо. — Во сне мне показалось, я узнал его, а теперь не могу вспомнить. Какое тревожное свиденье перед трудным походом в Персию, где шах Мансур готовит против меня большое войско. Однако, что бы ни случилось, я пойду до конца...

### *Персия. У стен Шираза. Утро.*

Яростный бой. Жители на стенах отбивают приступ войска Тимура. Распахиваются ворота, и шах Мансур с тысячами всадников, вооруженных пиками, преследует отступающих воинов Тимура.

— Повелеваю собрать всех наших воинов, вооруженных пиками, чтобы отразить натиск врага! — говорят Тимур, наблюдая за боем в окружении своих телохранителей.

— У нас нет воинов, вооруженных пиками, — говорит Саид.

— Значит, к великому горю моему, — говорит Тимур, — таких воинов не оказалось? Вы плохо подготовились к этому походу! Откуда же ждать помощи?

— Тимур! — послышался голос. — Помощь придет! Оттуда, откуда ты не можешь ждать!

— Это голос из мира тайн, — говорит Тимур.

— Смотрите! — крикнул Саид. — Вот всадник, лицом похожий на араба, вооруженный пикой!

Всадник в арабском плаще, на большом белом коне, с пикой наперевес пронесся мимо Тимура с криком: «Алла! Дай победу Тимуру!» и ринулся в гущу битвы на шаха Мансура.

Шах Мансур испуганно посмотрел на всадника, который с грозным криком мчался на него, держа копьё наперевес, и без чувств унал от страха с коня. Брат шаха Мансура, шах Рух, поднял его на своего коня и начал убежать.

Воины Тимура бросились преследовать врага.

— Всадник, который неожиданно появился мне на помощь, исчез неведомо куда. Это помощник свыше, — сказал Тимур.

Мирза Шахрух, сын Тимура, догнал шаха Мансура, свалил на землю, отрезал ему голову и, держа эту голову за волосы, поскакал навстречу Тимуру. Бросил голову на землю к ногам отца с криком:

— Поширайте ногами головы всех ваших врагов, как голове этого гордого Мансура!

Яростный бой воинов Тимура с жителями города.

— Попадайте только квартал потомков пророков и улицу богословов! — говорит Тимур.

Город охвачен пламенем. Повсюду валяются трупы.

### *Устен Багдада. Вечер.*

Жара. Яростно слепит солнце, освещая поле битвы. Багдад горит. Тимур наблюдает с холма за пожаром. Неподалеку стоит истерзанная и испуганная толпа.

— Поэты! Художники! Монахи! Мудрецы! — обращается к толпе Тимур. — Сорок дней сопротивлялся мне Багдад, не желая признавать, что величие его халифа должно перейти ко мне. Теперь Багдад пожинает плоды своего неверия. Все, имеющие разум и совершившие преступление

разумно, все жители Багдада старше двенадцати лет умрут. Но вам, поэты, художники, монахи, мудрецы, я дарую жизнь. Вы принимаете этот мой подарок?

— Я не принимаю, — сказал один и вышел из толпы. — Подари мне другие глаза, тогда я приму от тебя и свою жизнь. Подари мне глаза подлеца, которыми я мог бы смотреть спокойно, как горит мой город и погибает мой народ.

— Ты кто? — спросил Тимур.

— Я — художник Рузи.

— У меня нет таких глаз, художник Рузи, — сказал Тимур, — и потому я беру свой подарок.

Он махнул рукой, и голова художника скатилась с плеч.

— Еще кто-нибудь хочет вернуть мне мой подарок?

Вышел из толпы другой.

— Я — поэт Нурэтдин. Возвращаю тебе твой подарок — свою жизнь. Но запомни слова:

Не обижай!

Разумный не поднимет руки для нанесения обид!

Ты будешь спать! Обиженный не дремлет.

И бог тебе сторицей отомстит...

Тимур махнул рукой, и голова поэта слетела с плеч.

— Есть еще неблагодарные, не приемлющие моих бесценных подарков? — спросил Тимур.

— Горе! Горе! — сказал один из мудрецов. — Мы все опечалены судьбой нашего Багдада. Но в отличие от этих двух гордецов, готовы принять от тебя в подарок наши жизни и приносим тебе, великий эмир, за это свою благодарность.

И они все, художники, поэты, мудрецы, поплы вереницей к Тимуру, целуя его стремя, выстроившись в очередь. Тут же стояли слуги, которые выдавали каждому коня и некоторую сумму денег.

— На этом коне и с этими деньгами вы сможете достичь других городов, — сказал Тимур. — Но если кто-нибудь когда-нибудь захочет посетить мой Самарканд, я приму его милостиво. Когда же утихнет пожарнице, те, кто захочет, смогут вернуться в Багдад. Я велел отметить знаком все больницы, мечети и школы, которые должны остаться среди всеобщего разрушения...

*Багдад. Улицы. Вечер.*

Дымятся развалены. На руинах высится шпираль отрубленных голов. Тимур в сопровождении гвардии медленно идет разрушенными улицами. Выезжает к реке Тигр, разделяющей город пополам.

— Древний Вавилон был на Евфрате, а Багдад — на Тигре, — говорит Тимур. — Там, где сливаются эти реки, когда-то был рай, жили Адам и Ева, а теперь здесь суждено быть аду за грехи, беззаконие здешних жителей. Ведь и милостивый Аллах карает человекоубийством грешников.

Он зашел в безлюдную мечеть на берегу Тигра и долго молился.

*Багдад. Мечеть. Вечер.*

После молитвы он, осматривая мечеть, заметил и прочитал золотую надпись: «Эту мечеть выстроила Зубейда, жена великого багдадского халифа Арранида».

— Величие правителей исчезает, а величие камней остается. По возвращении из похода я хотел бы построить красивые мечети в моем Самарканде, который должен превзойти и Багдад, и Дамаск, и Исфаган. Но и величие камней можно разрушить. В этом мире нельзя разрушить только величие слова. После камней я хотел бы поклониться словам. Я хотел бы специально поехать в Нишапур посмотреть могилу Омара Хайяма и поклониться ей.

*Персия. Нишапур. Кладбище. Утро.*

Местная знать суетится. Кланяется Тимур. Тимур морщится.

— Кто их позвал? — тихо говорит он Санду. — Я хотел, чтоб мое посещение этого святого места прошло в тишине.

Подшел смотритель кладбища. Он был хромым. Тимур, который тоже хромал, недовольно спросил губернатора:

— Почему ко мне приставили именно этого человека?

— Благородный эмир, — поблуднев, сказал губернатор, — если вам он не нравится, мы его сразу же уберем, но этот человек большой знаток и любитель нашего великого земляка Омара Хайяма.

— Тогда пусть останется, — сказал Тимур и обратился к склонившемуся перед ним зрителю. — Ты хорошо знаешь стихи Омара Хайяма?

— Я люблю стихи Хайяма, а знать их — все равно что знать это небо, этот воздух. Мы можем дышать им, как можем мы не знать его?

— Покажи мне могилу Хайяма, — сказал Тимур.

— Милостивый эмир! Если вы любите и чувствуете стихи Омара Хайяма, то сами узнаете его могилу. Но я провожу вас туда, где она расположена.

Он пошел, хромая, впереди Тимура. А Тимур, окруженный свитой, шел за ним, тоже хромая.

— Ты давно служишь здесь зрителем? — спросил Тимур.

— Всю жизнь с малых лет, когда меня сюда привел отец. Но время от времени я хожу поклоняться и другим гробницам наших святых.

— Ты слишком уж торопишься присоединить Омара Хайяма к святым. Вспомни его оскорбительные богохульные стихи, — сказал Тимур.

О милостивый эмир! Омар Хайям сам ответил на все упреки, адресуя свои слова всемогущему:

Жизнь, как роспись стенная, тобой создана,

Но картина неденостей странных полна.

Не могу я быть лучше, ты сам в своем теле

Сделав мой, создал, тобою мне форма дана.

Да, великий эмир, как Омар жил, так он и умер. Посмотрите, великий эмир, даже если вы никогда не были здесь, то узнаете это место. Сюда налево, вот садовая стена, из-за которой виднеются ветви грушевых и абрикосовых деревьев. Однажды в веселой беседе с друзьями Хайям сказал: «Моя могила будет расположена в таком месте, где каждую весну северный ветер будет осыпая надо мной цветы».

— Ты говоришь так, точно сам еще вчера беседовал с Омаром Хайямом, — сказал Тимур. — А ведь он мертв уже два столетия!

— Да, прошло уже два столетия, как этот великий человек скрыл свое лицо под покровом праха и оставил этот мир

осиротевшим, но у меня такое чувство, будто я имел счастье знать его, наслаждаться мудростью его слов и слушать музыку его речи. Смотрите, великий эмир, вы узнаете могилу Хайяма?

— Узнаю, — говорит тихо Тимур. — Та, что скрыта совершенно под цветом деревьев?

— Я всегда не могу сдерживать слезы здесь. Простите меня, великий эмир. — сказал проводник и заплакал. — Простите меня!

Тимур стоял молча.

— Вспомним стихи Хайяма, — сказал он. — Не стоит плакать.

Не рыдай, ибо нам не дано выбирать,  
Плачь, не плачь, а придется и нам умирать.  
Глиной ставшие мудрые головы наши  
Завтра будет ногами гончар топтать.

— Я счастлив, — говорил, плача, проводник. — У меня на глазах великий царь поклонился великому поэту. Я бывал на могилах многих святых, посещал много святых мест, но никогда не испытывал такого счастья.

— Как же ты странствуешь с хромою ногой? — спросил Тимур.

— Но ведь и великий завоеватель мира имеет тот же недостаток, — сказал проводник.

— Ты мне нравишься, — сказал Тимур. — Мне нужны ученые люди, любящие поэзию. Хочешь быть смотрителем библиотеки в Самарканде? Я хочу построить большие библиотеки в Самарканде и Бухаре, больше, чем в Александрии.

— Видеть восхитительный Самарканд и знаменитую Бухару, по святой почве которых сладостно бы ходить головой, а не ногами, всегда было моим искренним желанием.

— Как тебя зовут?

— Ходжи Амандурды.

— Поедешь со мной?

— Я счастлив, — сказал Амандурды, — и обеспокоен лишь тем, что не слишком ли я утомил своей болтовней ваше сердце?

*Самарканд. Улицы. Утро.*

Город, утопающий в садах. Шумные базары. Толпы молящихся в мечетях.

Глашатай в сопровождении барабанщиков ездит по улицам и площадям, объявляя:

— Слава тому, кто изменяет, но сам не изменяется! Слава великому эмиру Тимуру, изменяющему мир во имя веры! Жители благородного Самарканда! Великий эмир Тимур, окончив свой победоносный поход, возвращается в Самарканд!

Тимур въезжает в сопровождении свиты и встреченный толпой.

Перед дворцом обнимает жен, детей, внуков. Обнимая Тимура, Кальё шеннула:

— Я ждала тебя, господин мой, как лотос ждет теплого дождя.

— Ты похудела, — шеннул ей Тимур, — и стала похожа на тень цветка. Это меня огорчает.

— Когда можно прийти на прием к эмиру? — спросил визиря один из послов. — У меня личное послание испанского короля. Эмир должен принять меня в первую очередь.

— В первую очередь великий эмир, возвращаясь из похода, по традиции посещает гробницу святого хазрета Шах Саида, — сказал визирь, — того, кто ввел в Самарканде вместо язычества ислам.

*Самарканд. Гробница. Утро.*

Гробница святого располагается на горе, и к ней ведут широкие мраморные ступени. Процессия двигалась медленно, потому что идущий впереди Тимур хромал, с трудом преодолевая крутые ступени, опираясь на плечи телохранителя.

Вступили в узкий коридор, переходя из комнаты в комнату. И в каждой новой комнате все должны были класть по два поклона.

— Когда конец? — шеннул испанский посол своему переводчику. — У меня уже болят колени.

Переводчик приложил палец к губам.

Наконец вошли в комнату, где стояли три ветхих знамени, напичерь, старый меч и Коран.

— Это венцы святого, — шепнул проводник.

Тимур первым, за ним остальные приложились к этим вещам.

— Я сомневаюсь в их подлинности, — шепнул посол проводнику.

Тот опять приложил палец к губам.

У могилы святого Тимур долго молился. И все должны были с благоговением повторять слова молитвы.

*Самарканд. Медресе. Утро.*

Ученики и учитель отвесили Тимур и Каньё глубокий поклон.

— А где хазрет Убайдулла? — спросил Тимур.

— Великий эмир, — сказал учитель, — незадолго до вашего возвращения хазрет объявил себя больным.

— Что ж, подождем, пока он выздоровеет, — сказал Тимур, усаживаясь на почетное место.

И начал экзаменовать учеников.

— Где была построена первая мечеть? — спросил он.

Ученики молчали.

— Они боятся вас, великий эмир, — сказал учитель.

— Они учатся святому делу и должны бояться бога, а не меня. Ты скажи! — ткнул Тимур в одного долговязого ученика.

— Великий эмир, — заикаясь, сказал долговязый, — первая мечеть была построена в Мекке.

— Дурак, — раздраженно сказал Тимур. — Первая мечеть была построена не в Мекке, а в Медине, когда пророк Мухаммед переселился туда. Какое назначение мечетей? Ты! — Он ткнул пальцем в круглолицего.

— Служить местом для молитв, а также для собраний общины, — бойко ответил круглолицый.

— Местом для молитвы правоверных, — поправил Тимур.

Он покинул медресе не в духе.

*Самарканд. Дворец. Тронный зал.*

— Мне повезло, — сказал Тимур Каньё, — у меня был очень хороший учитель Береке. Я недавно узнал, что этот великий человек, которому я многим обязан, умер в тишине, всеми забытый. Я очень огорчен и испытываю чувство вины. Я хотел бы устроить ему гробницу в Самарканде. Черный камень, обращенный головой к Мекке. Подле моего учителя я хотел бы быть погребенным в знак своей к нему признательности.

— Мой господин, — сказала Каньё, — вам еще рано говорить о смерти.

— Нет, Каньё, — ответил Тимур, — я чувствую себя усталым, я стал хуже видеть. У меня болят глаза, мне бывает трудно читать, у меня часто болят раны на руке и на ноге, и после сна пересыхает в горле. И враги, как псы, носом чувствуют, что я слаб. Вот этот Убайдулла — учитель медресе он образованный, но он ненавидит меня и потому притворился больным.

— Мой господин — сказала Каньё, — вы будете жить еще долго-долго. Вы будете жить дольше, чем я. А к врагам надо относиться спокойно. Они появляются и исчезают, как вода. У нас, у китайцев, есть пословица: когда чиста цинлянская вода, я мою в ней руки, когда она грязна — я мою в ней ноги.

Тимур улыбнулся.

— Медресе действительно плохое и маленькое, — сказал он. — Оно больше похоже на дворцовую конюшню.

— Позвольте мне, мой господин, на свои деньги построить большое медресе, — сказала Каньё. — В этом медресе должно быть до тысячи учеников, и каждый будет получать от меня на содержание по сто тин.

— Да, я хочу начать в Самарканде большое строительство, — сказал Тимур. — Пока я жив, я хочу построить большое медресе. Я нашел место для медресе у Бухарских ворот. Я хочу, чтобы мой Самарканд был самым красивым городом мира. Я хочу украсить его садами, зданиями, мечетями, базарами. Самарканд должен стать еще красивее, чем он был до нашествия монголов, разрушивших его.

Сказал в древности философ: «Нет на земле места прекраснее, чем крепость Самарканд, Дамасская Бута и реки Ирака».

Вдруг он схватился за горло, и блевотина потекла на ковер и на ступеньки тропа.

Испуганно засуетились приближенные. Прибежали лекари. Начали массировать его сердце. Лили в рот лечебные растворы.

Наконец Тимур открыл глаза:

— Я, кажется, спал. Женщина высокого роста и божественной красоты показала мне во сне красивую могилу и сказала: «Раз ты устал, Тимур, спустись в эту могилу и отдохни». После этого видения я твердо уверен, что умру достойной смертью.

*Самарканд. Дворец. Тронный зал. Утро.*

Во дворце, куда явился Клавихо, на троне вместо Тимура сидел его сын Миран-шах.

— Великий эмир не принимает, — сказал Миран-шах, — он занят делами.

— Но у меня послание короля Испании Генриха III, — сказал Клавихо.

— Отдай послание хранителю печати, — сказал Миран-шах, указав на одного из придворных, — и уходи, тебе не разрешено встречаться с эмиром Тимуром. Прошу тебя больше не возвращаться во дворец.

— Но мы не можем и не хотим уехать домой без письма эмира Тимура, — сказал Клавихо. — Мы не можем оставить без ответа нашего короля.

— Вопреки своему желанию, ты должен будешь уехать, не увидав эмира Тимура, — сказал Миран-шах.

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена.

— Видно, Тимур действительно очень болен, — сказал Клавихо, выходя из дворца. — Миран-шах не хочет, чтобы я и другие послы распространили по миру известие о близкой смерти Тимура. Я слышал, что кое-где уже начались волнения, выступления против Тимура, даже в духовных кругах.

*Самарканд. Соборная мечеть. Утро.*

На минабаре, возвышенном месте, мулла возносит молитву за скорейшее выздоровление эмира Тимура. Неожиданно к минабаре вышел святой Убайдулла, который громко сказал:

— Тимур — кровожадный турок, много народа он погубил, как можно молиться за него?

Послышался ропот.

— Святой Убайдулла говорит правду! — выкрикнул кто-то.

— Тимур разрушил наши дома! — сказал другой. — Он льет кровь, как воду, нам не нужен такой эмир!

— Тимур пьет вино на шпрах и нарушает многие другие законы шариата! — кричал Убайдулла. — Он ходил на поклонение к могиле богохульника-перса Омара Хайяма, он сам богохульник. Грех молиться за богохульника в божьем доме!

— Грех молиться, нельзя молиться, — закричали вокруг.

Вдруг крики затихли. Посреди мечети, окруженный своими телохранителями, стоял бледный после болезни, но спокойно, повелительно глядящий Тимур.

— Убайдулла, иди спать, — сказал он негромко. — И все, что ты увидишь во сне, завтра расскажи здесь мне и народу. А вы, согренившиеся, приходите завтра и послушайте, что скажет вам Убайдулла...

*Самарканд. Соборная мечеть. Вечер.*

Та же мечеть полна народу. На минабаре стоит Убайдулла. На почетном месте Тимур, окруженный своими приближенными. Убайдулла говорит:

— Я видел во сне самого Мухаммеда и эмира Тимура, стоящего рядом с ним. Я трижды поклонился пророку, но тот не обратил на меня никакого внимания и не ответил на мои поклоны. Я, огорченный, обратился к Мухаммеду со словами: «О посланник Аллаха, я служитель твоего свода законов, а Тимур — кровопийца, истребивший много людей, и его ты принимаешь, а меня отвергаешь». Мухаммед ответил мне: «Правда, по воле Тимура погибло и гибнет

множество людей, но вину он вполне искупил глубоким почитанием святых старцев — монахов потомков, поэтому народ должен молиться за такого правителя».

Сказав это, Убайдулла поклонился Тимуру и сказал:

— Прощу прощения за неприятность, которую я вам причинил, не зная, кто вы.

— Да будет на великом эмире Тимуре милость божия! — закричал народ. — Слава Тимуру!

Когда провожаемый приветственными криками толпы Тимур покинул мечеть, Санд, подойдя, тихо спросил:

— Что будем делать с Убайдуллой? Сегодня ночью? — он ладошью рубанул воздух.

— Оставь его, — улыбнулся Тимур. — Он оказался приятливым и искупил свою вину даже с пользой для меня.

### *Летний дворец Тимура. Вечер.*

В роскошном дворце Тимура среди множества золотых украшений, ковров и шелковых занавесок праздновалась свадьба. Здесь были все жены Тимура во главе с Каньё, его сыновья, внуки, вельможи, придворные. Новая жена Тимура рядом с ним, седобородым, выглядела растерянной девочкой. После того как были исполнены свадебные обряды и новобрачных осыпали золотом и драгоценностями, Тимур сказал:

— Я называю свою новую жену Юга-Яга — королева сердца. Ее юность заставит и меня помолодеть, а против ее неопытности и растерянности есть хорошее средство — вино. Пусть подадут вино: женщины будут веселыми, мужчины пьяными, пусть все пьют.

Слуги начали разносить кубки с вином, все начали пить.

— Ней и ты, Юга-Яга, — сказал Тимур.

Юга-Яга робко взяла кубок, отпила и выплюнула.

— Оно горькое, — сказала она смущенно.

— Принесите сахар, — велел Тимур. Тотчас слуги принесли сахар и положили его в кубок.

— Если ты боишься пить вино из-за горечи, — сказал Тимур, — выпей его сейчас, оно стало сладким, выпей ради моего сердца.

Юга-Яга вышла, и глаза ее заблестели.

— Я никогда не пила вина раньше этого часа, — сказала она.

Раскрасневшись от вина, она рассмеялась и сказала:

— Я хочу еще.

Ей принесли новый кубок, она осушила его и произнесла радостно:

— О люди, клянусь богом, вы прекрасны, и ваши слова прекрасны, и это место прекрасно, но здесь не хватает только музыки.

Тимур тоже вышел и был радостно возбужден рядом со своей юной красивой женой, сделал знак, и заиграла музыка. Впервые в жизни выпившая Юга-Яга начала танцевать. Другой придворный поэт, видя это, прочел:

Вино по кругу стар и млад пусть пьет,

Пускай слуга нам чашу подает.

Не пей без музыки.

Пьют даже кони,

Когда посвистывает коневод.

Всеми цветами под музыку засверкал чудо-фонтан, привезенный из Италии...

### *Летний дворец. Комната Тимура. Вечер.*

Когда гости разошлись и наступила тишина, Тимур долго сидел, глядя на колышущиеся шелковые занавески. Он вызвал евнухов и велел увести юную жену в гарем.

— Я приду к тебе завтра, — сказал Тимур, поцеловав ее. — Сегодня я утомлен.

Стены комнаты были отделаны маленькими кусочками зеркал, и Тимур глядел в мелькающее отражение.

— Я опять одолел тебя, Эблис! — сказал он. — Тебе не соблазнить меня, не сбить с пути, предначертанного богом.

— Нет, Тимур, — засмеялся голос за занавеской, — я всегда рядом с тобой и всегда буду с тобой. Твоя вера ислам — это вера, бродящая по земле. Оставь веру твоих отцов и вернись к вере твоих предков, я убью тебя злейшим убийством и изувечу тебя наихудшим способом.

Эблис захохотал.

— Ты борешься с собственной душой, Тимур. Я заставлю тебя проглотить сильнейшую печаль. Не ходи в Индустан, это моя любимая страна, Тимур.

— Я разрушу твою любимую страну, Эблнс. Я овладею Индустаном и разорю там множество городов.

— Ты сам, Тимур, скоро изопьешь чашу смерти, — сказал Эблнс и исчез.

Вошел начальник телохранителей Саид.

— Вы меня звали, великий эмир? — спросил он.

— Пусть придет лекарь, у меня болит голова. Я, кажется, выпил слишком много вина. — Он помолчал. — Жизнь как пьянство — веселье проходит, а голова болит.

### *Индия. У стен Дели. Вечер.*

Войска останавливаются на холмах. В долине, за рекой Джамна, видны крепостные стены Дели.

— Предстоит тяжелый бой, — говорит Тимур, — а у нас в тылу слишком много пленных. Сколько их?

— Не знаю, тысяч сто, может быть, — отвечает Саид.

— Мне доложили, есть опасность мятежа, приказываю их всех убить как можно скорее. Еще до начала боя. В один час все должны быть зарезаны.

Вошли. Предсмертные стоны, потоки крови. Воины Тимура пожами режут толпы пленных. Бесконечное число трунов еще до начала боя устилает поля. Но вот распахиваются ворота, и боевые слоны устремляются на войско Тимура. Войска, приготовившиеся к атаке, начинают пятиться. Лошади становятся на дыбы и сбрасывают всадников.

### *Индия. Лагерь Тимура. Вечер.*

Сумерки. Горят костры.

— Первый день неудачен, — говорит Тимур, глядя на огонь. — Надо подумать. У животного нет разума, оно не боится ни стрелы, ни меча, но издавна животное боится огня.

Он берет соломинку и сует ее в костер. Соломинка горит.

— Надо навьючить верблюдов соломой и расположить их перед войском.

*Индия. Устен Дели. Рассвет.*

Верблюды, навьюченные соломой, стоят перед армией. Распахиваются ворота Дели, выходят боевые слоны. В один момент вонны Тимура поджигают солому, и обезумевшие верблюды бросаются на слонов.

Вонны Тимура бросаются вперед, врываются в город. Начинаются пожары.

— На три дня я отдаю этот город воннам для грабежа, — говорит Тимур. — Я положу предел расцвету города Эблнса.

*Развалины Дели.*

Пожарница. Грабежи.

Тимур осматривает древний индийский храм браминов. Брамни дает пояснения мраморным скульптурам богов.

— Это троица богов — Тимурти, — говорит он. — Брахма — творец, Шива — губитель, Вишну — хранитель. Все они в троичности представляют единую сущность.

— Как троица у русских христиан, — говорит Тимур. — Только наш Аллах один и неделим, а все идолопоклонники похожи друг на друга. Это всё глупые сказки, полные небылиц, как у язычников и эллистов. Идол Крон проглотил своих детей, а затем изверг их обратно. Главный идол Зевс сочетался со своей матерью, имел от нее детей, женился на собственной дочери, которую родила ему мать. Я должен разрушить нечистое идолопоклонничество и водрузить над миром белое знамя истинной веры, но надо знать, что разрушаешь, иначе разрушенное восстанет вновь.

Тимур переходит к другой группе скульптур.

— Что это за женщина? — спрашивает он.

— Это грозная для грешников Дурга, — поясняет брамни. — Ее также зовут Кали, то есть черная. Это жена Шивы.

— А эта? — спрашивает Тимур.

— Это Лакшми, жена Вишну, — богиня счастья и красоты. А вот рядом с ней Кама — бог любовной страсти. А это Ганеши — сын Шивы, бог знания.

— Ну и что эти идолы могут сказать мне? — улыбнулся Тимур.

— О, очень многое, господни, — поклонился брамин, — очень многое. Наши души подчиняются верховному духу, поэтому у разных душ бывает одинаковое ощущение.

— Ну, спроси у своего верховного духа о моем будущем, — улыбнулся Тимур.

— О каком будущем, господни, материальном или духовном?

— Оставь свои глупости, брамин, спроси о чем-либо конкретном, спроси, например, сколько мне осталось жить?

Брамин поклонился и что-то зашептал, произнеся заклинание.

— Семь лет, господни, — ответил Брамин.

— Семь лет? — усмехнулся Тимур. — А он не ошибся, может быть, восемь с половиной или семь с половиной? Может, десять, может, три, может, пять?

— Нет, семь, господни, семь лет, господни, — опять повторил брамин. — Вы умрете в дороге.

— В дороге? В какой дороге?

— В какой, я не знаю, — ответил брамин. — В дальней дороге.

— Неужели ты думаешь, брамин, что я поверю твоим богохульным басням? — сердито сказал Тимур. — Я разрушил уже немало ваших поганых капищ, разрушу и это.

Он вдруг тяжело начал дышать.

— Скорей сюда! Здесь гнусный воздух, здесь душно. Это идолы источают вонь. Все это разрушить, — приказал он и вышел на улицу, прижимая платок к носу. — Почему же здесь дурной воздух?

— Это гниют трупы, — сказал один из визирей. — Слишком много трупов, великий эмир, а местность болотистая. Трупные миазмы распространились в воздухе, от заражения умерло уже много наших воинов.

— Надо уходить отсюда, — сказал Тимур, — уходить в мусульманскую часть Индустана, к Гималаям, там чистый воздух истинной веры. Отдохнем и пойдем усмирять смуты в Азии... Меня ждет Турция.

*У Анкары. Утро.*

Битва с турками.

— У нас мало нехоты, — говорит один из начальников. — Пехота Баязита осыпает нас тучами стрел, разрешите применить против них стрелы с зажженной наклею, чтобы поджечь деревянные укрепления на курганах, где они засели.

— Я ведь запретил на этот раз применять огонь, — сердито говорит Тимур. — Не должно быть ни одного пожара, надо все разрушить, но так, чтобы ничего не сгорело. В библиотеках Ангоры много ценных книг и других сокровищ, особенно большой Коран, написанный на коже газели. Вы отвечаете головой мне за эту святыню!

Вдали по холмам растекается, словно осьминог, кровавый организм битвы. Расходится утренний розово-белый туман, солнце выхватывает из него огромные массы людей и коней, сирессованные схваткой. Появляется разгоряченный воин и, не замечая текущую по лицу кровь, радостно докладывает:

— Мы выбили их с холмов, они отступают к городским стенам!

— Это потому, ваше величество, — сказал один из начальников, — что вы выбрали позицию, крайне удобную для маневрирования нашей лучшей в мире конницы и неудобную для лучшей в мире пехоты Баязита.

*Анкара. Ворота. Утро.*

В этот момент ворота Ангоры распахнулись, и, бешено крича, из них вырвался конный отряд с султаном.

— Это «делли», безумцы! — крикнул начальник телохранителей Саид. — Баязит пустил против нас «делли»!

— Да, это безумцы, отборные кавалерийские силы, опьяненные наркотиками, — сказал Тимур. — Вон впереди их начальник под зеленым знаменем. Белое знамя ко мне!

И две кавалерийские лавы устремились навстречу друг другу. Уже были видны красные безумные лица «делли», их застывшие глаза, дико орущие рты. Передовой отряд Тимура не выдержал патиска, побежал. Вслед за «делли» бросилась вперед турецкая пехота.

— Слонов! — крикнул Тимур. — Слонов вперед!

Пущенные вперед боевые слоны испугали лошадей «делли», спутали их строй, и кавалерия Тимура вступила с ними в яростную схватку. Не чувствуя боли, окровавленные, иногда с отрубленными руками, безумцы поспешили по полю, пока не падали замертво. Не было среди них ни одного раненого, ни одного пленного, все погибли. По трунам массы конницы Тимура ворвались в Ангору.

*Анкара. Дворец Баязита. Вечер.*

В одной из комнат дворца султана Баязита Тимур бережно листал огромный Коран, написанный на коже газели.

— Какое счастье, — говорил Тимур, — что эта великая книга теперь принадлежит не отступнику Баязиту, а мне. Это тот самый экземпляр, который был написан Османом — секретарем Магомета. Я привезу эту святыню из сокровищ султана Баязита в Самарканд.

— Что будем делать с пленными? — спрашивает Саид.

— Мусульман пощадить за выкуп, армян и прочих неверных бросить в колодец, засыпать землей, — сказал Тимур, продолжая с интересом листать Коран. — Я хочу устроить состязания ученых арабов, сирийцев, турок с моими учениками, для того чтобы уточнить некоторые моменты учения Мухаммеда.

Он вошел в тронный зал султана. Все вельможи султана и он сам на коленях стояли перед ним.

Тимур, особенно сильно хромая от усталости, прошел мимо них к трону. Трон стоял на большом зеленом камне.

— Колоссальный камень. Я возьму его с собой в Самарканд. Его нелегко будет везти, и придется впрячь слонов, и ты мне тоже понадобишься в Самарканде, — обернулся Тимур к тихо плачущему Баязиту. — Победителю мира достается все, ты согласен с этим? А побежденному — только повиновение.

*Париж. Улицы.*

Испанский посол Клавихо и граф Курсель, приближенный французского короля Карла VI, ехали в карете по улицам дождливого Парижа.

— Простите меня за резкость, граф Курсель, — сказал Клавихо, — но вы здесь дурно представляете себе, что такое азиатская война и азиатское нашествие. Хотел бы вас спросить еще об одном, граф. Насколько верны слухи о безумии вашего короля Карла VI? За вашим королем утвердилось кличка — Безумный, и даже эмир Тамерлан спрашивал меня об этом...

*Париж. Королевский сад.*

Пение птиц доносилось с разных сторон в большом, ухоженном саду, как бы перекликаясь с плеском фонтанов и веселыми голосами. На зеленой поляне довольно толстой молодой человек играл в мяч с четырьмя девочками-подростками лет двенадцати-четырнадцати. Бросая мяч, он произносил:

— Опля, Лили... Опля, Мушет... Опля, Жоржет... Опля, Тереза..

— Шарль, Шарль, — жеманно закричала Жоржет, — вы уже второй раз бросаете мяч Терезе.

— Значит, Шарль знает, что я люблю его больше всех, — засмеялась Тереза и, поцеловав мяч, бросила его назад Шарлю.

Шарль тоже поцеловал мяч и бросил его Терезе. Но Мушет взвизгнула, перехватила мяч. Тереза, Жоржет и Лили начали его с визгом отнимать у Мушет. Мяч выскочил у них из рук и покатился в кусты. Девочки побежали за мячом. Шарль, хохоча, побежал вслед за ними. Сначала из кустов слышался визг и смех, потом смех стал затихать, слышались сонные, вздохи, звуки поцелуев. Кустарник начал мерно вздрагивать, так что дождливые капли при каждом вздрагивании осеивались с ветвей.

На поляну в сопровождении придворного вышли Клавихо и граф Курсель.

— Его величество король только что были здесь, — сказал придворный, и в этот момент взгляд его упал на дрожащие кусты.

Клавихо и граф Курсель тоже невольно посмотрели в ту сторону. Наступила неловкая пауза, прерываемая лишь вздохами и звуками поцелуев из кустов.

— Ваше величество, — громко произнес граф.

Кусты перестали шевелиться.

— Ваше величество, посол испанского короля, мосье Клавихо, явился, как вы велели, для аудиенции.

Из кустов появился мокрый, в растерзанной одежде король, застегивающий на ходу штаны.

— Бонжур, мосье граф, — сказал он, улыбаясь по-мальчишески озорно. — Я темного решил поразвлечься после утомительного заседания генеральных штатов.

Он протянул Клавихо руку, которую тот, встав на колени, поцеловал.

— Бонжур, мосье посол, — сказал король. — рад вас видеть... Господин посол, я хочу для спасения своего народа и Франции от английских поработителей вступить в союз с мусульманами. Господин посол, что бы ответил эмир Тамерлан, если бы я сделал ему такое предложение?

— Ваше величество, — сказал Клавихо, — насколько я знаю, у эмира Тамерлана другие планы. Он собирается в поход на Китай, а поход на Европу он, слава всевышнему, отменил.

— Напрасно вы радуетесь этому. Тамерлан спас Европу от турок, и он помог бы спасти ее от англичан.

— Ваше величество, — сказал Клавихо, — на Востоке существует поговорка: «Нельзя прислоняться к горящему огню». Тамерлан построил уже немало башен из турецких, арабских, персидских голов. Вы хотите, чтоб он строил башни из французских голов?

— Ваше величество, мадам Одетта Шандивер, — сказал придворный. — Просить ее подождать?

— Нет, пусть войдет, — обрадованно сказал король.

Появилась мадам Шандивер.

Король положил ей голову на грудь, она погладила его по волосам.

— По-моему, аудиенция окончена, — шепнул Клавихо графу. — Надо найти вежливый повод откланяться.

Но в тот момент, когда король поцеловал мадам, девочки, игравшие в отдалении, вдруг с визгом бросились к ней и начали ее кусать и щипать.

— Проклятые потаскухи, — закричал король. — Уберите их, уберите! Я вас продам в мусульманский гарем, проклятые!

Прибравшие привратники начали растаскивать визжанщих девочек.

Король кричал в забытьи:

— Я уничтожу всех своих врагов! Они все наняты англичанами! И в первую очередь герцог Орлеанский, который спит с моей женой Изабеллой! Изабелла! — закричал он, обнимая Одетту, — Изабелла, спаси меня!..

Одетта осторожно обняла короля и вместе с придворными повела из сада.

— Несчастная Франция, — вздохнул граф Курсель.

— А может, Франции повезло, что ее правитель явно для всех сошел с ума, — сказал Клавихо. — Ведь скольким сумасшедшим воздаются почести на престолах...

*У ворот Самарканда. Вечер.*

Победоносные войска Тимура возвращаются из турецкого похода с богатой добычей и множеством пленных. Среди них был и турецкий султан.

Толпы народа встречают победоносного Тимура. Среди встречающих во главе жен стояла главная жена, великая королева Каньё.

— Тимур имеет натуру леопарда и пастропение льва, — тихо сказал посол Клавихо своему переводчику. — Перед походом в Индию он едва не умер. Победа над Баязитом его преобразила.

— Он сейчас готовится к походу на Китай, чтобы окончательно утвердить себя господином мира, — сказал переводчик.

— Я бывал в Китае, — сказал Клавихо. — Там есть хребет, который называется Сливовый хребет, это как бы символ Китая. На вершине хребта стоит храм китайского военачальника Мэй, что переводится «дикая слива». Начнешь подниматься на хребет, встречаешь падшее: «Остановись, не иди дальше».

— Тимур не остановится, — сказал переводчик.

— Поднимаясь выше, увидишь другую надпись, — сказал Клавихо, — «Здесь потоки стремительны, отступил мужественно».

— Тимур заставит отступить только смерть, — сказал переводчик.

— А на вершине хребта третья надпись, — сказал Клавихо, — «Подними голову, солнце стало ближе».

— Тимур стремится быть ближе к солнцу, — сказал переводчик.

### *Новый дворец. Тронный зал. Вечер.*

Тимур со своей свитой осматривал строящийся тронный зал. Это длинный узкий коридор, окруженный крытой узкой галереей. На передней стороне был уже закреплен зеленый камень «Кокташ», а на нем размещался трон. Тимур уселся на трон, осмотрел пустующий зал, где возились рабочие.

— Мне нравится, — сказал Тимур. — Здесь чувствуется дух Мухаммеда — основателя ислама. Здесь мусульманский дом гостеприимства сочетается с суровым торжеством правителя. Там, кругом по галерее, будут размещены сообразно своему званию вассалы, собирающиеся ко мне на поклон со всех концов мира. Но, поскольку галерея велика, четыре гарольда на конях должны немедленно передавать мои слова, слова победителя мира, тем, кто находится в самом конце галереи. А так как зеленый камень «Кокташ» слишком высок, какой-нибудь знатный пленник должен будет всегда служить мне скамейкой...

### *Новый дворец. Тронный зал. Утро.*

И вот густо заполнена галерея вельможами, вассалами, иностранными послами. Тимур сидит на троне, опираясь на спины сменяющих друг друга, стоящих на четвереньках то пленного турецкого вельможи, то грузинского, то русского князя. Тимур совсем уже стар, глаза его полузакрыты, седая борода стала жидкой, руки, когда он прикасается к огромному Корану, лежащему перед ним на столе, дрожат. Он говорит слабым голосом, но четыре огромных

гарольда на огромных конях, расположенные в середине галереи, громовыми голосами, подобно эху, разносят по галерею сказанное.

— Где посол моего друга короля Испании Генриха III? — сказал Тимур.

Клавихо подошел ближе к трону.

— Передай своему королю, что я недоволен тобой. Вы, христиане, находитесь среди нас, мусульман, и должны уважать наши порядки. Мы превыше всего ставим ислам, но мы уважаем порядки и обычаи других народов. В нашем Коране Иса, ваш Иисус, признается как пророк, хоть божественность Христа мы считаем ересью. Мы считаем мать Мусы, вашего Моисея, своей покровительницей, как и Айшу, жену пророка Мухаммеда, и Фатиму — его дочь. Мы уважаем вас, уважайте и вы наш обычай, созданный нашими святыми.

— Я запомню ваши мудрые советы, — кланяясь, сказал Клавихо и вместе с переводчиком удалился.

— Посол китайского императора Ву ко всемогущему эмиру! — объявил старший гарольд.

К Тимур, низко кланяясь, приблизился маленький, улыбающийся китаец.

— Китайский император Ву, повелитель Поднебесной империи, не знает, каким титулом именовать правителя этой страны, — сказал китаец. — Наш император Ву происходит из династии Ми. Ваш же правитель происходит из скотоводческого племени...

— Барлас, — Тимур побледнел, но сдержал себя, лишь руки, лежащие на Коране, задрожали. — У меня титул «сияющий», но я владею двадцатью семью государствами, а многие потомки хана нищенствуют и никому не известны. Ваш же император Ву в молодости был монахом Джу-Юань-Джаном и поклонялся идолам. У него меньше прав на владение Китаем, чем у меня — покорителя мира...

Китайский посол по-прежнему улыбался.

— Позвольте, сияющий Тимур, для продолжения нашего приятного разговора возжечь по китайскому обычаю ароматные курения.

Он поставил на землю тигель и возжег курения.

— Ароматное курение в помещении — одно из пленительных удовольствий духа. Мы всегда зажигаем курения, когда преподносим подарок.

Китаец позвонил в маленький колокольчик. Несколько китайцев внесли подарки, упакованные в четыре ящика, обитые дорогим бархатом. Один ящик был маленький-маленький, второй — чуть побольше, третий — еще больше и четвертый — совсем большой.

Китаец открыл маленький-маленький ящик и вынул оттуда соску.

— Сияющий Тимур, — сказал китаец, — наш китайский император Ву просит передать тебе: по виду ты стар, у тебя жидкая, седая борода и дрожащие руки, но по мыслям твоим — ты ребенок, если желаешь захватить наш Китай, и поэтому нуждаешься в соске. Китайский император Ву дарит тебе эту соску.

Китаец с улыбкой положил соску на маленький золоченый подносик.

Потом китаец открыл второй ящик, побольше.

— Сияющий Тимур, китайский император Ву дарит тебе эту плеть, поскольку ты ребенок испорченный, тебя надо воспитывать, и поэтому прими эту плеть как символ твоего воспитания.

Он положил плеть на другой поднос побольше.

Потом китаец открыл третий ящик и вынул оттуда затейливо раскрашенный мяч.

— Сияющий Тимур, — продолжал он, — наш китайский император Ву посылает тебе мяч, чтобы ты нашел себе достойное занятие со своими разбойниками, такими же незрелыми, как и ты, а не соблазнялся, словно отъявленный убийца, повергающий в смятение чужие города и другие народы.

Улыбаясь, китаец положил мяч на другой золотой поднос.

И наконец китаец открыл большой ящик, он был полон золотых и серебряных монет.

— Сияющий Тимур, — сказал он, продолжая улыбаться, — китайский император Ву посылает тебе ящик с золо-

тыми и серебряными монетами. Мы слышали, что ты соби-  
раешься идти на Китай, чтобы грабить наши богатства. Так  
знай же, войска у китайского императора так много, что его  
не посчитать, как песчинки, а золота и серебра столько, что  
им можно покрыть всю поверхность земли. Поэтому китай-  
ский император Ву посылает тебе ящик золота и серебра,  
чтобы тебе было чем расквитаться со своими товарищами  
по разбою и оставил бы ты надежду грабить чужие города.  
Китайский император Ву просит передать тебе: «Послушай  
моего приказа, кровавый разбойник Тимур, и оставайся  
дома. Вряд ли ты настолько удачлив, что сможешь одолеть  
нашу страну, которую хранит бессмертный, перемещаю-  
щийся по небу желтый журавль».

Когда китаец кончил, продолжая улыбаться, в огром-  
ной, набитой всевозможными вассалами, послами галерее  
воцарилась тишина. Даже пленный русский князь, который  
в этот момент на четвереньках стоял под ногами у Тимура,  
раскрыл рот от удивления и страха, ожидая, что ответит Ти-  
мур на подобное неслыханное оскорбление.

Все приближенные с напряжением и даже со страхом  
смотрели на Тимура. Тимур тоже сидел молча, лишь еще  
более побледнев и сжав пальцы в кулаки, чтобы не видно  
было дрожания рук.

Наконец Тимур негромко произнес:

— Правверные, что вы так смущены этим письмом, точ-  
но оно имеет силу? Бывают псы, которые не могут взять  
крепостью тела и остротой клыков, так они громко лают,  
точно лай свидетельствует о силе. Если у китайцев дейст-  
вительно большое войско, то это только значит, что нам  
предстоит храбро воевать, как мы воевали и с иными вра-  
гами. А тех, кто мне доставил оскорбительное письмо, возь-  
мите и уведите на распятие, связав. Привяжите их к кресту,  
хоть они и не христиане, потому что распятие у нас, мусуль-  
ман, — самая позорная казнь.

Тогда закричал перепуганный китаец:

— Великий эмир, что плохого мы тебе сделали, что ты  
велишь предать нас позорной казни? Мы только привезли  
тебе чужое письмо и выполнили чужой приказ.

— В своей казни вините своего императора, а не меня, — сказал Тимур. — Ведь китайский император отправил это послание, словно не к правителю обращаясь, а к разбойнику, вот я и поступаю с вами не как правитель, а как разбойник.

— Император Ву писал, ни о чем не ведая, — сказал китаец. — Мы же видим не самоуправца, мы видим строгий порядок и понимаем, с каким разумным правителем имеем дело, — сказал китаец.

— Раз вы так заговорили, — сказал Тимур, — я принимаю ваши подарки и напишу ответ. Я велю принести этот ответ золотыми нитками к твоему голому телу и со связанными руками тебя отведут к твоему императору.

— Лучше боль, чем смерть, — кланяясь, сказал китаец.

Кивком головы Тимур подозвал ишцов и начал диктовать:

— Китайский император Ву! Ты послал мне сюда соску, плеть, мяч и ящик золота. Ты, конечно, послал мне это в насмешку, но я принял твои дары как доброе предзнаменование. Соска напомнила мне мой родительский дом, где я был вскормлен и где мне было внушено стать покровителем мира. Плеть я получил, чтобы сечь врагов и своими руками ввергнуть их в рабство. Мячом ты возвестил мне, что я буду обладать вселенной, ибо вселенная как раз подобна мячу, она шарообразна. Великое знамение послал ты мне в виде ящика с золотом и серебром. Самому себе ты предрек подчинение: разбитый мною, ты будешь платить мне дань.

Пронзая все это, Тимур поднялся с трона, и гарольд возвестил:

— Прием у великого эмира окончен!

Тимур сделал несколько шагов, и вдруг силы оставили его.

Он выблевал опять публично, при всех. Подбежали лекари, засуетились приближенные.

— Мысль его еще разумна и ясна, — тихо сказал стоящий в толпе послов Клавихо, — но силы уже оставили его, ему не справиться с Китаем.

*Пекин. Дворец императора. Утро.*

Обессиленный, голый, с пришитыми к телу листками письма, шел китайский посол в сопровождении приближенных к дворцу императора.

Император и поэт Лю играли в шахматы.

— Великий император Ву, — входя и кланяясь, сказал придворный, — простите, что я потревожил вас на отдыхе. Срочное дело. Прибыло послание от Тамерлана.

— А почему оно в пятнах крови? — спросил император Ву, беря послание из рук придворного.

— Тамерлан велел пришить это послание к телу нашего посла.

— Варвар, — поморщился император Ву. — Даже у Чингисхана был закон, по которому послы считались неприкосновенными. Меня возмущают даже не оскорбления в мой адрес, вполне достойные разбойника, а не правителя государства. Меня возмущает стиль, которым это написано. Разве это можно сравнить с богатством и звучностью китайского языка? Например, ма-шань — означает «верхом на лошади». Шань-ма — «сесть на лошадь верхом».

— В нашем китайском языке важны интонации, — сказал поэт Лю, — наць-шань — ровная, цой-шань — острая, жу-шань — краткая.

— Сколько лет этому кровожадному варвару Тамерлану? — спросил император Ву у придворного.

— По их счету семьдесят два, — ответил придворный.

— Значит, по-китайски семьдесят три, — сказал Ву. — Мы, китайцы, более мудро ведем счет годам. Не с момента рождения, а с момента зачатия... Неужели Тамерлан придет в Китай?..

*Самарканд. Дворец Тимура.*

Бледная-бледная больная Капъё лежала на постели, и Тимур сидел рядом, держа ее руку.

— Несколько дней подряд я вижу один и тот же сон, — слабым голосом заговорила Капъё, — будто мои родители прислали лодку, чтобы забрать меня к себе, а когда я закрываю глаза, то чувствую себя легкой, как небожительница,

шествующая по облакам и туманам. Не потому ли, что душа моя уже отлетела, а здесь осталось только брренное тело?

— Ты больна, Каньё, — сказал Тимур. — Тебе надо принять целительное и поднимающее душевные силы средство, я уже послал за лучшими лекарствами.

— Мой господин, — сказала Каньё, — моя болезнь началась от изнурения, вызванного душевной тоской. Всю жизнь я остерегалась делать промахи, всей душой стремилась быть хорошей женой.

— Ты мне лучшая жена, Каньё, — сказал Тимур. — Никого так не любил, как тебя. Никому так не верил, как тебе, с тех пор, как умерли мой отец и мать. Но я доставил тебе много горя.

— Пусть я испытала много горя, — сказала Каньё, — но зато судьба подарила мне мужа и друга, подобного вам, господин.

— Я тоже устал, Каньё, — сказал Тимур. — Я уже стар, и, наверное, мне не так уж много лет осталось. Я знаю, что многим причинил горе. По моей вине гибли и гибнут множество людей, но так хочет высшая сила, которая не здесь на земле, а в ином мире. Мой предок Поююп, который принял правую веру, завещал мне восстановить все, что разрушилось после Чингисхана. И я иду на Китай не как завоеватель, чтобы завоевать чужое, а отвоевать свое...

Вдруг, словно опомнившись, он глянул на Каньё. Она лежала неподвижно с закрытыми глазами.

— Каньё, — тревожно сказал он, — ты спала, а я говорил слишком громко...

— Я не спала, — едва слышно сказала Каньё. — Я уже была далеко, но ваш вопрос вернул меня с полпути. Я хочу вам кое-что сказать, но не теперь, а когда моя душа, прежде чем отойти навсегда, по китайскому обычаю, вернется еще раз домой проститься. Мы, китайцы, верим, что душа приходит через десять дней после смерти проститься. Положите мою одежду на постель, мои туфли у кровати. Поставьте блюдо с едой и чашки с вином, но будьте осторожны, мой господин, демоны также будут рядом, и вы можете попасть под власть демонов.

Она вдруг открыла глаза и произнесла ясно:

— Ухожу в мир шой...

Слезы потекли по ее щекам, и она затихла.

Тимур, окаменев, без слез сидел у изголовья любимой жены.

*Самарканд. Гур-Эмир. Утро.*

Пышная процессия похорон. Тимур шел за гробом Каньё так же, как и прежде, с неподвижным скорбным лицом. Процессия миновала ряд деревьев и вошла в часовню с красным куполом. Здесь уже была могила, покрытая черным камнем, гробница Береке, любимого учителя Тимура. Рядом лежал большой зеленый камень, очень дорогой, но расколотый на две части. Каньё опустили в могилу. После церемонии Тимур вновь обратил внимание на зеленый камень.

— Этот камень недавно прибыл из Китая, — сказал vizирь. — Его вынесла принцесса Каньё за свои деньги, да жаль, он в дороге раскололся.

— Ничего, — сказал Тимур, — камень и так красив. Это заботливая Каньё вынесла камень на мою гробницу.

*Самарканд. Дворец. Тропный зал. Утро.*

Тимур скорбно сидел на троне в пустой галерее, держа ноги на синие персидского вельможи. Приближенные стояли поодаль, боясь нарушить тишину.

Наконец Тимур поднял голову и спросил:

— Сколько от Самарканда до границы Китая?

— Десять дней езды, — сказал первый министр.

— Всего десять дней езды, и моя армия войдет в Китай! — сказал Тимур.

— Но чтобы дойти до Пекина, нужно еще не менее шестидесяти дней, — сказал второй министр. — Кто знает Китай, знает и замкнутость его границ. Дойти до Китая еще не значит войти в Китай. Китайцы укрепили Великую стену, придется пересекать много широких рек и преодолевать перевалы. Население Китая многочисленно и в большинстве своем нам, мусульманам, чуждо и враждебно.

— А разве впервые нам действовать среди чуждого населения? — сказал Тимур. — Кто проявит ко мне вражду, положит голову. Мне безразлично, из каких голов складывается пирамида: из персидских, индийских или китайских. У меня больше прав на Китай, чем у буддийского монаха, объявившего себя императором. Моя жена Каньё, от которой у меня наследник, была китайкой принцессой.

— Великий эмир, — сказал первый министр, — королева Каньё, мир праху се, была монгольская принцесса, из рода Чингисхана. Хубилай-хан пытался создать китайскую династию Юань, но китайцы не подчинились этому...

— Вот поэтому я иду наказывать тех, кто изгнал потомков Чингисхана, — сказал Тимур.

— Тогда, великий эмир, — сказал первый министр, — мы просим хотя бы до лета отложить поход. Северный Китай — страна холодная и ветренная. Снега покрывают перевалы, реки замерзают. Надо пожалеть солдат...

— Ждать до лета... — сказал Тимур. — Ждать может юноша, а я уже старый человек, и солдат моих жалеть не надо, солдаты не дети. Они существуют для того, чтобы страдать, бороться и побеждать. Вспомните ледовый поход, когда мы гнали проклятого Тохтамыша за полярный круг.

— Все-таки, великий эмир, мы просили бы вас еще раз подумать, — сказал первый министр. — Китай не Татария, и китайский император не Тохтамыш.

— Вы трусливые зайцы! — потеряв самообладание, закричал Тимур. — Что станет с моими завоеваниями, когда я умру? Вот что меня беспокоит. Ничтожество! Я велю вас всех повесить и назначу простых солдат министрами!

Министры тихо стояли, видя, что правитель в гневе. Наконец, исчерпав свой гнев, Тимур затих и сказал негромко:

— Да, я обыкновенный смертный, я уже старый человек. Но прежде чем умереть, я, надеюсь, выполню волю божью, и меня не остановят ни ваши предостережения, ни предсказания гадалок. Вы, слабые люди, видите только здешний мир, а я верю в мир тайн. Оттого-то я и повелитель, только мне послап дар слышать потусторонние голоса из мира тайн. Я надеюсь, что эти голоса и вещие сны будут мне благоприятны.

*Самарканд. Дворец. Вечер.*

Тимур сидел возле широкого ложа, на котором умерла Каньё.

Ее одежда лежала на кровати, туфли стояли на коврике. На столе стояла еда и питье, а на низеньком столике горели две свечи.

Буддийский монах прочел заклинание, потом он сказал:

— Господин, я позвал душу вашей жены Каньё посетить ложе смерти, а затем опять уйти. Но я советую вам не присутствовать. Вы можете подпасть под чары демона.

— Вера в Аллаха защитит меня от демона, — сказал Тимур, — и потому я останусь здесь, чтобы увидеть облик моей любимой жены и услышать от нее потусторонние мудрости, которые мне теперь так необходимы...

— Мир света и мир тьмы несоединимы, — сказал монах. — Боюсь, что вы не увидите облик той, которую жаждете видеть, и не услышите ее слов. Но если вам угодно, господин, то оставайтесь, а я пойду.

И монах вышел.

Тимур долго сидел, глядя на платье Каньё. Глаза его были сухи, но болело сердце, и он, намочив платок, приложил его к левой части груди. После этого пересел на кровать и прикоснулся к платью Каньё. Две свечи на маленьком столике мерцали. Внезапно огонь в них уменьшился до размеров горошины, а потом вдруг стал расти. Два огненных столба выросли почти до потолка.

— Каньё, — прошептал Тимур, — я не вижу тебя, но я чувствую твой аромат. Что ждет меня, Каньё?

Внезапно пламя свечей опало, и свечи потухли. В полутьме, освещенной лишь окном в форме луны, в которое действительно светила луна, мелькнул чей-то силуэт.

— Эблис, это ты, проклятый? — крикнул Тимур. — Я чувствую, как исчезает аромат рая и повеяло сумраком геенны.

— Ты умный человек, Тимур, — послышался голос Эблиса, — и ты понял намек. На этот раз тебе не будет удачи.

Тимур схватил сосуд с вином и швырнул в Эблиса, раздался грохот разбитого зеркала. Сбежавшиеся приближенные застали Тимура, лежащего без сознания.

*Ночь. Сон.*

Тимур увидел себя сидящим на ветвях большого дерева. На голове его стояла чашка с водой. Красивая лошадь подошла к дереву и заржала, словно позвала Тимура. Он начал спускаться с дерева, стараясь не делать резких движений и не уронить чашку с головы. Но когда он слез с дерева, то нога его попала в какую-то колдобину. Он дернулся, чашка у него упала, и вода разлилась. Тимур взял лошадь под уздцы и пошел с ней, однако меж деревьев сада, потому что это был сад, показалась фигура человека, и Тимур узнал своего отца Тарагай.

Тарагай подошел, взял у Тимура из рук повод лошади и сказал:

— Пойдем в сад.

Они пришли в сад, и Тарагай сказал:

— Подожди меня здесь...

Вместе с лошадью он исчез неизвестно куда.

— Отец, — позвал Тимур. — Где вы?

— Не зови его, — сказал кто-то. — Он опять поднялся на небо.

Когда Тимур открыл глаза, он увидел себя лежащим в постели, обложенным припарками. Над ним склонились родственники, приближенные, лекари. Старший лекарь протянул ему какой-то настой, но Тимур отстранился от сосуда и сказал слабым голосом:

— Позовите ко мне толкователя снов.

Перед Тимуром несколько толкователей снов.

— Великий эмир, — сказал первый толкователь, — я выслушал твой сон с печалью, с сердцем и плачущими глазами.

— Великий эмир, — сказал второй толкователь. — да благословит Аллах твои помыслы, да умножит уважение к тебе, но последний твой помысел завоевать Китай отвергнется небом. Твой отец, почтенный Тарагай, да пребудет он в вечном покое, приходил к тебе во сне, чтобы предупредить тебя.

— Я надеялся на вашу мудрость, толкователи снов, но вы обманули мои надежды. Вы не мудрецы, а жалкие дураки со

слабым умом, неспособным хитрить и лишенным споровки. Так же, как не нужны мне войны, лишённые мужества, не нужны мне мудрецы, лишённые прозорливости. Я не верю вам и положусь целиком на волю всевышнего.

*Зима. Холмы. Утро.*

Снежная метель заносит трупы. Кровь быстро обращается в красный лёд. Страдают не только жертвы, но и палачи. Воины Тимура, душно одетые, продуваемые ледяным ветром. Тимур, тепло одетый, в сопровождении телохранителей, объезжает войска.

— Я стал плохо видеть, -- говорит он Саиду. — Следи, чтобы каждый, как всегда, принес хотя бы одну голову. Здесь холодная страна, и урожай голов не так обилен, как в Персии или Индии, но кто не принесет хотя бы одну голову, тому будет отсечена его собственная.

На площадь разрушенного города согнаны жители. Пылают пожары. И пленные, и воины стараются быть поближе к огню.

— Сколько их? — спрашивает Тимур, обшаривая площадь полуслепыми глазами. — Саид, сколько их?

— Много, ваше величество, -- отвечает Саид, -- но это женщины и дети.

— А где мужчины?

— Мужчины или погибли в бою, или убежали в горы, чтобы нападать оттуда на наши войска.

— Непокорные, — гневно сказал Тимур, — не признающие воли бога. Женщин привязать к хвостам коней, мальчиков и девочек разложить подобно спонам при молотье и пустить упряжки с камнями. Кто это кричит?

— Это захваченных в плен бунтовщиков, связанных, сбрасывают в ущелье.

— У меня от этих криков разболелась голова, — говорит Тимур. — У меня раньше никогда не болела голова от криков наказываемых врагов.

— Ваше величество, — говорит Саид, — к ночи ветер усилится, вам надо бы пересесть с коня в повозку.

— Нет, я останусь на коне. Я знаю, мой главный враг не эти жалкие мань-цзы, эти дикари, которые не хотят покориться мне, победителю мира. Мой главный враг теперь зима. Зима мучает меня и моих солдат, желая нас остановить, желая показать свою силу, но мое сердце твердо, я покорю и зиму, я покорю этот холод, этот ветер...

*Зима. Горы. Утро.*

Армия Тимура длинной вереницей растянулась среди заснеженных, обледеневших ущелий. Солдаты движутся, согнувшись под ударами ветра, их лица побелели от мороза, бороды и усы обледенели, как и морды лошадей. В некоторых местах среди воинов слышен ропот:

— Куда он ведет нас? — шепотом говорит один из них. — Даже дышать трудно, ветер смешивается с нашим дыханием и замораживает его.

— Тимура не трогают наши страдания, — говорит другой. — Но, может быть, его остановит зима. Может, он откажется от своего похода, может, зима окажется более злой и жестокой, чем он.

— Сегодня особенно холодный день, — говорит третий солдат, — а мы идем и идем, нам надо бы сделать привал и разложить костры. Такой день, что, кажется, солнце было бы радо приблизиться к огню костра.

*Анзара. Вечер.*

— Что за город впереди? — спрашивает Тимур Саида.

— Анзара, ваше величество. Он пуст, все убежали в горы.

— Жалкие мань-цзы, — говорит Тимур. — Они даже не защищают свои дома, победой над ними нельзя гордиться, но я горжусь своей победой над зимой и холодом, однако сегодня меня немного знобит, поэтому я хочу укрепить себя не только внешне, но и внутренне. Где лекарь?

— Я здесь, ваше величество, — подъехал лекарь.

— Я заказываю спирт с вином и травами.

— Ваше величество, такой напиток слишком действует на физическую структуру, — сказал лекарь. — Я хотел бы вам предложить бальзам для смазывания тела.

— О лишившийся ума! — гневно сказал Тимур. — Ты хочешь оставить свою голову в одной из башен среди голов мань-цзы?

— Простите, ваше величество! — сказал лекарь.

— Быстро приготовить нашиток.

— Слушаюсь и повинуюсь.

— Жаль, нельзя попариться в бане, — сказал Тимур. — Но скоро мы перейдем через перевалы в Китай, и там потеплеет, там нет такого холода и такой злобы, и, может быть, мое сердце там оттает, и я пощажу этих глупых мань-цзы, и они откажутся от своих идолов и поверят в единого бога. Я никогда не был в Китае, но моя любимая жена, Капъё, мир ее праху, много рассказывала мне об этой стране. Это страна, где есть все и для всех. Недаром каждый правитель называл ее по-своему, и я уже обдумывал, какое название дам Китаю, когда стану его правителем.

— Ваше величество, — сказал лекарь, появляясь с сосудом, — надо выпить, пока нашиток горяч.

Тимур взял сосуд и выпил несколько глотков.

— Хорошо, — сказал он. — Я выпью все, что в этом сосуде, и исцелюсь, и вылечусь от болезней, которые у меня, я чувствую, в хребте.

Он выпил еще.

— Я чувствую, — сказал он, прерывисто дыша, — что тело мое от темени до пог как будто загорелось огнем.

Тимур пошатнулся и начал клониться головой к гриве коня.

— Быстрее снимите его с коня, положите на повозку и укройте одеялами, — сказал лекарь.

Тимур открыл глаза. Он лежал на повозке, укутанный одеялами.

— Кто снял меня с коня? — как показалось ему, громко крикнул он; в действительности же он едва слышно прошептал.

— Ваше величество, через три дня у вас в теле не останется никакой болезни, — сказал лекарь.

— Мне жарко, — сказал Тимур.

— Вы должны потеть с головы до ног, ваше величество.

— Санд, — пропентал Тимур.

— Он объезжает войска, — сказал телохранитель.

— Почему мы стоим? Надо идти вперед, двигаться через перевалы в Китай.

— Ваше величество, не обременяйте себя заботами, — сказал лекарь. — Вы должны заснуть.

И он закрыл лицо Тимура платком.

— Уберите этого дурака, — сказал Тимур телохранителям, сбрасывая платок. — Я чувствую, что уже исцелился. Если мне пойти в баню, то в моем теле не осталось бы никакой болезни, я вернулся бы к прежнему здоровью, стал бы еще здоровее, чем раньше.

Тимур прислушался.

— Откуда эта музыка? Кто велел играть музыку и веселиться, когда я болен?

— Ваше величество, это не среди нас музыка и веселье, -- сказали телохранители. — Это музыка из горных селений.

— Я знаю, почему они веселятся, — сказал Тимур, помолчав. — Распространился слух о моей смерти. Значит, надо было больше убивать врагов. Если я попаду в ад, то только за то, что не был по-настоящему острым мечом ислама и, случалось, жалел врагов его, но все-таки я их уничтожал в меру своих сил, и, может быть, всемогущий простит меня за то, что я не успел уничтожить всех, ибо всего смертный человек сделать и не может...

Тимур закрыл глаза.

— Силы покидают его, — тихо сказал лекарь. -- Думаю, ему осталось не более трех дней жизни.

### *Горное селение. Вечер.*

Ветер швыряет комья снега на обледеневшие баинши из отрубленных голов, крепко скрепленные замерзшей кровью. В подвале разрушенного дома собрались уцелевшие жители. Пожилой человек говорит детям:

-- Слышите? Это не ветер воеет, это поганый Тимур умирает, как собака, никак не может издохнуть. Он уже издох, его положили в могилу, но от могилы этой шел ужасный

смерд, и тогда небесные стлбы оживили поганого, положили в огонь, чтобы он страдал как можно дольше. Долго еще не прекратится голос истребителя рода человеческого...

### *Анзара. Вечер.*

Тимур лежал и слушал голос читавшего ему Коран:

— Когда Аллах сказал: «Я на земле хочу поселить помощника себе», — ангелы ответили: «Поселишь ли ты на земле существо, которое произведет беспорядок и прольет кровь, в то время когда мы будем прославлять тебя хвалами и беспрестанно воспевать и превозносить твою святость?» Аллах ответил ангелам: «Я знаю то, чего не знаете вы...»

-- Даже ангелы не понимают замыслы Аллаха, — тихо сказал Тимур. — А что уж говорить о слабых людях. Такие, как я, приходят на землю не ради того, чтобы творить добро. Это удел рабов. Но и не ради того, чтобы творить зло. Это удел разбойников. Мы приходим, чтобы насаждать на земле волю судьбы. Мы, повелители, покорители, таинственно сменяем друг друга на протяжении всей человеческой истории. Мы не даем людям замкнуться в тесноте своего муравейника. Я понимаю людей, я тоже был хромым слабым муравьем, которого могли приклоннуть или раздавить, даже не заметив этого, но я поднялся над муравьиной кучей, а они в муравьиной куче остались. Что я, исполняя волю Аллаха, наказывал неверных и уничтожал отступников...

### *Горное селение. Вечер.*

В горном селении люди с плачем и криками ищут головы своих близких в застывших пирамидах. Найдя голову близкого, выдирают с трудом из кровавого льда. Каждый несет голову отца, или брата, или сына, или мужа, обмерзшую, обезображенную, прижимая к груди, целуя ее. Укладывают головы в маленькие гробы и идут хоронить.

### *Горы. Вечер.*

Крик:

— Не дадим уйти в свою страну поганой собаке Тимуру, не дадим его похоронить, сбросим его в пропасть!..

*Анзара. Вечер.*

Тимур мечется в горячечном бреду. Он слышит голос читающего Коран на фоне свистящего ветра:

— Страшный суд, последний суд, когда солнце согнет-ся, когда звезды упадут, когда горы приведутся в движение, когда самки верблюдов будут обезглавлены, когда дикие звери соберутся толпами, когда моря закипят, когда души совокунятся, когда спросят заживо погребенную девушку, за какое преступление ее заставили умереть, когда лист книги развернется, когда небеса отложатся в сторону, когда пламень ада помешают кочергой, чтобы лучше горел, тогда всякая душа узнает сделанное ею дело...

Тимур видит впереди пылающий огонь.

— Что это? — спрашивает он.

— Это ад, Тимур, — говорит голос. — Вот, видишь двух ангелов? Мункир и Накир, они взвешивают поступки на огромных весах. Иди, Тимур, иди по этому мосту Сират...

Тимур пошел, скользя, задыхаясь от ужаса, что вот-вот сорвется в пропасть.

— Не старайся, Тимур, — звучит чей-то насмешливый голос. — По этому мосту в рай проходят только праведники, грешники обрываются и попадают в ад, который простирается на семь ярусов глубины. Посмотри, какая глубина! Какая бездна!

Голос захохотал.

— Проклятый Эблис, я узнал тебя, — прохрипел Тимур, срываясь с моста и падая в пропасть со страшным криком.

— Слышишь, я ведь обещал, что все время буду с тобой, — летя рядом с падающим Тимуром, говорит Эблис. — И вот теперь оправдывается поговорка: «Кто вырыл колодец для своего брата, упадет в него». А наказание в аду самое утонченное. Ты немало мучил и жег людей, а теперь смотри, сколько разного огня. Здесь самой слабой мукой считаются огненные баншаки, полагается также глотать плоды адского дерева...

Тимур с искаженным мукой лицом отталкивает руку лекаря, пытающегося дать ему лекарство. Он стоит и кричит.

В разоренном селении люди с радостью слышат этот крик.

— Это кричит от боли проклятый Тимур, — говорят они детям. — Как радостно это слышать, как радостно слышать крики его боли.

Воины Тимура, слыша эти крики, говорят:

— Повелитель наш умирает. Что будет с нами? Без него пропадет наша сила...

Тимур открывает глаза. Он видит лица Саида и других близких ему людей.

— Я преодолел еще одно препятствие на пути к вершине, — тихо шепчет он. — Боль исчезла, мне уже лучше.

— Ваше величество, — сказал лекарь, — вам надо принять лекарство.

— Уберите его, он мне надоел, — сказал Тимур. — Это слуга Эблиса, я понял. Он хочет меня отравить.

— Ваше величество! — испуганно закричал лекарь. — За что, ваше величество? Я делал все, что предписано медициной!

— Ты, лекарь, умрешь раньше меня, — усмехнулся Тимур. — Задушите его.

Телохранители схватили лекаря, задушили его и бросили на дороге.

— Кажется, нашему повелителю лучше, — сказал Саид, утирая слезы. — Я опять узнаю его поступки.

— Я не хочу принимать больше никаких лекарств, — говорит Тимур. — Все лекарства от дьявола, это я понял. Дайте мне китайского вина с жасмином, которое прочищает кровь и облегчает сердце. И пусть библиотечкарь читает Омара Хайяма, это исцелит мою душу, а вместе с ней исцелится и тело...

### *Горное селение. Вечер.*

В горных селениях люди с плачем хоронили головы своих близких, ибо тела Тимур велел бросить в пропасть. Они сколачивали маленькие деревянные гробики, укладывали туда головы и с плачем совершали похоронный ритуал.

*Анзара. Вечер.*

А Тимур, полужакрыв глаза, слышал Хайяма, которого читал ему хромой библиотечкарь:

Я смерть готов без страха повстречать,  
Но лучше ль будет там, чем здесь, как знать?  
Жизнь мне на срок дана, верну охотно,  
Когда нора наступит возвращать.

Библиотечкарь перевернул несколько страниц.

Моей скорби кровавый ручей сотни башен бы снес,  
Десять тысяч стросенний подмыл бы поток моих слез,  
Не ресницы на веках моих — желоба дождевые,  
Коль ресницы сомкну, от потопа бежать бы пришлось.

— Я чувствую, мне все лучше и лучше, — сказал Тимур тихо. — Мое сердце становится легким и облачным, боль совсем исчезла. Читай, библиотечкарь, читай...

Библиотечкарь перевернул страницу:

Огонь моей страсти высок пред тобой —  
Так да будет.  
В руках моих гроздь и сок огневой —  
Так да будет.

Вы мне говорите: «Раскайся и будешь прощен»,  
Коль не раскаюсь — что будет со мной?

— Так да будет, так да будет, — произнес Тимур. — Мне становится все лучше. Отодвиньте полы повозки, я хочу видеть небо.

Телохранитель отодвинул верх повозки. Мутное, холодное небо сыпало колючим снегом, но взгляд Тимура был устремлен высоко в глубину.

— Я вижу семь небес и все, что есть там, вплоть до самого крайнего предела, — сказал Тимур. — Я вижу, как вращаются небосводы, я вижу звезды, движущиеся и неподвижные, я вижу отца своего Тарагая, и мать свою, и себя ребенком на руках у матери своей. Милостивый Аллах открыл мне все это. Я слышу ангела, читающего Коран.

— Когда разверзнется небо, — читал ангел, — когда будут повиноваться богу и постараются исполнить его повеление, когда земля будет распростерта ровным пластом, когда она выбросит из недра своего все, что содержала и оставляла не-

тронутым, когда она будет повиноваться богу и постарается исполнить его повеление, тогда ты, человек, желавший видеть бога своего, увидишь его. Кому дадут книгу его дел в правую руку, тот будет осужден с кротостью. Он, радуясь, возвратится в свое семейство на земле, он будет веселиться среди своего семейства.

Тимур видит себя среди отца и матери, среди женщины, которых он любил: Альджан, внучки Казгана, русской наложницы Ксенни, китайской принцессы Каньё.

— Он воображал, что никогда не явится перед Аллахом, — читал ангел. — Но Аллах видел все.

— Аллах видел все, — прошептал Тимур. — Мне не нужно прощения людского, если меня простил всемогущий...

Он начал дышать часто и прерывисто.

— На наших мусульманских могилах, — произнес он тихо, — изображены раскрытые человеческие ладони. Это значит, мы уходим прочь, не взяв с собой ничего, только имя свое. Имя мое Тимур. И я уйду, не взяв с собой ничего, в мир иной...

Он начал дышать часто и тяжело. Вдруг он порывисто поднял руку с раскрытой ладонью и так держал ее несколько мгновений, потом рука бессильно упала, губы сомкнулись, глаза широко открылись, грудь его перестала судорожно вздыматься, лишь одна слезинка вытекла из правого глаза и потекла по мертвой уже щеке его.

Телохранители и вельможи склонились над ним.

— Великий эмир, — заливаясь слезами, сказал один из них.

— Душа великого эмира Тимура покинула его тело и начала вечное странствие, — сдерживая слезы, сказал Саид, — а имя его навсегда останется среди нас и потомков наших...

— Он сох, — радостно кричали в горных селениях.

— Кровавый разрушитель и убийца мертв, сбросим его тело в пропасть, не дадим осквернить землю его грязными костями!..

Вооружившись топорами и мечами, толпа бросилась по склонам гор вниз, где медленно отступала, уходила в свои земли армия Тимура, лишившаяся своего вождя.

Отступление этой некогда грозной армии напоминало отступление по снегам России армии Наполеона четыре века спустя. Солдаты, замерзшие и измученные, слабо сопротивлялись полным ярости врагам. Многие просили пощады, но погибали под ударами топоров и дубин людей, переживших убийства Тимура. Мертвого Тимура везли на повозке в середине воинской колонны.

— Вот он! — закричал предводитель восставших. — Сбросим тело кровопийцы в пропасть!

Вокруг Тимура были седые ветераны его походов, гвардия с иссеченными лицами. Они шли и все тихо плакали.

С какой-то радостной яростью бросилась на них толпа, и со скорбной яростью, с суровыми, залитыми слезами лицами молча защищали ветераны своего мертвого вождя, свирено рубили направо и налево.

Вождь восставших, огромный кузнец, почти прорвался к повозке, замахнулся огромной дубинной, желая разбить голову мертвому Тимуру, но Санд ударил по его шее мечом и отбросил голову ногой с дороги. Бой вокруг гроба Тимура утих. Гвардия Тимура прорубила дорогу своему вождю. Множество трунов валялось вокруг, остальные спасались бегством, карабкаясь на скалы. И вот после шума и крика наступила тишина. Это была тишина лунной ночи. Засияли звезды, и месяц, мусульманский символ, своим светом, словно бронзой, покрыл неподвижное лицо мертвого Тимура. Молча шли солдаты, увозя в повозке тело своего предводителя в его любимый город Самарканд, чтобы уложить его там в гробницу.

Повозку качало на ухабах, и от тряски книга стихов Омара Хайяма упала на дно повозки. Ветер начал листать ее страницы, и в нарастающей музыке на фоне освещенного яркой луной бронзового лица грозного завоевателя Тимура слышались скорбные строки Омара Хайяма:

Мы послушные куклы в руках у творца,

Это сказано мною не ради слова.

Нас по сцене всевышней на ниточках водит

И пихает в сундук, доведя до конца.

Среди скорбной торжественной мелодии и скорбных торжественных строк возникает слово «Конец».

**СКРЯБИН**

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Строительный камень и мечта сделаны из одного вещества и оба одинаково реальны. Несовершенная мечта есть неузнанный издали предмет.

*А. Скрябин. Записи*

Была пасхальная неделя 1915 года, когда в большой красивой церкви Николая на Песках отпевали Александра Николаевича Скрябина. Хаос венков покрывал гроб, и среди них выделялся один особенно большой с надписью: «Прометею, похитившему огонь с неба и ради нас в нем смерть принявшему».

Три женщины в трауре, словно три Парки, стояли справа у гроба. Татьяна Федоровна, жена покойного, с каменным сухим лицом и две плачущие навзрыд старухи — Мария Александровна, мать Татьяны Федоровны, и Любовь Александровна, тетя покойного. Здесь же робко жались дети. В церкви было тесно и душно, синодальный хор пел литургию Кастальского, скорбные звуки которой столь отличались от ликующих, уточенно-томительных мажорных аккордов, которыми Скрябин дерзко мечтал проводить в последний путь, к последнему празднику, все человечество.

Но едва гроб вынесен был из церкви навстречу большой толпе, не вместившейся и ждавшей снаружи, как состояние подавленности и скорби словно само по себе, словно по мановению некой всеобщей силы начало исчезать. Толпа

большей частью состояла из учащейся молодежи, и похоронные мотивы смешались и потонули в пасхальных ликующих песнопениях. Темп процессии был настолько бодрый и быстрый, что три пролетки впереди процессии, на которых везли венки, ехали не обычным похоронным маршем, а неслись чуть ли не рысью. Толпа словно бежала с гробом в руках. Погода была пасмурная — дождь с мокрым снегом, — но когда миновали Арбат, Плющиху и вышли на Царицынскую улицу, ведущую к Новодевичьему монастырю, глянуло солнце, и груды живых цветов, покрытых искрящимся на солнце тающим снегом, и бодрое единство тех, кто шел сейчас вместе, и молодой апрельский воздух, — все это как бы говорило о том, что скорбь, пережитая в эти дни, — лишь тяжелый сон, что жизнь непобедима и бесконечна. У ворот Новодевичьего монастыря к тысячному хору учащихся присоединился хор монахинь. Процессия направилась по новому, свободному еще кладбищу Новодевичьего монастыря. Могила была по правой стороне и тоже необычная какая-то, светлая... Небо совсем уже очистилось, и солнце, еще довольно высоко стоящее в небе, даже начало припекать. Вырос могильный холмик с дубовым крестом и надписью: «Александр Николаевич Скрябин, скончался 14 апреля 1915 года». Толпа долго молча стояла вокруг. Стихли песни, не было речей, и лишь крики кладбищенских ворон нарушали безмолвие.

Вечером на квартире у Скрябина, которая раньше была уже вдовьим домом Татьяны Федоровны, собралась те, кто в последние годы жизни Александра Николаевича бывал в этой квартире почти ежедневно, и из кого, по сути, давно уже составила некая секта скрябинчан, преданная и ревнивая. Здесь был доктор Виктор Васильевич Богородский, человек еще не старый, высокого роста и решительного вида, ныне по случаю военных действий одетый в офицерский мундир, который еще больше подчеркивал сутулость доктора. Тут же то садился в кресло, то вскакивал и прохаживался Алексей Александрович Подгаецкий, молодой, но лысый человек актерского типа с кривым ртом и первым

тиком. Глаза у него были более добры, чем у доктора, хоть и более перешительны. Был здесь Борис Федорович, брат Татьяны Федоровны, петербургский журналист, и Леонтий Михайлович, музыкант-любитель и музыкальный критик. Здесь же, рядом с Татьяной Федоровной, сидела и княгиня Гагарина в темном платье, с четками.

Собрались в большой гостиной, оклеенной рыжими обоями, уставленной неудобной мебелью. Татьяна Федоровна казалась вся упреждающая в себя, просветленная, с каким-то перво-восторженным выражением лица.

— Священник Флоренский, — сказала княгиня Гагарина, перебирая четки, — вы, конечно, знаете его, господа, известный мистик и математик, — так вот, он вычислил, что через тридцать три года после смерти Александра Николаевича его Мистерия сможет осуществиться и сам Александр Николаевич в ней будет как-то фигурировать.

Татьяна Федоровна с серьезным лицом посмотрела на княгиню.

— Да, я тоже слышал, — сказал доктор. — Это объяснить, конечно, нельзя, но у Флоренского совершенно точно вычислено, математически.

— Какая-то радость есть в этой копчине, — блестя глазами, сказала Татьяна Федоровна. — И очень важно, что именно на Пасху, так и должно быть... Рожден в Рождество, а умер на Пасху... И гроб этот, как будто он сам несся, а не его несли. У меня такое впечатление, что гроб несся по воздуху, а за ним, как за вождем, бежала, именно бежала, толпа...

И в глазах ее явился уж совсем нездоровый блеск, какой бывает у деревенских кликуш.

— Надо теперь создать общество, — сказал Борис Федорович. — Однако важно, чтобы это было общество не только музыкантов и даже по возможности не музыкантов... И уж во всяком случае не тех, кто при жизни гения кричал «Распни его!». Кстати, я слышал, Рахманинов собирался исполнять Александра Николаевича... Концерты как бы в память...

— Какое кощунство, — вскричал доктор и покраснел. — Да и способен ли он... Этот Сальери... Пуччини...

— Господа, — негромко сказал Леонтий Михайлович, — но ведь всякая смерть примиряет, особенно смерть гения...

— Вы прагматик, — сказал доктор и сердито глянул на Леонтия Михайловича. — Те, кто захочет идти за Скрябиным дальше, не останавливаясь перед его могилой, должны помнить, что на первом плане была его великая идея, его мистика... А она непримирима и чужда прагматизму... Впрочем, по одному из пунктов я с вами, как с прагматиком, все же хочу поговорить.

Доктор взял Леонтия Михайловича об руку и они вышли в соседний кабинет.

— Я согласен с доктором, — сказал Подгаецкий. — Александр Николаевич был сначала великий учитель человечества, а потом уже музыкант.

— Да, да, — сказала княгиня Гагарина, — ведь он самое свое великое оставил незапечатленным в физическом плане... Стало быть, не в музыке центр его творчества.

— Притом это находится в полном соответствии с его стремлением дематериализовать, — Подгаецкий замылся, — это... все это... *N'est-ce pas?*

Нервный тик его обострился.

— В первую голову надо именно мистическую... Эту... А музыкальная... Это неважно... И чтоб не попадали в общество инородные тела... Рахманинов, Кусевицкий, Танеев... Это ведь совершенно чуждый элемент...

В кабинете, полутемном, освещенном лишь фонарями с улицы, где пол был устлан толстым ковром и меж пальм в кадках стоял рабочий рояль Скрябина, доктор совсем иным, тихим усталым голосом говорил Леонтию Михайловичу:

— Нам, друзьям, надо подумать очень экстренно об одной вещи: ведь семья-то совсем без гроша... Все, что было, потрачено на болезнь, да и было-то пустяки... Трое детей, мать больная, сама Татьяна Федоровна совершенно к жизни не приспособлена...

— Да, этим надо заняться, — сказал Леонтий Михайлович и посмотрел на доктора, потом перевел взгляд на темный рояль, на пальмы.

— Ах, боже мой, доктор, о чем это мы... Деньги, семья... А ведь Скрябин умер... Мы одни здесь с вами, доктор, будем честны... Неужели вам не хочется забыть обо всем — о распри, о спорах... сказать самому себе — да, вот куда привели все эти безграничные метания, вся эта фантазмагория, богочеловечество и человекобожество... Он хотел быть богом, хотел зажечь весь мир, а сам пал от ничтожного фурункула, от стрептококка... Какая злая и страшная насмешка судьбы... А если б мы, его друзья, сказали ему при жизни: «Александр Николаевич, вы не богочеловек, не всемирный Мессия, не новый Христос, а всего-навсего гениальный русский композитор... удовлетворитесь этим, цените это в себе...

— Вы опасный человек, — сказал доктор. — Надеюсь, вы не посмеете затеять подобный разговор при Татьяне Федоровне.

В гостинной Борис Федорович говорил:

— Да, кончина Александра Николаевича — это великое событие, это страшное событие... Это больше, чем война, чем все победы и поражения... В астральных планах была буря, и она увесла Скрябина туда, где он, собственно, и должен быть, потому что он нездешний.

«Скрябин умер, — тяжело привалившись к спинке стула, думал Леонтий Михайлович, — его больше не будет... Не услышу уж его разговоров о Мистерии, не увижу его светлого опьяненного взгляда, не узнаю его радужных планов... Не будет больше его игры, его поцелуев звукам... Нет уж того солнечного света, который все сглаживал, все скрапывал и самым большим нелестностям придавал непонятное очарование».

— Сейчас произошли огромные сдвиги в тех планах, — сказала княгиня Гагарина. — Обратите внимание, что скорбь наша была три дня, а потом наступило, помимо нашей воли, ликование. Отчего это ликование? И как оно мирится со смертью? Оно мирится, очевидно, потому, что смерть уже исчезла... Это смерть — сестра, и она вернула его нам, но мы этого еще не осознали... Он тут... Я думаю, что мы его должны почувствовать.



Пожилая женщина с властным барским лицом, Елизавета Ивановна, бабушка мальчика, сказала:

— Люба, ты б увела Шуриньку в дом... Зачем ему здесь, в пыли.

— Нет, бабушка, — сказал Шуринька, — я не уйду, я с ним хочу быть... Скажи, бабушка, пусть они его осторожно.

— Любезный, — сказала Елизавета Ивановна мужику покрупнее и по виду старшему, — ты смотри... чтоб аккуратно.

— Это можно, — то ли весело, то ли насмешливо, улыбаясь, сказал мужик. — Не впервой, барыня.

В этот момент один из мужиков споткнулся, рояль качнуло, одна из рояльных ножек коснулась земли, и струны издали тревожно-стонущий шум.

— Они ему сделали больно, — с мукой в голосе крикнул Шуринька и, вырвав свою руку из тетиной ладони, запрокинув залитое слезами лицо, стремглав побежал к деревянному дачному дому, вбежал по ступенькам и, бросившись в своей комнате на кровать, сунул голову под подушку.

Обе женщины, Елизавета Ивановна и Любовь Александровна, с тревогой последовали за мальчиком.

— Шуринька, — говорила Любовь Александровна, — не плачь, не огорчай нас.

— Рояль уже в зале, — сказала Елизавета Ивановна, — ему там хорошо, удобно.

— Это правда? — сказал Шуринька, вытаскивая голову из-под подушки.

Слезы еще блестели у него в глазах, но лицо уже улыбалось приветливо и радостно.

— Ах, бабушка, ах, тетенька, — сказал Шуринька, — я ведь так вас люблю.

И вся эта сцена окончилась долгими взаимными поцелуями и взаимными ласками.

Гостинная зала на втором этаже дачного дома была залита ярким светом луны. Было полнолуние, и светло, чуть ли не как днем, и от этого ночного света все казалось нереальным. Из-за теплой ночи окна были полуоткрыты, и с улицы до-

носились ночные шумы: какие-то скрипы, пыхтенье, вскрики птиц... Тихо отворилась дверь гостиной, и Шуринька в длинной до пят белой рубахе, босой, на цыпочках вошел, затаив дыхание, огляделся и пошел к стоящему у стены роялю. Нежно погладив полированный бок, он посмотрел на крышку, по которой, как по ночной воде, убегала лунная дорожка, и, снова погладив, начал целовать рояль, шепча:

— Тебе больно, миленький, тебя ударили... Злые люди сделали тебе больно... Покажи, где тебе больно... Ну, скажи мне на ушко, где тебе больно...

Любовь Александровна в наброшенном на ночную рубашку халате уже некоторое время стояла и с тревогой смотрела на мальчика. Осторожно, чтобы не испугать его, она подошла и ласково положила ладони ему на плечи.

— Это вы, тетя, — просто и серьезно сказал мальчик. — Ему плохо, тетя, он обижен, он одинокий и больно... Он думает, что мы его совсем не любим.

— Ты ошибаешься, Шуринька, — тихо сказала Любовь Александровна. — Он знает, что мы его любим... И он совсем здоров...

И, усевшись перед роялем, она подняла крышку. Шуринька взобрался ей на колени, и она, положив его ручки на свои руки, тихо заиграла. Это была одна из мазурок Шопена, нежная и хрупкая, так соответствующая лунной светлой ночи. И под звуки Шопена мальчик прислонился к теплему тетиному лицу и спокойно уснул.

За столом у самовара Любовь Александровна разговаривала с дамой, крайне похожей на свою дочь Лизаньку, девочку лет восьми. На девочке было коротенькое платьице и белые, обшитые кружевом панталончики. Шуринька также был уже лет восьми, но ощущалось это не в росте, который немногим прибавился, а в выражении лица, на котором являлась какая-то мечтательная озабоченность. Екатерина Семеновна, мать Лизаньки, положив в блюдечки несколько шариков ананасного мороженого, одно поставила перед дочерью, второе перед Шуринькой. Лизанька сразу начала есть, облизывая ложечку, а Шуринька неотрывно смотрел

на чистенькие пальчики Лизаньки, которыми она держала ложечку, и на ее тоненькую красивую шейку. Он взял свою порцию мороженого и поставил ее перед Лизанькой.

— Мерси, — покраснев, сказала Лизанька и сразу начала есть из обеих блюдец.

— Лиза, — сказала Екатерина Семеновна, — нельзя быть такой жадной.

— Но ведь Саша подарил мне свою порцию, — сказала Лизанька, продолжая есть.

— Дурные люди любят злоупотреблять чужой добротой... Лиза, сейчас же выйди из-за стола.

Лиза вышла из-за стола и, утирая слезы, пошла в детскую.

— Я пойду утешу ее, — сказал Шуринька.

— Какой добрый мальчик, — сказала Екатерина Семеновна. — А ведь он совсем не помнит свою мать... Как вчера было, узнала я, что у Любы Щетининой родился сын... Мы вместе с Любой в консерватории учились... Помню, мороз был, Рождество Христово... Да и отца своего мальчик знает мало... Ваш брат, кажется, моряк?

— Нет, он дипломат... Сейчас живет в Константинополе... Недавно вторично женился на итальянке... Но Шуринька сиротства своего никогда не чувствовал...

В это время Лизанька показывала Саше свои игрушки в пустой детской. Она брала куклу или плюшевого зверька, называла его по имени и протягивала Саше, который придумывал очень ловко другое смешное имя, отчего Лизанька хохотала. Лизанька в коротеньком платьице, в кружевных панталончиках была так необычна, так нова в Шуринькиной жизни, что в тот момент, когда она расхохоталась особенно громко и звонко, Шуринька вдруг нагнулся к ней и поцеловал в ямочку на щеке. Лизанька сразу замолкла и посмотрела на Сашу совсем по-женски, так что у него впервые в жизни защемило сердце.

— Лизанька, — сказал он срывающимся голосом, — я люблю вас... Я буду любить вас всю жизнь... Если вас не выдадут за меня, я, как чеченец или турок, выкраду вас... Или уйду на войну и погибну. Поклянитесь, Лизанька, что вы будете верны мне до могилы...

— Клянусь, — весело сказала Лизанька и, обняв Шуриньку за шею, сама поцеловала его куда-то пониже глаз.

Утром, бледный и похудевший, он сидел за роялем с отсутствующим нездешним взором и осторожно, нежно касался пальцами рояльных клавиш. Ласковая восторженность и печаль а-ля Россини была в этой мелодии.

Был летний погожий день, когда Любовь Александровна шла с Шуринькой по улице, ведя его за руку.

— Ты рад, Шуринька, что увидишь папá? — говорила Любовь Александровна.

— Очень, — говорил радостно Шуринька.

— И Ольгу Ильиничну, жену папá, ты должен полюбить, — сказала Любовь Александровна, но с каким-то страшным, скучным выражением лица.

Однако Шуринька не вникал в оттенки, он был радостно встревожен от встречи с отцом и лишь улыбнулся в ответ.

В больном гостиничном номере было много зеркал. Шуринька, войдя, огляделся в растерянности, и тотчас же отец, явившись откуда-то сбоку, сильно и чуть-чуть даже больно прижал Шуринькино лицо к своему, усатому и твердому, обдав запахом сигар. И сразу же, не успев перевести дыхания, Шуринька оказался прижатым к мягким сочным губам, вкусно пахнущим мятыми лепешками. Это была мачеха Шуриньки, Ольга Ильинична, итальянка... Отец Шуриньки, Николай Александрович, был невысокого роста плотный мужчина с усами, с ямочкой на подбородке и вздернутым носом; сын во многом напоминал его. Мачеха же была веселой миниатюрной брюнеткой.

— Сашь будет мой кавалер.

Она усадила Шуриньку рядом с собой за стол, уставленный восточными сладостями.

— Николая, — сказала она мужу, — когда ты ухаживал за мной, у тебя было такое лицо, как сейчас у Сашь, — и она захохотала.

А Шуринька, не спуская восторженных, влюбленных глаз с ее смуглого красного лица, с маленьких бриллиантиков, блестящих в ее маленьких ушках, тоже радостно смеялся.

— Оля, — играя брелком от часов, хмуро как-то, не в настроении жене, сказал Николай Александрович, — сейчас речь идет о дальнейшей судьбе Саши... Ему уже десять лет... До сих пор он жил в полной свободе, в неге, среди любящих и балующих его женщин, от этого он стал непомерно нервен и приобрел иные... — Он помолчал. — Иные дурные черты, которые ему будут вредить в самостоятельной жизни.

— Коля, — сказала Любовь Александровна, — однако не при ребенке же это говорить.

— Николая — восточный деспот, — сказала Ольга Ильинична, однако не сердито, а с улыбкой. — Там, на Востоке, перед русским консулом все склоняются, а здесь, в Москве, он не может привыкать, что на улице прохожие толкают его, как всякого...

— Саше пора в лицей, — пропуская мимо ушей замечание жены, хмуро сказал Николай Александрович.

— Ни за что, — весело сказала Ольга. — Саша будет военный... Все настоящие мужчины должны быть военный... А Саша настоящий мужчина... О, мы, итальянцы, в этом знаем толк... Эта отцовская ямочка на подбородке...

— Саша будет музыкантом, — сказала Любовь Александровна. — Ты ведь хочешь быть музыкантом, Шуринька?

— Я хочу быть военным, — сказал Саша и посмотрел на Ольгу Ильиничну.

— Что ж, можно и в кадетский корпус, — сказал Николай Александрович, чтоб закончить разговор, который был ему неприятен, ибо он опасался ссоры с женой и сестрой. — Скрябины — старинный дворянский род, среди которого всегда было много военных.

— Но Шуринька уже самостоятельно сочиняет, — сказала Любовь Александровна. — Недавно он даже сочинил целую оперу «Лиза» на собственный сюжет. Правда, заметно влияние России, однако для десятилетнего мальчика...

— Лиза? — спросила Ольга Ильинична. — А кто эта Лиза... Это девочка... Это дама... Поидем, Саша, мне все можно рассказать.

Подхватив Сашу за руку, она убежала с ним в соседнюю комнату, откуда доносились смех и шепот.

...Брат и сестра хмуро сидели за столом.

— Саша меня беспокоит, — сказал Николай Александрович. — Он живет совсем не детской жизнью... Ему необходимо иметь товарищей... В этом смысле кадетский корпус весьма кстати.

Из соседней комнаты, перешептываясь, как заговорщицки, появились Ольга Ильинична и Саша.

— Саша мне все рассказал, — сказала Ольга Ильинична. — Он больше Лизу не любит, теперь ему правлюсь я... А в честь этого мы с ним в четыре руки исполним «Песню гондольера» Мендельсона...

И, сидя на высоком стульчике рядом с Ольгой Ильиничной, вдыхая пьянящий запах женских духов, Саша довольно умело и точно вместе со своей красивой мачехой исполнил Мендельсона.

Стоя перед зеркалом в кадетском мундирчике с синими погончиками, Саша чисто по-женски, с восторгом обновы, и в то же время придирчиво и любопытно себя рассматривал. Он выпнул гребенку и сделал себе прическу на пробор, затем снова изменил прическу, кокетливо прищурился, потрогал пальцами свой вздернутый нос и принялся явно заученным приемом его массировать от переносицы книзу.

— Какой ты худенький в мундире, — утирая слезы, сказала Любовь Александровна.

— Нет, тетя, мундир дивный. Ведь правда красиво, ведь правда замечательно? — Он сделал перед зеркалом несколько танцевальных па. — Вот только нос... я слышал, что курносый нос — это признак слабого характера... Но массажем нос можно выправить, если массировать каждый день... А мундир замечательный... Правда, тетя, он мне к лицу.

Сняв мундирчик, повесив его на спинку стула, он начал тщательно чистить его щеткой.

В отдельном кабинете ресторана «Прага» Сергей Иванович Танеев ужинал со своим приятелем-генералом, любителем музыки. Сергей Иванович был не в духе, сердито разрезая балык, он говорил:

— Вчера в концерте по требованию публики дважды повторили Вагнера... Из «Тристана и Изольды»... А ведь пакость-то какая, ведь пакость-то... Падешие какос... Словно не было Моцарта и Гайдна. И эту гадость из «Тристана» всю целиком опять сыграли... Такой ужас... Вот прав был Петр Пльич Чайковский, который говорил, что Вагнер — это пакостный хроматизм... И пусть мы в консерваториях... Я, Танеев, трижды повторяю: пакость, пакость, пакость... — и Танеев засмеялся своим пкающим смехом.

— Да, — говорил генерал, так же царезая башку и поблескивая при этом большим изумрудным перстнем. — Я с вами полностью согласен, Сергей Иванович. Но если по сути, то падешие началось еще с Бетховена. Будьте последовательны, еще с Бетховена... Бетховен — праотец Вагнера.

— Ок вы, — засмеялся Танеев. — Ну, Бетховен уж ни при чем... Конечно, божественного там нет... Это не Моцарт... Но уж вы слишком...

Он посмотрел на часы.

— Мне пора... Я ведь теперь в Консерватории директор... Власть.

— Кстати, — сказал генерал, — можно ли привести к вам маленького талантливого музыканта?

— Кто же это? — спросил Танеев, вытирая губы салфеткой. — Небось, тоже вагнерист... Они теперь с колыбели Вагнера любят.

— Нет, — сказал генерал, — очень милый мальчик, внук Александра Ивановича Скрябина, полковника артиллерии.

— Что ж, — сказал Танеев, — привезите, посмотрим...

В большой холостяцкой квартире Танеева на стульчике у рояля сидел Саша Скрябин, маленький, бледный кадеттик. Сергей Иванович, поглядывая на мальчика с улыбкой и даже, кажется, подмигивая ему, говорил взволнованной Любови Александровне:

— Слух превосходный, очевидные способности. Правда, пальцы слегка слабоваты... Но в конце-то концов... Вы летом на даче?

— Да, мы в Ховрино, — торопливо, точно от этого что-то зависело, сказала Любовь Александровна, — по Николаевской железной дороге.

— Очень хорошо, — сказал Тапсев, — прекрасная местность... Пруды... Соловьи... В Ховрино я вам порекомендую юношу, который, кстати, нуждается в заработке... А зимой в музыкальную бурсу к Николаю Сергеевичу Звереву... У него там чудные детки — Леля Максимов, Сережа Рахманинов, Мотя Пресман... Ружейный переулочек...

Он взял лист бумаги и написал, одновременно произнося вслух:

— Николай Сергеевич Зверев, профессор младших классов консерватории...

В большом зале Благородного собрания звучали аплодисменты. Это был дневной ученический концерт. На краю сцены стоял Саша Скрябин, уминаясь успехом, вынавшим на его долю. Он только что сыграл Шумана, а на бис — Листа... Саша Скрябин был в ту пору уже юношей с лицом обострившимся, потерявшим детскую округлость, детскими оставались лишь улыбка и глаза мальчика, привыкшего к успеху, баловству и почитанию и воспринимавшего сейчас аплодисменты и восторги радостно, но несколько самонадеянно.

В зале, рядом с двумя красивыми девушками, сидел Мотя Пресман, на этот раз в концерте не участвовавший, и говорил:

— Это Саша Скрябин... Особенно обожает Шопена... Загнуть не может, если не положит сочинения Шопена себе под подушку...

В антракте Мотя подвел девушек к Скрябину и сказал:

— Разрешите представить — Саша Скрябин... А это Ольга и Наташа.

— Как чудно вы играли сегодня *Papillons* Шумана, — подняв восторженное лицо, сказала Наташа.

Она была в платье гимназистки и ей было лет пятнадцать, не более.

— И Листа вы чудно... Спасибо вам за удовольствие.

Саша Скрябин посмотрел на Наташу долгим взглядом, он был явно влюблен в первые же минуты, и это выразилось в том, что самонадеянность, вызванная успехом и аплодисментами, исчезла и явились робость и застенчивость.

— Извините, как вас по отчеству? — спросил он.

— Наталья Валерьяновна, — так же робко ответила девушка.

— Многоуважаемая Наталья Валерьяновна, — сказал Скрябин, не спуская с девушки радостных, как бы опьяненных глаз, — я рад, что сумел доставить вам хотя бы мимолетное удовольствие.

— Но мы слышали, — сказала Ольга, которая была постарше и поактивней, — что ваш любимый музыкальный бог все-таки не Шуман, не Лист, а Шопен... Однако как можно в наш век общественных движений считать богом салонного композитора?

— Ах, нет же, — сказал Скрябин, по-прежнему глядя на Наташу, — как вы ошибаетесь... Шопен — это вечность, ибо вечность — это любовь, в которой главное не страсть, а нежность...

Вечером в глухой аллее городского сада, куда едва долетали звуки оркестра из танцевальной раковины, Саша Скрябин говорил, держа Наташу за руку, говорил искренне, но в то же время как бы в ритме декламации.

— Наталья Валерьяновна, вы мой мир, моя свобода, моя вечность... Я не переживу момента разлуки, если злой рок того пожелает.

— Не говорите так, Александр Николаевич, — отвечала Наташа. — Ваш путь — это путь гения, я знаю. Но ведь вы сами сказали, что гений — это центр вселенной. А я простая девушка. Разве я гожусь в жены гению?

— Нет, Наталья Валерьяновна, — говорил Скрябин, глядя в звездное небо, — вы из тех, кто способен быть в центре вселенной.

— Но меня пугает, — сказала Наташа, — что вы отрицаете Бога... Маман отказала от дома студенту Слободкину, который ухаживал за Ольгой, из-за того, что тот социалист и против Бога.

- Гений выше Бога, — сказал Скрябин, — я это недавно понял... Гений — вечное отрицание себя в прошлом... Гений — жажда нового... история человечества есть история гениев...

В доме Танеева Скрябин показывал недавно написанный им фортепианный концерт. Лицо Скрябина еще более осунулось, то ли от болезни, то ли от усталости, кожа приняла зеленоватый оттенок, а нос казался совсем уж сильно вздернутым, и подбородок — сильно раздвоенным.

Это только две первые части, — говорил Скрябин рассеянно то ли здесь сидящим, то ли неким отсутствующим и невидимым собеседникам, — финал еще не написал.

И он принялся наигрывать отрывки.

Сергей Иванович Танеев сидел за столом, а в кресле-качалке расположился молодой человек, музыкант и начинающий музыкальный критик Леонтий Михайлович.

- Ну, что ж, Саша, — мягко сказал Танеев, когда Скрябин кончил показывать отрывки, — не касаясь существа, могу отметить пока погрешности чисто технические... Если вы оставите партитуру, я с удовольствием... Помните ваш ноктюрн? — Танеев засмеялся. — Нехорошо, нехорошо кончать сочинение в положении квинты, это пусто звучит.

- Простите, — сказал Леонтий Михайлович, посмотрев на Скрябина, — а как именно вы относитесь к Вагнеру, если не секрет?

- Вагнер бесформен, — не глядя на собеседника, сказал Скрябин, — и потому увлекать не может.

— У нас у всех, — сказал Танеев и засмеялся своим икающим смехом, — у нас ненависть к Вагнеру априори... На основании понурри из Рейнгольда... Это я недавно обнаружил... А вы, Саша, пойдите в консерваторскую библиотеку и возьмите партитуру и клавир аусзуг «Гибели богов»... Я это уже проделал по совету Николая Андреевича Римского-Корсакова... Очень любопытно... Там музыкой яблоки изображаются, и меч, и еще что-то такое... Да не теперь, не сразу. — заметив, что Скрябин встал и собирается, сказал Танеев. — Широга хоть с капустой поешьте, сочинение няньки моей Пелагеи Васильевны.

— Нет, мне пора, — сказал Скрябин и, раскланявшись, вышел.

— Обиделся он, что ли, — пожав плечами, сказал Танеев и, обернувшись к Леонтию Михайловичу, спросил: — Ну как вам, Лелецька?

— Музыка на меня не произвела никакого впечатления, — сказал Леонтий Михайлович. — Так это так-то пишет отрицающий Вагнера... Разжиженный Шопенчик, и все тут... Да и особой интеллигентности в лице его нет... Обычный консерваторский молодой человек... Развязный, но с художественным самомнением... Никакой скромности... В общем, некультурный элемент.

— Он очень талантлив, — тихо сказал Танеев, — но он всех отрицает... Этакая юношеская бодливость... И кроме того, он как-то там хочет соединять философию с музыкой... Я только не понимаю, как он соединяет философию, ведь он же ее не знает... Звуками хочет мировой дух вести к самоутверждению.

— Бедный мировой дух, — засмеялся Леонтий Михайлович. — Мировой дух, который нуждается в самоутверждении... Все это офицерская философия... Это из кадетского корпуса философия.

— Он очень способный, — сказал Танеев, — но у него эта модная страсть к оригинальничанию, чтоб ничего толком и в простоте... Все вверх ногами.

В ресторане «Эрмитаж» за столом, уставленным множеством бутылок и едой, сидели Сафонов и Скрябин. Движения обоих уже были несколько размашисты и тяжелы.

— Пойми, Саша, — говорил Сафонов, глядя в упор на Скрябина, — у них группа, партия... И в консерватории, и в музыкальном обществе. Вождь — Танеев, вице-канцлер — известный тебе Аренский... И прочие, и прочие... Большинство парламентских мест у них... Кумир, авторитет, идол — Чайковский. — Сафонов разлил вино по бокалам. — Кого Чайковский отвергает, тех вон... Чайковский не любит и считает вредным Мусоргского, значит, вон Мусоргского, называет пакостью Вагнера — значит, вон Вагне-

ра... Да что там Вагнер... Они даже академического Брамса отвергают, потому что его не любит Чайковский...

— Насчет Тансева вы, Василий Ильич, уж слишком, — сказал Скрыбин, отпивая из бокала и откусывая кусок рябчикаю. — Сергей Иванович, конечно, консерватор, но человек доброжелательный, искренний.

— Как ты наивен, Саша, и что это за либеральные словечки... Доброжелателен, искренен... Я, Саша, донской казак... Сын казачьего генерала... Ты также из офицерской среды... Мы — военное дворянство, мы должны более твердо смотреть на бытие... Милейший, — сказал Сафонов подошедшему официанту, — принеси расстегаев, семги, ухи покренче... И шампанского побольше... Четыре, нет, десять бутылок... У нас долгий разговор... Мы всю ночь до утра сидеть будем.

— Как можно-с, всю ночь... Не велено-с...

— А ты запри нас на ключ — утром отопрешь. — И он сулил официанту денежную кушору.

Была глубокая ночь, множество бутылок загромождало стол. Скрыбин говорит:

— Вчера я получил письмо от Николая Андреевича Римского-Корсакова. Оно меня немного опечалило. Он любезно согласился просмотреть партитуру концерта, но неужели только для того, чтоб заявить: оркестровка слабая... Ведь легко сказать: учишь инструментовке, а способ только один — это слушать свои сочинения в исполнении... Но меня не исполняют... Фантазировать я горазд, такой узор выведу, и самому Римскому-Корсакову не спилось... Да что там... Я считал Римского-Корсакова добрым, добрым, а теперь вижу, что он только любезен.

— Дорогой Саша, — сказал Сафонов, — мне известен этот прискорбный случай, но известен со всех сторон... Я ранее не хотел касаться, но раз уж ты сам... А знаешь, что написал, передавая Лядову концерт, Римский-Корсаков? «Посмотрите эту пакость, это свыше моих сил... Я не в состоянии возиться с этим слабоумным гением»... Это с тобой, Саша...

— В вечности все сливается и все пребывает, — сказал Скрыбин. — Но так трудно прожить хоть одно мгновение не

бытово, не скучно, без мешанского пессимизма... Этот венок из смеха, этот венок из роз, вам, братья мои, бросаю я этот венок... Смех освятил я... О высшие люди, учитесь у меня смеяться... Как говорит плясун Заратустра... Смех и радость — вот цель искусства, ведущего в будущее...

Был рассвет, у Сафонова еще больше набрякли мешки под глазами. Лицо Скрябина было измученным и поблекшим.

— Ах, Василий Ильич, — устало говорил он, — сколько планов и надежд, какие мечты... Я жить хочу, я действовать хочу и побеждать.

— Тебе надо в Петербург, Саша, — говорил Сафонов. — Ты все видишь милых людей, они тебе кажутся в каждой поворотке... И Танеев милый, и Римский-Корсаков милый, и Рахманинов милый, и Лядов замечательный... А в Петербурге действительно есть милый человек, не музыкант, унаси Бог, но музыку любит и понимает... Митрофан Петрович Беляев, лесопромышленник... Повезем ему твои сочинения... Покторни оратории девять, Прелюдию оратории два и Ораторию одиннадцать си-бемоль. Еще кое-что повезем... Организуем концерты... Созовем музыкальный консилиум... И явится новая восходящая звезда — Скрябин, pianist и композитор... Ура!

Загребел ключ во входных дверях ресторана. Официанты расставляли приборы на столах, с неодобрением глядя на двух мятых ночных гуляк.

Утренний снег был ослепителен для красных от бессонницы глаз. Сафонов в расстегнутой тяжелой шубе подвигал трость, остановил сани.

— А сегодня, Саша, — говорил Сафонов, усаживаясь рядом со Скрябиным в сани, — отдохнешь, повезу тебя в один милый дом в Гнездиновском тушке... Новый профессор консерватории Павел Юльевич Шлёцер... Слышал... Давно тобой интересуется... Дорогой Саша, у тебя впереди великая всемирная жизнь... Ты все завершишь и все подытожишь...

— Я знаю это, — просто сказал Скрябин.

...У Шлёцеров музицировали. Вернее, сам хозяин, Павел Юльевич Шлёцер, сидя за роялем, наигрывал куски, которые, по его словам, особенно были дороги в его исполнении Рубинштейну и Листу. У Павла Юльевича было лицо доброго веселого хвастуна и фантазера. Ида Юльевна, сестра его, седая дама, напротив, имела вид практичный и решительный. Здесь же была молодая барышня, нежная и застенчивая, и маленькая востроглазая девочка, очень живая, поминутно вскакивающая со стула, что-то интуитивно и вообще всячески создающая беспорядок.

— Какие имена, — говорил Павел Юльевич, — какое звучание... Рубинштейн, Лист... И Антона, и Ференца я видел рядом, я ощущал их великие жизни, они любили меня... А ныне кумир консерватории — Рахманинов... Величия нет в фамилии... Рубинштейн — гром небесный, Лист — святая молния...

— Павел, — сказала Ида Юльевна, — надо бы кончить воспоминания о самом себе... Скоро явятся гости, а у нас беспорядок... Танюша — спать... Верочка, вы бы приделались...

— Да, гости, — сказал Шлёцер, — вот посмотрите, какой превосходный композитор объявился — Скрябин... Это не то, что Рахманинов... Тот списывает себе Вагнера и думает, что он Чайковский...

В передней раздался звонок.

— Они, — сказала, заметавшись, Ида Юльевна.

Скрябин и Сафонов были красными с мороза, оба в сюртуках.

— Я привез вам мое сокровище, — обнимая Скрябина за плечи, сказала Сафонов.

— Ждем вас с нетерпением, — чрезмерно, до мельканья в глазах оживленная, говорила Ида Юльевна. — Брат мой, Павел Юльевич, профессор консерватории... А это наша Верочка... Ученица консерватории... У Павла Юльевича. Отец Верочки, Иван Христофорович, доверил нам Верочку как самый дорогой свой капитал. Верочка живет в нашей семье, как родная дочь... Она из Нижнего Новгорода.

— А я из Пятигорска, — вдруг выскочила вперед востроглазая девочка.

— Это моя племянница, — улыбувшись, сказала Ида Юльевна, — брата моего Федора дочка, Танечка... Гостит у нас.

— С Верой Ивановной мы уже знакомы, — сказал Скрябин, — но мимолетно... Теперь я вспомнил... Мы познакомились на ученическом вечере в память Николая Рубинштейна. Когда вы играли, Вера Ивановна, я подумал: вот, наконец, шаншетка, которую я смогу с удовольствием слушать...

— Благодарю вас, — сказала Вера, и лицо ее и шея красивая шея густо покраснели.

— Ведь она же моя ученица, — сказал Павел Юльевич. — Превосходная шаншетка... Пророчу ей золотую медаль...

— Верочка вообще чудесная барышня, — сказала Ида Юльевна, — красавица наша...

Вдруг Скрябин невольно оглянулся. Из дальнего угла на него смотрели острые и темные глаза маленькой Татьяны Федоровны.

Скрябин и Вера Ивановна были одни в небольшой комнате, куда сквозь приоткрытые двери доносился шум застолья и время от времени — громкий смех Павла Юльевича. Оба сидели на диване, и Скрябин говорил:

— Работаю я много, жизнь же веду, надо сознаться, крайне нездоровую, ложусь поздно, иногда в четыре утра, встаю большей частью с тяжелой головой, много нервничаю, ну да, верно, такой уж мой удел... Совсем я завеселился.. Вернее, не завеселился, а забегался и разнервничался... Ложь для меня невыносима... Есть вещи, к которым нужно относиться серьезно. И уж, во всяком случае, объяснять почему необходима ложь, если она порождается...

— Как же несправедлив мир, — тихо сказала Вера Ивановна, — если такой прекрасный, такой святой человек, как вы, Александр Николаевич, не имеет счастья.

— Но какое же счастье без Натальи Валерьяновны, — чуть ли не вскричал Скрябин. — Ах, Вера Ивановна вы не знаете ее... Наталья Валерьяновна — спасительница. Мои слова о ней — это голос больной измученной души...

Он вдруг выхватил спрятанный на груди засушенный цветок и поцеловал его.

— Это от нее, — сказал он после паузы. — Она знает, что я люблю цветы, и шлет мне цветы... Да возможна ли жизнь, возможно ли дыхание без Натальи Валерьяновны... Вера Ивановна, если бы вы видели ее лицо, ее небесные глаза, ее улыбку...

— Она, видно, очень любит вас, — тихо сказала Вера Ивановна и с ласковой печалью посмотрела на Скрябина. — Возможно ли живое существо, которое бы не отвечало любовью на такую любовь, как ваша... Поверьте, Наталья Валерьяновна очень вас любит... Кого же еще, как не вас, любить на этом свете, Александр Николаевич...

Скрябин поднял голову, и они с Верой Ивановной посмотрели друг на друга долгим взглядом.

\* \* \*

Кто бы ни был ты, который наглумился надо мной, который ввергнул меня в темницу, восхитил, чтобы разочаровать, дал, чтобы взять, — я прощаю тебя. Я все-таки живу, люблю жизнь, люблю людей. Я иду им возвестить мою победу над тобой и над собой, иду сказать, чтобы они на тебя не надеялись и ничего не ожидали от жизни, кроме того, что сами могут себе создать.

*А. Скрябин. Записи*

Скрябин стоял перед зеркалом, совершая туалет, очевидно, собираясь куда-то идти. Он заметно постарел, завел небольшую бородку и усы, но глаза были все те же, скрябинские, молодые и с несколько отсутствующим опьяненным взором.

— Вушпучка, — сказал он вонедней с четырехлетней девочкой на руках Вере Ивановне, целуя ее и девочку, при-

чем не переставая массировать лицо, — Вушука, я был на репетиции Прелюдии, и представь мою радость, она звучит очень хорошо. Римский-Корсаков был непривычно мпл, прошел почти все инструменты отдельно, занимался целый час. — Он поправил галстук. — Вушука, ты не находишь, что этот жилет не сочетается с галстуком? Мне кажется, стопт надеть клетчатый.

— Ты будешь ужинать, Сапа? — устало спросила Вера Ивановна.

Она располнела, побледнела и на по-прежнему нежном лице ее были заметны следы частых тревог.

— Кстати, — говорил Скрябин, на ходу переодевая жилет, — концерт прошел не без приключений... Тебе, вероятно, известно, что Настя Сафонова очень больна... Так вот, в день симфонического Василий Ильич получил две телеграммы с весьма тревожными известиями и потому сильно взволновался. Это отразилось, конечно, на аккомпанементе... Ты только ему ничего не говори... Во время исполнения первой части мы непрерывно должны были друг друга ловить.

В это время из детской раздался плач младенца, к нему присоединился плач детей постарше, как бы перекликаясь, заплакала и Риммочка. Скрябин поморщился, а Вера Ивановна торопливо пошла в детскую.

— Левунка проснулся, — сказала она, выходя через некоторое время уже без Риммочки.

— Премню мне, Вушка, присудили, пятьсот рублей, — говорил Скрябин, затыкая крахмальную салфетку за ворот рубашки и ложечкой разбивая яйцо, — за участие в симфоническом выдали двести; авторские я получу еще пятьдесят рублей... Если б каждый раз так, то службу в консерватории можно было бы оставить... О, как это все надоело, — сказал он, вскочив из-за стола, но тут же снова усаживаясь, — имея семью в шесть человек, четверо детей... Вушка моя, а ведь знаешь, какое я дело задумал... Я философскую оперу хочу создать... В центре творец-художник, поднявшийся над миром... Все, что делалось мной до сих пор, ничто по сравнению с моим замыслом... Ведь правда, это прекрасно, ведь правда — дивно?

И он снова вскочил.

— Не знаю, Саша, — сказала Вера Ивановна, — меня всегда пугали твои попытки связать музыку с философией и религией...

— Но ведь в этом суть, — вскричал Скрябин и прямо с салфеткой подбежал к роялю, начал наигрывать с блестящими глазами. — Вот ранние престо, вторая часть... юношеская соната эс-бемоль... Правда, ты говоришь, что это хорошо... Ты это нарочно говоришь...

— Это, Саша, очень хорошо, — сказала Вера Ивановна, — когда ты живой, когда ты музыкант, когда нет философствующих отвлеченностей.

— А вот послушай... Я тебе сыграю коротенький отрывок... Он еще не на бумаге... Это мое последнее... Разве это можно сравнить с моей сонатой *es-moll*... То детский лепет...

— Мне не нравится, — сказала Вера Ивановна, когда он кончил.

— Почему?

— Тут ты опять не Скрябин, а хитроумный Одиссей...

— Это потому, что ты ничего не понимаешь, — сердито сказал Скрябин.

— Очень может быть, — сказала Вера Ивановна, — но я считаю, что музыка должна быть искренна, непосредственна... Как Третья твоя соната, например... А здесь надуманная сложность... Холод...

— Разве это надуманно? Вот, послушай... тут пять тем... Вот первая, — он басом начал напевать первую, — вот вторая, ей встречная, вот третья, вот четвертая им противоречит, вот опять первая, уже измененная, все поглощает, над всем господствует...

— Темы хороши сами по себе, — сказала Вера Ивановна, — но, так переплетаясь, они образуют какофонию, утомляющую ухо...

— Ты дерзкая девочка, — сказал Скрябин, но, скорей, мягко и покровительственно, чем грозно, — как ты смеешь мне это говорить... Впрочем, мне пора.

Он надел сюртук и, подойдя вновь к зеркалу, принялся себя осматривать уже в сюртуке.

— Ты куда, Саша? — спросила Вера Ивановна.

— Что? — сказал Скрябин. — Как, разве я тебе не говорил... Приехали племянники покойного Павла Юльевича Шлёцера... Замечательные люди. Остановились в меблированных номерах «Принц»... Недалеко... Газетный переулок... Танюша, девочка, стала Татьяной Федоровной... Ты, Вушка, ахнешь, когда увидишь... Милая, умная, хочет заниматься музыкой... А Борис Федорович вообще умница.. У меня с ним много общего в философском плане... Я, может, сегодня поздно... Так что сейчас детей поцелую.

Он пошел в детскую, где спало четверо детей -- три девочки и годовалый мальчик Левушка, и осторожно поцеловал их всех, касаясь губами лобиков и крестя.

Особенно же задержался над любимницей своей, Риммочкой, поправив одеяльце. Вера Ивановна стояла в дверях, с трудом сдерживая слезы.

В тесном меблированном номере, стоя посреди комнаты и сложив руки на груди, Скрябин говорил:

В первом акте оперы герой-поэт сидит в своем кабинете и перед ним проносятся ряд видений, потом гонения судьбы, проза жизни, может быть, тюрьма...

Татьяна Федоровна была молодая девушка маленького роста, с черными острыми глазами, в которых сейчас, впрочем, были искренний восторг и восхищение. Борис Федорович был старше сестры и, напротив, роста высокого, да и вообще на сестру не очень похож.

— Идеализм должен быть конкретен, — говорил он. — Абстрактный идеализм страшится разума... В вашем замысле, Александр Николаевич, есть мистицизм, но нет страха перед разумом, и потому это гениально.

— Это чудно, — грассируя, сказала Татьяна Федоровна. — Вы знаете, Александр Николаевич, четырнадцать лет, гимназисткой, живя в глуши, на Кавказе, я впервые познакомилась с вашими сочинениями... А когда Борис привез вашу Третью сонату, я сразу поняла, что вы выше Вагнера.

— Мой нынешний замысел гораздо обширнее. В нем должна быть всемирность... Я бог! — вдохновляясь, продекламировал он. — Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина, я бог, я расцвет, я блаженство, я пожар, охвативший вселенную, я слепая игра разошедшихся сил... Я сознание успевшее, разум угасший.

Подбежав к роялю, он взял несколько сильных аккордов.

— Рассудок мой, всегда свободный, мне утверждает: ты один... Ты — раб случайности холодной, ты всей вселенной господин. — И он снова взял несколько аккордов.

Однако в тот момент застучали в дверь. На пороге явилась какая-то дама в панпльотках и капоте.

— Господа, — сердито сказала она, — по правилам мебелированных комнат позже одиннадцати вечера играть не полагается. — У меня дети спят. Я жаловаться буду.

И она захлопнула дверь.

— Какое святотатство, — с возмущением сказала Татьяна Федоровна, — запретить играть Скрябину.

Скрябин захохотал и сказал:

— Коли уж вам так хочется меня послушать, пойдете ко мне домой.

В гостиной у Скрябиных Александр Николаевич играл свою Третью сонату. Хрустящая, утонченная до прозрачности мелодия царил в комнате, но каждый из слушателей чувствовал в ней свое. Татьяна Федоровна не столько слушала музыку, сколько восторженно смотрела на исполнителя. Впрочем, для нее небесная мелодия как бы материализовалась в этом человеке в пестрой жилетке, с бородкой и пышными усами. Вера Ивановна сидела с печальным и усталым лицом. Борис же Федорович выражал глубокомыслие, делая в блокноте какие-то заметки. Пробыло два часа ночи, а Скрябин все играл и играл.

На очередной музыкальной ассамблее у Сергея Ивановича Танеева говорили о Скрябине, нынешнем возмутителе спокойствия. Были здесь люди известные, малоизвест-

ные и вовсе неизвестные, всего десятка три. Кроме самого хозяина были здесь Лядов, Аренский, Рахмапинов, с мрачным, демоническим видом сидевший в стороне, знакомый нам молодой критик Леонтий Михайлович и прочие дамы и господа.

— Господа, — горячо говорил Леонтий Михайлович, — лично меня раздражает даже сам факт, что симфония Скрябина почему-то в шести частях... и с хором в финале... С места в карьер... Сразу под Девятую симфонию Бетховена... Не более не менее...

— Нет, господа, — сказал Аренский, и на полутатарском лице его явилась язвительная улыбка, — я решительно настаиваю, что в афише ошибка... Следовало вместо «симфония» напечатать «какофония»... В этом, с позволения сказать, сочинении тридцать-сорок минут тишина нарушается пагромом друг на друга без смысла диссонансами... Это не симфония, а именно нарушение тишины.

Уши отдыхают в антракте, когда музыканты настраивают инструменты, — поддакнул кто-то из второстепенных и захохотал.

Несколько человек, также из второстепенных, его поддерживали.

— Неудивительно, что в публике кричали: долой с эстрады, — сказал кто-то.

— А все Танеев, Сергей Иванович, — сказал Аренский. — Наш любимый друг, чья доверчивость и простодушие вошли в поговорку... Во-первых, в качестве профессора Сергей Иванович пригласил казачьего есаула Сафонова, тот, разумеется, сразу же Скрябина на щит, свел его еще с одним милым, доверчивым человеком, Митрофаном Петровичем Беляевым, благо милые, доверчивые люди у нас на Руси в избытке, и пошла писать губерния... Глинковская премия, зарубежное турне... А что здесь показывать за границей, господа?. Ведь прав Цезарь Кюн: Скрябин — это украденная шкатулка с неизвестными рукописями Шопена.

— Ну, уж ты, Антоний, тоже чересчур, — сказал Танеев. — Кюн вообще все чужое не по вкусу, особенно если оно авторитетами не освящено... А вот Стасов, например...

У меня со Стасовым был как-то разговор, и он мне сказал, что просто удивлен, сколько людей восстановлено против Скрябина...

— Да, Стасову лишь бы поновей и чтоб на солнце блестело, — вскричал Аренский. — А ты у Толи Лядова спроси... Ему Беляев удружил, поручил просмотреть корректуру скрябинской симфонии... Праще Толе чужое белье стирать.

— Это верно, удружил дорогой Митрофан, — добродушно захохотал Лядов. — Двенадцать дней в поте лица трудился... Ну уж и симфония... Скрябин смело может подать руку Рихарду Штраусу... господи, да куда же девалась музыка... Со всех концов, изо всех щелей лезут декаденты... Помогите, святые угодники... Я избит, избит, как Дон-Кихот пастухами... После Скрябина Вагнер превратился в грудного младенца со сладким лепетом... Куда бежать от такой музыки...

Вдоволь поговорившись и похотавшись, Лядов вытер глаза платком.

— Не понимаю, Анатолий Константинович, -- сказал Аренский, -- как ты согласился дирижировать таким вздором... Я пошел послушать, только чтоб посмеяться... И все это издастся, поощрится, оплачивается... А ведь милейший Митрофан Петрович Беляев ни разу не подумал издать, например, Сережу Рахманинова... В то время как беспрерывно издастся скрябинский вздор.

Он посмотрел в сторону мрачно сидевшего Рахманинова.

— Нет, Антоний Степанович, -- сказал Рахманинов, -- Скрябин не вздор. Я и сам ранее думал, что Скрябин просто самоуверенный свинтус... А оказалось, композитор... Скрябин композитор, господа. Это музыкант Божьей милостью...

На ужине-ассамблее противоположной партии были все те же малоизвестные и неизвестные, но уже примелькавшиеся лица. Сафонов говорил Леоптию Михайловичу и еще одному околмузыкальному деятелю Юлиану Сигизмундовичу:

— Скрябин не Шопен, он умнее Шопена. Это Рахманинова невозможно воспринимать вне орбиты Чайковского. Скрябин же личность самостоятельная.

— Но все-таки что-то вроде Шопена, — не сдавался Юлиан Сигизмундович.

— Что такое — вроде Шопена? — вскричал Сафонов. — Не вроде Шопена, а вроде Скрябина. Скрябин умнее Шопена, я сколько раз это говорил и говорю теперь... Удивляюсь я этому Сергею Ивановичу Танцеву, учит вас всякой дребедени, наверное, нидерландцев-то своих любимых всех перенял... Зарылся в старье, а жизни новой не видит... Саша Скрябин большой, большой композитор, — сказал он после паузы, — большой пианист и большой композитор...

— Василий Ильич просто пристрастен к Скрябину, — сказал тихо Леонтий Михайлович, когда Сафонов отошел. — Ученик его... Сам гений, жаль, не явился.

— Еще явится, — сказал Юлиан Сигизмундович, — он и во втором часу ночи может явиться... О нем бог знает что говорят... Вы обратили внимание на его модные бачки и особенно на глубокую впадину на подбородке?... Хе-хе... С таким эротичным раздвоенным подбородком творческие музы обычно, хе-хе... Миленькие, молоденькие... Жена и четверо детей уже не вдохновляют... Хе-хе-хе...

В третьем часу ночи явился Скрябин. Все, даже те, кто злословил, заплодировали. Сафонов, нежно обняв Скрябина, сказал:

— Саша Скрябин ведь у нас непростой... Вы его побаивайтесь, он что-то замышляет.

Скрябин имел зеленватый, очень пизуренный, утомленный и потасканный вид.

— У Саши теперь шестеро детей, — сказал весело Сафонов, — три девочки, мальчик и две симфонии... К тому ж он у нас пиццеедец, увлекается сверхчеловечеством... Вот какие страсти...

— Гораздо труднее делать все то, что хочется, чем не делать того, что хочется, — туманно и как-то рассеянно сказал Скрябин. — Я считаю, что делать то, что хочется, благороднее и предпочтительней.

— Вот я на Скрябина какой акростих написал, — улыбаясь сказал Сафонов и прочел:

Силой творческого духа  
К небесам вздымая всех,  
Радость взора, сладость уха,  
Я для всех фонтан утех.  
Бурной жизни тревоженья  
Испытав, как человек,  
Паноследох, без сомненья,  
Ъ-монахом кончу век.

Все засмеялись, зааплодировали.

— Правда, Саша, хорошо, — смеялся Сафонов, — акростих... Из первых букв каждой строки составилаь твоя фамилия... Я особенно дорожу этим Ъ-монахом... А вот еще недурно — «фонтан утех»... А вы как находите, господа?

— А почему это вы Александра Николаевича в Ъ-монахи записали? — смеясь, спросил Юлиан Сигизмундович. — Что общего у Скрябина с монастырем?

— А вот вы его не знаете, — сказал Сафонов, — Саша у нас святой человек... Жизни, правда, он не очень святой, но тем более вероятности, что станет Ъ-монахом. Ведь перомонахи всегда сначала пагребшат, а потом проходят курс святости... нет, это я так говорю, а на деле ведь Саша у нас очень любознательн... Вот вы с ним не говорили, а поговорите с ним не так, за ужином, а по-настоящему — вот он вам на бобах-то и разведет... Он ведь у нас ницнеашец и мистик.

— Что-то вид у Александра Николаевича не мистический, — смеясь и грозя шутливо мизинцем, говорил Юлиан Сигизмундович.

— Вам нужно, чтоб уж все сразу было, — сказал Сафонов. — Вот поступит в перомонахи, и вид мистический будет.

И он с любовью поцеловал Скрябина в осунувшуюся щеку.

— Знаешь, Танюшка, — сказал Скрябин, — лучше мы с тобой будем заниматься опять в меблированных комнатах, а не у меня... Вере нужен рояль.

— Понимаю, — сказала Таня. — Не надо было мне вовсе являться к тебе в дом.

— Нет, — сказал Скрябин, — это было бы пехорошо... Я не мог тебя не пригласить как джентльмен... Иначе все наше знакомство имело бы вид заигрывания на стороне...

— Удивительно, Саша, — сказала Таня, — как ты мудр в творчестве и наивен в быту... Ты, Саша, в последнее время особенно нервен, по пытаешься скрыть... У тебя с Верой Ивановной давно уже нет психического контакта... Так за что же она меня ненавидит?..

— Ты не права, Тапока, — сказал Скрябин. — Вера благородная и честная женщина, она мой искренний друг... Но все должно разрешиться... надо ехать за границу, там все проще... У меня есть надежда достать денег. Маргарита Кирилловна Морозова, моя бывшая ученица, мне обещала денег... И тогда я оставлю проклятое профессорство в консерватории... Поеду с семьей в Швейцарию... И ты поедешь туда лечиться... У тебя ведь легкие слабенькие... А ты должна быть у меня здоровенькая, Тапока моя...

И в каком-то проходном дворе, среди сугробов, они жадно начали целоваться.

Вера Ивановна и Маргарита Кирилловна Морозова сидели в плетеных креслах на увитом плющом каменном балконишке. Вера Ивановна устало говорила:

-- Саша всего на неделю собирается в Париж, по это, пожалуй, надолго... Очень надолго... И все-таки я хочу верить, что Саша ко мне когда-нибудь вернется... Я знаю, это может случиться только в том случае, если не станет моей соперницы, слишком сильно и крепко она его держит и никогда не отпустит... Впрочем, ведь она его тоже очень любит, я знаю... Да и как не любить Сашу.

-- Она его любит ради себя, — сказала Морозова, — а ты, Верочка, его любишь ради него... Жаль, что в бытии Александр Николаевич так слеп, а временами эгоистичен.

-- Нет, нет, Маргарита Кирилловна, — сказала Вера Ивановна, -- ко мне Саша по-прежнему относится с большой любовью и нежностью, очень заботится обо мне и детях...

А может быть, все к лучшему... Может быть, это даст толчок мне встряхнуться и сделаться самой человеком... Я ведь этот год играла и сделала порядочные успехи, так что даже Саша советует мне осенью выступать публично... Конечно, я играю только Сашины сочинения, и цель моя — его прославить... Не знаю только, удастся ли мне это...

В верхней комнате у инанино сидела Вера Ивановна, а Скрябин стоял рядом и, слушая ее игру, говорил:

— Все должно жить... Пусть даже смазать в начале, но если закончить блестяще, получается впечатление чистоты, блеска... Как одно дыхание... Утонченность прежде всего... Шпоры, шпоры... Вот так лучше... Намного лучше...

— А ведь в Москве, Саша, — сказала Вера Ивановна, — я даже избегала играть при тебе... Да и ты предпочитал, чтобы я играла в твоё отсутствие.

— Ничего, — сказал Скрябин, — мы уже за лето почти все с тобой наверстали... Я рад, очень рад, что мне удалось с тобой пройти все свои сочинения, кончая опусом 42... Ты теперь в искусстве самостоятельна... Ведь приятна самостоятельность... Ведь верно, Вушка, дорогой ты мой дружок...

— Верно, Саша, — тихо сказала Вера Ивановна.

— Концерты в Париже так важны для меня. Для искусства я должен принести жертву... Я надеюсь показать там свою Четвертую сонату... Здесь впервые полная потеря телесного в музыке... Впервые мне удалось достичь...

Он сел рядом с Верой Ивановной и осторожно коснулся клавиш пальцами.

— ...призрачность, нежность, — говорил Скрябин, играя, — в Париже это оценят, это город Дебюсси... Намек... Понски Ничто, из которого это сделано... Но у меня основной образ — не легкость тумана, а звезда, мерцающая сквозь туманную прозрачность... То отдаляясь, то приближаясь... И в конце... Вызывает опьянение желанием, беспечное стремление к бесконечной дали... Тут тема должна стремиться к оцененным хрустальным звучностям...

Вера Ивановна с любовью смотрела на вдохновенное лицо Скрябина.

...На террасе кафе за отдельным столиком сидел Скрябин и что-то быстро писал карандашом в толстую тетрадь в синей обложке. Кафе располагалось на берегу озера, слышны были крики чаек и плеск волн.

«Если мир — мое творчество, — слышит Скрябин свой собственный задумчивый голос, — то как я создаю? Что значит, что я создаю? В данную минуту я сижу за столом и пишу. Время от времени я прекращаю эту работу и смотрю на озеро, которое прекрасно. Я люблю свет воды, игрой тонов, я гляжу на проходящих мимо людей, на одних почему-то более внимательно, чем на других... Я хочу пить и спрашиваю себе лимонада, — фиксирует Скрябин свои отношения с гарсоном, — я смотрю на часы и вспоминаю, что скоро время завтракать... Все это я сознаю. Если б я перестал сознавать все это, а сознание есть действие и труд, если б моя деятельность прекратилась, то исчезло бы все... Итак, я автор всего переживаемого, я — творец мира... Почему же этот созданный мною мир не таков, каким бы я хотел его иметь? Почему я недоволен и страдаю? Но, допустим, я создал мир, в котором мне ничего не остается желать, и в этом положении я буду находиться вечно... Можно ли представить себе это ощущение в довольстве? Неужели все попытки инквизиции не лучше, не менее мучительны, чем это вечное ощущение довольства?»

Широкоплечий человек с грубым обветренным лицом подошел к Скрябину и, поцеловав ему руку, сказал:

— Отец Александр, все уже собралось.

— Ах, Отто, друг мой, — улыбнулся Скрябин и поцеловал его в лоб.

Они плыли по озеру в старой рыбацкой лодке. Отто сидел на веслах. Местность становилась все более бедной, исчезла красивая набережная, берег был скалистым, то тут то там были рыбные сушильни и убогие домики рыбаков. На берегу стояла толпа людей с потемневшими от ветра лицами, с грубыми руками. В основном мужчины, но было и несколько женщин, также ширококостных и изнуренных физическим трудом. Одна из женщин даже держала на руках младенца.

— Друзья, — сказал Отто, поднимаясь в лодке, — отец Александр хочет сказать вам проповедь о том, как надо жить, и объяснить, зачем вы все живете на свете.

— Учение мое просто, — сказал Скрыбин, также поднимаясь в лодке, — оно в двух словах: люби и борись... Люби жизнь всем своим существом, и ты будешь всегда счастлив... Если ты некрасив и тебя гнетет это, борись, и ты победишь эту болезнь. Старайся быть подобным мне, и смотри на жизнь вообще как на твою личную жизнь. Старайся быть всегда простым и искренним. Не бойся свободы. Подчиняйся законам времени и пространства, ибо это твои же законы...

Вдруг женщина с младенцем о чем-то громко заговорила на латинском наречии, протягивая младенца.

— Что она хочет? — растерянно спросил у Отто Скрыбин.

— Это итальянка, — сказал Отто, — прачка... Она просит, чтобы ты вылечил ее мальчика.

— Но я не знахарь, — растерянно и сердито сказал Скрыбин, — и не чудотворец... Скажи ей, что я не знахарь и не шаман... Мое учение основано на всемирности и самодели человеческой личности...

Отто начал объяснять итальянке, но та, не слушая, вошла в воду, все протягивая с мольбой плачущего младенца, и что-то говорила.

— Она говорит, — перевел Отто, — мальчик простудился... Она берет мальчика с собой в прачечную, а там сыро и много крыс... Он заболел и ничего не ест.

Итальянка все пла, погружаясь в воду и поднимая младенца над головой.

— Я не шаман, — растерянно говорил Скрыбин, — ну, переведи же ей, Отто, может, ей денег, чтобы доктора или молока...

Он начал рыться в карманах.

Люди на берегу мрачно смотрели на жестикулирующего, растерянного проповедника. Скрыбин вышел на берег и пошел по тонкой тропинке мимо бедных закопченных лагуч, перепрыгивая через лужи. Он шел с обнаженной голо-

вой, шляпа его висела на пуговице сюртука. Вдруг откуда ни возьмись высыпала ватага веселых чумазных ребят. Показывая на Скрябина пальцами и хохоча, они побежали за ним толпой, кривляясь. Полетели огрызки яблок. Отто, прихрамывая, выбежал из-за лачуги и, схватив палку, угрозил ребятам. Те со смехом кинулись врассыпную. Скрябин шел, сторбившись, наклонив голову.

— Дорогая Маргарита Кирилловна, — говорил Скрябин, идя об руку с Морозовой по одной из женевских улиц, — вы, конечно, знаете, что на днях я еду в Париж... В Париже жизнь, праздник, искусство, а здесь скука и провинция. Сказать честно, швейцарцы меня разочаровали. Они слишком материальны и потому невосприимчивы к новым идеям... Итак, Париж... Но, разумеется, сколько трудностей и сколько опасений...

— Вы имеете в виду огласку ваших близких отношений с Марьей Васильевной? — сказала Морозова.

— И это тоже, — сказал Скрябин, — увлечение это мое было недолгим... Вера знает о нем, но мне бы не хотелось, чтобы о нем узнала Татьяна Федоровна... Она так ранима.

— А разве Вера Иваповна менее ранима? — спросила Морозова.

— Ах, Вера другое дело, — сказал Скрябин. — Это мужественная, зрелая, сильная женщина... Она мой друг... А Татьяна Федоровна совсем другое... У меня с ней другие отношения... Вы ведь женщина, вы должны понять... К тому же я имел неосторожность рассказать о столь важном событии моей жизни Сафонову... Вам известно, что мы в разрыве?

— Да, он мне с сожалением о том говорил, — сказала Морозова.

— Он мне враг, — сказал Скрябин. — Но вы, дорогая моя, сделайте все, чтобы не было грязных сплетен... вы сделаете это, да? Если бы это касалось меня, я бы не боялся... Но ради Татьяны Федоровны...

— Я сделаю все, что от меня зависит, — сказала Морозова.

— Вера вершит чудеса твердости и благоразумия, — сказал Скрябин. — Она сделает все, как я захочу.

Весь номер отеля был в цветах: цветы лежали на стульях, на столе, на рояле, пол был уставлен цветочными корзинами. Скрябин во фраке, до предела воспаленный и светящийся от счастья, ходил по номеру и, всплескивая руками, говорил:

— Как дивно... Ах, как дивно... Париж покорен... Париж у ног... Ужин, блеск, поздравления русского посла... Меня любят, мной гордятся... Еще в среду я был в *Vésenaz*, а в воскресенье Париж, мы уже вместе... Со свиданием тебя, Танюка... Со скорым, безумным, радостным свиданием...

Татьяна Федоровна в белом платье, с белым цветком в темных волосах сидела в кресле совершенно усталая от своего счастья.

— Я знаю, — сказала она, — сейчас лучшие наши минуты, они никогда не повторятся, и оттого мне немного грустно.

Скрябин сел и взял ее руку в свои.

— Начинается новая эпоха, — сказал он, — эпоха Татьяны Шлёцер. — И я ознаменую ее новым порывом... Движением к высшей грандиозности, к вершине, к экстазу... Так и назову — «Поэма экстаза»... Все, что было у меня до этого, — детский лепет... «Поэма экстаза» должна копаться морем радости, света и восторга, который затопит весь мир и остановит время.

Он снова вскочил и запагал по комнате.

— Я уже давно, я уже в тысячный раз обдумываю план моего нового сочинения... Каждый раз мне кажется, что канва готова, вселенная объяснена с точки зрения свободного творчества, что я могу наконец стать богом играющим и свободно созидающим. А завтра, наверное, еще сомнения, еще вопросы! До сих пор все только схемы и схемы! Но иначе нельзя! Для того громадного здания, которое я хочу воздвигнуть, нужна совершенная гармония частей и прочный фундамент. Пока в моем мышлении не придет все в полную ясность, я не могу лететь. Но время это приближается, я чувствую. Милые мои крылышки, расправляйтесь!..

Он поднял голову и раскинул руки, как бы раскрыл объятия.

— Вы понесете меня с безумной быстротой! Вы дадите мне утолить сжигающую жажду жизни! О, как я хочу празд-

ника! Я весь — желание, я — бесконечное! И праздник будет! Мы задохнемся, мы сгорим, а с нами сгорит вселенная в нашем блаженстве. Крылышки мои, будьте, вы мне нужны!

Он замолк, как бы задохнувшись от восторга, а потом, повернувшись к Татьяне Федоровне, крикнул:

— Пойдем, Таня... На улицы пойдем, на площади...

— Но уже поздно, — сказала Татьяна Федоровна, — ты устал, Саша...

— Я устал от тишины, — сказал Скрябин, — я хочу многолюдья... Пойдем в кафе, в ресторан... Я хочу там ухаживать за тобой...

Поздней ночью Скрябин и Татьяна Федоровна, усталые, шли по несколько уже притихшим парижским улицам.

— Дорогое мое, хорошее, — говорил Скрябин, — ты жалуешься, что не можешь найти новых слов любви и ласки, а я вот нахожу... Как тебя, я еще никого не ласкал.

Они вошли в отель, здесь консьержка подала Скрябину телеграмму.

— Конечно, из Швейцарии, — сказала Татьяна Федоровна, когда они вошли в номер и Скрябин распечатал телеграмму. — Что же от тебя хотят и чего требуют?

Скрябин ответил не сразу, он сильно побледнел.

— Римочка умерла от заворота кишок, — сказал он мертвым, каким-то потусторонним голосом. — Я сейчас должен взять билет в Швейцарию...

— Это неправда! — крикнула Татьяна Федоровна. — Ты убедись... Она идет на все, чтобы тебя вернуть.

— Ты не знаешь Веру, — негромко, но настолько твердо сказал Скрябин, что Татьяна Федоровна моментально замолкла. — Вера мужественная, честная женщина... Если б это было неправда, она б никогда... Это мне наказание... Я чувствую себя негодяем...

Маленькая процессия шла за катафалком, на котором стоял детский гробик. Скрябин рыдал так горько, не стесняясь окружающих, что Вера Ивановна в черном траурном платье, казалось, выполняет, скорей, долг мужа, поддержи-

вающего безутешную мать. Вошли на зеленое швейцарское кладбище. Гробик поставили у могилы. Было какое-то мгновение, когда казалось — Скрыбин хочет ринуться следом за своей любимицей. Лицо его почернело, он был неузнаваем.

Скрыбин сидел в верхней полупустой комнате, опустив руки на колени. Перед ним на століке лежал чистый лист почтовой бумаги. Он сочинял ответ на лежащее здесь же распечатанное письмо Татьяны Федоровны:

«Твое письмо меня бесконечно оторчило, — слышал он свой голос. — Есть много причин, по которым я должен остаться еще три дня в Везна. Во-первых, в воскресенье Риммочке девятый день, и потому в церкви будет отслужена панихида, на которой Вера умоляла меня быть, так как ей слишком тяжело после разлуки со мной, может быть, навсегда пережить такой печальный день одной. К тому же нужно помочь перевезти детей. Во время похорон Риммочки дети жили в Аньере, откуда их надо перевезти обратно в Везна. Насчет Веры не беспокойся, она человек сильный и большой мой друг. Она все понимает...»

Вечером Скрыбин говорил Вере Ивановне:

— Мой дружок, дорогая Вушенька... Я спокоен за тебя, ибо знаю тебя... Главное, занимайся, занимайся, не теряй ни минуты. Ты даже не представляешь, какие будут результаты.

— Я решила в августе ехать в Москву, — сказала Вера Ивановна. — Я уже написала письмо Сафонову с просьбой похлопотать мне место в консерватории.

— Ты правильно поступила, — сказал Скрыбин. — Уверен, все удастся... Я со своей стороны напишу, хоть с Сафоновым и в разрыве... Татьяна Федоровна передает тебе свои глубокие соболезнования...

— Очень мило, — сказала Вера Ивановна.

— Я возьму с собой немного фортепьянной бумаги, — сказал Скрыбин. — Если мне не хватит, выпиши еще тетради две... Чтоб не более как на три франка... Хочу приняться за

фортепианные вещи... Деток целуй от меня каждый день... Пока не уехала в Россию, ходи каждый день на кладбище и крести от меня Рушенькину могилку...

— Я хотела бы иногда видиться с тобой, Сапа, — сказала Вера Ивановна.

— И чудесно, — сказал Скрябин, — мы будем встречаться... Ты приедешь к нам в Париж... Таня будет рада... Да и с Росней я порывать не намерен и буду там скорее, чем ты можешь предположить... Главное, Вуна, не бояться жизни... Ее радостей и печалей... Будь благоразумна, моя хорошая...

И, взяв лицо Веры Ивановны обеими руками, он по-братски поцеловал бывшую жену свою в голову.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я жить хочу. В этом желании, в этом хотении все, прошедшее и будущее. Этими словами, этим хотением решена судьба вселенной.

*А. Скрябин. Записи*

По парижской улице шли Скрябин и Морозова.

— То, чему подлежало случиться давно, — говорил Скрябин, — случилось теперь. Вы, конечно, порадуетесь за Веру и за меня. Я надеюсь, что наша жизнь войдет наконец в должную колею. Каждый из нас устроит себе существование, более гармонирующее с его склонностями. Рассталсь мы друзьями и находимся в переписке.

— Но на бедную Верочку обрушилось сразу все, — сказала Морозова, — ваш разрыв, смерть Риммочки.

— Нет, как раз наоборот, — сказал Скрябин, — девочку потерять было ужасно, но это несчастье отвлекло немного внимание Веры от другого... Я тоже за последнее вре-

мя очень устал и нервы мои расстроились... А тут является в Париж Сафонов, начинает вести интриги против Татьяны Федоровны...

— Сафонов вас любит, — сказала Морозова, — он дорожит вашим творчеством.

— Если б он любил меня и дорожил мною, — горячо сказал Скрябин, — то он понял бы, что наконец со мной мой друг Татьяна Федоровна... Она так глубоко понимает, что нужно для моего творчества, с такой нежностью и самоотверженностью ухаживает за мной, создавая атмосферу, в которой я могу свободно дышать...

— Так ли это, Александр Николаевич? — сказала Морозова.

— Так, именно так. Я бесконечно сожалею, что вы не узнали ближе друг друга, это привело бы к взаимному уважению и глубокой симпатии... Работаю сейчас много и хорошо. Задумал нечто грандиозное... Но это пока будущее... Итог... Мистерия... Огромное сочинение... А пока делаю поэму для оркестра... «Поэма экстаза»... Она гораздо больше, чем Третья симфония, подготовит к восприятию духа Мистерии...

Несколько прохожих остановились, посмотрели вслед. Скрябин заметил, поморщился.

— Не люблю парижан, — сказал он. — Обыватели, чуть не в их духе, пальцами указывают.

— Это, очевидно, оттого, что вы не в шляпе, — улыбнулась Морозова.

— Париж мне надоел, — сказал Скрябин, — пужна тишина... Мы едем в Италию, в Вальяско... Очаровательная природа... Кстати, милая Маргарита Кирилловна, не будете ли вы так любезны избавить меня от хлопот по переводу и сопряженных с ними расходов. Передайте Вере при свидании шестьсот рублей, мне же переведите остальные четыреста.

Комнатка была маленькая, примитивно меблированная, с огромной неуклюжей кроватью, с лубочным изображением какого-то святого на стене. Правда, из окна открывался чудесный вид на залив, однако сейчас был дождь, и залив был скрыт в тумане.

— Обожаю солнце, — говорил Скрябин, — в дождливые дни я, Танюка, как-то увядаю... Тоска... И от Веры ничего... Она там с детьми, а газеты полны ужасов... Не знаю, доехала ли Маргарита Кирилловна.

— Ты беспокоишься о всех, — сказала Татьяна Федоровна, — а Маргарита Кирилловна не беспокоится о том, что гениальный русский композитор живет в тесных комнатах у самой линии железной дороги, так что весь дом сотрясается, о том, что мы с трудом взяли из кафе напрокат разбитое пианино.

— Но ведь в России беспорядки, — сказал Скрябин, — связь с Россией прервана...

— Морозова лишила тебя материальной поддержки гораздо ранее нынешних событий, — сказала Татьяна Федоровна, — это интриги Веры Ивановны и тех, кто вокруг нее.

— Танюка, нельзя быть такой сердитой, — сказал Скрябин.

— Милый Саша, — сказала Татьяна Федоровна, — ты очень скоро убедишься сам.

— Тасичек, — сказал Скрябин, подходя и обнимая Татьяну Федоровну, — не надо ныть... Ведь я бодрюсь, моя милая, стараюсь думать, что все будет хорошо... А если нет, ты все-таки не разлюбишь? Ангел мой, какую ты мне силу дашь... Ведь мне, в сущности, все равно... Успешка-то я хочу только для денежек, чтоб мой Тасинька сыт и пьян был! Кстати, одна моя бывшая ученица по Московской консерватории здесь... Приглашает нас в гости... Муж у нее, оказывается, социал-демократ... Вот уж не думал... Познакомимся тем с известным марксистом Плехановым... Очень любопытно...

За столом с кипящим самоваром и грудой барабек сидели рядом Плеханов и Скрябин. И Роза Марковна Плеханова, и Татьяна Федоровна, и хозяева — Ольга и Владимир Кобыляинские — смотрели с интересом на встречу этих двух столь разных и в то же время столь близких людей.

— Кровь революции и зло каризма, — горячо говорил Скрябин, — только теперь я понял, чем навеяна моя музыка «Поэмы экстаза»...

Он подошел к роялю и сыграл кусок.

— Это героизм, это идеалы, за которые сейчас борется русский народ... Дорогой Георгий Валентинович, эшиграфом «Поэмы» я решил взять «Вставай, подымайся, рабочий народ!». Как это дивно...

— Я не играю ни на каком инструменте, — сказал Плеханов, — но музыку люблю... Особенно боевое, сильное, могучее в музыке... Ваша музыка, Александр Николаевич, близка сонатам Бетховена, Берлиозу, Вагнеру...

— Ну, это уже пройдено, — сказал Скрябин, словно бы обиженный, что его сравнивают с Бетховеном. — Искусство — это движение... У Бетховена и, особенно, у Берлиоза учиться ныне не приходится... В них нет идеи мессианства.

На лице Плеханова явилось неудовольствие.

— Всякое творчество, как и всякая деятельность человека, должно стремиться к объективной истине, — сказал он.

— Объективной истины нет, — вскричал Скрябин, — истина всегда субъективна... Истина нами творится... Истина творится творческой личностью, и она тем независимей, чем личность выше.

— От чего независимей? — спросил Плеханов. — От общества, от природы?

— Не только от общества, но и от мира, — сказал Скрябин. — Весь мир в нас... Ведь мы сотворили Солнце и Солнечную систему и постоянно продолжаем их творить... Когда мы перестанем их творить, их не станет.

— Александр Николаевич, — сказал Плеханов, — как это ни печально для вас, не природа живет в вас, а вы, подобно всем позвоночным и даже беспозвоночным, живете в природе... Таковы факты...

— Да, факты — опасный и не легко побеждаемый враг, — сказал Скрябин. — Это любимый афоризм Блаватской... Великой мессианской женщины-пророчицы.

— Вот как, — сказал Плеханов, и его глаза остро полемически блеснули, — вот вы отрицаете истину... Но почему у вас, в вашем творении мира, так много понаделано разных, маленьких, плохеньких истин, вроде истеричного учения Блаватской... Почему отрицание истины у вас сочетается

ся с предельным легковерием? Почему истины Блаватской вы объявляете своими, ведь они же не вам рождены?

— Жорж, — сказала Роза Марковна, — давайте пить чай.

— Я почти всему научился из своего творчества, — через него я проверяю все... И землю, и небо.

— Нет, милый Александр Николаевич, — сказал Плеханов, — напрасно вы обращаетесь к небу... Против вашего идеалистического индивидуализма не растет никакого зелья на небе... Печальный плод земной жизни, он исчезнет, лишь когда взаимные земные отношения не будут выражаться принципом «человек человеку волк»...

— Но мне всегда была отвратительна эксплуатация человека человеком, — сказал Скрябин. — Она противна моему миропониманию... Это нечто уродливое, негармоничное... Первая моя симфония имела эпиграфом «Придите, все народы мира...». Я за социализм... Но за социализм месенский... История человечества есть история гениев... Историю творят гении.

— История творит гениев, — сказал Плеханов. — Гении — это люди, возвысившиеся до полного понимания хода исторического процесса, говоря словами Коммунистического манифеста...

Была солнечная погода, спокойное, ясное море, зеленые горы... Это был юг Италии в расцвете своем, декабрь мягкий и ласковый. Скрябин, Плеханов, Татьяна Федоровна и Роза Марковна совершали очередную совместную прогулку.

— Посмотрите на эти горы, — говорил Скрябин, — это не просто горы, это выражение чего-то материального и неровного внутри нас. Вот уничтожьте эту неровность внутри себя, и гор не станет. Погода тоже есть результат внутреннего состояния человека.

— Какого же именно человека? — спросила Роза Марковна, — Ведь нас много... Я, Жорж, вы, Татьяна Федоровна...

— Это все равно, — сказал Скрябин, — потому что мы единая многогранная личность. И знаете, я пробовал как-то вызвать погоду своим внутренним усилием... И у меня выходило... Вот вы сместесь...

— Ну, тогда спасибо вам, Александр Николаевич.

— За что? — спросил Скрябин.

— Вы сегодня такую прекрасную погоду нам отпустили... Солнце, голубое море...

— В Париже Александр Николаевич пробовал вызвать грозу, и это ему удалось несколько раз, — сказала Татьяна Федоровна.

— Это трудно, но возможно, — подтвердил Скрябин. — Вообще, мы не знаем многих своих возможностей. Это дремлющие силы, и их надо вызвать к жизни.

Как раз в этот момент они ступили на мост, переброшенный через высохший, усеянный крупными камнями поток.

— Мы создаем мир нашим творческим духом, — сказал Скрябин, — своей волей... Я вот сейчас могу броситься с этого моста и не упасть головой на камни, а повиснуть в воздухе благодаря этой силе воли.

— Прыгайте, — сказал Плеханов.

— Что?

— Прыгайте, Александр Николаевич.

— Но ведь я говорю о тех, кто овладел своей волей, — сказал Скрябин, правда, несколько растерявшись. — Я все еще только на пути к этому.

— Не дай вам Бог дойти до конца, — улыбаясь, сказал Плеханов. — Вы знаете, Фихте даже свою жену воспринимал как творение собственного сознания... Как нечто воображаемое.

— Вот этого, Саша, тебе иногда уже удастся достигнуть, — смеясь, сказала Татьяна Федоровна.

Они сидели на стеклянной веранде ресторана с видом на море. Скрябин говорил:

— Будущий век будет веком машин, электричества, материальных интересов, и это совпадет с торжеством социализма... Я целиком с этим согласен... Но разве это конечная цель? Это только переход. Конечная же цель — слияние всех в единый радостный порыв... Дематериализация... Ваша беда в том, что вы скрываете конечную цель.

— Но в диалектике нет конечной цели... Самой последней... История — это процесс.

— Это потому, что вы материалисты, — сказал Скрябин. — Что такое материя?.. Разве мы не знаем, что такое камень? Но марксизм меня привлекает как новое мирозерцание... Я считаю, что каждый мыслящий современный человек, каких бы взглядов он ни придерживался, должен проникнуть в него до конца... Я читаю Маркса, и у меня к вам, Георгий Валентинович, масса вопросов... Правда, Маркс слишком полемист... И все вы, марксисты, слишком полемисты... Написанные не в полемической форме, ваши произведения выиграли бы, дали бы больше читателю... Полемический азарт должен отвлечь неглубокого читателя от скуки...

— Однако мы с вами говорили, что жизнь есть борьба, — сказала Роза Марковна. — Как же без полемики...

— Да, борьба, — сказал Скрябин. — Знаете, я хочу дать концерт в пользу русского освободительного движения... В пользу политических эмигрантов... Пусть это будет моим вкладом в борьбу.

Зал Женевской консерватории был до отказа набит непривычной для него публикой. Было здесь много молодых лиц, студенческих тужурок. В артистической взволнованной Скрябин говорил Розе Марковне:

— Я, кажется, сегодня провалюсь... Болит правая рука... Я ведь, знаете, инвалид... Да и вообще... Как сборы? Я знаю, сборы гораздо хуже, чем вы надеялись.

— Да, сборы не очень хороши, — сказала Роза Марковна, — но это несущественно... Оставшиеся невыкупленные билеты мы распространили бесплатно среди немущих эмигрантов.

— Что ж, — сказал Скрябин, — я ведь не иностранная знаменитость. Не какой-нибудь Иоганн Тальберг... Меня не знают, особенно соотечественники. Но это неважно. А будет время, милая Роза Марковна, когда каждый, чтоб услышать одну наузу из моих творений, будет скакать с одного полюса на другой.

...Вальсы, этюды нежно, по-скрябински лились в притихший зал. Ноктюрн для левой руки вызвал бурные аплодисменты...

Скрябин в легком пальто, но, по своему обыкновению, без шляпы, шел по крутой улочке Лозанны. Это опять была Швейцария, и все здесь было не по-итальянски широко, размашисто, а чинно-упорядоченно, так что человек, который время от времени останавливался и усмехался сам себе, заставлял прохожих оглядываться на него. Войдя во двор и осторожно, на цыпочках, поднявшись на второй этаж, он начал крадучись приближаться к Татьяне Федоровне, сидевшей к нему спиной. Наконец с веселым криком, перепрыгнув через стул, он бросился к ней.

— Вот и поймал, — хохоча говорил он. — Не смей, животное, чертов свин, читать мои рукописи, а иначе лучше бы тебе не родиться! В припадке ревности ты еще примешь рукопись за любовное письмо и уничтожишь.

— Саша, — сказала Татьяна Федоровна, — от Верыписьмо... Она отказывает в разводе.

И Татьяна Федоровна протянула письмо. Скрябин взял и сел прямо в пальто, читая.

— Вот что, — сказал он. — Я напишу Морозовой, она на Веру подействует... Я попрошу, чтоб она объяснила Вере: для нее и для детей лучше иметь развод... Объясню, что это удовлетворит и самолюбие Веры, для нас же развод необходим... Ах, как утомила меня эта житейская суета... Про тебя же, бедная моя Таниока, и говорить не приходится.

— Саша, — сказала Татьяна Федоровна, — Морозова с Верой заодно... Она ведь фактически отказала тебе в материальной поддержке.

— Ничего, — сказал Скрябин, — скоро я должен получить Глинковскую премию... Не менее тысячи рублей...

— Которые уйдут на уплату долгов, — нервно сказала Татьяна Федоровна. — Мы задолжали лавке, акушерке, доктору и прочее... Даже твоему отцу мы задолжали пятьсот франков... А ведь надо заплатить за квартиру до конца года... Без малого еще двести франков.

— Но я был уверен, — растерянно сказал Скрябин, — Вера мой друг. Друг самоотверженный и бескорыстный.

— Не знаю, может ли отказ в разводе служить доказательством самоотверженности и бескорыстия, — сказала Татьяна Федоровна. — Ну, меня она ненавидит... Ненавидит давно, с того момента, как впервые увидела. Но в какое положение она ставит тебя перед всеми этими людьми, с которыми ты должен считаться... Вот, например, никто до сих пор не отдает нам визитов, в то время как приняли нас вначале любезно... Значит, дошли слезы... нас вместе не приглашают ни в одну русскую семью... Я здесь на правах твоей любовницы, а ты на правах человека развратного... Да, да, Саша, это так.

— Я все равно сделаю то, что задумал, — встав с кресла и расхаживая по комнате в пальто, говорил Скрябин, — и никакие дразни или мелкие неприятности не помешают мне осуществить свой замысел. Жаль только тратить силы и время на борьбу с ничтожными... Но ничего, ничего, образуется... Кстати, ты меня огорчила, Танюка, и я забыл тебе сказать, что папа на днях приезжает к нам специально, чтоб с тобой познакомиться.

Отец и сын сидели в небольшом кафе. Александр Николаевич говорил:

— О Вере я уже давно не беспокоюсь, так как из ее последних писем да и из всего ее поведения я убедился в неспособности ее питать глубокое чувство к кому бы то ни было.

— Ну, а глубоко ли твое чувство к своей жене, — говорил Николай Александрович, — ведь Вера тебе жена.

— Мне жена Татьяна Федоровна, — сказал Александр Николаевич. — Вера сама знает, кто есть Татьяна Федоровна... Она сама не раз говорила, что мы с Татьяной Федоровной подходящая пара. Меж тем ныне Вера выказала по отношению к Татьяне Федоровне большую бессердечность и даже не спросила, осталась ли Таня жива после рождения девочки... Таня же, когда умерла Риммочка, написала письмо, полное горечи и сочувствия...

— Но каково ныне Вере с детьми одной, — сказал Николай Александрович. — Неужели ты не чувствуешь себя по отношению к ней непорядочным человеком?

— Я повторяю, — сердито сказал Александр Николаевич, — мне нечего тревожиться о Вере. У нее и без меня масса сочувствующих и утешающих... Меня беспокоит Таня... Слишком много она перепесла. Пора и ей отдохнуть, а мне — позаботиться о ней. А мстить Татьяне Федоровне Вере не за что... Вся вина Тани только в том, что она любит меня, как Вера и думать не могла любить...

— Эта женщина, Саша, дает тебе дурные советы, — сказал отец, — вероятно, ты по ее милости оказался в дурной компании врагов отечества... Ты сын русского дипломата, русский дворянин... Я разговаривал с твоими доброжелателями.

— Не знаю, с какими доброжелателями ты разговаривал, — сказал Скрябин. — Вероятно, ты ошибся, это были завистники, у меня их достаточно.

— Ты слишком долго живешь вне отечества, — сказал Николай Александрович. — Ты должен вернуться в Россию... Но только без этой женщины... Я готов помочь тебе материально.

Александр Николаевич встал:

— Да, я вернусь в Россию, — сказал он, — когда меня позовут... Я знаю, скоро меня позовут... Конечно, я вернусь не один... Но ты, мой отец, мало того что не уважаешь высокую личность Татьяны Федоровны, намекая на нее как на моего врага, дающего мне дурные советы... Ты восстанавливаешь свою семью против меня, вместо того чтобы научить ее почитать в моем лице русское искусство...

Он повернулся и пошел из кафе, оставив своего отца в задумчивости сидящим за кружкой пива.

Подошел гарсон, начал убирать посуду.

— Свершилось, — радостно говорил Скрябин, размахивая перед Татьяной Федоровной телеграммой. — Я знал, что явятся с поклоном и скажут: приди и володей... Меня приглашает для переговоров Кусевичский... Это известный

дирижер, известный контрабасист и известный совладелец фирмы по торговле часам... Каково сочетание... Миллионер... Это деньги, Тася, это работа над Мистерией... Мы оба приглашены... Супруги Скрябины... Впервые мы приглашены в русский семейный дом...

В роскошных апартаментах дорогого отеля, среди золоченой мебели, мягко ступая, ходили лакеи, подавая дорогие кушанья. Чета Кусевицких — Сергей Александрович и Наталья Константиновна — сверкала бриллиантами, Татьяна Федоровна, сидя на атласном сидении и жуя омара, явно упивалась своим пышным положением. Скрябин говорил:

— Я отброшу все, я буду работать только над Мистерией... Этой Мистерией мировое бытие окончится, но в этом нет ужаса, а праздник, исходящий из принципа Единства мира...

— Это, наверное, очень большое произведение, — сказал Кусевицкий, слушавший автора с некоторой уравновешенной торжественностью. — Этим произведением весьма приятно будет поддиржировать, а затем издать... Ну, и сколько вам надо, как принято выражаться в литературных сферах, «фикс» в виде ежегодной суммы?

— Для осуществления общемировой Мистерии мне понадобится пять лет, — сказал Скрябин.

— Что ж, — улыбнулся Кусевицкий, — раз вы, дорогой Александр Николаевич, замышляете такие козни против буржуазного благополучия человечества, я буду вам платить в год пять тысяч рублей... В своем издательстве и в своих концертах я поставлю вас на место премьера... Вы будете у меня получать шалыпинские гонорары... Только вот что, если будете писать Рахманинову, то не сообщайте ему о наших условиях, во избежание разного рода разговоров со стороны композиторов.

— Я не переписываюсь с Рахманиновым, — сказал Скрябин.

— Тем лучше, — сказал Кусевицкий. — Думаю, что вопрос о вашем гонораре будет нашим частным делом... Итак,

я завтра же телеграфирую, чтоб во всех московских и петербургских газетах сообщили: гениальный русский композитор Скрябин возвращается в Россию... Пророка ждут в своем отечестве.

И он сделал знак лакею, который откупорил бутылку шампанского.

\* \* \*

Я воспалю твое воображение таинственной  
прелестью моих обещаний. Я наряжу тебя в великолепие моих снов. Покрою небо твоих желаний  
сверкающими звездами моих творений.

*А. Скрябин. Записи*

В Большом зале консерватории стучали молотки. Множество мужиков и баб несли лестницы, щетки, тряпки, что-то прибивали, что-то вешали, прилаживали какие-то гирлянды, устапавливали корзины, перекликались. В общем, была суета, как перед торжеством коронации. Посреди зала стоял сам Кусевицкий с пунцовым лицом, с провинциальными какими-то усиками и распоряжался.

— Это что такое? — сердито говорил он подрядчику. — Мне надо, чтоб весь зал был декорирован растениями... Уплатено за весь зал... Это вам не обычный концерт, это празднество... Гирлянды вешайте сюда... Лавровые венки... Лавр... Ковер привезли? В авторской ложе мне нужен персидский ковер... А кресла... Что вы мне принесли, черт вас возьми?. Для автора я велел установить трон... Да, именно трон, украшенный лавром... Седалище... На что я буду сажать гения... На таких креслах сидят обожравшиеся стерлядью купцы... Сто? Вам уплатено... Я вас научу... Мерзавцы!

Вечером пышно украшенный зал был подобен муравейнику. Многие были с партитурами в руках. Был ажиотаж и какое-то воспаленное любопытство.

— Вам не кажется, Леонтий Михайлович, — сказал какой-то господин с желчным, нездоровым лицом, — что со стороны мы все сейчас напоминаем массовку из известной картины Иванова «Явление Христа народу»?

— Оригиналу Скрябин, — поддакнул лысый толстячок, — вечный оригинал.

— Что ж, — сказал Леонтий Михайлович, — действительно, оригинал... Знаете, я купил его клавир... Третья симфония, Прелюдии оратории 48... Это уже не Шопен, господа, это новый Скрябин, прежде неизвестный.

— Э, милый, — сказал господин с желчным лицом, — да вы, я вижу, из Савла хотите стать Павлом... Из гонителя в апостолы... Нет уж, уважьте, в данном случае я предпочитаю остаться фарисеем.

-- Скрябин, говорят, конец мира затеял, — хихикнул кто-то. — Стал каким-то священником или пророком новой религии.

— Да он рехнулся за границей, — добавила какая-то дама. — Декадентский рекламист, который желает обратить на себя внимание.

— Одно название — «Поэма экстаза», — сказал господин, похожий на учителя гимназии. — Вы знаете, я слышал, что в Париже у Скрябина от новой жены родился не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка, — он засмеялся, — этого мистического монстра посадили в спирт и поместили в музей. Разве это не доказательство, что Скрябин дегенерат...

— Да, да, я слышала, что у Скрябина прогрессивный паралич, — сказала дама.

— А вдруг этот безумный и чуждый автор проектов о конце мира окажется глубоким и свежим композитором? — сказал Леонтий Михайлович.

— Вы, я вижу, готовы соблазниться, — сказал господин с желчным лицом, — и многие соблазнятся... Обратите внимание на этот зал, господа, сколько восторгов, сколько жажды поваторства любой ценой... Одна надежда на ретроградов... Вот идет Сергей Иванович Танеев...

Танеев шел своей бычачьей походкой с партитурой в руках. Его окружили.

— Ничего не могу сказать, господа, раньше, чем услышу в оркестре, — говорил Тансеев. — Но вот насчет философии... Я прочел в «Русских ведомостях» статью некоего Бориса Шлёцера...

— Это брат новой жены, — подсказал кто-то.

— Вычурный язык, — говорил Тансеев, — какая-то Психея... Какой-то «дух играющий»... Это какое-то шарлатанство, срунда... К чему это писать всякую дребедень... Это поразительная беззастенчивость... Вот смотрите, шесть нот — и суть творческого духа раскрыта перед нами... Какое жалкое надо иметь представление о сущности творческого духа, чтоб его уместить в шести нотах...

Взбудораженные скрябиняне столпились у входа. Оркестр уже в сборе. Появляется Скрябин. Среди скрябиняиан сильное движение, Скрябина обступают.

— Обратите внимание на апостолов, — говорит желчный господин, — доктор Богородский, господин Подгаецкий... А вот та маленькая брюнетка со злыми губами... Это сама «принцесса крови». А тот — сам пророк нового бога, Борис Шлёцер, брат принцессы.

Скрябин несколько ошарашен встречей.

— Физиономия у нового бога первая, зеленоватая, — добавляет какой-то господин, стоящий рядом с Леонтием Михайловичем, — усы лихие, офицерские... Вся музыка Скрябина в усах... Усатая музыка для испорченных, жаждущих разврата институток...

— Что-то в нем звериное, — добавляет дама, — но не хищного зверя, а маленького зверька, суслика.

Однако голоса фарисеев заглушаются общим восторгом. Лысый толстячок, тот самый, что недавно еще стоял в кучке фарисеев, под влиянием большинства уже рядом со Скрябиным.

— Где вы были, дорогой Александр Николаевич? — говорит он.

Скрябин с извиняющимся лицом и выраженном первой напряженной скуки потирает привычным жестом свои руки.

— Мы были в Париже, Брюсселе, Лозанне...

— Ах, Брюссель, какой это чудный город, — вскричал некто в упоении.

Татьяна Федоровна держится настороженно и с преувеличенной строгостью. В свите старушка Любовь Александровна, тихая, восторженная, бесконечно преданная «Сане». Тут же дядошка, седой генерал. Скрябин и Татьяна Федоровна, оба маленькне, с трудом пробирались к специальной ложе. Скрябин приближался к «седалищу» с лицом неприятно раздраженным. В тот момент, когда чета Скрябиных уселась, выпел на дирижерское место Кусевинский, поднял палочку, и внезапно верхние карнизы зала осветились святицейся лентой из тысяч электрических лампочек. Скрябин от неожиданности чуть не подпрыгнул на своем «троне». По залу прошел ронот. Однако прозвучали первые аккорды «Поэмы экстаза». Музыка приковывала и ослепляла, но вид самого автора этих неступленных звуков не уступал в интересе. Скрябин во время исполнения был очень первен, иногда вдруг приветствовал, подсказывал, потом садился, облик его в тот момент был очень юн, он был подвижен, как мальчишка, и что-то детское было в его усатой физиономии. Иногда он как-то странно зампрал лицом, глаза его закрывались и вид выражал почти физиологическое наслаждение, он открывал веки, смотрел ввысь, как бы желая улететь, а в моменты напряжения музыки он дышал порывисто и нервно, иногда хватался обеими руками за украшенный лаврами «трон». Потом был гром аплодисментов, были приветствия оркестра, хлопавшего по пультам смычками. Зал превратился в митинг. Правда, были и раздраженные, злые лица, но их меньшинство. Толпа окружила Скрябина и Танеева.

— Ну, какое ваше впечатление, Сергей Иванович? — с улыбкой спрашивал Скрябин.

— Да какое мое впечатление, — красный как рак, говорил Танеев, — как будто меня палками избили, вот мое впечатление.

На Танеева набросились скрябинские.

— Вы, Сергей Иванович, все время занимались контрапунктами, — кричал Подгаецкий, — вот у вас и притуплено восприятие к новым музыкальным произведениям.

— Нет, Саша, — не обращая внимания на реплику, говорил Танеев Скрябину. — Третья симфония лучше... Я даже где-то там прослезился... Там чувство, а «Поэма экстаза» слишком криклива... Что же касается Пятой твоей сонаты, которую я слушал третьего дня, то, когда ты, Саша, кончил и сбежал с эстрады, то многие даже не поняли, в чем дело... Многие не поняли, кончилась ли она, или автор просто сбежал... Одна певица спросила меня: что такое, или у него живот схватило? — Он захохотал своим икающим смехом. — Пятая соната — это музыка, которая не оканчивается, а прекращается... Впрочем, Рахманинову нравится...

— Ну вот, хоть Рахманинову, слава богу, нравится, — таинственно улыбаясь, сказал Скрябину.

В артистической комнате Скрябину и Кусевицкий обнялись и трижды поцеловались. Была оvation.

— Это величайшее произведение в музыке, — кричал Кусевицкий, — это черт знает что такое...

Скрябину тоже говорил комплименты, звучавшие, правда, несколько деланно.

— Да и ты, Сергей Александрович... Ты дал настоящий подъем.

— Изумительно, замечательно, — кричали вокруг.

— «Экстаз» становится специальностью Сергея Александровича, — сказала Татьяна Федоровна, — он превосходно дирижировал.

— А вопли музыкальных гиев, — крикнул Кусевицкий, — всей этой компании из партии Веры Ивановны... Плевать... Вот, — сказал он неожиданно, заметив среди публики в артистической Леонтия Михайловича, — вот единственный критик Москвы... Это единственный критик-музыкант... Что все остальные, — сказал он патетически, — им музыка чужда, им искусство не нужно.

И он потряс в воздухе рукой со скрюченными пальцами, словно дирижируя.

Скрябин смотрел своими небольшими карими глазами на Леонтия Михайловича и вдруг сказал:

— Какне планы у меня, какие планы... Вы знаете, что у меня в «Прометее» будет, — он замялся, — свет...

— Какой свет? — удивленно спросил Леонтий Михайлович.

— Свет, — повторил Скрябин. — Я хочу, чтоб была симфония огней... Это поэма огня... Вся зала будет в переменных светах, в музыке будет огонь.

— При наших капиталах все возможно, — засмеялся Кусевицкий. — А теперь ужинать в «Метрополь».

К «Метрополю» ехали в нескольких больших автомобилях.

— А я правда люблю это праздничное настроение, — покачиваясь на сиденье рядом с Татьяной Федоровной и доктором Богородским, говорил Скрябин, — никогда не хочется домой, хочется продолжения праздника, хочется, чтоб празднество росло, ширилось, умножалось... Чтoб оно стало вечным, чтoб оно захватило мир... Это и есть моя Мистерия, когда этот праздник охватит все человечество...

В большом верхнем зале ресторана были сервированы длинные столы.

— Зачем только он этот верх засветил, — тихо говорил Скрябин Татьяне Федоровне и сидевшим с ним рядом «апостолам» — Богородскому и Подгаецкому, — как это пошло вышло.

— Ужасно, — соглашалась Татьяна Федоровна.

— И вообще, эта помпа — не то, что мне надо, — говорил Скрябин. — К чему эта ложа и эти сидения?.. Я и без того как автор достаточно выделяюсь над публикой... Правда, он не понимает... Но мне не хотелось его обижать, а то один момент я прямо думал взбеситься и вскочить из этих тронов и сесть на стул... Я ведь могу так...

— Ну конечно, Саша, — успокаивала его Татьяна Федоровна, — они это просто не поняли... Ведь у каждого же свои понятия... Они хотели лучше сделать...

Подсел Кусевицкий и увел чету Скрябинных к себе за стол.

— Обратите внимание, — сказал доктор Богородский, — музыкантов нет... Сидошная буржуазия, родственники Кусевницких, Ушковы... Терпеть не могу...

— Это в вас, доктор, отставной марксист говорит, — усмехнулся Подгаецкий.

— В отношении буржуазии Маркс прав, — сказал доктор Богородский. — Я разошелся с Марксом, когда понял, что его учение слишком бытовое, материальное... В нем нет порыва к небесам, нет поэтической мистики...

— Ах, оставьте, доктор, — сказал Подгаецкий, который к тому времени уже выпил, — я сам не терплю Кусевницкого... Он слишком удачлив... У него шесть миллионов... И, наконец, усики, как у парикмахера... Но что касается ваших разногласий с Марксом, то вы Марксу не можете простить, что из-за его брошюры вас в пятом году били в участке... Ну, ну, — заметив негодующий жест доктора, сказал он, — ну не били, а так, нагайкой по спине... За поэтический же мистицизм пока еще в участке нагайкой не бьют.

Музыка заиграла туш. Кусевницкий встал и поднял бокал.

— За вдохновительницу «Поэмы экстаза»!

Старик Ушков, старый жуир, ныне поврежденный параллелепипедом, кричал:

— А вот он какой, экстаз-то... Желтенький...

— Это он оттого, что я в желтом платье, — тихо сказала Татьяна Федоровна.

Пачался шум, звон бокалов, официанты подносили все новые блюда.

— Вот такое празднество — это совсем не то, что надо, — говорил Скрябин доктору, — это даже как-то раздражает, расхолаживает впечатление... Праздник должен все время нарастать... Ведь все эти люди ничего не понимают... Среди них Сергей Александрович — самая выдающаяся личность... А ведь он тоже мало, в сущности, понимает...

У закуского столика с бутербродами Кусевницкий, улыбаясь, говорил Леонтию Михайловичу:

— Ведь это только Александр Николаевич думает, что что-то необычное должно совершиться, что все захлебнут-

ся от экстаза. А на самом деле, все мы и он сам пошли в ресторан и хорошо и приятно поужинали... Так и с Мистерией будет... Сыграем и потом поужинаем...

Глубокой ночью Скрябин, Татьяна Федоровна и Леонтий Михайлович ехали в автомобиле Кусевницкого. Скрябин, усталый, но радостный, говорил:

— Все-таки Сергей Александрович великолепно передает многие моменты экстаза. Именно так и надо. Только зачем у него делается при этом такая красная физиономия? А это все очень милые люди — эти все Упиковы, только ведь это все *terre-à-terre* — это все очень примитивно... Я ведь когда-то так близко знал этот мир.

Пригнувшись, по винтовой лестнице, куда-то выше хоров колонного зала Благородного собрания, поднимались Скрябин, Кусевницкий, Леонтий Михайлович, Татьяна Федоровна и человек технического вида в кожаной кепке.

— Вот здесь, — говорил человек в кожаной кепке, — это прожектора и прочее... Световая техника... Кабель...

— В кульминационном пункте мне нужен свет, чтоб глазам было больно, — сказал Скрябин.

— Да, я считаю, что «Прометей» надо ставить со светом, — сказал Кусевницкий, — надо подготовить смету, согласно световой партитуре...

— Но что вы хотите, чтобы у вас было в этой симфонии? — спросил Леонтий Михайлович. — Зал, что ли, должен быть освещен?

— Да, свет должен наполнять зал, — сказал Скрябин таким тоном, точно речь шла об обиденных, простых вещах. — Я не знаю технической стороны дела, но мне тут помогут... Вот Александр Эдмундович Мозер очень этим заинтересовался

И он кивнул в сторону человека в кожаной кепке.

— Свет должен наполнять весь воздух и пронизывать его до атома, — после паузы продолжал Скрябин, — вся музыка и все вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, кунаться в них.

— Надо попытаться подвесить рефлекторы к потолку, — сказал Мозер, — чтобы они давали рассеянный свет по всей зале, а источник света чтоб оставался не виден. Но выдержит ли кабель такое напряжение?

— Можно также сцену с облачными занавесями и декорациями, — сказал Леонтий Михайлович.

— Ни в коем случае, — сказал Скрябин, — именно зал должен быть наполнен светящейся материей... А в кульминации белый свет...

— Почему именно белый? — спросил Леонтий Михайлович.

— Когда свет усиливается до ослепительности, то все цвета обращаются в белый... Мне солнце тут надо! — воскликнул он. — Свет такой, как будто несколько солнц сразу засияло... Белый свет — это свет экстаза...

— Но выдержит ли кабель? — снова материалистически повторил Мозер.

— Да, — спускаясь вниз по лестнице, говорил Скрябин, — все упирается в материю... Материя всему препятствие... А ведь «Прометей» не просто музыка... Такого еще не было... Я хочу, чтоб хор в «Прометее» был не просто хор... Я хочу, чтоб уж нечто от Мистерии... Надо бы хор одеть в белые одежды... Так это плохо, так ужасно, как у нас... Неужели опять это Русское хоровое общество будет... Какое полное отсутствие понимания... Ведь они поют совсем не так, как мне надо... Мне надо такой звук истомленный, мистический, вот в этом месте, где вступает хор... Они должны вот так петь...

Он принял какую-то странную позу, запрокинулся назад и зашел неумело и безголосо.

— Сапа, — поморщившись, сказала Татьяна Федоровна.

— У меня нет вокальных данных, но, в принципе, в таком надо направлении... А они поют, режут всегда, точно коровы, всюю... — сказал Скрябин и обратился к Кусевицкому: — Сергей Александрович, надо бы их одеть в одинаковые платья... Да и оркестр тоже имеет у нас ужасный вид... В самой позе музыканта в оркестре так много от ремесленности... Никакого подъема нет, праздничности... Со

временем я настою, чтоб мои вещи играли без нот... Собственно, оркестр должен быть в постоянном движении... Ему не пристало сидеть... Он должен танцевать... Должно быть соответствие с музыкой и в этом... Конечно, бетховенские симфонии, или Чайковского, или Рахманинова можно играть и сидя, и даже лежа.

Он засмеялся.

Спустились вниз, прошли пустой зал, вышли на улицу.

— Танеев болен, — сказал Леонтий Михайлович, когда они со Скрябиным несколько опередили остальную группу.

— Надо бы посетить Сергея Ивановича, — сказал Скрябин. — Это ничего, что он сейчас ругается... Когда-то меня к нему привели кадетиком, мальчишкой, и он напроорочил мне великое будущее. Завтра же пойдем... Пойдемте вместе... Не так странно будет...

Скрябин и Леонтий Михайлович шли по московским переулкам среди домиков с геранью на окнах, среди абсолютно деревенского дая собак со дворов.

— А как вы думаете, — говорил Скрябин, — Сергей Александрович справится с «Прометеем»? По-моему, он в нем еще ничего не понимает. Меня очень удивляет, как он быстро схватывает. Ведь он очень музыкальный, и это позволяет ему как-то проникнуть в мои замыслы, хотя он и не очень образован как музыкант. Вот, например, в «Экстазе», вот эти томления, они у него прекрасно выходят, и я ему показал и жесты при этом, вот такие нестомленные...

Скрябин несколько раз взмахнул руками.

Они вошли во двор, заросший кустами сирени. Ленивый барбос тявкнул на них несколько раз.

— Сергей Иванович любит жить в таких домочках, — сказал Леонтий Михайлович, — и чтоб непременно не было ни электричества, ни водопровода, ни отопления.

На дверях висела табличка: «Сергея Ивановича дома нет».

— Это не для нас, а для людей вообще, — сказал Леонтий Михайлович.

Танеев встретил их в передней, массивный, огромный, с перевязанным горлом. Не заметив вначале Скрябина, обняв Леоптия Михайловича, он сказал вместо приветствия, печально:

— Мутные волны текут в музыке... Грязь, всюду грязь...  
Какая-то равель пошла...

Он засмеялся и заметил тут Скрябина.

— Ах, это вы, — сказал он, — вот уж не ожидал... Ну, здравствуйте...

Танеев и Скрябин долго стояли друг перед другом, многократно кланяясь и, видимо, испытывая неловкость. Наконец Танеев прервал молчание:

— А знаете, Александр Николаевич, я ведь вашей музыкой не люблю...

— Знаю, Сергей Иванович, — покорно и смиренно отвечал Скрябин, потирая свои руки привычным жестом.

— Да нет, я не то что не люблю, я не выношу вашей музыки, — сказал Танеев.

— Да, знаю, знаю, Сергей Иванович, вы не любите и не выносите, — сказал Скрябин.

— Да не то что не выношу, а меня просто тошнит от нее, — сказал Танеев.

— Ну послушайте, Сергей Иванович, — сказал Скрябин, — это не очень любезно... Пригласите нас хотя бы в комнату...

— Да, да, проходите, милости просим. Я ведь попытался изучать вашу музыку и пришел в полное отчаяние... Предлагаю, каково бы было Петру Ильичу Чайковскому...

— Да, Чайковскому было бы не сладко.

— Расскажите-ка, Александр Николаевич, как это вы там конец мира готовите, — это очень любопытно, — угонная какими-то конфетками, говорил Танеев.

— Что ж вам говорить, — сказал Скрябин, — ведь вы никогда не согласитесь со мной.

— Я надеюсь, — засмеялся Танеев, и в обычно добрых глазах его явилось что-то недоброжелательное, — я еще с ума не сошел... А как это у вас с бенгальскими огнями симфония будет?

Скрябин беспокойно задвигался на стуле.

— Это мне напоминает в провинции одного скрипача, он играл, а ему в физиономию какой-то луч фиолетовый пускали. — И Тансеев захохотал своим икающим смехом. — Все-таки, как же это от вашей музыки конец света наступит? А если кто не хочет конца света, как быть? Застраховаться надо где-нибудь... Я вот совсем не хочу, чтобы был конец света.

— Для вас его и не будет, — таинственно отвечал Скрябин.

— Ничего не понимаю... Это морочение какое-то, досадливо сказал Тансеев. — Ну а что же, Кусевицкий вам построил этот световой инструмент?

— Нет, — ответил Скрябин, — наверно, в первом исполнении света не будет... Инструмент оказался очень дорог.

— Значит, конец свету, — оглушительно захохотал Тансеев и заходил по комнате.

Вошла нянька Тансеева, старушка, и внесла тарелку с пирогами. Скрябин взял один, вяло надкусил. Он выглядел склепшим.

— Человек должен все испытать, чтобы все преодолеть, — сказал он. — Помню, лет восемнадцати с братом вашим Владимиром Ивановичем о религии заговорил... А он мне отвечает так злобно-иронически: «Да вы, никак, в Бога верите»... Махнул рукой и пошел от меня.

— Ну, брат мой человек хороший, — сказал Тансеев, — но радикал и нигилист... Одно время с немецким философом Карлом Марксом переписывался... И меня даже, консерватора, к чтению этого немецкого философа приобщил.

— А вот и есть, значит, у нас общее, — сказал Скрябин, — я тоже Маркса читал... очень любопытно... тут не нигилизм как раз... не отрицание... тут новаторство... Но, разумеется, в пределах материализма.

Скрябин и Леонтий Михайлович вышли на улицу.

— Как он далек от всего этого, — задумчиво сказал Скрябин, — для него все тут, в этой реальности, в этой материи, в отсутствии полета, вот в этом *plan physique*... И он не пони-

мает, что этим он отрицает собственное искусство... Я тоже отрицаю свое собственное искусство, но я отрицаю его через конечное, предельное убеждение, сознательное... А ведь какой он человек хороший... Жаль его, жаль...

И Скрябин снова улыбнулся своей странной улыбкой.

Квартира Скрябина была велика и просторна, но вид ее был, скорей, буржуазный, бюргерский, чем художника с такой оригинальной психикой. Там были декадентские стульчики рыжего дерева, неудобная гостинная мебель, какая-то пышная картина воинственного древнего содержания в золоченой раме, странная икона, фарфоровая скульптура китайца... За длинным столом происходил прием близких, родственников и «апостолов». Сейчас основные «апостолы» были в сборе. Здесь были доктор Богородский, Подгасецкий, Мозер, Леонтий Михайлович. Были здесь и сам Скрябин, Татьяна Федоровна и Марья Александровна — мать Татьяны Федоровны, пожилая француженка. Были и дети, другие дети, Юлиан — ласковый и застенчивый мальчик и Арнадна — красивая девочка с раздвоенным, как у отца, подбородком, но чем-то похожая на мать. Все смотрели, как мастер по указанию Мозера прилаживает к потолку какой-то странный разноцветный предмет. Включили свет, и девять лампочек, оклеенных цветными бумажками, засветились. Захлопали в ладоши дети, и сам Скрябин, тоже радуясь по-детски, бросился к роялю...

— Леонтий Михайлович, — сказал Скрябин, — вы вместе с Александром Эдмундовичем садитесь за световую клавиатуру... Начальный аккорд «Прометея» — таинственный лиловый сумрак... Из розового и синего... Тема разума — синий цвет...

Он обрадованно засмеялся, когда при аккордах темы разума потолок и все вокруг осветилось синим светом.

— Вот то-то оно, — говорил он лукаво, с мастерством передавая сдавленные звуки закрытых труб на фортепиано, — правда, бедовые гармонии?

— А потом подъем, больше, больше... А-а-а, — издавал он задыхающиеся звуки. — Если вы любите Индию, вам это

должно правиться... Тут мерцающие звуковые прикосновения... Это как звуковые поцелуи... Но лучшие всего здесь жесткие гармонии... Медь, медь... Здесь социализм всемирный, полная материализация... тут не то пабук, не то накопальная гигантов... Это полная материализация... Тут полное отпечатление творящего духа на материи... Вот он, Прометей, — говорил он, озаренный красным светом из-под потолка, — все материализовано, все самое реальное... И тут красный свет самый реальный, материалистический свет... Красный... Багрово-красный...

Потом пили чай с сушками. Разливала Татьяна Федоровна. Скрябин сидел традиционно против нее в кресле-стуле.

— Сашь, — сказала, показываясь в дверях Марья Александровна, — пора делать отцовское благословение.

Скрябин встал и пошел в детскую. Ариадна и Юлиан уже лежали в кроватках. Тут же был и третий младенец. Скрябин обонел, целуя их и крестя на ночь, потом вышел, но в конце коридора уже пошел вирнипрыжку, а войдя в гостиную, начал делать легкие антраша и весело говорил:

— Ну, теперь я свободен... Наконец я свободен... Надо бы закустить... Тася, дай нам ветчины, сыру, хлеба... И пиво... А почему обычное пиво... Я ведь просил пиво Шигта...

В лавке не было сегодня Шигта, — оправдывалась Татьяна Федоровна.

— Жаль одно, — сказал доктор, наливая себе обычного пива, — за пивом Шигта особенно приятно мечтать о «Мистерин» Александра Николаевича... Сегодня чудесные условия для разговора о «Мистерин», нет только Гольденвейзера.

Он желчно засмеялся.

— Верно, — сказал Подгаецкий, — как можно говорить о «Мистерин» Александра Николаевича при толстовце?

— Да, да. Толстой — это тип рационалиста в религии... Это сплошной скандал и дилетанство... — сердился уже Скрябин. — В нем нет никакой мистики, он не понимает даже, что такое мистика.

— Толстой ужасный лицемер, — поддакнула Татьяна Федоровна. — В нем все фальшиво от начала до конца.

— Абсолютно, — сказал Подгаецкий. — По-моему, это такой же символ враждебного мира, как Чайковский, Рахманинов или Танеев.

— Толстой, — говорил Скрябин, — имеет как будто огромную склонность быть праведником, но никакой к тому способности. Это, так сказать, бездарный праведник... Чехов просто скучен, а Толстой к тому же и в праведники рвется.

— Толстой совершенно бездарный, — как испорченное усиленное эхо, отозвался Подгаецкий, жуя ветчину.

— А ведь знаете, это большие способности, — говорил Скрябин, — все равно, как к композиции. Есть люди, способные к праведности, а есть бездарности, и с ними что ни делать, нечего у них не выходит. Толстой по природе странно-злой, а хочет быть добрым. Злость же кипит в каждом его слове.

— А вот Александр Николаевич наоборот, — сказала Татьяна Федоровна, — хочет быть иногда злым, а все выходит у него по-доброму. Хочет сатанизма, а получается праведность.

— Вот я уж вовсе не такой добрый, — вдруг запротестовал Скрябин. — Я тоже бедовый, не меньше Толстого...

— Странно, — резко сказал доктор, — что Кусевицкий до сих пор не стал толстовцем... Для этого все данные... Миллионы есть и лицемерия хватает.

— Вы знаете, — после раздумия сказал Скрябин, — возможно, доктор прав... А эта история с Волгой... Это ведь довольно любопытно.

— Расскажи, Саша, — сказала Татьяна Федоровна, — пусть знают, тут ведь друзья.

— Во время наших гастролей по Волге, — сказал Скрябин, — я спросил, сколько он мне заплатит. Тот вначале уклонился, потом говорит: «Мало, Саша, мало, мне совестно сказать, сколько...»

— Ну, чем не толстолец, — сказал Подгаецкий.

— Дотянул до конца и заплатил тысячу, — сказал Скрябин. — Ведь это уже скандал. Ведь когда я учеником был, больше получал.

— А мне кажется, — сказал доктор, — что чистое имя Скрябина не должно быть рядом с тем, кто женился на миллионах... Кусевицкий заслонил от нас Скрябина, но мы его отвоюем.

— Я и сам не пойму, — сказал Скрябин, — может ли человек с таким лицом, как у Сергея Александровича, понимать музыку? Он материальный, здешний... А все-таки у него выходит многое мое... Он удивительно переменчив — это, знаете, такое обезьянье качество.

— И вот еще что, — сказал доктор, — уж «Прометей» хотя бы надо отпраздновать торжественно и достойно... Надо уговорить этого, чтоб не у него в доме... чтобы попросту, по-товарищески, в кабачке, одним словом... А то тут Кусевицкий... Дом с этими бульдогами... Я вообще не выношу собачьего лая... Ну их к черту...

— Я согласна с Владимиром Васильевичем, — сказала Татьяна Федоровна.

— Да, да, — сказал Скрябин, — у меня много друзей, которым неловко идти к Кусевицкому. Они его терпеть не могут, и он их тоже... А без них мне бы не хотелось... Я завтра на речетице поговорю с Сергеем Александровичем.

Уже светало. Все общество давно перебралось из гостиной в кабинет. Скрябин говорил, сидя в калачке:

— Вы знаете, у меня в «Прометее» такие медленные темпы, как никогда ни у кого не было... Они должны длиться, как вечность, — он посмотрел загадочно, — потому что ведь вечность должна пройти от момента томления до материализации... Вам не кажется, что музыка заколдовывает время, может вовсе остановить его?.. Но у меня в конце будут такие быстрые темпы... Это как бы последний танец перед актом... Когда задыхаешься не то от избытка блаженства, не то от стремительного полета... Полет... Да и вообще, — Скрябин резко встал, — как все это надоело... Писание сопат, симфоний, концертное исполнение... Пора! — почти вскричал он. — Только Мистерия... Но как ужасно велика работа, как она ужасно велика...

— Он мне напоминает сейчас Иисуса в Гефсиманском саду, — тихо сказал Леонтий Михайлович Мезеру. — Человек во власти могучей идеи, осознавший вдруг слабость сил своих.

— Только чудо мне поможет, — сказал Скрябин. — У меня колокола с неба должны звучать... Это будет призывный звон... Все народы двинутся в Индию, туда, где была колыбель человечества... Ведь Мистерия есть воспоминание... Всякий участник должен вспомнить, что он пережил с момента сотворения мира...

В темной передней Скрябин, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить спящих, провожал всю группу, сам запер дверь.

Вышли табуном и повили по пустынным рассветным московским улицам. Долго шли молча. На перекрестке, когда надо было расходиться, Леонтий Михайлович вдруг сказал:

— Господа, чем все это кончится... Куда он идет? Мы крепкие друзья его, как мы можем смотреть на столь угрожающее развитие его мысли... Узел его мысли затягивается все туже. Назад пути нет. Он слишком верит в свое мессианство.

Мне надоело ваше неверие, — сердито сказал доктор и, сухо поклонившись, пошел к стоянке почтовых извозчиков.

В мрачном Колонном зале шла репетиция «Прометея». Призрачный дневной свет проникал из полузакрытых окон, и люстры у оркестра были зажжены слабо, по-дневному. Скрябин был сам на эстраде, играл фортепианную партиту. Прозвучал знаменитый первый аккорд Рахманинов, который сидел в зале, подошел к Скрябину и удивленно спросил:

— Как это у тебя звучит? Ведь совсем просто оркестровано.

— Да ты на самую гармонию-то клади что-нибудь, — отвечал Скрябин, — тут звучит не мелодия, а гармония.

— Первый аккорд гениален, — говорил Рахманинов кому-то из присутствующих в зале музыкальных критиков, — настоящий голос хаоса, из недр родившийся единый звук... Но дальше уже не то, схематичней... Как жаль.

— А исполнение Скрябина слабое, — сказал критик. — Совсем не титаническая звучность... И эти звуки, им извлекаемые, наряду с громами оркестра, как-то жалостны.

— Но в тихих моментах прекрасно, — сказал Рахманинов, — в звуковых ласканиях... Кульминация действительно смутно звучит, хоть и грандиозно... лучше всего первый аккорд... Аккорд хаоса... Он вне человеческих возможностей.

После репетиции Скрябин, Татьяна Федоровна, Леонтий Михайлович и доктор Богородский сидели в кабинете Кусевницкого с электрическими лампами в форме баклажанов, с бюстом Наталии Константиновны и с картинами Врубеля на стенах. Лакеи подавали панетки и сласти. Тут же было несколько больших бульдогов, на которых с озабоченным видом сидел доктор. Кусевницкий, плавно жестикулируя, говорил с нафосом, обращаясь к Скрябину:

— Клянусь тебе, что все твои друзья — мои друзья. Разве есть кто-нибудь, кто тебя понимает и мне не друг? Кого ты хочешь — пригласи, кого не хочешь — откажем... А тут гораздо уютнее, у себя...

Доктор взял Леонтия Михайловича под руку и увел его в большую гостиную, где мебель была со львиными мордами, и черные перендеты в потолке придавали этой зале суровый вид.

— К черту, — горячился доктор, — ну их, с их гостеприимством... Ведь это зеленая тоска будет, мухи подохнут... И он с этой... Падают, как петухи индейские, слова не вымолвишь... А как те, кто не захочет... Как же Скрябин в такой день без друзей... Да скажите ему прямо, вы человек независимый, пойдем в кабак, а то от Унковых не продохнешь... Ведь это все придут с набитыми карманами, буржуазия. Какое они имеют отношение к Скрябину... Да и сам Кусевницкий со своими миллионами...

— Я с вами согласен, доктор, — сказал Леонтий Михайлович. — Отпраздновать бы действительно неплохо на нейтральной почве... Но вот увидите, Кусевницкий Скрябина убедит.

И действительно, когда доктор и Леонтий Михайлович вошли в кабинет, там все уже было решено.

— Что ж, отпразднуем здесь, — говорил Скрябин. — Сергей Александрович обещал, что все будут приглашены... Так и быть.

— Ах, Александр Николаевич, — говорил Кусевецкий, — мы еще такое развернем... Создадим издательство европейского масштаба, организуем собственный оркестр... В провинцию российскую музыку повезем... Построим дворец искусств... Чтоб не только там залы, но и картинные галереи... И чтоб все это было общедоступно для бедного народа...

— Это мой бюст, — говорила Наталья Константиновна, — работы Голубкиной... Голубкина даст мне уроки скульптуры.

Лицо доктора выражало отчаяние.

Когда отзвучали последние аккорды «Прометея», часть публики бешено аплодировала, часть пинкала. Сторонники толпой бросились к эстраде, крича: «Прометей, бис! Скрябина! Кусевецкого!..»

Но ни Скрябин, ни Кусевецкий не явились. Они в то время были в маленькой артистической комнате, и между ними происходил разрыв.

— Но ведь ты обещал, — говорил Скрябин, — ты ведь обещал, что всех друзей на ужин пригласишь.

— Я не знал, что господин Подгаецкий распространяет обо мне гнусные сплетни, — кричал Кусевецкий. — И потом, он вообще не правится Наталье Константиновне.

Скрябин некоторое время стоял, словно пораженный, а потом с яростью накинулся на Кусевецкого.

— С кем ты так говоришь! — кричал он. — Кто ты и кто я... Я не поеду к тебе вовсе, и ни один из моих друзей не поедет! Ты всего-навсего менцат, а у менцата никаких заслуг, он просто выполняет свой долг... Я не позволяю... Я даже покойному другу своему Митрофану не позволял.

Он заходил по комнате.

— Твой Митрофан попрекал тебя каждой конейкой, — сказал Кусевецкий.

— Беляев святой человек, — крикнул Скрябин, — а ты нагло обесчтил меня во время гастролей по Волге... Всучил мне за все выступления тысячу рублей.

Кусевицкий был торжественен и важен, но лицо его еще сильнее покраснело, стало пушковым.

— У меня нет лишних средств, — сказал он. — Я не могу тратить деньги.

— А разве я хуже играть стал? — сердито говорил Скрябин.

— Что ж, — сказал Кусевицкий. — Если ты так считаешься, я могу пригласить другого пианиста, он сыграет мне это за двести рублей.

— Да что у тебя, лавочка? — яростно крикнул Скрябин.

Не забывай, как много я для тебя сделал.

Ты и тебе подобные счастливы должны быть, когда им приходится иметь дело с такими артистами, как я. И не то еще выносить, — сказал Скрябин. — Людовик Баварский не то еще выносил от Вагнера. Тот даже колбаской в него пустил.

— Но ведь Людовик-то был король, а я тоже артист, — крикнул наконец, не выдержав твердой торжественной маски, Кусевицкий, — я тоже музыкант... Хочешь ты или не хочешь — но тебе придется поделить со мной мир пополам.

— Возьми весь, — сказал Скрябин, — если он за тобой пойдет...

Кусевицкий вышел из артистической, Скрябин, тяжело дыша, сел за столик рядом с мрачной, темнее ночи, Татьяной Федоровной.

— Ну, вот это разрыв, — сказал он. — Вот доктор-то рад будет.

Было пышное зеленое лето под Каширой. Скрябин в английском костюме шел рядом с одетой так же по-городскому, в туфлях на французских высоких каблуках Татьяной Федоровной, сторонясь с испугом табуна лошадей. Когда табун прошел, Скрябин увидел Леонтия Михайловича и Мозера, одетых по-дачному. Обнялись.

— А мы только с поезда, — говорил Мозер, — местность чудная... Но почему вы гуляете в этом заплыванном парке? Пойдемте в рощу, пойдемте осматривать окрестности.

— Да, да, это верно, — сказал Скрыбин, — здесь гоняют лошадей на водоной, вся трава вытоптана.

Под вечер зашли в березовую рощу с ясными лужайками.

— А тут очень хорошо. Знаете, иногда можно почувствовать в себе такое слияние от отождествления с природой. Вот в таком лесочке должны водиться нимфы, — сказал Скрыбин несколько литературно. — Тася, какая чудная трава... Вот здесь... Надо постелить плед... Трава прекрасна, но садиться на нее негигиенично... Потом всякие букашки, которые заползают и кусаются.

В это время вдали прогремел гром. Скрыбин испуганно переглянулся с Татьяной Федоровной.

— Тася, не пойти ли домой... Кажется, гроза будет... Как вы думаете, — обернулся он к Мозеру, — вы, физик и химик... Мы успеем домой до грозы?

Неужели вы, — улыбнулся Леонтий Михайлович, Прометей, неспровергатель миров, боитесь грозы?

В этот момент раздался сильный удар грома, хоть гроза явно шла стороной и глянуло опять солнце. Скрыбин вздрогнул, но, овладев собой, довольно натянуто сказал:

— Напротив, я очень люблю картину грозы, но природа меня странно утомляет, отнимает много сил, рассеивает внимание. Ведь правда, Тася? Все животные и растения ведь отражение нашей психики... Смотрите вот на птиц... Я чувствую тождество птиц с моими окрыленными ласками... А есть терзающие ласки... Это звери... Есть тигровые ласки... Можно ласкать, как гнена или волк... А змеи — это ведь целая поэма ласк, сама ласка, отраженная во внешнем мире, дает змею... Змеи — наши собственные ласки, гуляющие на свободе.

— Ну а как быть с насекомыми? — спросил Леонтий Михайлович.

— Насекомые, бабочки, мотыльки — ведь это ожившие цветы. Это тончайшие ласки без прикосновения. Они все родились в солнце, солнце их питает. Это — солнечная ла-

ска, это самая близкая мне... Вот в Десятой сонате... Эта вся соната из насекомых... Каким единством все проникнуто, — говорил Скрябин.

Они шли по деревенскому мостику.

— В науке все принято разъединять... Радиоактивность... Теория относительности... Но у меня будет синтез... Знаете, ведь звери тоже будут принимать участие в моей Мистерии... Вот в этот последний день в последнем танце, может, мы уже не будем людьми, а станем сами ласками.

Было уже совсем темно, вдали в избах горели огни и небо было в крупных звездах.

— В природе меня всегда поражало одно: растения, цветы, деревья — все они безмолвны, неподвижны, они хором пьют земляные соки и солнечные лучи... Как прекрасно... Тишина есть тоже звучащая... В тишине есть звук, и пауза звучит всегда. Есть, конечно, такие пианеты, у которых пауза — просто пустое место. Но она должна звучать. Знаете, я думаю, может быть музыкальное произведение, состоящее из молчания.

На крыльце дачи он уселся на стул и сказал:

— Извините, у меня йоговские упражнения по Рамачараке.

Он очень забавно вдыхал воздух, сидел с ничего не выражающим лицом, а затем выпускал воздух. Иногда при этом он вскакивал и делал движения руками.

— Вы знаете, — сказал он, окончив упражнения, — мы не умеем ни есть, ни спать, ни дышать, вообще, нас не учат жить. В школе нас учат пустякам, а в индусских школах учат культуре духа... Оттого там культура пошла по более глубокому направлению... Мне необходимо физическое здоровье... Мне надо, может быть, очень, очень долго жить...

Утром Скрябин и Татьяна Федоровна провожали гостей к дачному поезду.

— Вернемся с дачи, опять концерты, — говорил Скрябин. — Опять погоня за презренным металлом.

— Дети растут, — говорила Татьяна Федоровна, — им надо гувернантку, бонну.

— Вместо того чтобы писать Министерю, я должен играть, причем ранние свои вещи, ведь другого там не поймут. Как это ненормально и возмутительно, что художники не обеспечены. Государство должно их обеспечивать — это первая задача. Ведь искусство — это последнее, конечное, ради чего живут и стоит жить. Возмутительно, что я должен заниматься этими вот заработками.

Они вышли на дощатый перрон.

— Впрочем. — смеялся уже Скрыбин, — в гастролях бывают и милые курьезы. В Ростове антрепренер, будучи в торговле, хотел повести меня в публичный дом, чтобы сделать мне приятное, и был удивлен, когда я отказался... В Одессе в интервью про Министерю сообщили, что это будет «химическое соединение всех искусств».

Подкатили дачные вагончики. Радостные и возбужденные, Скрыбин и Татьяна Федоровна остались на платформе, машина вслед уходящему составу.

Был трескучий февральский мороз. Малшовое вечернее солнце садилось в тумане. На Театральной площади горели костры. Огромная толпа стояла у Благородного собрания, где висела афиша: «Рахманинов... Колокола... Аполдисменты запрещены...». Зал был переполнен. Повернувшись к оркестру, Рахманинов минуту-другую стоял, низко наклонив коротко стриженную голову. Начался концерт. Тихий, счастливый золотой звон сменился медным звуком адского набага, затем равнодушный, пустой холодный железный звук, а потом снова зазвенело нежное рахманиновское...

Скрыбин и Татьяна Федоровна сидели в окружении «апостолов». Скрыбин во время концерта ерзал на стуле, сначала тихо, потом энергично, затем стал подскакивать в кресле и тревожно, мучительно озираться по сторонам. Но вот конец. Молчание. Лишь теснится взволнованная публика. В тишине три человека немедленно поднялись на эстраду, неся дар — гирлянды серебряных колокольчиков и колоколов, прикрепленных к крестовине. На суровом до надменности лице Рахманинова явилась растерянная улыбка. Опустив палочку, он беспомощно развел руками,

глядя на море взволнованных лиц и на руки с цветами, протянутые к нему. Среди всеобщего ликования пробиралась раздраженная группа Скрябина.

— Из меня словно нервы тянули, — сказала Татьяна Федоровна.

— Не могу ни одного звука запомнить из такой музыки, — говорил Скрябин. — Какая-то однородная тягучая масса, точно тянучка... Знаете, конфетки такие есть... Но вынужден ходить из дипломатических соображений... Знаете, светские приличия... То, что он запретил аплодисменты, — говорил он уже на улице, — то, что на афише написано о запрете аплодисментов, показывает, что Рахманинов сам не понимает своих сочинений... Есть произведения, которые требуют после себя взрыв аплодисментов... Эти аплодисменты входят в состав композиции. Например, разве можно представить себе какую-нибудь рандоию Листа, оконченную без аплодисментов? Это такая же часть сочинения, как кастаньеты в «Арагонской хоте»... А в других сочинениях, действительно, должно быть тихое шелестящее молчание, которое их завершает... Но только не здесь, не в этих «Колоколах», которые зовут не на небо, а в монастырскую трансеюгу.

— Казалось бы странным, — сказал доктор, кивнув на кистри, у которых грелись студенты и курсистки, жаждавшие билета на Рахманинова, — почему Пуччини, будучи шиммею по сравнению с Глюком, играл такую выдающуюся роль в борьбе с повоторами. Но Пуччини имел обычное преимущество таланта перед гением: он был доступен массе.

— Рахманинов — это современный Пуччини, — сказал Подгаецкий, — но Александр Николаевич выше Глюка.

Дома, красные от мороза, за традиционным самоваром продолжали традиционные разговоры.

— Вы знаете, — говорил Подгаецкий, — если уж идти в этом направлении, то, скорей, интересен Прокофьев... Его очень хвалят в Петербурге... В нем есть такое милое варварство... Такой премилый скиф. Вот у меня здесь кое-что.

И он протянул ноты. Скрябин печально посмотрел в ноты и сказал:

— Какая грязь... Я, кажется, делаюсь похожим на Лядова... И немножко на Танеева... Не люблю музыкальную грязь... Притом какой это минимум творчества... Самое печальное, что эта музыка действительно что-то отражает, но это что-то ужасно... Вот уж где настоящая материализация звука.

— А Рахманинову нравится, — сказал доктор.

— Ну, Рахманинов... Вот как он сидит над инструментом, — и Скрябин, вскочив, показал, — как за обеденным столом. Я ведь вижу, что Рахманинов инструмента не любит... Техник он хороший, но звук его однотонен... Он все играет одним, правда, очень красивым, но ужасно лирическим звуком, как и вся его музыка. В этом звуке много материи, мяса, прямо окорока какие-то... И Рахманинов ведь совершенно не учитывает первую технику... У него бесполая музыка, его могут одинаково играть и мужчины, и дамы... А у меня Третью сонату, например, может играть только мужчина... тут воля мужская должна быть... Никогда дама так не сыгравает... — Он проиграл кусок. — ...а всегда вот так... — Он снова проиграл. — Не правда ли, скверно выходит, совсем скандал... Это эстетизм, есть милые люди, но эстеты... Например, князь Гагарин... Как у него соединяется интерес к моей музыке с Рамо, Вагдой Ландовской или Стравинским?

— Думаю, — сказал доктор, — что князь Гагарин без указания Скрябина от Рахманинова не отличит.

— Господа, это нехорошо, — сказала Татьяна Федоровна. — Князь Гагарин на редкость образованный, культурный человек, он совершенно мистически настроен.

В салоне князей Гагариных среди старинной мебели Скрябин и его «апостолы» выглядели несколько провинциально. Татьяна Федоровна была одета в длинное бальное платье.

— Книжка, — сказала она Гагариной, — я заказала старинный диван в мастерской, он скоро будет готов.

— По старинных вещей не заказывают, — сказала княгиня.

— Вроде старинного, — понравилась Татьяна Федоровна.

— Господа, у меня сюрприз, разрешите представить, — сказал князь Гагарин, пожилой человек с городской повестью, — Александр Николаевич Брянчанинов... Впрочем, — обратился он к Скрябину, — вам знакомый.

— Да, да, — сказал Скрябин, — что-то припоминаю.

— Здравствуй, тезка, — сказал Брянчанинов, обнимая Скрябина.

— Почему он говорит Александру Николаевичу «ты»? — сказал доктор Подгаецкому, ревниво и сердито.

— На правах старого товарища, — сказала Татьяна Федоровна. — Они встречались в Царстве.

— Один раз, — тоже ревниво сказал Подгаецкий.

За ломберным столиком Брянчанинов, быстро ставший душой общества, говорил:

— Союз России с Англией необходим. Мир должен быть объединен, а над святой Софией воздвигнут православный крест. Англия, Александр Николаевич, — мистическая страна, тесно связанная с Индией.

— Именно, — говорил Скрябин, — я согласен... Если мир будет объединен, Мистерия станет неизбежной. Я думаю, что английское правительство поможет мне в покупке земли для храма...

— Ваши гастроли в Англии сейчас необходимы и носят политический характер, — сказал Брянчанинов. — Я думаю, вы как великий мыслитель и композитор произведете достойное впечатление в парламентских кругах...

— Вам не кажется, — сказал доктор, когда поздно ночью вышли из салона на заснеженный бульвар, — что господин Брянчанинов, в сущности, очень далек от ваших идей?

— Нет, доктор, вы ошибаетесь, — мягко сказал Скрябин. — Он вполне со мной, хоть считает, что конечная цель — торжество славянства во всем мире. Я же думаю, что дело идет глубже, о Мистерии. Мне теперь нужен именно политик. Моя идея становится ведь политической. Ведь Мистерия будет на английской земле, и потому нам надо союз России с Англией.

— Но ведь этот Брянчанинов — типичный реакционер, — сказал Подгасцкий.

— Да, — сказал Скрябин, — это, конечно, неприятно. Он мне напоминает моего отца. Мой отец тоже темного черносотенец... Но я надеюсь, что господин Брянчанинов, поняв всю грандиозность моего замысла, оставит свои заблуждения. В противном случае мы с ним, конечно, не сойдемся. Я ведь с родным отцом не в ладах. По разным причинам, и по этой тоже... По-моему, всякий черносотенец чересчур материален и лишен поэзии и мистического чутья...

Однажды, придя домой в отличном настроении и раздеваясь в передней, Скрябин говорил:

— Я узнал новость, Алексей Александрович собирается в актеры. Смешно. А вот мы спросим у него сегодня вечером. Собирается выступать в Свободном театре под псевдонимом Чабров, чуть ли не в роли Арлекина...

Он замолчал. Татьяна Федоровна сидела с заплаканным лицом. Марья Александровна ходила, сердито потряхивая головой и бормоча.

— Что случилось, Тася? — спросил Скрябин.

— Консерватория прислала почетный билет А. Н. Скрябину и В. И. Скрябиной. Это не ошибка, это расчет.

— Удивительна людская мелочность, — с негодованием сказал Скрябин.

— Нужно добиваться развода, — сердито сказала Марья Александровна, — нужен юрист.

— Но ведь вы знаете, что Вера Ивановна, — имя это Скрябин пронес шепотом, как нечто неприличное, — не дает мне развода. Ведь вот какая гадость.

— Тогда надо завещание, — сказала Марья Александровна, — прежняя жена лишена должна быть наследства, а все наследуют дети и настоящая жена.

Скрябин изменился в лице.

— Какое завещание, — сказал он. — Я ведь много раз говорил, при чем тут завещание... А как же Мистерия, Тася... Ведь ты сама знаешь, что мне надо долго жить...

— Ну при чем тут Мистерия, — вдруг воскликнув, крикнула Татьяна Федоровна. — Мне надоело быть палочницей... Мне не подают руки... Дети не имеют законного отца... Твоя первая жена умышленно не дает развода, чтоб носить твою фамилию... А ты потакаешь... мне надоело.

И она бросила на пол тарелку.

Позже они сидели оба бледные и мрачные. Раздался звонок в передней. Татьяна Федоровна быстро подошла к зеркалу и начала приводить себя в порядок. За столом с самоваром Скрябин говорил Леонтию Михайловичу:

— Вы ведь знаете, на какие гадости способны эти люди, ведь они изводят мелким изводом, стараясь уколоть самолюбие... Я не могу с этим примириться... Вера Ивановна не дает развода.

— Однако почему вы придаете этому такое значение? — сказал Леонтий Михайлович. — Разве вас не удовлетворяет внутреннее содержание ваших отношений с Татьяной Федоровной?

— Саша не любит об этом упоминать, — сказала Татьяна Федоровна, — но ведь и мне хочется быть не Шлёцер, а Скрябиной, по закону. Мне хочется быть легально рядом с Сашей, всюду... Вы знаете, что мы пережили в Америке... Это ужасная страна.

— Ну почему же, — несколько повеселев, сказал Скрябин, — очень смешная страна... В Нью-Йорке интервью со мной было озаглавлено «У казака-Шопена», — он уже смеялся, — там было сказано, что казацкий композитор Скрябин принял их в роскошном кабинете и размахивал левой рукой, рукой Ноктюрна... И все время спрашивали про Горького... Я думал, что Горький — это единственный русский писатель, которого они читают... Оказывается, Горький просто был незадолго до меня, и у него тоже произошла подобная моей история... И все-таки Америка имеет большое будущее.

— Ну уж эта твоя Америка, — сказала Татьяна Федоровна, — отвратительная прозаическая страна.

— Знаете, — смеясь говорил Скрябин, — со мной там был скандал... У меня есть вальс в духе Штрауса... С виртуозны-

ми пассажами, с октавами... Ужаснейший... Я его сочинил для практики левой руки, когда правая у меня болела и, вообще, когда я был светским человеком... И вот я решил в заштатном американском городке сыграть этот вальс... Даже не в Нью-Йорке и не в Чикаго... Посмотрю, что будет... Был успех... Такой сокрушительный успех, и вдруг сквозь рев и аплодисменты один свисток... Оказалось, что это свистел мой знакомый, русский, который был случайно в этом городе и пошел послушать концерт... Ему стало за меня стыдно...

— Вот видишь, Саша, -- сказала Татьяна Федоровна, — один только порядочный человек нашелся, да и тот москвич.

— Они, Тася, не виноваты, — сказал Скрябин. — Бывают нации музыкальные, например русские, евреи, итальянцы, и немусикальные, как англичане.

— Нет, отвратительная страна, — настаивала Татьяна Федоровна.

— А что, Бельгия разве лучше? — сказал Скрябин. — Такое же меццанство и такое же малое понимание... Европа теперь будет все равно угасать, такова ее роль, а Америка еще имеет шансы развиваться в будущем.

— В Бельгии есть мораль, — сказала Марья Александровна. — Там мужчина никогда бы не потерял незаконного сожителства с любимой женщиной.

Настуило целовкое молчание.

— Я, пожалуй, пойду спать, — сказала Татьяна Федоровна. — Вы извините, разболелась голова.

Она попрощалась и ушла. Марья Александровна пошла за ней следом.

— Пойдемте, выпьем пива, — сказал Скрябин. — Сюда поблизости, в «Прагу»...

Они вошли в ресторан и заняли место у лестницы в уголке.

— Если бы вы знали, — сказал печально Скрябин, — как много нервов у меня берут эти скандалы. Они ведь не так редки, ведь это систематически, несколько раз в год эта история... Это страшная проза жизненная, которую я так ненавижу.

Помолчали.

— Зачем она играет мои вещи, — сказал Скрябин, — кто ее просит... Ведь это неспроста... Она нарочно играет, чтобы позлить и изобразить оскорбленную справедливость.

— Но ведь вы не можете запретить кому бы то ни было играть свои вещи, — сказал Леонтий Михайлович.

— К сожалению... Но некоторым не следовало бы прикасаться к ним. Ведь она ужасно их играет... Незаметно она, которая так ненавидела мои последние сочинения, теперь их играет... У меня теперь два таких экземпляра, которые выставляют благородство за мой счет... Она и Кузнецкий... Тот тоже меня исполняет.

— А скажите, — разлив пиво Шитта из кувшинчиков, спросил Леонтий Михайлович, — как же вы так ошиблись в первом своем семейном выборе?

Скрябин засмеялся.

— Вы знаете, что тогда у меня были очень странные убеждения... Я был индусанец, светский лев, роковая личность... Ах, какие цветные жилеты я тогда носил, — сказал он с мечтательной улыбкой, -- я был совсем юный щенок, и почему-то мне казалось, что в некоторый момент молодому человеку надо непременно жениться... Конечно, я Веру несколько не любил... Но уж теперь я решил твердо пресечь все штучки с ее стороны... Ведь, поймите, она все еще надеется.

Он помолчал как-то вдруг растерянно.

— Она все время мне хотела устраивать свидания у тети, чтоб я увиделся с детьми... У меня ведь там трое детей осталось после смерти Римочки... Но я не могу себе этого позволить... Это интриги... Тут Таня права.

— И вы счастливы влюбие? — тихо спросил Леонтий Михайлович.

— Таня окружила меня полной заботливостью и преданностью. Это и друг, и жена, и миропосица... И я бесконечно ей обязан... А по-настоящему я любил одну только Марусю... Марью Васильевну... Была у меня любовь... Так, вроде бы мимоходом... Первоначально я ее и не заметил, -- он снова помолчал, — ведь такие люди, как мы, никогда не

свободны в жизни. Жизнь им дается извне, чтоб расцвел их гений... Так же и коронованные особы не могут жениться по выбору своему. Мне нужна именно такая, как Татьяна Федоровна, чтоб я имел возможность погрузиться в свой мир... Ведь уже пора, пора бросить пустяки и заниматься делом. У меня есть какая-то инерция, я занимаюсь писанием сопат с удовольствием, с каким не должен был заниматься... Как это теперь скучно — быть только композитором... Я хочу, чтоб в Мистерии язык был синтетический, воссоединенный.

— Значит, вы сочиняете новый язык, — сказал Леонтий Михайлович, — ныне на земле не существующий?

— Вы все-таки ужасный прагматик, — сказал Скрябин. — Доктор прав. Ведь до этого столь много должно произойти... Это будет очень скоро, но не сейчас...

Официант принес еще пива, тарелку вареных раков.

— Я долго думал, как осуществить в самой постройке храма текучесть и творчество... И вот мне пришло в голову, что можно колонны из фимиама... Они будут освещены светом и световой симфонией, и они будут растекаться и вновь собираться. Это будут огромные огненные столбы. И весь храм будет из них. Это будет текучее, неремешное здание, текучее, как музыка... И его форма будет отражать настроение музыки и слов... Тут есть все — и симфония световая, и текучая архитектура, не грубая материальная, а прозрачная, и симфония ароматов, потому что это будут не только столбы светов, но и ароматов... И к этому присоединятся краски восхода и заката солнца... Ведь Мистерия будет продолжаться семь дней...

Леонтий Михайлович посмотрел на Скрябина. Скрябин сидел нарядный и элегантный, в хорошем английском костюме, в модном галстуке, освещенный уютными электрическими лампочками ресторана «Прага».

— Александр Николаевич, — сказал тихо Леонтий Михайлович, — какие у вас данные для того, чтобы утверждать, что именно вы должны совершить все это?

— Я думаю, — ответил Скрябин серьезно, — что зачем же мне была открыта эта идея, раз мне ее не осуществить?..

И я чувствую в себе силы для этого... Каждому открывается именно та идея, которая ему предназначена. Бетховену была открыта идея Девятой симфонии, Вагнеру — идея «Нибелунгов»... а мне это...

Он выпил пива.

— Вы знаете, что у меня бывают приступы отчаяния, когда мне кажется, что я не напишу Мистерню... Это самые ужасные минуты моей жизни. Это минуты малодушия, по это-то и подсказывает мне, что я прав. — И он закончил резко и определенно: — Я не пережил бы часа, в который бы убедился, что не напишу Мистерню.

— Сегодня у нас Бальмонт, — торжественно как-то говорил Скрябин своим домашним и «апостолам», — Тася, надо, чтоб все поторжественней... Зажги свечи... И на стол, пожалуйста, бархатную скатерть с кистями.

— Вы знаете, — садясь в сапн рядом с Леонтием Михайловичем, говорил Бальмонт отрывистым и надменным голосом, — вы знаете, что я считаю себя большим поэтом... Но мое искусство бледнеет перед искусством этого музыканта... Вагнер и Скрябин — два гения, равнозвучных мне и дорогих... Я помню Вагнера... Я не знаю, что это было — кажется, «Лоэнгрин»... Это было заклинание стихийных духов... Это было гениально... У Скрябина тоже, особенно в этой, — он зашулулся, — кажется, в Пятой сонате... Добровейн играет ее в моем концерте... Там есть такое... Справа палево... Это изумительно...

Стоя у рояля, запрокинув свое бледное лицо средневекового испанского гранда, Бальмонт читал «Смерть Димитрия Красного. Предание»:

В глухие дни Бориса Годунова  
Во мгле Российской пасмурной страны  
Толпы людей скитались без крова  
И по почам всходило две луны.

Трещали свечи. Молча сидели вокруг стола Скрябин и его «апостолы». Бальмонт читал «Скорпиона», сонет:

Я окружен огнем кольцеобразным,  
Он близится, я к смерти присужден  
За то, что я родился безобразным,  
За то, что я зловецкий скорпион.

Скрябин молча сел за рояль.

— Саша, — сказала Татьяна Федоровна, — сыграй мерцающую тему.

— Это поцелуйи звукам, — говорил Бальмонт. — Вы не Титан, Александр Николаевич, вы Эльф... Вы умеете ткать ковры из луных лучей... Но иногда вы тоже коварно можете подкрасться и низвергнуть лавины в бездны.

— Именно в бездны, — сказал Скрябин. — Вы знаете, Константин Дмитриевич, когда вы читали, я подумал об одном моем знакомом... Господин Брягчаншинов... Он хорошо осведомлен в дипломатических делах... Он говорит, что начнется... Он говорит о волнениях в Китае... Там зашевелилось... Китай — это ведь огромная сила, не столько политическая, сколько мистическая... Напрасно это не учитывает Запад... Мир каштала... Перед Мистерией именно произойдет великое переселение народов, войны, всеобщее пробуждение. Будет огромная мировая война. Это будет мировой пожар. Это замечательно. Восстанет Африка. Африканцы в высшей степени способны к ясновидению. Ведь был же Пушкин отчасти африканцем. У них имеется такое не рациональное, а более непосредственное постижение мра.

И Скрябин радостно засмеялся.

По случаю особой торжественности момента пили не традиционный чай, а вино. Скрябин говорил:

— Когда я писал Третью симфонию, у меня на рояле всегда стояла бутылка коньяка... Теперь я во внешней ошьяненности не пуждаюсь... В Мистерии у меня, знаете, будут шепоты... Ведь никогда шепота не было введено как звука. Шепот огромной массы народа, шепот хора... Это должно быть совершенно новое ощущение...

— Я ведь был под надзором полиции. Я сотрудничал в нелегальной газете социал-демократов «Искра», — сказал Бальмонт и продекламровал: — Рабочий, только на тебя

надежда всей России. Тяжелый молот пал, дробя оплоты крепостные. Тот молот твой, пою тебя во имя всей России.

— А правда, господин Бальмонт, что вы всегда носите с собой револьвер? — спросил доктор.

— Абсолютно верно, — сказал Бальмонт и вынул из бокового кармана браунинг.

— Мелодия начинается звуками, а кончается, например, в жестах, — в своей заклинательной ритмике сказал Скрябин. — Или начинается в звуке, а продолжается светом... Как это волнует... Как будто неисследованную землю открыл... Но так много работы, — вдруг тоскливо сказал он, почти вскрикнул.

\* \* \*

Они твои, тебя терзающие дети,  
Тобой рожденные в взволнованной груди.  
Они строители сверкающего храма,  
Где творчества должна свершиться драма,  
Где в танце сладостном в венчании со мной  
Ты обрешь тобой желанный мир мой.

#### *А. Скрябин. Предварительное действие*

Дача была старая, двухэтажная, а вокруг жаркое лето 1914 года. Скрябин, листая тетрадь, сидел на балкончике, ярко освещенном солнцем, вместе с Борисом Федоровичем. Татьяна Федоровна здесь же неподалеку в сарафане варила варенье на дворовом очаге, давая время от времени распоряжения бонне, гуляющей с детьми.

— Я теперь так много должен писать, — жаловался Скрябин, — у меня такое чувство, что я не имею права отдохнуть. Кто-то стоит надо мной и твердит: ты должен работать... Иначе я не успею... Так много, так страшно много надо сделать, а время идет...

— Иначе говоря, пусть сия чаша мицует меня, — сказал Шлёцер.

— Вот ты не знаешь, как это тяжело, — сказал Скрыбин, — как тяжело чувствовать на себе бремя мировой истории... Иногда с такой завистью смотрю на людей, которые просто живут, просто наслаждаются миром, даже просто творят. Им ничего не было открыто, им не была открыта такая идея.

— Но ведь цель искусства — жить просто так, — сказал Шлёцер, — игра без цели.

— Во-первых, это плагиат из Шиллера, — заспорила Татьяна Федоровна с братом, — а во-вторых, ты неправильно цитируешь Шиллера и искажаешь его... Вот, например, у меня часто болят зубы, значит, у меня уже не может быть жизни без цели.

— Здесь дело не в распределении материала, — сказал Скрыбин серьезно. — Боль можно преодолеть наслаждением.

Речь идет о сочинении некой мелодии, мелодии ощущений, согласно заданному чувству, каким является зубная боль, — сказала Татьяна Федоровна с улыбкой.

— Правильно, — увлеченно воскликнул Скрыбин. — Ведь это могло бы быть настоящим лечением всех болезней... Какие контрапункты можно придумать к зубной боли... Какие образы... Знаешь, в «Предварительном действии» я все-таки прибегну к образам... Конечно, я использую материал, приготовленный для Мистерии, но это лишь подготовка, это пролог к Мистерии. Я никак, без пролога не обойтись. Нужен переход от «Поэмы экстаза» к Мистерии.

— «Предварительное действие» — это Мистерия, которая не окончится концом мира, — сказал Шлёцер, — безопасная Мистерия... Не обедня, а обеденка.

— Но без этого не обойтись, — как-то печально сказал Скрыбин.

Уже после обеда, сидя за роялем, Скрыбин говорил:

— Вот Восьмая соната, обратите внимание на вступление. И вы будете говорить, что у меня нет полифонии после этого?.. Вот видите, какие контрапункты гармонические, тут нет борьбы, как у Баха, а полная примиренность... А вот тут самый трагический эпизод из того, что я написал... Тут перелом настроения в течение одной фразы... Ну и трудна

же она... Я чувствую, что эти звуки похожи из природы, что они уже раньше были... Тут же, как и колокола из Седьмой сонаты... Каждая гармония имеет форму, это мост между музыкой и геометрией... А вот танец падших, — он проиграл кусок, — это очень бедовая музыка... А вот гирильцы... Хрункне, кристальные образования... Они все время возникают, радужные и хрункне, и в них есть сладость до боли.

— Сапа, сырай из Четвертой сонаты, — сказала вдруг Татьяна Федоровна.

Скрябин улыбнулся.

— Я ее теперь заново выучил для концерта, — сказал он не без гордости, — как следует выучил... Раньше я ее с некоторым жульничеством играл, я вот этих нот вовсе не играл, как они у меня написаны... А теперь я все по чести играю, да еще в каком темне.

Он сыграл кусок.

Я хочу еще скорее, так скорей, как только возможно, на грани возможного... Чтоб это был полет со скоростью света, прямо к Солнцу, в Солнце! А вот как меня потом пианисты будут играть.

И он взял неритмично торжественные аккорды и, окончив, отдернул пальцы, словно обжегшись.

Они гуляли в парке.

— Какое ужасное лето, — говорила Татьяна Федоровна. — Вы чувствуете жар, каждый день слышен в деревне набат... Вот и сейчас...

— Это в Гривно, — сказал Борис Федорович. — Наверно, какой-то большой пожар... Поиду к соседям, узнаю.

Он пошел к соседней даче, но тут же вернулся и крикнул:

— Война с Германией! Мы ведь газет здесь не читали... Как гром с ясного неба!

Скрябин встал со скамейки, на которую присел было. В первое мгновение он казался растерянным, но затем лицо его приняло торжественное выражение.

— Вы не можете себе представить, — сказал он, — какое это огромное значение, эта война... Это значит, что то самое

начинается... Все то начинается, о чем я говорил... Начинается кошен мировой истории, теперь все пойдет сразу скорее и скорее, и само время ускорит свой бег. Я даже не думал, что это так скоро произойдет. Но только будут большие испытания, будут страшные минуты... Я лично к ним готов, не знаю, как остальные... Войной это дело не ограничится, после войны пойдут огромные перевороты социального характера, затем начнется выстуление отстающих рас и народов, восстанет Китай, Индия, проснется Африка... Все эти события ведь не сами по себе... Ведь это поверхностное мнение, что война начинается от каких-то внешних причин. Если у нас война, то, значит, какие-то события произошли в мистическом плане. В мистическом плане сейчас случилась целая катастрофа... Там... Я знаю, что это за катастрофа... Это тот самый перелом, о котором я говорил... В ближайные годы мы переживем тысячи лет...

Война многое изменила, даже в салоне Скрябина явилось новое, тревожное. Доктор был в военном мундире, Брянчанинов в каком-то полувойском мундире, остальные по-прежнему в штатском. Брянчанинов читал вслух газету:

«Турко-немцы захотели внести смятение в наши беззащитные города черноморского побережья. В ночь накануне Уснения ненависть к Христу у турок и породившихся с ними немцев-лютеран, христиан по имени, но давно отвергнувших уже таинство и священство, толкнула их быстроходный крейсер к нападению, однако он милостью Божьей наскочил на мину...»

- Германия — это выражение крайнего грубого материализма, — говорил Скрябин, — там вся наука, вся техника пошла на служение идее грабежа. Это так и должно быть... Ведь всякие музыканты могли бы быть пророками, если бы только были внимательны, потому что в нашем искусстве это отражено особенно ярко. Например, из одного существования Рихарда Штрауса можно было бы заключить давно, что будет мировая война, затеянная Германией, и что в этой войне будет чрезвычайное зверство обнаружено именно немцами.

— «Случайно спасшийся из застенка унтер-офицер Панасюк, — читал Брягчанников, — рассказывает, что к нему — честному врагу — бесчестные офицеры императора Германии применили технически выработанные приемы допроса. Один в течение часа пожирцами остригал ушную раковину, другой перочинным ножом обрезал нос и бил по зубам...»

— Надо обратить внимание, насколько тонка цивилизованная корочка, — сказал Скрябин. — Настал момент, и эта корочка слетает, и перед нами варвар, какой жил в пещере во времена мамонта... Доктор, я к вам загляну в гости. Я хочу новидать людей войны... Война ведь всегда пробуждает в людях мистическое.

Скрябин казался совершенно пошкшним, и атмосфера в его салоне была мрачной, приглушенной.

— Что с вами, Александр Николаевич? — говорил Леонтий Михайлович. — Вы нездоровы?

— Нет, — отвечал Скрябин. — А вас что-то давно у нас не было... Тася, Леонтий Михайлович пришел, дай нам чаю... Вот времена, чаю хорошего не достать... Все дурию... Вот и с войны дурные вести... Доктор говорит, что война продолжится еще не меньше года, а может быть, и дольше... Ведь это ужас... Что мне тогда делать... Притом я в самом деле начинаю волноваться... Вы читали газеты?

— Что бы ни случилось, — сказал Леонтий Михайлович, — Россия будет... А вы русский композитор.

— Да, да, — сказал Скрябин и после паузы прибавил: — Вы знаете, у меня отец скончался.

— Как? — сказал Леонтий Михайлович. — Где?

— Он еще до Рождества скончался, — сказал Скрябин. — Я по этому поводу несколько расстроен. Хотя у меня, вы знаете, с отцом не было тесных отношений... Как раз последнее время, впрочем, мы больше научились понимать друг друга... Вы его помните?

— Так, мельком, — сказал Леонтий Михайлович. — Он, кажется, приходил с визитом... И с ним была женщина.

— Это моя мачеха, — сказал Скрябин, чему-то печально улыбувшись. — Вы не находите, что она похожа на Татьяну Федоровну?. У нас с отцом ведь был к жепницам обичий

вкус, — сказал он, понизив голос, — но в остальном... Он ведь очень далек был от искусства, вообще от моих планов... Мать у меня была пианисткой, говорят, замечательной... Я ее не помню, только по фотографиям...

Вечером, когда все постоянные члены салона были в сборе, много говорили о питерских сплетнях.

— Я слышал, раскрыта измена в генеральном штабе, — сказал Подгаецкий, — и изменники связаны с Распутным.

Скрябина передернуло.

— Ведь если бы он действительно был мистиком, — сказал Скрябин, — если бы он чувствовал что-нибудь, этот Распутин, это было бы тогда ничего... Это был бы тогда все-таки какой-то экстаз.

— Может быть, он действительно мистик, — сказала княгиня Гагарина. — Ведь про него определенно говорят, что у него необыкновенный взор, что он прямо гипнотизирует.

— Какой там взор, полноте, — запротестовала Татьяна Федоровна. — Отвратительный грязный мужик, действующий на самые низкие инстинкты, вот и все... При чем тут мистика? Я не понимаю, Саша, как ты можешь защищать?

— Я вовсе не защищаю, — говорил Скрябин, — для меня только важно, что есть какое-то устремление к мистическому, какая-то жажда чудесного, но эта жажда направлена по совершенно ложному пути.

— Просто плут, шпион немецкий, — решительно сказал доктор.

Было уже совсем поздно. Гости разошлись, не было Татьяны Федоровны, которая ушла спать. Скрябин и Леонтий Михайлович играли в шахматы.

— Я пойду, — сказал Леонтий Михайлович, окончив партию.

— Я вам хочу показать кое-что, — сказал Скрябин, — если вы не торопитесь... Вот, сочинил вдруг Прелюдию...

Вошли в темный кабинет, сохранивший следы брошенной работы. Была очень яркая лунная ночь, Скрябин сел к роялю.

— Что это такое? — шепотом спросил он, дырая, и, не дожидаясь ответа, таинственно продолжал: — Это смерть... Это смерть как явление женственное, которое приводит к воссоединению... Смерть и любовь... Смерть — это, как я называю в «Предварительном действии», Сестра... В ней уже не должно быть элемента страха перед ней. Это высшая примиренность, белое звучание.

Он играл некоторое время молча, а потом, словно сам потрясенный своим творением, сказал таинственно:

— Здесь бездна...

— Это не музыка, — тихо сказал Леонтий Михайлович, — это что-то иное.

— Это Мистерия, — отвечал тихо Скрябин...

Скрябин сидел в кресле-качалке, думствовал Татьяна Федоровна.

— «Милостивая государыня Вера Ивановна. На мои неоднократные предложения прислать детей к моей бабушке для свидания со мной вы всегда отвечали приглашением повидать их у вас, что равносильно отказу. Не считая удобным из-за детей видаться с ними помимо вашего согласия, на что я имею право...» Впрочем, Тася, начиная с «видаться с ними» зачеркнул... Как-то скандально... Нашли: «использовать своим правом свидания с ними помимо вашего согласия... Делаю вас ответственной перед детьми за последствия...» Я потом переписку и отправлю.

— Не надо переписывать, — сказала Татьяна Федоровна, — так пошлем... Я ей даже твоего почерка дарить не хочу...

— Что-то меня знобит, доктор, — говорил Скрябин, стоя перед зеркалом и разглядывая себя, — и снова этот негодяй поселился у меня под правым усом... на том же месте... Посмотрите, доктор... В Лондоне этот прыщик начал нарывать как раз в день концерта... Представляете, какая странность: во время игры я боли не чувствовал, и исполнение было недурное, но у меня явилась полная апатия ко всему, что происходило потом...

— Сейчас же в постель, — несколько встревоженно сказал доктор.

— Вот и тогда, — говорил Скрябин, — я как-то машинально кланялся и только и думал, как бы добраться до постели...

К вечеру уже было состояние всеобщей хаотичности, состояние растерянности на всех лицах. Ходили по комнатам взад и вперед. Рояль был закрыт, и на пиюнтре виднелась рукопись «Предварительного действия». Вошла Татьяна Федоровна в белом халате сиделки с твердым лицом и сказала:

— Александр Николаевич проснулся... К нему можно на минутку, но не волновать и не утомлять.

В спальне две кровати стояли рядом, был полумрак. Что-то делал шепотом говоривший Подгаецкий. Здесь же был доктор. Скрябин лежал в большой белой повязке, закрывающей нижнюю часть лица так, что ни бороды, ни усов не было видно. В глазах было страдание. Он подал вошедшим сухую, горячую руку.

— Видите, как я оскандалился, — сказал он изменившимся голосом, совершенно не выговаривая гласных.

— Все пройдет, — сказал Леонтий Михайлович.

Скрябин что-то невнятно сказал, Татьяна Федоровна нагнулась к нему и переспросила, улыбаясь кривой улыбкой.

— Александр Николаевич говорит, что как же он поправится, а лицо у него будет изуродовано, если его разрежут...

— Все, все зантопает, Александр Николаевич, вы и думать не позволяйте, — уверенно и громко сказал доктор.

— Шрам будет, — внятно сказал Скрябин, — Я говорил, что страдание необходимо... Это правда, когда я раньше это говорил. Теперь я чувствую себя хорошо. Я преодолел...

В комнатах народу становилось все больше, мелькали и незнакомые лица.

— Я послала телеграмму Борису Федоровичу, — сказала Татьяна Федоровна, и лицо ее выразило огромное страдание, но не надолго, она вновь точно окаменела, — пусть придет.

Тут же рядом был маленький Юлиан, которого она гладила по волосам. Прошли два новых доктора с саквояжами. Доктор Богородский взял Леонтия Михайловича и Подгаецкого об руку, увлек их в сторону и сказал:

— Вот что, друзья, положение-то еловое... Надо резать, иначе капнут... Только надо, по моему мнению, еще пригласить профессора. Как брать на себя такое дело... Я не берусь... Самое это поганое дело — друзей лечить, да еще Александра Николаевича. Сам бы лучше двадцать раз подох... Профессор Снжарский хорошо режет карбункулы...

Скрябин видел над собою склоненные лица. Что-то вдруг возникло в самую глубину, всыхнуло...

— Яд очень сильный, — говорил тихо профессор Снжарский, складывая хирургический инструмент, — потекущие флегмоны... Это стрептококковое заражение.

— Где же этого гноя достать, коли нет. Отек у него все растет, — с тоской говорил доктор, окруженный близкими. — Вот резали тут, а теперь уже воспаление вот тут, — показывал доктор на своем лице.

— И очень сильно вы его резали? — спросила Любовь Александровна.

— Да уж что тут говорить, — сказал доктор, — резали как следует. Надо пригласить профессора Мартынова, это лучший московский хирург... Сделаем консилиум.

Было яркое солнечное утро. Скрябин лежал на нескольких подушках, почти полусидел.

— Здравствуйте, — сказал он вошедшим «апостолам». — Видите, в каком я жалостном состоянии, совершенно вопреки расчетам. Главное, я боюсь, что моя поездка по провинции не состоится и мне большую неустойку придется платить... Ну, сегодня все-таки как будто посвободнее...

— Ну все, — сказала Татьяна Федоровна, — спи спокойнее... Он бредит, — сказала она уже в кабинете, — но как будто немного получше. Все-таки теперь как-то после Мартынова спокойней. Только температура очень высока.

...Воздух был свежий, весенний, звенела каналья, птичьа стая с шумом пронеслась и уселась на крыше соседнего дома. По Тверской грохотали переполненные людьми трамван. В доме у Скрыбина пастростие было более бодрое.

— Ему гораздо лучше, — говорила радостно Татьяна Федоровна, — температура унала, опухоль очень, очень уменьшилась. Он сейчас прямо молодцом чувствует себя. Даже и говорит так: я хочу за рояль, писать буду.

В комнате Скрыбина были открыты шторы, было светло. Скрыбин выглядел очень бледным.

— Вот я и воскресаю, — говорил он радостно. — Все эти дни какие страдания были, самое ужасное — это бред, эти ужасные мысли и призраки, содержание и смысл которых непонятны... Боль не так уж трудно переносить, я убеждаюсь, что страдания необходимы как контраст, — он говорил отрывисто, — я очень обезображен буду, — сказал он после науки.

— Ну нет же, — ответил Леонтий Михайлович. -- Ведь доктор говорит, этого не будет.

— Вот только боль в груди мне мешает, я вздохнуть не могу, — сказал Скрыбин.

— Это невралгическая боль, Александр Николаевич, — сказал доктор.

Скрыбин становился все более беспокойным, он уже не лежал прямо, перекладывая руки с одного места на другое.

В кабинете доктор говорил с тоской:

-- Похожа эта боль на плеврит. Это совсем скандал. Это заражение общее. Дело плохо. Не говорите Татьяне Федоровне... Ждем доктора Плетнева...

Являлись новые лица, как мистические фигуры, было много докторов. Доктор Плетнев сказал тихо:

— Гнойный плеврит, общее заражение, стрептококки в крови.

...Скрябин бредил.

Как это такое, — закричал он вдруг внятно, а потом снова тихий бред.

Княгиня Гагарина подошла к Марье Александровне.

— Дайте мне завещание, — тихо сказала она. — Нужна срочно подпись Александра Николаевича об усыновлении детей... Через госпожу Вырубову доложим государю в лучшем виде...

Княгиня вошла в полутемную спальню с опущенными шторами и осторожно приблизилась к кровати, протянув бумагу. Скрябин лежал спокойно и, кажется, был в сознании. Он больше не стонал.

— Подпишите, Александр Николаевич, — почти шепотом сказала княгиня.

Скрябин посмотрел на княгиню, как ей показалось, ясным взглядом и подписал.

— Позовите Таню, — сказал он внятно.

Когда Татьяна Федоровна вошла в спальню, Скрябин слегка поворотил к ней голову, и она увидела его живые блестящие глаза.

— Я понял, Таня, — сказал он, точно человек, нашедший наконец-то, что всю жизнь искал, — я понял... Нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла... Все относительно... Единственное абсолютное зло — это бездарность...

Дверь в квартиру была распахнута настежь, на лестнице была масса народу, какие-то посторонние люди, среди которых близкие как-то терялись. Суетился Борис Федорович, приехавший наконец. Татьяна Федоровна была без слез, в траурном костюме и казалась в нем глубокой старухой. Лица не видно было под вуалью. Плакала тетя Люба. Провели об руки древнюю девяностолетнюю старуху Елизавету Ивановну, бабушку. Со скорбным лицом стоял Рахманинов, Танесев опустил голову на грудь. В толпе раздавался шум, через плотную массу людей пробиралась чета Кузнецких. А мертвый Скрябин лежал тихо и спокойно. Кругом его готовились к панихиде, что-то зажигали, раздавали свечи. Началась панихида.

...К вечеру все затихло. Квартира опустела. Марья Александровна увела детей в детскую. Татьяна Федоровна, пройдя по пустым комнатам, мимо все еще открытого, как в начале болезни, рояля, вошла в темную спальню. Шторы были открыты. Была лунная ночь, столь любимая Александром Николаевичем, и он лежал в лунных лучах какой-то значительный и таинственный. Татьяна Федоровна постояла у изголовья мертвого друга, поцеловала его в лоб, как бы прощаясь на ночь, и ушла в гостиную, прилегла там, усталая, на диван прямо в одежде. Скрыбин остался один. Гроб его стоял на возвышении неподалеку от окна и был весь в цветах и венках. Меж тем неустойчивая апрельская погода сменила лунную ночь ветреной и дождливой с мокрым снегом. И в вое ветра словно начала проступать героическая и властная тема вступления к Третьей симфонии, тембр трубы возвещал о воле и самоутверждении. Вот она сменилась лирической, чувственно устремленной, которую вели скрипки. Уж перед самым рассветом, когда начало бледнеть окно, ветер стих, небо очистилось. Восходило солнце. Вот уже лучи проникли сквозь окно, коснулись гроба, в котором лежал Творец. И словно вторя солнцу, зазвучал мотив победы волевого начала над сомнениями и колебаниями. И фанфары дерзновенно и радостно, встречая новое утро, провозгласили: я есмь!

И снова, как бы соединяя пролог и эпилог, как бы замыкая круг, явилась надпись, которой все началось:

«Строительный камень и мечта сделаны из одного вещества и оба одинаково реальны. Несуществующая мечта есть неузнанный издали предмет» (А. Скрыбин. «Занесен»).

**УНГЕРН**

Вот они, как солома: огонь сжег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтоб прогреться, ни огня, чтоб посидеть перед пламенем. Каждый побрел в свою сторону.

*Ис. 47:11–14*

По снежному простору под завывание ветра движется орда. Вперемешку сани с солдатами и офицерами и с женщинами, детьми, стариками. С одних саней доносится бодрая песня: «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать! То ли дело под натрами в поле лагерем стоять». Это поет в тифозном бреду привязанный к саням офицер. Иногда он хохочет и кричит:

— Васечка, второй звонок! Васечка, какой чудесный око-рок! Подай сахар! Подай ликер!

Крик тифозного обрывается.

*Хроника.*

Длинная вереница саней. На некоторых — пулеметы. Развесающиеся на ветру знамена.

*Титры: «Декабрь 1920 года. Потеряв в боях с Красной армией в Восточной Сибири 60 тысяч бойцов убитыми и ранеными, генерал Каппель Вадим Оскарович тем, кто остался, отдал приказ повернуть на север».*

Ночь. Сани движутся при свете масляных фонарей. Есаул Миронов полудремлет, склонив голову к щитку пулемета.

...Переполненный поезд. Есаул Миронов дремлет у окна, за которым мелькает уже каменно-песчаный монгольский пейзаж. По проходу медленно движется офицер с «Георггиями» в черных очках сленца. Идет молодая девушка. Девушка поет звонко, по-мальчишески:

— А один ему диктует: «Здравствуй, милая жена. Жив я, ранен опасно. Скоро жди домой меня». А второй ему диктует: «Здравствуй, милая жена. Глубоко я в сердце ранен и не жди домой меня».

Миронов подает кредитку.

Монгольская стена. Миронов едет в возке. Возница тянет заунывную монгольскую песню.

Веселая музыка. Небольшая сцена украшена заглавной надписью: «Петербургское варьете „Сладкий лимон“». Офицерское казино переполнено. Есаул Миронов рядом со своим другом подпоручником Гуциным. На сцене актерствует субъект во фраке и цилиндре.

— Господа, в пасхальную ночь со мной случилось чудо. Весеннее чудо обновившейся жизни.

Музыка. На сцену вынархивает милое молоденькое существо в розовом. Поцеловавшись с субъектом во фраке и поклонившись публике, убегает под аплодисменты.

— Поцелуй любимой — это чудо, господа. Произошло чудо. Я называю это чудом, господа. Таким же чудом, как рождение вдохновенной мысли, как цение жаворонка в апрельское утро. Подумайте только! Это полно прекрасной тайны!

— Правда хорошо, Коля, — аплодируя, сказал Гуцин Миронову. — Как хорошо сказано.

— Хорошо, Володя, — тоже аплодируя, ответил Миронов. — Поцеловато, но хорошо, особенно теперь.

— Ну, тебе не угодить, Коля, — сказал Гуцин. — Ты ведь сам литератор.

— Любовная связь с женщиной полна прелестной тайны, — продолжал на сцене субъект во фраке и цилиндре. — Тайны, которая коснулась, пронзив сердце, и улетела. Кра-

сота — вот чудо. Красота спасет мир, сказал Достоевский. И поэтому все некрасивые девушки и некрасивые женщины молятся о чуде: «Господи, сделай меня красивой». Какая странная тайна отмечает женщин задолго до их рождения...

На сцену вышла немолодая уже дама и задела молодым голосом:

— Среди шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...

— Мы, Володя, просто сильно истосковались по женской ласке, — сказал Миронов. — По женской истинной любви. Особенно после того, что с нами произошло.

— Говорят о больших потерях колчаковской армии, — сказал Гуцци.

— Да, страшные потери. Наше белое движение погибает. Колчака предали, Юденич в Стокгольме, Денишкин... где Денишкин, даже не знаю, кажется, в Англии. Только два батальонских барона олицетворяют борьбу с большевиками. Барон Врангель — в Крыму и барон Унгерн — здесь, в Монголии. До Крыма далеко. Поэтому я добрался сюда, к Унгерну. Что бы ни случилось, мы должны оставаться верными присяге. Даже если о присяге и о любви теперь говорят подешевевшими словами. И не только конференсье со сцены. Впрочем, эти слова начали дешеветь уже давно, еще в Петербурге. Может быть, это и есть главная причина того, что с нами происходит.

— Госнода! — послышалось со сцены. — А сейчас выступит опереточная Прекрасная Елена, у которой сын — околочный надзиратель в Бельске. (*Смех, аплодисменты.*) Потом антрепренер, у которого к подошве прилипли окурки, и это почему-то напоминает ему об убытках. (*Смех.*) Потом кавказец, все лето готовивший на вертеле шашлык и вдруг заговоривший с польским акцентом. (*Смех.*)

— До чего обильная, богатая страна Россия, — глядя на сцену, продолжал говорить Миронов, — если последние три года повального, всеобщего, тайного и явного грабежа не смогли полностью истощить ее. Но более всего истощены слова и чувства.

А теперь, господа, побываем на русском курорте, — при этом конферансье развел руками, как бы приглашая с собой. — Вспомним быдое. Ах, господа, как хорошо было, хоть мы нередко и привередничали. Не будем изображать курорт, ограничимся только перечислением тамошних докторов с чрезвычайно докторскими фамилиями: доктор Волохов, доктор Гутфельд, доктор Асберг, доктор Матов, доктор Бри, доктор Гуревич, доктор Сыромятин. Не правда ли, хорошо, господа? Кого только нет на русском курорте. Доктор по женским болезням Матов носит желтые ботинки. Красавица мадам Буровская, похожая на курицу. (Смех.) Офицер Шмидт, из-за которого стрелялась госпожа Х., впоследствии родившая двойню. (Смех.) Никому не известная барышня с глухой матерью. Знаменитый адвокат с женой и содержанкой. (Смех.) А в парке, господа, в розарии, продает цветы цветочница Анюта. Никто не покупает ее розы. За все праздное, суетное курортное лето ни один посетитель сада не заговорил с девушкой. Цветы зацветающего весеннего утра, цветы, окропленные первыми, первыми росами лета, тихо увядали, тихо и неслышно умирали каждую ночь — от девяти до трех.

— Знаешь, Коля, я ведь опять влюблен, — сказал вдруг Гуцин.

— В кого же? Уж не в какую-нибудь китайку или монголку?

— Ах нет, — с улыбкой ответил Гуцин, — в прекрасную молодую женщину — Анну Федоровну Белякову. Признаться, я думаю о ней с утра до вечера. Такая острая внезапная влюбленность, как на гимназических балах. Когда-то в ранней юности я был влюблен в одну гимназисточку. Что-то подобное: то же восхищение, какое-то томление в теле. Люблю, точно в первый раз.

— И где ж ты, Володя, встретил ее?

— Тут, в офицерском казино, — ответил Гуцин. — Но не подумай, она не из тех женщин вольного поведения. Она талантливая актриса. В Петербурге выступала в театре миниатюр «Светлые грезы». И она чудная женщина. Я бы очень хотел иметь от Анны ребенка, хотел бы на ней жениться.

Как хорошо было бы вернуться вместе с ней в мое родное имение во Владимирской губернии, в тишину и покой наших полей и лесов.

— Их лепестки впитывали нервные, вздрагивающие, разнузданные звуки из танцевального салона, лицо конферансье просто искажилось мукой. — Они, должно быть, очень страдали, как и цветочница. Блуждая по саду четыре месяца, девушка с розами должна была сделать тысячу шестьсот двадцать верст — это путь, равный девяти русским губерниям. Теперь, когда в плечи ударил холодный сентябрь, длинный ненужный путь окончен.

Музыка. На сцену выходит красивая цветочница с корзиной, полной бумажных роз.

— Это она, — шепчет с умилением Гуцин. — Моя Аннушка.

— Есаул Миронов, — вдруг послышался чей-то высокий, почти женский голос. — Я начальник штаба дивизии, полковник Леонид Иванович Синайлов. Вас срочно к начальнику дивизии с докладом.

— Но сейчас ночь, — ответил Миронов, — я не готов, я рассчитывал на завтра.

— Немедленно, сейчас.

— Господни полковник, — сказал Гуцин, — есаул только с дороги.

— Молчать. Вас не спрашивают, подпоручик Гуцин. Дисциплину забыли.

— Но зачем так поздно? — спросил Миронов.

— Не знаю, мой цветик, не знаю, — насмешливо забормотал Синайлов.

— Зайдите на цветы взглянуть, — зашла на сцену цветочница, — всего одна минута. Приколет розу вам на грудь цветочница Анюта. Там, где цветы, всегда любовь, и в этом нет сомнения. Цветы бывают ярче слов и слаще вдохновенья.

— Красивая девушка, — сказал тихо Синайлов. — Сам бы послушал, но барон приказал — срочно.

И он удалился.

— Коля, я пошел бы с тобой, но мне хочется послушать Аннушку, — прошептал Гуцин. — Я слушаю ее в пятый

раз. И потом приду, — добавил он и, оглянувшись, сказал: Возьми два револьвера. У меня есть еще браунинг, но этот надежней. Спрячь под мундиром. Будут обыскивать при входе, но все-таки спрячь.

Ночь была очень светлая, лунная, но ветреная. Где-то вдаль выли собаки. У входа в монгольскую юрту стоял капитан Веселовский с обнаженной шашкой и ординарцы.

— Сдайте оружие, — сказал Веселовский.

Миронов отдал оба револьвера.

Едва Миронов переступил порог, как навстречу ему кинулась фигура в красном монгольском халате. Человек встряхнул руку Миронова нервным рукопожатием и сразу же растянулся на кровати, над которой висели портреты Фридриха II, Николая Чудотворца и Будды.

— Кто вы такой? — спросил барон. — Тут повсюду шныряют большевистские шпионы и агенты.

Вошел Веселовский и встал за спиной у Миронова с обнаженной шашкой.

— Что стоишь, Веселовский? — спросил барон.

— Жду, ваше превосходительство.

— Отойди. — И опять к Миронову: — Вы колчаковец?

— Да, я служил в армии Колчака.

— Еще одна сентиментальная девица из колчаковского напелона, — произнес полковник Резухин.

— Замолчи, Резухин, — сказал барон. — У вас, есаул, письмо из канцелярии атамана Семенова. Откуда вы знаете атамана?

— У меня чисто литературное знакомство. Мы оба участвовали в издании харбинского литературного альманаха.

— Ваше превосходительство, можно ли доверять рекомендательным письмам, исходящим из канцелярии атамана?

— Замолчи ты, — крикнул вдруг барон и ударил Синайлова по щеке. — Чего стоишь, пошел вон!

— Дедушка сердится, — угодливо улыбнулся Синайлов и вышел.

— Где вы учились, есаул? — спросил барон.

— Я окончил кавалерийское училище в Петербурге, а потом учился на филологическом факультете Петербургского университета. Но не окончил. Началась война.

— Мне тоже поменяла война, — сказал барон. Я учился в морском корпусе. Я морской офицер, но русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско. Есаул Миронов, прощу извинить меня за неблагодарный прием. Я отношусь к большинству людей с недоверием. Но вы произвели на меня хорошее впечатление. Я чрезвычайно доверяю первому впечатлению. Очень прощу вас остаться при мне. Я столько лет вынужден находиться вне культурного общества. Всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими и хотел бы вас сделать своим адъютантом и своим советником, записывающим кое-какие из моих накопившихся мыслей. Согласны вы? Сколько вам надо времени для ответа?

— Одна минута.

— Думайте... Вы согласны? — спустя минуту спросил барон.

— Согласен, — коротко ответил Миронов.

— Замечательно... Лоуренса знаешь?

— Так точно, знаю. Я привез полковнику письмо от его матери.

— Дай письмо.

— Простите, ваше превосходительство, но письмо личное.

Подшел широкоплечий человек в монгольской остроконечной шапке.

— За противоречие барону у нас сажают на лед или в воду.

— Оставь его, Бурдуковский, — сказал барон. — Дайте, я читать не буду.

Миронов вынул из бокового кармана письмо. Барон взял, прочел адрес.

— Бедная старушка. Лоуренс был хороший офицер, мой личный адъютант. Соблазнился золотом, захваченным нами у большевиков в Троицкосавске. Лоуренс хотел захватить золото, бежать в Китай. Есаул, я назначаю тебя новым адъютантом. Лоуренс сидит на гаунтвахте. Поедешь туда.

Ваше превосходительство, — сказал Бурдуковский, — вы обещали назначить меня эскутором.

— Поедет есаул Миронов. — И обращаясь к Миронову: — Лоуренса сейчас надо кончить. Сам кончи, а то эта сволочь Бурдуковский еще будет над ним издеваться. Ну, иди. Письмо матери пусть прочтет.

У юрты ждал Гупци.

— Слава богу, все закончилось благополучно, — сказал он.

— Мне приказано ехать к Лоуренсу, — пробормотал Миронов. — Не знаю, что делать. Хоть сам стреляйся.

— Глупо, — поняв все, сказал Гупци. — Лоуренса поручат другому, поручат палачу Жене Бурдуковскому. Уповай на Бога и постарайся облегчить Лоуренсу смерть.

Подъехала коляска в сопровождении нескольких казаков. Миронов сел и поехал к гаунтвахте.

Гаунтвахта была подвалом, сырым и затхлым. В углу стояли какие-то бочки, в другом углу, на деревянных нарах, скорчившись, спал, укрывшись полушубком, тяжело дыша, Лоуренс. Миронов тронул Лоуренса за плечо. Он проснулся и, резко вскочив, сел, свесив ноги в подпятапниках.

— Что вам угодно? — сердитым, жалобным голосом спросил Лоуренс. — Я уже все сказал, все ложь, ложь и ложь. Больше мне нечего сказать.

— Саша, это я, Николай Миронов.

— Коля, — крикнул Лоуренс и порывисто обнял Миронова. — Как ты здесь?

— Приехал, — стараясь унять дрожь, ответил Миронов. — Я привез тебе письмо от твоей матери.

И протянул конверт.

Лоуренс жадно схватил конверт, начал читать, повторяя: «Матушка моя, матушка...» Он читал, перечитывал и снова читал. Миронов с трудом сдерживал слезы.

— Саша, тебя требует барон Унгерн, одевайся.

— Сейчас? Немедленно?

— Да, сейчас. Но он приказал связать тебе руки, так как он боится, что ты бросишься на него.

— Не узнаю барона. Неужели он, умный человек, не понимает, что история с золотом — обычная клевета Спайллова и Бурдуковского? Они боятся, что мое влияние на барона поменяет им в их садистских делах.

— Саша, барон приказал доставить тебя как можно скорее.

— Что ж, вяжите, — тихо сказал Лоуренс, взглянув на вошедших казаков. — Хотя нет, пусть они выйдут. Я хочу несколько слов сказать тебе наедине.

— Выйдите, — приказал Миронов казакам. — Я позову.

Казаки вышли. Прошла минута, другая. Лоуренс, ничего не говоря, подперев голову руками, продолжал сидеть на парах.

— Саша, говори скорее.

— Кто помоложе, может, и дождется, — сказал Лоуренс, — а нам уже думать нечего.

Вдруг он коротко, истерично засмеялся.

— Саша, если ты хочешь что-либо сказать мне, то говори.

— Матери моей ничего не пиши. Пусть старенькая моя надеется. Жене вот... — он судорожно, торопливо стацил с пальца обручальное кольцо. — Дай мне клочок бумаги и перо.

Миронов вырвал лист из карманного блокнота и протянул перо. Лоуренс судорожно, торопливо написал: «Погибаю ни за что» — и завернул кольцо в записку.

— При случае отошли жене.

Миронов взял кольцо.

— Теперь вяжите, — сказал Лоуренс и поднялся с пар.

— Войдите, — позвал Миронов казаков.

Казаки вошли и связали Лоуренса.

Ночь была бешеная, крутил ветер, было темно, как в могиле. Злобно заливались за городом собаки.

— Ужасно болит голова, — сказал Лоуренс, — ужасно, скорее бы избавиться от головной боли. Вы меня везете кончать?

— Да, Саша, — пробормотал Миронов, — прости, если можешь.

— Нет, хорошо, что ты. Бурдуковский или Спайлов меня бы мучили перед смертью.

Выехали за территорию военного лагеря. Кучер-казак повернулся.

— Прикажете остановиться, господин есаул?

— Да.

Лоуренс сам спрыгнул с коляски.

— Ты меня рубить будешь или стрелять?

Ответ Миронов направил револьвер в голову Лоуренса и выстрелил. Лоуренс упал и простонал:

— Какой ты плохой стрелок.

— У меня дрожат руки, — сквозь слезы сказал Миронов и выстрелил опять.

— Добивай, добивай же скорее, ради бога, — сказал Лоуренс.

Трясаясь от лихорадки, Миронов выстрелил опять и опять не добил.

— Не мучайся, убивай, — стонал Лоуренс.

Миронов палил и не мог попасть в голову. Очумелый от ужаса кучер соскочил с коляски, подбежал к извивающемуся на земле Лоуренсу, приставил к его голове револьвер и выстрелил. Миронов вскочил в коляску и сумасшедшим голосом заорал:

— Скорее, скорее в лагерь!

Лошади помчались от странного места. Остервенело выли собаки.

Первый, кого увидел Миронов, войдя в просторную комнату, обставленную с некоторой даже петербургской роскошью, был Лоуренс — большой фотопортрет. Улыбающийся Лоуренс. Рядом с ним — молодая женщина из санкт-петербургских красавиц и девочка в матросском костюме.

— Ваше благородие, где ваши вещи? — спросил казак.

— Лоуренс? — сказал Миронов. — Почему Лоуренс? Откуда Лоуренс?

— Здесь жили... Царствие ему небесное, — и перекрестился на висевшую в углу икону.

Миронов тоже перекрестился.

— Где ваши вещи, господин есаул? — спросил еще раз казак.

У подпоручика Гущина, — сказал Миронов и удержал дыхание, чтобы не закричать. — Я сам беру лагтра.

Едва казак ушел, как Миронов упал на ливан, лишь сняв португезу с кобурой и шашкой. Он зажмурил глаза, но вдруг возник колокольный звон.

— Это ветер, — громко сказал Миронов. — Это ветер... Здесь нет церкви.

Звон продолжался. Миронов встал, начал ходить из угла в угол.

— Колокола... По ком звонят колокола?. По Лоуренсу? По мне? По нам по всем?. Я схожу с ума... Отчего он перед смертью не упомянул о девочке? О матери, о жене сказал, а о девочке промолчал, видно, любил ее особенно и молча унес имя ее и образ с собой. Какой образ унесу я с собой, какого ангелочка? Господи, как кроваво и нечисто на душе, Господи, прости и помилуй...

Миронов упал на колени перед иконой и до изнеможения, не переставая, шепотом молился.

Ранний рассвет Миронов встретил на берегу реки, сидя и глядя в отупении на мутную плещущуюся воду. На берегу сидели несколько монголов, но не лицом, а спиной к реке. Тут Миронова нашел Гущин.

— Отчего они сидят спиной к реке? Это раздражает, — сказал Миронов.

— Сидят по-монгольски. Я тоже вначале удивлялся, — ответил Гущин и добавил после паузы: — Тебе, Коля, надо обратиться в госпиталь — к доктору Клингенбергу. Он прекрасный врач и добрый, умный человек. Он тебе поможет.

Госпиталь располагался в большом пустом доме, бывшей китайской лавке.

— Господин Миронов, — сказал доктор, — я дам вам английское успокаивающее средство из моих личных запасов, которые я берегу для себя. Не знаю, поможет ли оно вам. Оно предназначено больным людям. Вы же абсолютно здоровы, и ваша реакция абсолютно нормальная на крайнюю

распущенность и безобразие, парящие здесь. Единственная возможность жить — это постоянно помнить, во имя чего мы терпим.

— Доктор, — сказал Миронов, проглатывая порошок, — а надо ли терпеть? Во имя чего терпеть? Помните, у Достоевского: слезиночка ребеночка, слезиночка ангелочка, разве она не превыше всего, даже превыше родины?

— Я вас понимаю... У вас типичное для времени и для русского национального духа помещительство на желании искупить преступление, совершенное другими людьми.

— Нет, доктор, не другими. Я убил. Конечно, не впервой. Я провел несколько лет на русско-германском фронте, потом — Гражданская война. Но обстоятельства вчерашнего кровопускания — последняя капля. Точнее, капелька, слезиночка.

— Я дам вам еще таблетки, — сказал доктор.

— Доктор, а что вы можете сказать о бароне?

— О бароне? Некоторые считают его маньяком. Я с этим не согласен, хотя, безусловно, он человек параноического склада. Это, безусловно, новый тип, тип лишь нарождающегося времени, и этим он отличается от патриархальных тиранов, даже кровавых. Это творец тотальных мифов или утопий. Отсюда и безумная энергия, которой обладают лица с навязчивыми идеями. Во всяком случае, невзирая на жестокость, трагическая попытка барона в одиночку бросить вызов большевикам здесь, на границе Монголии, делает его героем. Конечно, демоническим героем, — доктор глянул в окно. — Барон приехал. Как и полагается демонам, явился ко времени. Признаюсь, я испытываю страх всякий раз, встречаясь с ним: не знаю, чем это кончится.

Барон вошел стремительно.

— Ах, вы здесь, есаул? — произнес он с некоторой прощней.

— Да, ваше превосходительство, я нездоров.

— Ну, от вашей болезни доктор вас непременно вылечит, — сказал опять с прощней и, обернувшись к доктору: — Доктор, это правда, что вы убежденный социалист?

— Нет, ваше превосходительство, это неправда.

Чем вы можете подтвердить?

В вашей дивизии служат несколько моих земляков, которые давно меня знают. Им известно, что я делал на Урале после возвращения с германского фронта и каково мое отношение к крайним партиям и к большевикам.

— В таком случае, почему вы пытались обличить участь бывшего комиссара Щиткова и доктора Саганешнова, известных социалистов, которых я приказал прикончить? Жизнь ваца, доктор, висит сейчас на волоске. Постарайтесь на этом волоске удержаться.

— Я неоднократно беседовал с Щитковым и Саганешновым. Из разговоров с ними я вынес уверенность, что оба они были врагами большевиков и искренне любили Россию.

— Ладно... Во всяком случае, я не потерплю никакой преступной критики и пропаганды в моих войсках... Через два дня вы, доктор, отправитесь к Резухину для организации санитарной службы и полевого госпиталю, отправитесь поближе к фронту.

Барон обернулся к Мионову:

— Как вы устроились, есаул?

— Не очень хорошо, ваше превосходительство. Прощу перевести меня в палатку.

— А чем вам не нравится адъютантское жилье?

— Там вещи Лоуренса.

— Понимаю. Я велю забрать вещи и при случае отправить их матери Лоуренса. Бедная старушка. Я велел похоронить Лоуренса по-христиански, а это исключение для тех, кто казнен за измену. Мертвых изменников мы отправляем в сонки. Там их хоронят волки и бродячие псы. Изменников мы хороним по-монгольски. Я знаю, некоторые из моих единомышленников не любят меня за строгость и даже, может быть, жестокость. Не понимают того, что мы боремся не с политической партией, а с сектой разрушителей всей современной культуры. Против убийства я знаю только одно средство — смерть. Да, но как мало подлинных борцов. Вокруг сплошная чернь. Я рыцарь среди черни. Есаул, я даю вам еще один день отдыха, а потом поедем с вами в сонки. Я люблю иногда абсолютно один, без спутников и без кон-

воя, для отдыха, вечерами ездить верхом по окружающим военный городок сонкам. Но теперь мне хочется изложить во время этих прогулок кое-какие свои мысли и идеи. Так что готовьтесь, ссаул, беседы наши будут демоническими.

Барон вышел так же стремительно, как и вошел. Доктор тяжело опустился на стул, дрожащей рукой налил в стакан воды, насыпал порошок и выпил.

— Все-таки у него застывшие глаза мапьяка, — сказал Миронов. — Такие глаза бывают у религиозных фанатиков.

— Не думаю, что он по-настоящему религиозен. Скорее, мистик. Надо говорить о мистицизме, окрашенном в политические тона. Не исключено, что он страдает галлюцинациями.

— Эта ночная поездка по сонкам среди человеческих костей похожа на плод таких галлюцинаций.

— Пет, к сожалению, это не плод галлюцинаций. Сам я в сонках, слава богу, никогда не бывал, но от солдат и местных жителей известно, что там тела расстрелянных не закапывают, не сжигают, а бросают в лес на съедение волкам. Ходят слухи, что иногда на растерзание хищникам оставляют и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. Правда ли это последнее, не знаю, но с наступлением темноты кругом на сонках только и слышен жуткий вой волков и одиночных псов. Вы слышали?

— Да.

— Барон Враггель, тот самый, который ныне сражается с большевиками в Крыму, когда-то был полковым командиром барона Унгерна и сказал о нем: острый, пронзительный ум с поразительно узким кругозором. Очень точное определение. Неслучайно барон почти не имеет друзей и равнодушно, а то и неприязненно относится к женщинам. Его контакты с людьми односторонни и в ответном отклике не нуждаются. Вы заметили, барон совершенно не заботится о производимом впечатлении. В нем нет и тени позерства. Это вам может быть интересно как литератору. Я слышал от подпоручика Гуцниа, что вы литератор.

— Да, я пишу, но не знаю, смогу ли понять барона даже с его слов. Понимает ли он сам себя?

...Ночь была светла. Первое время барон и Миронов сходили молча по сонкам среди трупов и волчьего воя. При приближении всадников некоторые хищники отбегали в сторону, другие продолжали ширшество.

— В ламанизме скелет символизирует не смерть, а очередное перерождение. Начало новой жизни. Душе легче выйти из тела, если плоть разрушена. Я буддист, и пышущая картина меня не смущает. И вы со временем привыкнете. Вы готовы к работе?

— Да, готов. Можно ли изредка задавать вопросы?

— Спрашивайте. Но поменьше так называемой литературы. Я давнишний враг всего, что объединяют презрительным словом «литература».

— Ваше превосходительство, разве вам раньше никогда не хотелось изложить свои идеи в виде сочинения?

— Я никогда прежде не пытался перенести их на бумагу, хотя считаю себя на это способным. В каждой идее есть доступное и недоступное. Главное — в недоступном. И сейчас не уверен, смогу ли я сам, а тем более посторонний, добраться к извилинам моего мозга.

— Начнем с доступного, ваше превосходительство. Ваша родословная?

— Моя родословная? — усмехнулся барон. — Семья баронов Уггерн-Штерибергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Уггернов сражался вместе с Ричардом Левиное Сердце и убит был под стенами Иерусалима. Даже крестовый поход детей не обошелся без нашего участия. В нем погиб Ральф Уггерн — мальчик одиннадцати лет. Другой Ральф Уггерн был пиратом на Балтийском море. Барон Петер Уггерн, тоже рыцарь-пират, — владелец замка на острове Даго. Я с юности чрезвычайно интересовался своей генеалогией, воспринимая фамильную историю как цепь, чье последнее звено — я сам. Между Гансом фон Уггерном и мною — Романом Федоровичем фон Уггерном — восемнадцать родовых колен.

— Ваше превосходительство, в этой цепи помню вас меня интересуют два главных звена — ваш отец и дед.

— Это самые слабые звенья цепи. Оба люди сугубо мирные, причем не дворянских занятий. Дед занимал малопочтенную должность управляющего суконной фабрикой, отец — доктор философии, профессор сначала в Лейпциге, затем в Петербурге. Я веду свое духовное происхождение не от отца и деда, а от прадеда-пирата Отто Рейнгольда Людвиг Унгерн-Штериберга. Эта фигура очень волновала меня в отрочестве. Три момента сближают мою жизнь с жизнью прадеда: буддизм, море и Забайкалье.

На лесной поляне несколько ворон и большой филин клевали трупы. Вороны при появлении всадников улетели, а филин продолжал клевать, потом поднял голову с неподвижными гипнотизирующими глазами и издал звук, напоминающий уханье.

— Он меня приветствует, — с теплотой в голосе сказал барон. — Это филин, мой любимец. Не правда ли, величественная, роковая птица? Птица — символ войны. Милый мой, я велю привезти тебе свежие трупы. Трупы — плоды войны. Война дает надежду на грядущее обновление мира.

Барон тронул коня и пустил его галопом. Миронов поспекал следом. Наконец барон придержал коня.

— Так какова же все-таки история вашего прадеда? За что его сослали в Забайкалье?

— По этому поводу существует множество легенд. Мой прадед родился в 1744 году в Лифляндии, учился в Лейпцигском университете, затем служил при дворе польского короля Станислава Понятовского. В 1781 году он купил у своего университетского товарища Карла Магнуса Штейнбока имение Гогенхейм на острове Даго.

— И что ж далее, ваше превосходительство?

— Что далее? — усмехнулся барон. — Процесс над моим прадедом Отто Рейнгольдом Людвигом Унгерном-Штерибергом, хозяином Гогенхейма, стал уголовной сенсацией тогдашней Европы.

— В чем же преступление вашего прадеда?

— В чем преступление? О, это романтическое преступление. Мне иногда видится высокая скала с башней-маяком. Слышатся вой бури и звук колокола. Слышите, слышите

те? Это колокол с острова Даго. Слышите вой ветра и шум моря? Смотрите туда, — и он указал на вершины сопок, над которыми клубился освещенный луной туман.

И возникло видение. Высокая башня маяк и рядом — Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг, удивительно похожий на своего правнука, и как бы сквозь время, сквозь века, доносится голос правнука, комментирующий происходящее.

— Барон построил на скалистом берегу возле своего поместья высокую башню-маяк. В бурные ночи на башне зажигался свет, звонил колокол. Заблудившиеся суда шли на этот сигнал и разбивались о скалы. И груз становился добычей барона. Спасшихся моряков убивали. Так продолжалось, пока моего прадеда не выдал губернатор его сына. Не правда ли, замечательная демоническая история?

Раздался смех правнука, Романа Федоровича Унгерна, которому вторил смех барона Отто Рейнгольда Людвиг Унгерна-Штернберга, стоящего у фальшивого маяка на скале и смотрящего, как слуги добивают матросов и вылавливают груз...

— Мне нужны подвиги, — весело сказал барон. — Восемнадцать поколений моих предков погибли в боях, на мою долю должен выпасть тот же удел. Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны. Боялся, что европейские народы, разложенные западной культурой, не смогут сбросить с себя маразм пацифизма. Жизнь есть результат войны. Поэтому мне так симпатичны монголы. У них высоко стоит верность войне. Сражаться — это почетно, и им нравится сражаться. Я обещал монгольским князьям освободить независимую Монголию от Китая и укрепить на троне Богдо-гэгэна, живого Будду. Такой правитель, непременно связанный с потусторонними силами, кажется мне единственно возможным вождем. Прежде чем я начну двигаться против большевиков в Забайкалье, мне надо изгнать китайцев из Урги. Приехав в Монголию, я впервые ощутил себя полноправным наследником своего прадеда. Унгерн прищипнул коня и, обернувшись, крикнул Миронову:

— Читайте Нострадамуса, есаул! У него имеется пророчество о пришествии князя с Востока. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, подлежит замене желтой восточной культурой.

— Новый Чингисхан? — спросил, догоняя его, Миронов.

— Да, новый Чингисхан.

— Кто же этот новый Чингисхан?

— Я! — Он резко остановил коня. — Судьбой предназначено мне встать во главе диких народов и повести их на Европу.

*Хрошка.*

Богдо кланяется портрету Юань Шикая. Парад войск. Народ приветствует китайцев и кланяется им.

*Питры: «21 июня 1921 года. Правитель Монголии живой Будда Шибсан Дамба Худдахт Богдо-гэгэн в Урге на площади Поклонений публично отрекся от престола и объявил себя подданным китайского императора Юань Шикая».*

Барон Унгерн, Миронов и японский военный атташе Судзукэ ехали в автомобиле.

— У китайцев, по данным разведки, пятнадцать тысяч солдат, тридцать пулеметов, двадцать орудий, — говорил барон. — Нам нужна японская помощь.

— Мы, японцы, по международному соглашению не можем помочь вам войскам, — сказал граф, — но обещаем вам вдоволь боеприпасов и амуниции. Это гарантирую вам я, японский военный атташе Судзукэ.

— Упреждая нас, китайский генерал Сюй Чен вступил в Ургу. Богдо-гэгэн подписал отречение от престола. Все это интересы проамериканской и китайской клики. Все это против интересов России и Японии, — добавил барон по-французски.

— Мы, японцы, поможем вам изменить это неприятное положение, — тоже по-французски, улыбаясь, ответил Судзукэ. — Наш военный министр Тапакэ сказал: «Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию».

и Монголию. Чтобы завоевать весь мир, мы должны завоевать Китай».

— Эти слова могли бы принадлежать и мне, — сказал барон. — Владычество над миром проходит через Монголию. Но ваш военный министр видит в Монголии лишь перышко, способное склонить чашу весов. Я же вижу в Монголии последнюю надежду человечества в море всезапахляющей гибельной культуры Запада. Россия и Япония должны объединиться. Пятнадцать лет назад вы, японцы, с нами воевали, как львы. Мне было двадцать лет, и сразу из военного училища я попал на японский фронт.

— Значит, мы стреляли друг в друга, барон, — засмеялся Судзуки. — Я тоже ветеран японской войны.

— У меня с тех пор высокое уважение к японскому солдату. Даже немец не так дисциплинирован и не так сохраняет спокойствие перед смертельной опасностью. Вы, японцы, — необычная раса, одна из тех, на которых печаль избранныости.

— Мы — японцы, и этим все сказано. С детства мы знали, что должны плыть через моря, добывать империи сушу.

— Есть расы свежей крови, расы завоевателей, — сказал барон, — а есть расы гнилой крови. Кровь только на первый взгляд одного цвета. Под микроскопом она разная.

— Вы, господин барон, я вижу, человек науки, — ответил Судзуки.

— У моего отца в Ревеле была лучшая частная библиотека, — сказал барон. — Мы с моим другом детства Альфредом Розенбергом проводили там целые часы, даже издавали рукописный журнал по антропологии и философии. Теперь Альфред эмигрировал в Германию, и недавно я получил от него письмо, которое меня очень огорчило. В Германии Альфред связался с каким-то социалистом Адольфом Гитлером, конечно же, прохвостом и негодяем, как все социалисты, и, похоже, сам стал социалистом. Да, он меня приглашает преехать и вступить в их социалистическую партию. Меня, рыцаря и аристократа, приглашает стать социалистом. Ведь это то же самое, что стать большевиком. Впрочем, Альфред Розенберг по происхождению не из аристократов, а из купцов.

Автомобиль въехал на широкую базарную площадь, уставленную лотками. Здесь же крутилась карусель, и рядом с заунывной монгольской музыкой слышались звуки гармошки.

У какого-то балагана большая толпа смотрела на выступление фокусника. Барон приказал остановить автомобиль и тоже стал смотреть. Фокусник-китаец глотал огонь, вытаскивал из ушей и ноздрей шарики и ленты. Публика была в восторге. Барон тоже рассмеялся.

— Он, конечно, шарлатан, но очень смелый и талантливый, наподобие Распутина — сибирского старца при нашем покойном государе. Этот мужик сумел внушить доверчивому государю, что его судьба связана с судьбой династии и он — спаситель трона. Потом выяснилось, что Распутин брал уроки у одного петербургского гипнотизера.

— Я слышал, барон, что вы тоже увлекаетесь гипнозом? — спросил Судзук.

— Мне более по душе мистическая философия, а гипноз — это низшая форма мистики. Есть люди, которые воздействуют, и есть люди, на которых воздействуют. Обратите внимание на моего адъютанта. — И барон вдруг буквально воцарил глаза в Миронова: — Есаул Миронов, где твой револьвер?

Миронов схватился за кобуру. Она была пуста.

— Ну, теперь тебя можно расстрелять за потерю боевого оружия, — рассмеялся барон. — Возьми и будь бдителен.

Он протянул Миронову его револьвер.

— Настоящий гипнотизер-фокусник, — рассмеялся Судзук. — Я тоже ничего не заметил, а ведь я человек внимательный.

— Это мелочь. Разве такие фокусы бывают? — Он посмотрел в толпу. — Что-то меня волнует. Какая-то сила.

— Потусторонняя? — спросил Судзук.

— Еще не знаю. Кажется, в толпе я вижу подпоручика Гущина с некоей молодой дамой.

— Да, это подпоручик Гущин, — ответил Миронов.

— Есаул, пригласите его вместе с дамой сюда, ко мне.

Миронов вышел из автомобиля и, протиснувшись сквозь толпу, подошел к Гущину:

— Володя!

— Ах, это ты, — обернувшись, сказал Гуцин. — А это Аня. Я уже говорил тебе о ней.

— Очень рада, — сказала молодая женщина, поигрывая кружевным зонтиком. — Моя фамилия Белякова. У нас поместье под Ростовом. Вы, оказывается, тоже из-под Ростова?

— Нет, я не из-под Ростова. Господа, барон Унгерн просит вас подойти к автомобилю.

— Ах, Ростов, — говорила Белякова. — Господа, как я рада встретить близкое мне общество. Мы с Володей вспоминаем Александровский сад, сладкий запах акаций, темное небо над Доном, набережные с фонарями, нашу прошлую жизнь.

— Аня, — сказал Гуцин, — барон просит нас представиться ему.

— Вы барон фон Унгерн-Штериберг? — спросила Белякова, подойдя к автомобилю.

— Да, я барон Унгерн, — ответил барон, пристально глядя на женщину.

— Я по матери — Остен-Сакен, у меня мама из Прибалтики.

Барон не ответил, продолжая смотреть.

— Красивая девушка, — сказал Судзуки. — Когда я был молодым офицером, девушки значились у нас под геролгом «потребность». — Он засмеялся. — Одна жена за три дня.

— Грошу, господа, полминуты внимания, — сказал барон и закрыл глаза; потом открыл глаза и произнес, указывая на молодую женщину: — Повесить агента.

В одно мгновение женщина выхватила из сумочки револьвер. Унгерн выстрелил первым и попал ей в руку. Револьвер, падая на землю, выстрелил и ранил Гуцина в ногу. Конвойные казаки, схватившие за автомобилем, схватили женщину. Услышав выстрелы, базарная толпа начала разбегаться.

— Мне жаль, мадам, — сказал Унгерн по-французски, — что вашу красоту и свою смелость поместили в не лучшее дело, поставили не на пользу служения России.

— Сука! — крикнул Гуцци, держась за окровавленную ногу. — Сука чекистская!

— Не кричи, — сказали женщина, — кричать будешь, когда топить вас будем в Селенце, если до того от сифилиса не подохнешь! И тебе, кровавый барон, не уйти от расплаты.

— Обыскать и повесить, — сказал барон. — Где у нас ближайшая виселица, есаул?

— Возле штаба. Но она занята китайцами.

— Урядник, — обратился барон к одному из конвойных казаков, — не найдешь свободную виселицу — повесь на дереве.

— Вы, барон, читаете на лицах, как в книге, — сказал Судзуки, когда женщину увели. — Как будто потусторонний мир подсказывает вам ваши действия.

— Свидания с потусторонним миром давно меня увлекают.

— Может быть, потусторонние силы помогут нам спасти Россию и мир от большевиков, — улыбнулся Судзуки.

— Потусторонние силы и беспощадная расправа над теми, кто нам вредит. Подпоручик, — обратился барон ко все еще лежащему на земле Гуццину, — пусть это будет вам уроком. Вы, я слышал, большой дамский угодник. Есаул, помогите вашему другу забраться в автомобиль. Отвезем его в госпиталь. Если задета кость и по вашей, подпоручик, глупости я лишился боевого офицера, то вам не сбобровать.

Миронов помог Гуццину забраться в автомобиль.

— Где вы встретились со своей чекисткой? — спросил барон.

— В офицерском казино, — ответил Гуцци. — Она там села и плясала.

— Я так и думал. Кафешантаны и певички, оркестровые дамы — создания коварные и крайне опасные. Все эти дамы полусвета, впрочем, как и иные женщины, лишены нравственных основ. Современный мужчина слаб перед ними.

— Перед женщиной все слабы, — улыбнулся Судзуки. — Даже самуран.

— Ко мне это не относится, — сказал барон. — К женщинам я никогда не проявлял особого интереса. Я никогда не

обладал мещанскими взглядами. Но вернемся к делу. Первый удар я решил нанести по Май-Манчану — столичному пригороду, населенному китайцами. Прежде чем начать штурм, предъявить китайскому командованию ультиматум. Потребовать выпустить меня в Ургу со всем войском, чтобы моя азиатская дивизия могла пополнить запасы перед походом на север, к пограничному Троицкогавску. Пусть китайцы думают, что моя цель — война с красными. Не правда ли, хорошая идея?

— Вряд ли китайцы предоставят нам такое гостеприимство, — сказал Миронов.

— Что ж, — сказал барон, — поедем сами к ним в гости. Я намерен направиться на разведку в Ургу.

— Вы сами, в одиночку, ваше превосходительство?

— Нет, есаул, ты поедешь со мной.

Ярким солнечным днем барон в монгольском красно-вишневом одеянии, в белой папахе на белой кобыле спустился с горы и, мишуя китайских часовых, въехал в город. Миронов в монгольской одежде сопровождал его. Поехали ургинскими улицами, среди толпы. На центральном базаре Захадар барон остановился, слез с коня.

— Ты, есаул, материалист, напрочь лишенный мистического чутья, — усмехнулся барон. — Вот возьми. Это кокаин. В небольших дозах он придает храбрости.

Миронов, косясь на китайские патрули, незаметно высыпал порошок. В трактире, где висели бараньи туши, выпили водки.

— Надо также купить засахаренной брусники и сладости для храмовых жертв, — сказал барон.

Вошли в буддийский храм. Перед бронзовым Буддой трещали свечи. Барон положил на медную жертвенную тарелку деньги и сладости. Миронов тоже положил деньги и обрядовое печенье, которое купил в храме. Барон стоял перед бронзовым Буддой, шевеля губами, молился. Потом выпили, сели на лошадей, поехали по главной дороге.

— Это резиденция китайского командующего, — сказал барон.

Въехали во двор. Барон не спеша слез с лошади, подозвал одного из охранников и сказал по-китайски:

— Держи за повод моего коня.

Сквозь открытое окно доносились звуки рояля.

— Наверное, это сам Сюй Чен, — усмехнулся барон. — Я слышал, он щеголяет европейскими манерами и бренчит на рояле в клубе. Чиновники устроили клуб для столичного бомонда всех национальностей. В том числе для жидовских интеллигентов и коммерсантов. Правда ли это, ссаул?

— Да, лазутчики доносят, устроили клуб и даже разыскивали в городе бильярд для него.

— Еще бы, — усмехнулся барон, — как же без бильярда?

Обойдя вокруг дома, не снеча подтянул подиругу и не тороясь выехал со двора.

— Ясно одно — новые хозяева Урги с их английского образца мундирами, французскими кепи и немецкими пушками, с их бильярдом и роялем в этой стране, где триста лет властвовали их предки, гораздо более чужаки, чем я с моей уверенностью, что свет — с Востока. Но в том-то и парадоксе, что при этом я остаюсь истинным европейцем. Потребность сменить душу — западный синдром, кожу — восточный.

Возле большого дома с зарешеченными окнами барон придержал коня.

— Это тюрьма. Посмотрите, возле ворот на стуле сидит часовый. Такое нарушение дисциплины возмущает меня.

Барон слез с коня, подошел к часовому и разбудил его несколькими ударами трости-ташура. Спросонья часовый ничего не мог понять.

— На карауле спать нельзя, — сказал барон по-китайски. — За такое нарушение дисциплины я, барон фон Унгерн-Штернберг, самолично тебя наказал.

— Барон! — закричал перепуганный часовый. — Барон Иван!

— Белый бытыр, белый генерал, — закричали монголы, прильнув к зарешеченным окнам.

Барон сел на коня и не тороясь поехал дальше. Прибежали китайцы. Грохнули выстрелы.

— Тенерь — галопом! — крикнул барон.

Мионов поскакал следом.

— Китайцы воспримут мою посылку как предвестие своего скорого поражения, — слезая с коня в расположении дивизии, сказал барон. — Ламы это будут толковать, как чудо. Дух охранял меня и послал затмение на всех, кто мог задержать или убить меня. Теперь надо организовать похищение Богдо-гэгэна. Мы похитим его среди белого дня из Зеленого дворца.

— Ваше превосходительство, — сказал Мионов, — похитить Богдо-гэгэна трудно. По сведениям, здание Зеленого дворца охраняют триста пятьдесят солдат и офицеров по всему периметру степ. У ворот установлены пулеметы. Местность вокруг дворца практически исключает всякую возможность нападения.

— Вы не знаете Восток, — ответил барон. — Главное — разыскать человека, способного руководить операцией.

Дивизия выстроена в боевом порядке. Вынесли белое знамя с тибетской свастикой.

— Это новое знамя из парчи, — торжественно говорил Унгерн. — Белое знамя Чингисхана с тибетской свастикой, буддийским символом вечного обновления. С севера в седьмом столетии по смерти Чингисхана, по мистическому поверию, ожидается явление его белого знамени, под которым евразийцы восстановят свое былое величие. По монгольскому поверью, в знамя переходит душа полководца. Явление знамени Чингиса равносильно появлению его самого.

Заиграл оркестр, вывели связанного китайца.

— По древнему обычаю, — сказал Унгерн, — приказываю зарубить китайца у подножия знаменного древка.

Китайца зарубили шанками, обмакнули древко в текущую кровь.

Тесный зал кинематографа забит до отказа. Под звуки расстроенного рояля разворачивается действие «Гамлета». Танер пантравлял мелодию, часто совершенно не совпадающую с происходящим. Когда в финале солдаты Форгиш-браса несли мертвого Гамлета, танер заиграл «На сонках

Маньчжурин». После сеанса публика долго не расходилась. Зажегся тусклый свет гарнизонного движка. Сидели, словно проснувшись, не желая окунаться в повседневность.

— Ничего не произошло, все та же жизнь вокруг, но сердце почему-то забилося сильнее, — сказал Миронов. — Чудесное видение искусства.

— Именно чудесное видение, — сказал Гуцин и так быстро пошел на костылях к проходу, что Миронов едва поспевал за ним.

— Куда ты так несешься, точно опять влюбленный? — сказал Миронов.

— Не то слово, снать не могу, — останавливаясь, сказал Гуцин.

— Кто же она? Где ты ее встретил?

— Здесь, в кинематографе, вчера. Прекраснейшее из женских лиц, которые я встречал. Вчера была забавная комедия, а сегодня «Гамлет» с Астой Нильсен. Мы познакомились.

— С Астой Нильсен?

— Ну перестань же глупо шутить. Конечно, с Верой. И она обещала прийти. Точнее, она с мужем.

— Оказывается, она замужем?

— Да, муж — очень милый человек. Фамилия его Голубев. В старое время при покойном императоре занимал высокую должность в Министерстве иностранных дел. А Вера Аркадьевна окончила Смольный институт, аристократка, красавица из лучших петербургских салонов. И вдруг встретить ее в монгольской глуши.

— Но где же она?

— Разве ты не видишь? Посмотри туда, — он кивнул головой в конец прохода. — Длинные ресницы, ясный взгляд голубых глаз, волнистые белокурые волосы. Если приглядеться, черты ее лица не совсем правильные, по русскому лицу и не обязательно быть во всем правильным, чтобы слепить красоту.

Гуцин пошел дальше по проходу, стуча костылями.

— Вера Аркадьевна, — сказал он, подойдя к Голубевым, — Павел Иванович, добрый вечер.

— Это вы, молодой человек, — сказал Голубев, — очень рад, милостивый государь. Поправился фильм?

— По-моему, замечательно, — сказал Гунци, бросая взгляд на Веру. — Вам понравилось, Вера Аркадьевна?

— Да... Особенно то, что Гамлет — девушка. Когда Горацио в финале расстегивает рубашку на груди Гамлета и все понимает. Красивая женщина в роли Гамлета — это настоящая находка.

— Дело не в том, что Аста Нильсен изображает Гамлета красивым, — возразил Голубев, — то, что Гамлет по сценарию — девушка, объясняет причину нерешительности принца.

— Женщины тоже способны на решительные поступки, — сказала Вера. — Мне кажется, главное — в красоте, в этом причина популярности фильма.

— Я согласен, — сказал Гунци, — именно красота. Окопченный труп солдаты несут на вытянутых руках над головами. Голова принца запрокинута, процессия медленно движется по аллею склоненных над мертвым телом коний. Прекрасный финал. Кстати, разрешите представить: мой друг, есаул Миронов — личный адъютант командующего дивизией барона Уингерна.

— Очень рад, — сказал Голубев, подавая руку. — Моя жена, Вера Аркадьевна.

Миронов наклонился и поцеловал атласную кожу женской аристократической ручки.

— Вам понравилось, есаул? — спросила Голубева.

— Очень, — ответил Миронов.

— А какую тему вы находите главной? — спросил Голубев.

— Наказанное братоубийство, — сказал Миронов. — Так называлась дошекспировская пьеса, по которой Шекспир написал свою трагедию.

— Есаул Миронов — литератор, — сказал Гунци. — Публиковался в петербургских газетах, издал сборник стихов.

— Вы пишете стихи? — спросила Голубева. — Не согласитесь ли прочесть что-либо?

— Не знаю... Я не Лермонтов, мои стихи — это сочинения любителя.

— Вы пишете лирику? — спросила Голубева.

— Нет, лирику не пишу, сейчас не до лирики. Пишу о том, что видел, что пережил. Я воевал прежде в колчаковской армии, участвовал в походе Каппеля, об этом пишу.

— Тогда особенно интересно, — сказал Голубев. — Мне с женой пришлось этого хлебнуть. Мы беженцы, с трудом пробрался из Сибири сюда, в Монголию.

— Прочтите что-нибудь свое, — снова попросила Голубева.

— Ну хорошо, — сказал Миронов и прочел:

Скряния ползли обозы-черви.  
Одеты дико и нестро,  
Мы шли тогда из дебрей в дебри  
И руки грели у костров.  
Тела людей и коней навших  
Нам обрамляли путь в горах.  
Мы шли, дорог не разобравши,  
И стыли ноги в стременах.

— Весьма трогательно. Напрасно вы говорили, что не пишете лирику. Это как раз и есть современная лирика. Мы с Павлом Ивановичем все это пережили, — сказала Голубева и пожала Миронову руку.

— Да, — сказал Голубев, — ужасное время переживает матушка Россия. Русские — беженцы в собственной стране. Мы с Верой Аркадьевной такие беженцы. Поселили нас, как всех, в обозе, хотя я статский советник, что по разряду старой императорской России приравнивается к чину генерала. Я хотел бы получить аудиенцию для беседы с бароном Унгерном. Вы, господин есаул, как личный адъютант барона не были бы столь любезны устроить мне подобную аудиенцию?

— Его превосходительство барон Унгерн сейчас очень занят, — сказал Миронов, — тем не менее постараюсь узнать, когда он может вас принять.

— Весьма меня обяжете, есаул, — сказал Голубев. — Считаю нужным вместе с женой прибыть для личной аудиенции. Я надеюсь быть барону полезным, внести свой посильный вклад в святое дело борьбы за Россию. У меня имеется

определенный опыт работы в Министерстве иностранных дел. Я, думаю, пригодился бы барону в качестве советника по политическим вопросам.

И, раскланявшись, Голубев с женой ушли.

— Ну, поправились тебе Голубевы? — спросил Гуцци.

— Он привык повелевать. Этот Голубев — человек с большим самомнением и прошлым авторитетом, но, пожалуй, не слишком умный.

— Но Вера прекрасна. Ты не находишь?

— Да, замечательная красавица. Тем хуже. Ты ведь знаешь, что барон не любит женщин, особенно красивых.

— При чем тут барон? Тебе-то она понравилась. Я уже начинаю ревновать.

— Напрасно, — сказал Миронов. — Разбивать чужие семьи — не по моей части.

— Ну, ты известный моралист.

— Да, моралист. Это ты любишь рассуждать о чувствах, страстях и прочем подобном.

— А ты думаешь, что Вера Аркадьевна — невинная голубка, которая никогда не изменяла мужу? Как все моралисты, ты поразительно наивен в вопросах страсти и любви. Или ты просто фальшивишь. За моральными рассуждениями хочешь скрыть возникшие в тебе самом чувства. Это с вами, моралистами, случается. Вспомни мольеровского Тартюфа.

— Ты хочешь сказать, что я Тартюф?

— Ты сердисься, значит, ты не прав.

— Володя, тебе пора в госпиталь, и у меня дела. Давай расстанемся, а то еще, чего доброго, поругаемся.

— И все-таки тебе очень понравилась Вера, — сказал Гуцци. — Ты скрытен в любви, такая любовь еще более опасна. Поверь мне, опытному знатоку женщин.

На ночной верховой прогулке, на этот раз по степи, барон вдруг заговорил о женщинах.

— В традиционном противостоянии Востока и Запада Запад ассоциируется у меня с женским началом, родившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна.

В построении цивилизации вы полностью отрицаете женщину? — спросил Миронов.

— Я смотрю на женщин как на печальную необходимость, не более, — ответил барон. — Но европейская цивилизация — это женское начало, она, как и женщина, есть олицетворение продажности и лицемерия, позлащенный кумир, который Запад в гибельном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда героев и воинов. Я давно мечтаю об ордене военных буддистов, чьи члены давали бы обет безбрачия. Победитель дракона, рыцарь и подвижник, явится не из Европы, а из противоположного конца Евразии.

Нечто подобное есть и у Ницше.

— Да, я вслед за Ницше могу выстроить тот же ряд презираемых мною тварей: лавочники, крестьяне, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Причем полное отсутствие профессионализма в чем бы то ни было. Мне катастрофически не хватает профессиональных людей.

— Ваше превосходительство, тут есть один дипломат из Петербурга. Он просит у вас аудиенции.

— Кто?

— Голубев. Он работал в Министестве иностранных дел.

— Голубев? Не знаю.

— Он с женой просит аудиенции.

— Женатик, — сказал барон. — Хоть законный брак?

— Похоже, законный. Жена его окончила Смольный институт.

— Ну пусть приходит. Поглядим, что за дипломат.

Барон принял Голубева в своей юрте. Миронов не слишком прислушивался, время от времени бросая взгляд на прекрасный овал лица Голубевой, на белокурые волосы, перехваченные лентой. Но беседа, которая велась в спокойных тонах, вдруг начала становиться все шумнее и беспокойнее.

— За годы Гражданской войны, — взволнованно говорил Голубев, — мы много раз были близки к победе над большевиками, но предательство, самлюбие, неспособность вождей белого движения договориться между собой всякий раз уничтожали победу.

— На кого вы намекаете? — вдруг вскрикнул барон. — Сам-то вы кто? Вы из интендантов, следовательно — мошенник.

— Милостивый государь, — тогдаш побавровел Голубев, — во-первых, я служил не в интенданстве, а в Министерстве иностранных дел. А во-вторых, в порядочном обществе так не говорят.

— Ах, в порядочном обществе, — закричал барон. — Наверное, думаете, что находитесь в петербургском салоне среди жидовских адвокатов, низких ингилистов-крамольников и изменников. Выпороть его!

Вера Голубева вскочила и бросилась к барону.

— Господни барон, — возмущенно сказала она, — мы принадлежим к высшим петербургским фамилиям. Мой муж — близкий родственник его величества адмирала Арсеньева.

Выпороть! — еще громче закричал барон.

Видя бешенство и непреклонность барона, Голубева сменила тон.

— Господни барон, — умоляюще сказала она, — как женщина прошу вас отменить наказание.

— Если за какого-нибудь провинившегося солдата или офицера ходатайствует женщина, то я увеличиваю ему меру наказания. Вы же вовсе штатские особы. Выпороть! — крикнул он опять, побавровел. — Ее тоже выпороть. Положите их рядом, по-супружески. Синайлов!

Синайлов вырос как из-под земли.

— Синайлов, его пусть порет адъютант, поручик Жданов. Он хорошо порет. А ее я приказываю пороть вам, Миронов, своему другому адъютанту.

Голубев и его жена лежали рядом полуобнаженные. Спина Голубева была исполосована Ждановым до крови. Миронов же старался бить помягче.

— Жалеете ее? — усмехнулся барон. — Видно, уже влюблены, юбочный угодник! Ладно, пока с этой женщиной позора довольно. Отправить ее в обоз. Написать коменданту Чернову, чтобы использовал на гяжелых грязных работах. Пусть солдатские кальсоны стирает, барыня петербургская. А мужа-дипломата назначить рядовым в полк.

На плацу Голубев в солдатском мундире, который сидит на нем, как на огородном пугале, неумело семенит, стараясь пристроиться к общему солдатскому шагу, подгоняемый злой командой фельдфебеля.

— Поистине от великого до смешного всего один шаг, — сказал Гуцин. — Какая жалкая картина. А с Верой, слышал, и того хуже.

— Не говори, — сказал Мионов. — Ситуация была почти такая же, как при вынужденном расстреле мной Лоуренса. Но все надо вытерпеть, как говорит доктор, во имя нашей идеи.

— И все-таки я тебе завидую. Видеть обнаженное тело красавицы. Пороть ее — в этом есть нечто обольстительное, — и он как-то странно, болезненно засмеялся. — Пусть извращенное, но обольстительное.

— Не понимаю тебя, — сухо сказал Мионов. — Садистская болезненность меня никогда не интересовала. Я сторонник здоровья во всем, тем более в интимном.

— Ты наивен, как все моралисты. Или опять фальшивишь.

— Напрасно ты меня ревнуешь, — сказал Мионов, — тем более к несчастной женщине, которая теперь занимается грязной работой в обозе у Чернова.

— У Чернова? — засмеялся Гуцин. — Держу пари, что Голубева сойдется в обозе с этим женским обольстителем, красавцем Черновым.

— Это не моя проблема, — сказал Мионов и, холодно кивнув, пошел прочь.

Военный совет в походной палатке барона. Докладывает Резухин.

— Ургу, ваше превосходительство, занимает многотысячная китайская армия с птабами, полевыми телефонами, орудиями. А у нас несколько сот измученных, оборванных и полуголодных всадников на отощавших конях. Одна пушка, один пулеметный взвод и минимальный запас патронов.

— Что ж, — сказал Унгери, — мысль о том, чтобы такими силами выбить китайцев из города, кажется безумием, по

мы опять пойдём к столице. Теперь, оставив Май-Манчан в стороне, я решил атаковать Ургу с северо-востока. Постараемся ночью незаметно подойти к центральным кварталам по руслу реки Селды.

И он склонился над картой, указывая направление.

Ночной бои. Барон появляется то в одном, то в другом месте.

— Отчего нет продвижения? — кричит он. — Атаковать пулеметы!

— Ваше превосходительство, — сказал подъехавший офицер, — китайцы успели подготовиться. Берега Селды и гребни холмов все в окнах.

Миронов с трудом узнал в офицере Гуцина. Лоб его был перевязан окровавленной тряпкой. Он слез, почти свалился с коня, схватил протянутую ему бутылку, начал жадно пить.

— Атаковать! Непрерывно атаковать! — кричал Унгерн и ударил тростью Гуцина по спине. — Атаковать!

— Верхом пройти не удастся, ваше превосходительство, — сказал Гуцин.

— Сотням спешиться! Атаковать!

Казачи в пешем строю лезли прямо на китайские пулеметы. Барон появлялся в самых опасных местах со своей монгольской тростью, бил по спинам солдат и офицеров.

— Атаковать! — кричал он. — Сколько у нас осталось пулеметов?

Увидев юного прапорщика с пулеметом, спросил:

— Сколько пулеметов?

— Два, ваше превосходительство.

— Как зовут фамилия?

— Козырев, ваше превосходительство.

— Эти два бесценных пулемета отданы под твоё командование, Козырев. Береги их и себя, смотри, если ранят, повешу.

— Оправдаю доверие вашего превосходительства, — радостно ответил Козырев.

Бой продолжался. Спусти некоторое время барон опять подъехал к пулеметному взводу. Козырев лежал на спине.

— Что с ним? — спросил барон.

— Пуля в животе, — ответил один из казаков.

Сидя в седле, барон посмотрел на окровавленный живот, на мгновенно посветлевшее лицо Козырева.

— По виду рана смертельная, — сказал барон, — вывезти его с поля боя в госпиталь. Может, все же уцелеет. Юн слишком.

И отъехал.

К угру китайцы были сбиты с позиций, казаки продвигались вперед.

— Китайская пехота отгорошена к храмам монастыря Дехуре, — доложил подъехавший офицер.

— Мистическая вера никогда не обманывала меня, — говорил барон, глядя в бинокль. — Я уверен, китайцы в панике, готовятся к эвакуации. Атаковать!

К вечеру канонада усилилась.

— Отчего нет продвижения?! Где Резухин? — кричал барон. — Резухина ко мне.

Подъехал Резухин.

— Почему остановились атаки? — закричал барон. — Для победы хватит одной-двух атак.

— Ваше превосходительство, — сказал Резухин, — китайцы подтянули к месту прорыва свежие силы, в том числе и артиллерию. А наши резервы исчерпаны. Потери огромны. Триста человек убитыми и ранеными. Треть казаков.

— А офицеры? — закричал барон. — Офицеры отступают назад!

— Ваше превосходительство, четверо из десяти офицеров остались лежать мертвыми на ургинских сонках, патроны на исходе, продовольствие тоже.

— А где монголы?

— Обещанное монгольскими князьями подкрепление не появилось.

— Что ж, отступить? Две-три атаки не хватает до победы. И отступить!

— Ваше превосходительство, — сказал Миронов, — сильно похолодало. Ночь обещает быть морозной, теплой одежды нет. Раненые умирают от холода.

— Тогда придется отступать. Будем отступать. Я оставляю небольшой отряд возле Урги для морального давления на китайцев, которые нануганы и психологически не способны удалиться от города далеко. Сам же с оставшимися силами, увозя раненых, уйду к востоку, на берега Карумна, в те места, которые семь столетий назад стали колыбелью империи Чингисхана. Отказываться от своих планов я не собираюсь.

В своей юрте барон принимал тайных посланцев Богдо-гэгэна. Он говорил:

— Передайте Богдо-гэгэну, предводителю Монголии, я пришел в вашу страну, чтобы начать всемирное дело. Я сражаюсь против коммунистов, евреев и китайцев. За кровь и правду-истину. Я буддист, потому что эта религия учит подчинению младшего старшему. Я восстанавливаю чистую кровь народов, завоевавших мир. Пусть монголы помогут мне взять Сибирь. Я новый Чингисхан, я возведу Монголию и сделаю главной спасительницей мира от большевизма.

— Барон Иван, ты — бог войны, — сказал один из лам, — мы верим тебе, мы знаем, что ты с помощью духов можешь стать невидимым, посылать на врагов панический страх.

— В наших пророчествах, — сказал другой лама, — национальный мессия должен прийти в годы жизни восьмого Богдо-гэгэна с севера.

— В пророчествах Бидигу Цадан Шулин, священного белого камня, — сказал третий лама, — сказано, что после великой смуги явится непобедимый белый багор, который спасет и возродит монгольского Хагана. Это пришествие должно произойти в год белой курицы. Год белой курицы приближается. Ты — белый генерал, это делает такое пророчество для нас, монголов, очень волнующим. Белый цвет — цвет Чингисхана.

— Ты так же рыжебород, как Чингис, — сказал первый лама.

— Ты состоишь в родстве с самим Цагаханом, — сказал второй лама. — Сам Цагахан послал тебя к нам.

— Кто это, Цагахан? — спросил Митронов, записывавший разговор.

— Это Николай II. Они верят в мое родство с ним и к тому же не знают, что государь уже мертв. Не надо разрушать их наивной веры.

— Будда проповедует мир и милосердие, — сказал первый лама.

— Будда падит все живое, даже комаров, вшей и блох, — сказал второй лама. — Но слуга Будды — беспощадный Махагала, ты, белый батыр, — слуга Будды Махагала.

— Махагала, — наперебой заговорили ламы, — хранитель веры, устрашающий и беспощадный Махагала.

Ламы, поклонившись барону и пятясь, вышли из юрты.

— Кто такой Махагала, ване превосходительство? — спросил Миронов.

— Махагала — это шестирукое божество. По-тибетски Срум, или Докхит, по-монгольски — Шаги Уса. Он изображается в диадеме из пяти черепов, с ожерельем из отрубленных голов, с паллицей из человеческих костей в одной руке и с чашей из черепа — в другой. Вот оно, — барон порылся в бумагах и показал литографию. — Подлинник — в монастыре Гудан. Когда мы возьмем Ургу, то обязательно посетим этот монастырь.

— Он жесток, — сказал Миронов.

— Да, он жесток. В жестокости есть печальная необходимость. Сам Будда допускает такую необходимость, взяв своим слугой божество Махагала. Побеждая злых духов, Махагала ест их мясо и пьет их кровь. Сам он не способен достичь нирваны. Он обречен вечно сражаться со всеми, кто препятствует распространению буддизма, причиняя зло ламам и мешая им совершать священные обряды. Я чувствую себя таким божеством. Я объявил войну китайцам, которые заставили отречься живого Будду, запретили богослужения в столичных монастырях и оскверняют храмы. Особенно меня волнует, что монголы называют меня белым генералом, который спасет их от белой курицы. Монголы очень чутки к цветовой символике. И к символике вообще. Богдо-гэгэн — символ власти над Монголией. Похитив этот символ, мы похитим у китайцев власть. Я нашел человека, который нам поможет.

Он обратился к вестовому:

— Пусть войдет.

В юрту вошел плотный, коренастый парень.

— Монголы-лазутчики посоветовали мне его. Это бурят Тубанов. Не правда ли, замечательный экземпляр? — сказал барон по-французски. — Посмотрите на его волчьи глаза и зубы-лопаты под толстыми губами — вздутыми, ярко-красными. Все в нем носит характер преступности и решительности, наглости и отваги. Это как раз то, что нам надо.

— Тубанов, — обратился барон к парню, — это мой адъютант, есаул Миронов.

Тубанов улыбнулся, показав широкую зубастую пасть.

— Есаул Миронов в этот раз пойдет с тобой в Ургу. Он отважен, но туповат. Ты вместе с ним проберешься в Зеленый дворец Богдо-гэгэна. Он тебе поможет. Надо вступить в переговоры с Богдо.

— О чем?

— План операции разработан в мельчайших деталях. Все готово, остается главное — добиться, чтобы сам Богдо-гэгэн согласился на похищение.

— Кто будет участвовать в похищении?

— Тубугы, — ответил барон. — Мне посоветовали опереться на тубугов. Так монголы называют тибетцев, живущих в Урге. Я ведь выделил большую сумму.

Он вынул деньги.

— Это первая часть, — сказал он Тубанову.

Тубанов взял деньги и пересчитал.

— Белый генерал, — сказал он, — из тубугов я подобрал шестьдесят человек самых отважных и сильных, умеющих владеть оружием и привыкших лазить по скалам у себя на родине.

Барон вынул новую пачку денег и передал Тубанову. Тубанов опять пересчитал, потом сложил все деньги вместе и начал пересчитывать заново.

— Ужасный авантюрист, — сказал барон по-французски. — Его знают в Урге как отчаянного парня с уголовными наклонностями. Это как раз то, что мне нужно.

Закончив пересчитывать деньги, Тубанов сказал:

— Белый генерал, только ради денег мы рисковать не стали бы. Мы, ламиты, во имя веры можем совершать чудеса храбрости. Мы ненавидим китайцев как своих притеснителей и насильников над Далай-ламой. Особенно воодушевляет нас мысль, что предстоит совершить дело национального свойства. Богдо — наш земляк.

Поклонившись, Тубанов ушел.

— Богдо страдает пристрастием к алкоголю. К тому же он любит женщин, — сказал барон и презрительно скривился. — Некоторые ламы называют его позором людей и богов. Его роль в управлении страной ничтожна. Но он глава религиозного клана, и своих он здорово держит в повиновении. Как бы я ни относился к Богдо лично, надо понимать его значение как общенационального символа. С Богдо в качестве заложника китайцы могут требовать многого, зная, что ради него монголы всегда пойдут на уступки. Пока Богдо в Урге, я не могу полностью положиться на свои монгольские отряды. Обязательное условие иштурма — похищение Богдо-гэгэна.

Миронов с трудом поспевал за Тубановым, который довольно ловко спускался по горному склону. У подножия Тубанов, заметив усталость Миронова, сел передохнуть.

— Сразу за рекой — Зеленый дворец, — сказал он. — Там Богдо-гэгэн.

— Любые передвижения не останутся незамеченными. Приблизиться к реке под прикрытием деревьев мешают горные кручи. От дворца просматривается вся река, всадникам здесь нечего делать, а пешую вылазку китайцы отобьют без особых усилий.

— Нам помогут высшие силы, — сказал Тубанов. — Мы, как тибетские отшельники, способны делать свое тело невидимым. Далай-лама из Лхасы поддерживает нас.

Перед дворцом стояли китайские караулы с пулеметами.

— Обычно тут много монгольских паломников, — сказал Тубанов, — но теперь монголов не подпускают к дворцу. Нас пропустят как тибетских лам.

Он что-то показал китайскому офицеру, и, действительно, их пропустили. Мимо охраны они поднялись на второй этаж. Здесь Тубанов опять нечто показал слуге. Слуга, поклонившись, удалился.

— Этот человек тоже тибетец, — шепнул Тубанов. — Сейчас нас примет живой Будда.

Пришел слуга и позвал. Долго шли в сопровождении слуг комнатами и переходами, тесно заставленными разнообразной мебелью. Всюду висели картины, стояли фарфоровые вазы и сервизы, европейские музыкальные инструменты. Вдоль стен тянулись витрины с безделушками, чучелами зверей, птиц, змей. Наконец впереди послышались граммофонные звуки французской кафешантанной песенки. Вошли в просторную комнату. За столом у играющего граммофона сидел, подперев щеку, лысеющий толстый человек. Это был живой Будда. Перед живым Буддой стояла откупоренная бутылка шампанского. По сторонам было множество бутылок, многие — пусты. Тубанов и Миронов поклонились.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал Миронов, — мы хотели бы поговорить наедине.

— Хорошо. Я догадываюсь, кто вы. Выпейте шампанского. Это шампанское подарил мне мой брат Романов, русский царь. Что будет, когда в моих подвалах кончатся запасы шампанского, привезенного из Петербурга четыре года назад? Китайцы не снабжают меня шампанским. Они запретили мне ездить на русском консульском автомобиле.

— Ваше высокопреосвященство, — снова повторил Миронов, — нам надо поговорить наедине.

— Интимно? — засмеялся Богдо (он был явно пьян). — Тогда пойдёмте в интимную комнату.

По боковому переходу они вошли в небольшую комнату. Здесь в нескольких местах на столиках стояли граммофоны, лежали скрипки, грубы.

— У меня целая коллекция граммофонов и музыкальных инструментов, — сказал Богдо и, взяв одну из скрипок, заиграл вальс Штрауса.

На стенах висели неприличные рисунки. Заметив взгляд Миронова, Богдо засмеялся:

— Это сцены совокуления, все в китайском духе. Духовенству прежде запрещено иметь связи с женщинами. Я, как и прежние Богдо голы, соблюдаю закон. Закон можно нарушать только ради полвита. Я вступаю в связь только с такими женщинами, в которых прозревает Маанге — злой дух. Плотские сожителства с ними — на самом деле титаническая борьба со злом.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал Миронов, — генерал Унгерн просит вас согласиться на похищение. Вы будете унесены на святую гору Богдо-Ул.

— Это одобрено Лхасой, ваше высокопреосвященство, — добавил Тубанов.

— Риск имеется значительный, — сказал Богдо после раздумий. — В случае провала я не смогу свалить вину на похитителей. Неудача грозит мне новым, более суровым заочением, а может, и смертью. Я уже едва не был отравлен китайским врачом, действующим по приказу Пеккина.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал Миронов, — китайцы готовятся к отступлению и намерены увезти вас как пленника с собой в Пекин.

— Там меня точно отравят. Хорошо, я согласен, пусть меня похитят вместе с женой Дондогулам. Мне позволено было жениться, потому что ламы признали ее воплощением Ехо-Догини — буддийского женского Божества.

Из интимной комнаты вышли в спальню с зеркальными стенами. Посреди стояло супружеское ложе — широкая двуспальная кровать под балдахинном, на котором с внутренней стороны вверху тоже было зеркало. На кровати лежала красивая молодая монголка и лениво ела какие-то восточные сладости. Миронов и Тубанов поклонились ей. Она поклонилась в ответ и улыбнулась. Богдо пошел проводить.

— Когда штурм? — спросил он.

— После похищения вашего высокопреосвященства, — ответил Миронов.

— Будут стрелять из пушек. Люблю артиллерийскую стрельбу. Но стреляйте так, чтобы не попасть в мой двор-

цы. Ни в Желтый, ни в Зеленый. Отвечая в Зеленый, здесь моя библиотека и сокровищница.

Прошли библиотеку с множеством томов и вошли в сокровищницу.

— Смотрите, — говорит Богдо, — это илзаяние буддийских бурханов. Вот драгоценная икагулка с корнями женьшеня, слитки золота и серебра, чудотворные оленьи рога, десятифунтовые глыбы янтаря, китайские изделия из слоновой кости, мешочки из золотых нитей, наполненные жемчугом, моржовые клыки с резьбой, индийские ткани, кораллы и нефритовые табакерки, необработанные алмазы, редкие меха. А вот посмотрите на коллекцию монах часов: карманные, настенные, настольные, напольные — двести семьдесят четыре штуки.

Часы вдруг начали одновременно звонить.

— Пять часов по пекинскому времени, — сказал Богдо, выпнув свои карманные золотые часы. — Я плохо вижу, но звон возвещает мне время.

Поклонившись, Миронов и Тубанов распрощались.

— Понравился тебе живой Будда? — спросил барон Миронова.

— Коварный ветхий слепец. Но не вполне обычный человек.

— Мы похитим его. Нам поможет провидение.

Раннее утро. Еще не погасли ночные костры. Миронов стоял рядом с бароном и, как барон, смотрел в бинокль. Черные движущиеся точки показались на склоне.

— С ночи люди Тубанова укрылись в лесу на Богдо-Уле, — сказал барон, — приближается ренающий момент.

Группа лам подошла к воротам, караул пропустил их. Вдруг ламы по условному знаку Тубанова выхватили из-под одежды карабины. Охрану без единого выстрела обезоружили и связали. Вопедшие разделились. Одни заняли оборону возле дворца, другие вошли внутрь. Богдо-гэгэн с женой уже были готовы к побегу, тепло одеты. Их подхватили и понесли к бегу.

...Барон ждал известий на Богдо-Уле. Тибетец на взмыленной лошади подскакал и подал записку. Унгерн жадно схватил ее. В ней была одна фраза: «Я выхватил Богдо-гэгэна из дворца и унес на Богдо-Ул».

— Тенерь Урга наша, — радостно крикнул барон и добавил: — Тубанову я присваиваю чин хорунжего.

Весть о похищении Богдо быстро дошла до лагеря.

— Ура! — прокатилось по горе.

Барон сидел, склонившись над картой, когда вдруг раздался ужасный крик.

— Что там происходит? — поморщился барон.

— Видно, Синайлов допрашивает арестованных, — сказал Миронов.

— Скажи, чтоб сейчас не допрашивал, — сказал барон. — Крики мешают мне сосредоточиться. Пусть Синайлов зайдет.

Миронов вышел и вернулся с Синайловым.

— Что ты такое делаешь?! — закричал на него барон. — Знаешь ведь, что я работаю и крики мешают мне сосредоточиться.

— Ваше превосходительство, угощал чайком вредный элемент, — усмехнувшись, ответил Синайлов.

— Ты, Синайлов, садист, — сказал барон. — Смерть есть нечто заурядное, чуть ли не пошлое в своей обыденности. А пытки ее романтизируют.

— Ваше превосходительство, без пыток нельзя добиться признания вишловых.

— В жестокости есть печальная необходимость, — согласился барон.

— Ваше превосходительство, — сказал Синайлов, — я хотел бы доложить о деле Чернова, коменданта обоза, поскольку вы велели мне разобраться.

— Докладывай!

— Чернов распорядился отравить тяжелораненых, которых везли в обозе.

— Это я сам ему велел отравить безнадежных, тех, кто все равно не вынес бы дальнейшего перехода.

— Ваше превосходительство, поговаривают, что с тяжелоранеными смертельную дозу яда получили все, имевшие при себе какие-либо ценности или деньги.

— Так ли это, выяснить! Если так, Чернова привести в лагерь. Допросить. Ты, есаул, поедешь, доложишь мне.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Выяснить! Чернов был прежде моим любимцем, как и Лоуренс. Деньги и золото всех губят.

— Говорят о подделке денежных документов по причине сладострастия, — сказал Синайлов. — Тут замешана женщина.

— Какая женщина?

— Голубева. У Чернова якобы с этой женщиной роман.

— Голубева? Опять Голубева. Выяснить и доложить. Я чувствую в себе силу Махагалы, а значит, и справедливость Будды. При этом всякий, на кого обращается мой гнев, будь то дезертир, пьяница или тот же Чернов, становится врагом желтой религии, мешающим ее торжеству. И ты, Синайлов, спутник Махагалы. Но я божество, слуга Будды, а ты и Бурдуковский со своими подручными — бесповатые кладбищенские демоны, жадные до крови и мяса. — И, выпув золоченую коробочку с коканом, барон отсыпал на ладонь порошок, поднес его к поздрав.

В расположении обоза первыми, кого увидел Миронов, были Голубева и Чернов. Остановившись за бараком, Миронов видел, как они обнимаются и целуются. Они не слишком стеснялись, и это зрелище собирало зрителей.

— Вот, ваше благородие, блядь, — сказал Миронову какой-то обозный казак.

— Комендантга соблазняет ради сладкого пайка.

— Хорошо бы ее накрыть где-нибудь в сарае, — подхихкинул второй казак.

— Ваше благородие, вот истинный крест, накрыть в сарае. Может, она и рада будет.

Оба были пьяны.

— Убирайтесь вон, — брезгливо ответил Миронов. — Узнает комендант, накажет вас.

...В комендантской Миронов просматривал бумаги умерших.

— Где онсье личного имущества, ценностей и денег, которые были у покойных? — спросил Миронов Чернова.

— Не было никаких денег и ценностей, — ответил Чернов, — это клевета. Это на меня клеветуют.

Миронов долго просматривал бумаги, ничего не обнаружив. Выйдя из комендантской, Миронов увидел Голубеву, которая прогуливалась неподалеку.

— Вы, ссаул? — сказала она равнодушно.

— А вы, мадам, я вижу, времени не теряли.

— Уже рассказали?

— Рассказывать не надо, так видно. Вы уж совсем переселились в юрту к Чернову?

— Да, переселилась. Что в этом плохого? Разве мы плохая пара? Оба красивые, статные

Она засмеялась.

— А ваш муж?

— Этот лакей? — презрительно сказала Вера. — Он всегда был лакеем, даже когда служил в Петербурге в Министерстве иностранных дел, был лакеем. Просто теперь явно видно. Вы не заметили?

— Я заметил, что человек он не слишком умный, но все-таки вы с ним венчались в церкви, по-христиански.

— Какие теперь венчания? Сам Колчак перед лицом всей Сибири открыто живет со своей невенчанной женой.

Вдруг позади послышался смех, и пьяный голос сказал:

— Ваше высокоблагородие, вслед на очереди мы.

Это опять были те обозные казаки.

— Убирайтесь! — крикнул Миронов.

Казаки засмеялись, а один из них крикнул Вере:

— Эй ты, блядь, мы тебя накроем в сарае!

Вера разрыдалась и убежала в комендантский барак. Казаки, обнявшись, с пьяной песней пошли прочь. Не прошло и минуты, как из комендантского барака выбежал разъяренный Чернов с револьвером в руке.

— Где подлецы? — яростно закричал он.

— Пошли туда, — Миронов указал направление.

— Дисциплина в обозе совершенно распалась. Ординарцы, схватить и расстрелять подлецов!

— Такое уж слишком, — сказал Миронов. — Такой приговор имеет право вынести лишь военно-полевой суд за соответствующие преступления.

— Оскорбление моей жены, — крикнул Чернов, — для меня высшее преступление.

И он с ординарцами побежал за казаками.

Миронов поспешил туда, однако впереди раздались выстрелы, и, когда Миронов подошел, оба казака лежали мертвые.

— Я вынужден буду доложить о происшествии в штабе, — сказал Миронов.

Барон был весьма занят. Когда вошел Миронов, он лишь мельком спросил:

— Что с Черновым? Подтвердилось насчет умертвления раненых ради денег?

— Нет, ваше превосходительство. Описи ценных бумаг и денег не обнаружены. Может быть, они уничтожены.

— Разберемся, — сказал барон. — Я пошлю туда Спайлова.

— Ваше превосходительство, в обозе на моих глазах произошло отвратительное происшествие. Чернов расстрелял двух казаков.

— За дезертирство?

— Нет, за то, что они оскорбляли Голубеву.

— Расстрелял казаков за женщину? — закричал барон. — Вызвать Чернова в дивизию!

Чернов приехал под вечер и устроился в палатке у Миронова.

— Где барон? — спросил Чернов. — Я хочу говорить с бароном.

— Барон в отъезде. Все ж, Чернов, для вашей пользы я попросил бы сдать оружие.

— Нет, оружие не сдам, — дервно и агрессивно ответил Чернов.

Он вынул револьвер, обнажил пашку и положил их рядом с собой.

— Чернов, я понимаю ваши чувства и сочувствую вам, подождите, придет барон. Он человек жестокий, но справедливый. Я замолвлю за вас слово. Будем надеяться, он решит в вашу пользу.

— Я люблю Веру и хочу на ней жениться, — нервно говорил Чернов.

— Но она жена другого, христианская религия запрещает двоеженство.

— Тогда я перейду в буддизм, — закричал Чернов.

— Ложитесь спать, Чернов, и надейтесь на лучшее. Я доложу Резухину, может, он разберется.

Едва Миронов вошел к Резухину, как тот закричал:

— Где Чернов?

— Я, ваше превосходительство, поместил его у себя в палатке.

— На лед эту сволочь!

— Господин генерал, все-таки надо дождаться приказа барона.

— Хорошо, отправлю конного к барону. У вашей палатки выставлю караул, а вы ждите здесь.

Ночью задремавшего в штабной юрте Миронова разбудил Бурдуковский.

— Барон приказал вынороть Чернова и сжечь живым.

— Но ведь Чернов офицер-дворянин. Даже если он виновен, его, по армейскому уставу, можно только расстрелять.

— Здесь, есаул, действуют по особому уставу, — ухмыльнулся Бурдуковский. — Барон приказал дать Чернову двести бамбуков. Я сам буду пороть. Пусть посидит в погребе у Синайлова, дожидаясь своей участи.

Ночью горели гигантские костры. При их дрожащем свете у Унгерна состоялось военное совещание.

— Утром начинаем приступ, — сказал Угери.

— Ваше превосходительство, в дивизии все с нетерпением ждут приступа, — сказал Резухин. — Победа для нас —

единственный шанс на спасение. Идти некуда. На севере — красные. В Маньчжурию не пропускают китайцы.

— Я тоже готовлюсь к смерти, — сказал барон. — При неудаче монголы разбегутся, а китайцы перебьют нас.

— Ваше превосходительство, — сказал начальник снабжения, — если этого не сделают китайцы, то это сделает голод. В полках не осталось ни крошки муки, питаемся лишь мясом. Суточный паек — четыре фунта на человека. Запасы соли тоже подошли к концу.

— При таком рационе многие страдают выпадением прямой кишки, — сказал доктор. — Многие гибнут от холода, особенно старики и подростки, мобилизованные в Забайкалье. Бывалые бойцы забрали у них все теплые вещи. Возьмем Ургу — придется ампутировать сотни пальцев ног и рук.

— Жизнь только в Урге, — сказал барон. — Так и объявить в полках, я обещаю войскам на три дня, как Чингисхан, отдать город на разграбление, под страхом смерти запретив при этом переступать пороги храмов. На тебя, Резухин, возложена главная задача — выбить китайцев из Май-Манчана, сделать то, что не удалось в прошлый штурм.

— Ваше превосходительство, — сказал Резухин, — я польщен такой честью. Но конные атаки невозможны, а для пешеходов не хватает патронов. В дивизии на винтовку — не более десяти патронов.

— Ну и что ж, — сказал барон, — тогда в пешем строю пойдем с саблями. Пешая сабельная атака. Ты ворвешься в Май-Манчан через южные ворота. Наши силы двинутся с востока.

Горели костры. Оборванные, в лохмотьях, в износившейся обуви, казаки с горы разглядывали золоченые крыши дворцов и храмов Урги. В Урге царило зловещее безлюдье. Магазины и лавки были закрыты. Ламы сидели по домам. Однако служба в православной церкви русского консульского поселка собрала много прихожан. Служил священник консульской церкви Парняков.

— Творения, с которых снято проклятие греха, образуют новую гварь. Всякая тварь создана прекрасно, но проклята вследствие грехонадеяния человека.

В этот момент в церковь вбежал, захныхавшись, один из прихожан.

— Простите, батюшка, отец Владимир, началось. Господа, штурм начался, и казаки уже в китайском квартале.

Издали доносился все усиливающийся грохот выстрелов.

— Эй, гляди, скоро аминь, — продолжал священник под нарастающие звуки выстрелов.

Бой шел на узких улицах. Заросшие бородами, в рваных полушубках, казаки дрались, свирено матерясь. С плоских крыш в казаков летели гранаты и камни. Китайские ополченцы стреляли даже из луков. Банкирские и монгольские отряды с восточной стороны вступили в Май-Манчан — китайский квартал. Началась резня. Последним прибежищем китайцев и китайских ополченцев стали кумирни. Под защиту божества собрались сотни людей. Но молитвы не помогли. Казаки, банкиры и монголы взломали ворота. Когда барон появился на центральной площади китайского квартала, главный май-манчанский храм нылал.

— Я велел не трогать храмы! — крикнул Унгерн.

— Ваше превосходительство, — ответил один из офицеров, — это в горячке боя невозможно, храмы деревянные, а люди слишком ожесточены.

— Ваше превосходительство, — доложил другой офицер, — освобождена тюрьма.

— Это главная цель моего похода, — сказал барон. — Тюрьма — символ насилия китайцев.

Барон поскакал к тюрьме. Миронов следовал за бароном.

— Военные действия закончены. Теперь будем наводить порядок, — сказал барон, слезая у тюрьмы с коня, и добавил, улыбнувшись: — Я воскрес из мертвых. Когда во время боя я сам поскакал в атаку, китайцы узнали меня и открыли по мне прицельный огонь.

Барон начал вытаскивать из одежды, шапки, сапог, конской сбруи пули и складывать их на ладонь. Присутствующие монголы с почтением и ужасом следили, как барон вытаскивает пули и складывает их на ладони.

— В седле, седельных сумках, сбруе, халате, шанке, сапогах — семьдесят пуль, — сказал барон, — а я даже не ранен.

— Бог войны, — говорили почтительно монголы, — он чудесно заговорен от смерти.

В большом деревянном бараке, где содержались русские, лежало много трупов.

— Последние дни нас не кормили, — говорили освобожденные. — Нам запрещали разводить костры, многие умерли, остальные ждали смерти.

— Спаситель наш, Господи, возблагодари спасителя, — кланялись уцелевшие заключенные барону.

Новсюду над домами развевались трехцветные русские флаги. Навстречу барону вышла делегация с хлебом-солью. Старый отставной генерал торжественно сказал:

— Ваше превосходительство, господин барон фон Унгерн-Штернберг, ваше чудесное появление здесь, на краю света, куда мы брошены ужасами большевистской революции, кажется нам предвестием счастливых перемен. Грядет спасение России.

Среди делегации стоял и некий старик, явно семитского вида. Барон мрачно покосился на него и кивнул Синайлову:

— Кто этот семит?

— Хозяин пекарни Маскович, — угодливо ухмыляясь, ответил Синайлов.

— Го-то я чувствую, что хлеб воняет чесноком, — сказал барон.

— Много тут евреев?

— Хагает, ваше превосходительство. Мои люди составляют списки.

— Откуда они? Есаул, выяснить, как они здесь появились.

— Приехали из Сибири, — сказал Миронов.

— В Сибири многие евреи служат в белой армии и занимают видные посты, вплоть до Омской и Читинской администрации у Колчака и Семенова.

— Слышал об этом, — ответил барон. — Такое положение считаю совершенно петербургским. При мне такого не бу-

дет. Надо запретить евреям вывешивать трехцветные флаги и вообще выражать патриотические чувства. Как бы они ни маскировались, для меня евреи не только виновники революции, но и движущая сила всеобщей нивелировки, которая погубила Запад. Необходима тотальная, постоянная борьба с еврейством.

— Ваше превосходительство, отыскать евреев будет нелегко, — сказал Синайлов. — Еврейского квартала в Урге нет, рыскаем по всему городу: в русском поселке, также среди юрт и фанз. Но приложим усилия, ваше превосходительство.

— Надеюсь, удастся осуществить план действий относительно евреев, — сказал барон и добавил злобно: — Даже ни семени не должно остаться, ни мужчин, ни женщин. Надо дать возможность русскому человеку потешить свою буйную натуру.

И барон улыбнулся.

Среди разграбленных китайских домов и лавок на улице лежали трупы китайцев и евреев, многие обезглавлены. Пьяные казаки в шелковых халатах поверх драных полушубков или шинелей врываются в еврейские дома, бьют, грабят. Монголы с удивлением и ужасом смотрели на происходящее.

— Почему саган урус — белые русские — убивают хора урус — черных русских? — спрашивали монголы у русских жителей.

Некоторые русские, сами подавленные происходящим, молчали. Другие же пытались защищать казаков:

— Евреи — это коммунисты, жида, они хотят отобрать у кочевников их главное богатство — стада.

— Отобрать стада? — удивлялись монголы. — Мы мирно жили и мирно торговали.

Казаки ворвались в дом хозяина пекарни Масковича, труп его был выброшен через окно. Под гогот и свист: «Иди, Ханм, на воздух погулять».

— Что плохого сделал этот всем известный и всеми любимый старик? — спрашивали монголы.

В одном из домов, убив мужа, казаки пытались изнасиловать молодую жену. Но она бритвой успела перерезать себе горло. Тогда тело ее за ноги, привязанные веревкой к седлу, протащили по всему городу и выбросили на свалку. Синайлов как комендант города сам руководил погромом.

— Исаул, — сказал он Миронову, — вас барон назначил помощником коменданта. Но что-то вы невеселы. Нездоровы, что ли?

— Нездоров.

— Сочувствуете жидам, что ли?

— Нездоров, — повторил Миронов, глядя на улыбающуюся физиономию Синайлова.

В доме убитого еврейского коммерсанта за шкафом нашли дрожащую от страха русскую девушку.

— С жидом жила, ты, проблядь! — закричала на нее Синайлов.

— Это мой муж, — ответила плачущая девушка.

— Муж? Как тебя зовут?

— Дуся Рыбак. Я племянница атамана Семенова.

— Племянница атамана? — физиономия Синайлова нередернулаась судорогой.

— Отвезти ко мне, будешь у меня прислугой.

Он захихикал. Девушку увел.

— Семенов хотел от меня избавиться, — сказал Синайлов, потирая руки.

— Расстрелял, если бы я не сбежал к барону. Теперь племянница всевышнего диктатора Забайкалья у меня в палатниках. Буду наслаждаться, держа в объятиях его родственницу. Пенлохая форма мести, хоть и извращенная, — захихикал он.

Миронов поспешил уйти. На улице царил зловонный запах. Однако из дома неподалеку от православной консульской церкви послышался душераздирающий крик, особенно кошмарный — после некоторой паузы. Миронов вошел в дом. Всюду трупы и лужи крови. Еврейская семья была зарублена. Двое казаков в шелковых халатах поверх рваных полуноубков копались в модах.

— Что вы ищете? — резко спросил Миронов.

— Жидовское золото, ване благородне.

Неожиданно заплакал ребенок.

— Жиденка не дорезали, — сказал казак и выхватил кнжжал.

В маленькой соседней комнате рядом с люлькой младенца сидела нянька-монголка. Казак, войдя, наклонился над люлькой и замахнулся кнжжалом, но нянька вдруг оттолкнула его и, схватив младенца, выбежала на улицу. Оба казака, матерясь, побежали следом. Но поскольку были пьяны и путались в награбленном, то грохнулись на лестнице один через другого.

В православной консульской церкви отец Владимир Нарняков в облачении готовился к началу утренней службы, когда вбежала нянька-монголка с младенцем.

— Нойон, нойон, — говорила она, — спаси младенца. Крести его, нойон, крести его сейчас.

Миронов вошел в церковь следом.

— Когда утренняя служба? — спросил Миронов.

— Через полчаса, господин офицер, — ответил священник, — сейчас у меня обряд крещения. Согласны ли вы быть крестным отцом?

— Надо жить по Писанию, — ответил Миронов и кивнул головой.

Крестной матерью была нянька-монголка. Священник приступил к обряду крещения. Младенец оказался девочкой. По предложению Миронова ей дали христианское имя Вера.

Обряд крещения подходил к концу, когда в церковь ворвались те два казака.

— Вот куда спрятали жиденка, — сказал один из казаков.

— Давай нам жиденка, — сказал второй.

— Ребенок уже христианский, — ответил священник, — он прошел обряд крещения.

— Христианин! — свирепо закричал казак. — Ах ты жидовский потаковник!

И вдруг казаки, схватив няньку-монголку, выволокли ее на паперть и там мгновенно зарубили.

— Дайте мне ребенка, — сказал Миронов и взял ребенка на руки. — Идите за мной, отец.

Меж тем оба казака с окровавленными саблями вновь вошли в церковь.

— Я помощник коменданта города есаул Миронов, — сказал Миронов. — Немедленно покиньте православный храм.

— Ваше благородие, — сказал казак повыше, видно, заводила, — все жидаы от мала до стара — окаянныи антихристы, пельзя никак жиденка живым оставлять.

— Вон пошли, подлецы! — закричал Миронов.

Казаки торопливо ретировались. Миронов и священник вышли на ганерть.

— Надо похоронить эту праведницу, — сказал отец Парняков, указав на труп монголки. — Я попрошу отвезти тело в монастырь. Девочку мы пока отдадим в приют для монгольских сирот, основанный нашей церковью.

Он взял у Миронова ребенка.

— Отец Владимир, — сказал Миронов, — сейчас не время для исповеди, но как жить нам, православным, совместно с этими душегубами в едином строю, в едином народе, в единой церкви? Как отделить себя от них? Возможно ли отделить? Через какой раскол?

— Граница тьмы и света проходит через сердца, — ответил священник. — Перед всем прочим надо отделить свое сердце и душу от тьмы.

— Возможно ли такое, когда кругом тьма? Можно ли заковать сатану в цепи и запереть его в бездну, как сказано в Апокалипсисе, если ныне господство сатаны — власть тьмы, воскреснут ли замученные, когда кругом нечестие, отец?

— Через нечестие Вавилона многие нынешние нечестия, — сказал отец Парняков. — Вавилон был скопищем людей, внутренне разделенных себялюбием, внешне сцепленных сообществом греха. Надо отделить себя сначала внутренне, а потом и внешне.

— Как отделить? Каков первый шаг?

— Вера, — сказал отец Парняков, — соблюдай заповеди, они просты.

— Они просты, отец, но легко ли исполнимы?

— И все же нет иного пути, кроме соблюдения заповедей, так говорит Господь.

— Есаул, — сказал барон, когда Миронов вошел в штаб, — на тебя поступила жалоба от казаков. Ты вместе со священником Парняковым покровительствовал жидам и спасал жидовского ребенка.

Барон сидел у стола в довольно грязной, захламленной комнате и ел из не слишком чистой тарелки монгольскую ланшу.

— Ваше превосходительство, — сказал Синайлов, — нами установлено: священник консульской церкви Владимир Парняков — отец известного Иркутского большевика.

— Отец Парняков, — сказал Миронов, — уважаемый в Урге человек как среди русских, так и среди монголов. С сыном у него нет никакой связи. Ребенок, о котором идет речь, — девочка крещеная.

— Вы не понимаете сути вопроса, есаул. Когда речь идет о евреях, тут важна не религия, а кровь. Это многие не понимают, — сказал барон и обратился к Синайлову: — С Парняковым выясните все и решите.

— Решим, ваше превосходительство, — усмехнулся, как обычно, Синайлов.

Во время вечерней службы отец Парняков говорил с амвона:

— Пока царство Божие будет оставаться на земле, в нем будут находиться и добрые, и злые. Окончательная победа добра над злом возможна лишь в вечной жизни. Но мы, обитатели земные, помнить должны постоянно о ценности благодатных дорог царства Божия.

— Есаул Миронов, — сказал ординарец, вошедший в церковь, — вас срочно вызывают в штаб.

— Кто вызывает? — спросил Миронов.

— Не знаю. Велено передать, ваше благородие.

— Я хотел бы дослушать проповедь.

— Сказали — срочно.

...Погода была отвратительная. Быстро потемнело. Придя в штаб, Миронов никого не застал. Дверь была заперта.

— Где его превосходительство? — спросил Миронов у часового.

— Не могу знать, — ответил часовой.

Отец Владимир жил неподалеку от церкви, в консульском поселке. Пало было пройти одну короткую, но довольно узкую и кривую улицу. На повороте от стены отделилось несколько теней.

— Парняков, — окликнул кто-то.

Отец Владимир обернулся.

— Подыхай, жидовский покровитель, — сказал человек, лицо которого было укутано платком.

И сильно ударил отца Владимира пощечинами по голове. Очки в золоченой оправе упали в лужу крови.

Утром в штабе Миронов заговорил об отце Владимире.

— Ваше превосходительство, мне известно, что у определенных людей существует недоброе намерение в отношении священника Парнякова.

— Он умер, — коротко оборвал Миронова барон.

Пораженный известием, Миронов молчал.

— Пойдем, есаул, на крыльцо, — неожиданно мягко, по-огцовски сказал барон. — Ты не находишь, что в комнате душно? Ужасно потеплело.

Вышли на крыльцо, по крыше которого барабанил сильный дождь.

— Я хотел бы поговорить с тобой о странном зле, каким является еврейство, — сказал барон, — этот разлагающийся мировой паразит. Ты монархист, есаул?

— Да, ваше превосходительство.

— Тогда не понимаю твоих взглядов и твоих действий. Я тоже монархист, и мы должны сойтись в убеждении, что главным виновником революции являются горбатые носы, избранное племя, — он саркастически засмеялся. — Они проводят в жизнь философию своей религии: око за око. А принцип Талмуда предоставляет евреям план и средства

их деятельности для разрушения наций и государств. Если мы откажемся от нашей беспощадной борьбы против еврейства, вывод будет один: революция восторжествует и культура падет под напором грубой жизни, грубой, жадной и невежественной черни, охваченной безумием революции и уничтожения, руководимой международным нуданизмом.

К штабу на автомобиле подъехал Синайлов в сопровождении своего адъютанта Жданова.

— Ваше превосходительство, — отряхивая дождевые капли, весело доложил Синайлов, — исчезнувших евреев, о которых я вам докладывал, обнаружили в доме монгольского князя Тактагуна. Дом пользуется неприкосновенностью, но мы намерены провести ночью стихийную народную акцию.

Он засмеялся.

— Ты, есаул, применишь участие в этой акции, — сказал барон.

— Ваше превосходительство...

— Ты примешь участие, это тебе полезно. И надеюсь, что эта беседа о евреях, которую мы вели с тобой под дождем, касаясь очень близко этого предмета, запомнится тебе. Так же мы должны карать не только евреев, но и падких на золото. В наказание иным, неустойчивым, Синайлов, во время наказания Чернова выстроить всю дивизию. Пусть наблюдают порку и сожжение. Кстати, где госпожа Голубева? — спросил он Миронова.

— В обозе.

— Синайлов, вызвать ее из обоза, поместить в юргу к японцам. Понли своего адъютанта.

— Сделаем, ваше превосходительство...

Барон ушел назад в штаб.

— Как вы устроились, есаул? — обратился к Миронову Синайлов. — Уже отпраздновали новоселье?

— Да, отпраздновал.

— Жаль, меня не пригласили, — усмехнулся Синайлов.

— Я праздновал в узком кругу.

— Понимаю, только близкие друзья. Гуцци и прочие, понимаю. Но я более широкая натура и приглашаю многих,

даже тех, кто меня не слишком любит, — он засмеялся. — Придете? Я очень обижусь, если откажетесь. Будет очень весело и богато. Много женщин.

— Приду, — с трудом выдавил Миронов.

Ночью окружили дом монгольского князя.

— Выходи на крыльцо, жидовский покровитель! — кричали. — Мы знаем, ты прячешь жидов, выдай нам жидов.

Такстагун вышел на крыльцо и сказал:

— Да, у меня живут евреи. В Монголии законы гостеприимства священны. Я принимаю этих людей под свое покровительство, и отдавать их на верную смерть для меня — покрыть свое имя несмываемым позором.

— Выдай жидов, иначе пристрелим тебя, — кричали казак и несколько раз выстрелили в воздух.

Тогда на крыльцо вышел один из евреев, бывший служащий русско-азиатского банка, и сказал:

— Князь, мы обречены и не хотим увлечь тебя за собой в могилу.

— Князь! — крикнул адъютант Синайлова поручик Жданов. — Обещаем, что евреев просто передадут американскому консулу для отправки их в Китай. Даю честное слово офицера. Ждем пять минут. Чувства народа возбуждены. Выходите через задние двери во двор по одному.

Вскоре евреи по одному начали выходить. Их ждали синайловские палачи и душили.

Утром дивизионо выстроили у огромного столетнего дуба. Голого Чернова положили под дубом. Порол сам Бурдуковский. Вскоре тело Чернова превратилось в кровавый лоскут.

— Видишь, — сказал шепотом Гуцин Миронову, — я был прав: эта женщина погубила Чернова.

— Да, ты прав, — шепотом ответил Миронов. — Она еще многих погубит. Красота ее дьявольская.

Чернова привязали голого к дубу, облили сложенный у подножия хворост бензином и подожгли. Из огня доносились стоны и проклятия. Потом они стихли. Люди начали расходиться. Миронов и Гуцин ушли одними из первых.

Они долго бродили в стени. Оба были бледны.

— Дело, превзошедшее все прошлые жестокости барона, — сказал Гуццин после молчания.

— Жестокостей слишком много, — ответил Миронов. — Трудно сказать, какое из них превосходит. Но сожжение человека на костре вызывает в памяти картины из гимназического учебника, где говорилось об ужасах инквизиции. Тем более, что в роли Торквемады выступает современный культурный европеец, барон, белый генерал. Он считает себя воплощением божества Махагалы, буддийского бога, карающего врагов.

— Махагала тут ни при чем. Мне кажется, такое случилось из чисто психологического ненавистничества барона. Не исключено, что барону присущи гомосексуальные наклонности, и он страдает от этого, переживает разлад между собственным телом и духом паниморализма. Страдает и ревнует. Это своеобразная форма ревности костлявого белобрысого уродка к красивым людям, любящим друг друга. Впрочем, если Вера и любила Чернова, то по-дьявольски, губящей любовью.

— Я с тобой не согласен. Наверное, ты из ревности демонизируешь эту слабую запутавшуюся женщину.

Неожиданно появился барон. Он был в веселом настроении.

— Пойдемте, есаул, посмотрите на свою возлюбленную госпожу Голубеву.

— Ваше превосходительство, она вовсе не моя возлюбленная.

— Рассказывай, — усмехнулся барон. — Вы все юбочные угодники. Но теперь я поместил ее к японцам. После японского темперамента вам делать нечего.

В юрте у японцев было тесно от сидящих вокруг Веры Голубевой мужчин. Все японцы одинаково улыбались. Среди японцев был и сам генерал Судзуки, который тоже улыбался.

— Хорошая барышня, — говорил он, глядя на Веру, которая в японском кимоно обмахивалась веером.

— Эта русская девушка не уступит лучшей японской гейше, — говорил другой японец.

— Кушайте, русская барышня, — говорил один из японцев, улыбаясь, — это ананасные консервы из Формозы.

— Формоза? — смеялась Вера, погружая ложку в консервы. — Что такое Формоза?

— Формоза — это очень скучное место, где делают вкусные ананасные консервы, — улыбался японец. — Там нет таких красивых русских барышень. Формоза — по-китайски Тайвань.

— Кушайте, русская барышня, — говорил другой японец, — вот ургинские пряники, ургинское варенье. Тут, в Монголии, хорошо, тут лучше, чем в Корее. В Корее всюду запах вонючего орехового масла.

Он засмеялся.

— Русские барышни красивее финляндских американок, — сказал один из японцев. — Финляндские американки — скуластые, красноносые бабы.

— Мы поражены вашей красотой, мадам, — сказал по-французски Судзуки.

— Благодарю вас, вы очень любезны, — ответила Голубева, кокетливо щурясь.

— Ну, есаул, убедились в верности своей возлюбленной? — по-французски спросил Миронова барон, когда они вышли.

— Ваше превосходительство, она не моя возлюбленная, — снова ответил Миронов. — О ее неверности пусть заботится муж.

— Муж? — улыбнулся барон. — Именно муж. Вызовем мужа.

— Ваша жена ведет себя непристойно, — сказал по-французски барон Голубеву. — Она в юрте у японцев. Вы должны ее наказать.

— Как наказать, ваше превосходительство? — спросил запуганный Голубев, стоя перед бароном в пелено сидевшем на нем солдатском мундире.

— Дайте ей пятьдесят бамбуков.

Голубев замер, опустил голову.

— Ты будешь наблюдать. Если муж плохо будет наказывать, повесить обоих, — сказал барон Миронову. — Понял? Идите.

Голубев шел, пошатываясь, держась руками за голову, потом остановился.

— Есаул, мы были с вами в хороших отношениях. Помогите мне, дайте револьвер, и я сейчас же застрелюсь.

— Бросьте говорить глупости, — ответил Миронов. — За эти ваши слова и меня барон повесит. Видите, вон идет делопроизводитель канцелярии Панков. Барон послал его следить за мной.

Привели Веру. Избивающий жену муж плакал. Миронов тоже с трудом сдерживал слезы. Вера выдержала наказание без стопа и мольбы. Молча всгала и, пошатываясь, пошла в поле.

— Вестовой, возьми даму под руку, — сказал Миронов, потрясенный, и обернулся к Голубеву: — Идите назад в казарму, я доложу барону.

Голубев поднял на Миронова глаза.

— Сегодня ночью я повешусь, — шепнул он Миронову как-то даже весело, заговорщически подмигивая.

— Панков, — сказал Миронов, — отвезите господина Голубева в госпиталь.

— Мне не было приказано, господин есаул.

— Отвезите, я вам приказываю, — сказал Миронов, — я доложу барону.

— Ваше приказание выполнено, — сказал Миронов, прилагая усилие, чтобы рука у козырька фуражки не дрожала.

— А что муж?

— Я отправил его в госпиталь, он нездоров.

— Рехнулся? Хорошо, — сказал барон и засмеялся явно истерическим смехом; глаза его были воспалены. — Хорошо. Голубеву я назначаю сестрой милосердия к доктору Клингенбергу. Пусть старательным уходом за ранеными заглаживает свое преступление и пусть идет туда пенком.

— Ваше превосходительство, госпиталь находится под командованием Синайлова.

— Я понимаю, о чем ты, есаул, — сказал барон. — Но страх перед наказанием спасет Голубеву от притязаний этого монстра.

Миронов вышел ободренный и, вопреки приказанию барона, отвез Веру в госпиталь на двуколке. Большую часть пути молчали. Вера сидела, сгорбившись, понурив голову.

— Ваш муж находится в том же госпитале, — сказал Миронов.

— Бог с ним, — ответила Вера.

— Вам его не жалко?

— Жалко. Мне всех жалко, и себя тоже.

В госпитале Миронов усадил Веру в передней и пошел искать доктора Клингенберга. Доктор был в перевязочной.

— Доктор, — сказал Миронов, поздоровавшись, — по приказанию барона я привез вам новую медсестру, госпожу Голубеву. Тут ее муж, между супругами сложные отношения. Я хотел бы его подготовить к встрече.

— Это теперь не нужно, — сказал доктор, — пойдете.

Спустились в подвал, в полутемную комнатунку. На койке кто-то лежал, укрытый с головой простыней. Доктор откинул простыню, и Миронов увидел восковую голову Голубева с полуоткрытым ртом.

— Отчего он умер?

— Умер, — неопределенно ответил доктор.

— Яд?

— Он очень просил. Мы должны быть гуманными не только по отношению к несчастным животным, но и по отношению к несчастным людям.

— Госпожа Голубева находится в тяжелом состоянии. Не надо ей сейчас говорить о смерти мужа.

— Хорошо. Я велю увести трун, и ночью мы его похороним в общей могиле еще с несколькими умершими. Голубевой скажем, что муж отправлен в монастырскую больницу.

— Войдя к Голубевой, Миронов сказал:

— Мадам, к сожалению, вашего мужа здесь нет, его отправили к монголам в монастырскую больницу.

— Тем лучше, — сказала Голубева.

— Мне пора, мадам, — сказал Миронов, — идите к доктору. Он человек хороший, он все вам объяснит и вам поможет.

Миронов кивнул и пошел к дверям.

— Есаул, — окликнула его Голубева, — подождите.

Миронов подошел.

— Господи, — сказала Голубева, — неужели так и умрешь, не повидавши счастья, неужели?

Она неожиданно обняла Миронова и, положив голову ему на грудь, заплакала. Не зная, что говорить, Миронов молча гладил ее по волосам, по вздрагивающим от рыдания плечам. Вдруг она спросила:

— Есаул, как вас зовут? Я забыла.

— Николай Васильевич.

— Николай Васильевич, Коля, приходите меня навещать. Мы с вами вместе так много перестрадали. А совместные страдания рожают истинную любовь.

Тут Миронов расчувствовался.

— Мадам...

Она перебивает:

— Коля, зовите меня Вера.

— Вера, уходите через границу в Маньчжурию. Тут вы пропадете. Мы все обречены, но вас жалко. Вы красивая, молодая. Берегите себя, рожайте детей. После нас в России нужны будут другие люди.

Вдруг нервы не выдержали, и Миронов опять, но теперь уже открыто, совершенно не по-мужски разрыдался.

— Я вам дам адрес к одному человеку, — сказал Миронов, наконец уняв рыдания. — Он вам поможет перейти границу. Вот вам деньги.

— Спасибо, Коля, я буду ждать вас.

— Меня вы не дождетесь. Ищите себе другого, не испорченного нашей жестокой жизнью. А барона, если можете, по-христиански простите.

— Барон мстит мне за свое уродство, — сказала Вера, — у него длинная шея с кадыком и сутулая спина, его не любят женщины.

— Не говори так, — испуганно оглянулся Миронов. — Тебя повесят или сожгут. И меня вместе с тобой за то, что не донес.

— Что ж, — сказала Вера, — тогда за наши страдания мы встретимся с тобой вместе в раю.

Вдруг, обняв за шею, сильно поцеловала Миронова в губы. Взволнованный, Миронов поспешил уйти.

Долго Миронов не мог заснуть в ту ночь. Ходил или сидел на койке, глядя в пространство.

— Неужели так и умру, не повидавши счастья? Какое оно такое? — повторял он слова Веры. Есть счастье, да нет душевной силы искать его.

Заснул под утро. Утром разбудил дежурный офицер.

— Барон незамедлительно ждет вас, — сказал он.

— Военный совет? — спросил Миронов.

— Не знаю, барон ждет.

Миронов горючливо собрал бумаги.

Войдя к барону, Миронов, отдав честь, положил бумаги перед ним.

— Ваше превосходительство, вот последние сведения нашей агентуры.

Барон даже не взглянул на бумаги. Вид его был ужасен. Волосы встопорены, лицо бледно. Либо он был пьян, либо принял большую дозу кокаина. Он посмотрел на Миронова своими белыми неподвижными глазами и спросил тихо, почти шепотом:

— Ты, есаул, жене Голубева предлагал помощь для побега?

Миронов молчал.

— Да или нет? — опять тихо спросил барон.

— Да, — так же тихо ответил Миронов.

— Понимаешь ли ты, есаул, что это измена и я могу тебя повесить?

— Понимаю. Я действовал из чисто христианских побуждений.

— Ах вот оно что. Читали ли вы Заратуестру, есаул? — почему-то на «вы» спросил барон.

— Нет, ваше превосходительство.

— А Сенеку?

— Тоже не читал.

Миронов не понимал, смеется ли над ним барон или говорит серьезно.

— Но Достоевского вы все-таки читали?

— Достоевского читал и очень люблю.

— А я Достоевского не люблю. Он пытается психологией подменить дух. Он враг духа, поэтому его представления о человеке ошибочны. Вы в этом сейчас убедитесь, есаул, — и, обратившись к дежурному офицеру, сказал: — Пусть войдет.

Вошла Вера Голубева. Она была бледна, но спокойна.

— Он пытался меня соблазнить и предлагал помощь в побеге, — ровным голосом сказала она.

— По Достоевскому выходит, страдание облагораживает человека? — спросил Унгери. — Так ли?

И, не дождавшись ответа, он поднял трость и изо всей силы ударил Миронова по голове. Потом еще и еще раз. Миронов потерял сознание. Очнулся Миронов оттого, что кто-то поливал его лицо водой. Это был сам Унгери, стоявший возле распростертого тела Миронова на коленях. Веры в юрте не было.

— Простите меня, есаул, — сказал Унгери, — все мы люди грешные и слабые, но грехи эти в каждом проявляются по-разному, потому что люди разные. Есть упрямый бамбук, есть глухой подсолнух, есть несложная лебеда. Так же и люди, сударь мой.

Барон помог Миронову подняться.

— Что вы хотите выпить: рисовой водки, рому, коньяку?

— Нельзя ли сміршовской водки, ваше превосходительство, и кислой капусты?

Принесли водку и капусту. Миронов и барон выпили.

— Идите в госпиталь к доктору Клингенбергу, он приведет вас в порядок. После обеда вы будете мне пужны.

И давай, есаул, опять на «ты», — сказал барон, — забудем о случившемся. Женщины не стоят того, чтобы ради них истинные мужчины, воины, защитники России, ссорились между собой. Будем помнить о том, что нам предстоит спасти многострадальную Россию. Но это совсем другого рода страдания, это страдания духа, страдания расы. В первую очередь нам надо спасать дух России.

Барон лег на ковер и закрыл глаза. Дежурный офицер показал Миронову рукой, что пора уходить. Миронов еще не успел выйти, как вошла Вера Голубева и легла рядом с бароном.

В госпитале доктор перевязал Миронову голову и дал выпить порошок.

— У вас легкое сотрясение мозга, — сказал доктор.

— Доктор, любите ли вы Достоевского?

— Конечно, люблю, кроме «Идиота», где много утончи и отсутствует понимание жизни.

— Нет, Достоевский все-таки хорошо понимал жизнь, — сказал Миронов, морщась от головной боли. — Но я согласен с бароном, в одном Достоевский ошибался. Он слишком верил в облагораживающее влияние на человека страданий, особенно матеральных, телесных. Конечно, я понимаю, Вера спасала свою жизнь после каким-то образом раскрывшегося нашего разговора или страха, что он раскроется. Однако не похож ли часто страдающий человек на укушенного оборотнем? Тот, кто укушен оборотнем, сам становится оборотнем и пьет чужую кровь.

— К слову, о крови, — сказал доктор. — Мне приказано увеличить количество кровок в госпитале. Видно, крови предстоит литься широким потоком.

— Да, доктор, мы скоро выступаем на Сибирь.

Спайлов занял виллу какого-то богатого китайца. Было много офицеров, польстившихся на роскошный стол, и девушек. Девушек и молодых женщин из русской колонии Урги было много. Но особенно выделялась статная казачка с русой косой, подававшая купанье.

— Посмотри, какая красавица, — сказал Гуцин. — Кто это?

— Дуся Рыбак, — ответил Миронов, — родственница атамана Семенова. Монстр Синайлов взял к себе в горничные такую красавицу. Какая несправедливость, что такая красавица досталась уроду с трясущимися руками, что монстр спит с такой красавицей. Неужели и ты, Володя, согласился бы взять паломницей жену убитого человека? Она жена еврейского коммерсанта, погибшего во время погрома.

— Что ж, печально. Но жизнь есть жизнь, и природа не может долго пребывать в скорби. Это естественно.

В это время подвыпившие офицеры запели песню. Дуся подхватила.

— Вот видишь, я опять прав. Надо пригласить ее на танец.

— Смотри, не было б беды. Этот монстр, как всякий урод, особенно ревнив, тем более сам он большой волокита.

— Ах, плевал я на этого урода, — Гуцин к тому времени достаточно выпил.

И когда граммофон заиграл веселую польку, он подошел и пригласил Дусю. Впрочем, плясали все. Сам Синайлов плясал и пел.

— Ах, хорошо, — сказал один из офицеров, — голодная жизнь в лагере, в палатках при ветре и морозе кончилась.

И, подхватив какую-то даму, он понесся в польке.

— Танцуйте, дорогие гости, — говорил Синайлов, — чревоугодничайте, точно в масле. Помянем добрым словом русское объедание и пьянство.

— Синайлов в ударе, — Гуцин подвел к столу еще более раскрасневшуюся Дусю и налил ей вина. — Он оказался таким милым и приветливым хозяином, что даже забываешь, кто он.

— Как бы он о том не напомнил, — сказал Миронов. — Во время танцев он несколько раз бросал на тебя испеняющиеся взгляды.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — засмеялся Гуцин и опять пригласил Дусю, на этот раз танцевать танго.

— Веселитесь, господа, — говорил Синайлов, — скоро подадут ликеры и кофе. Я, господа, правда, огорчен отказом барона принять участие в моем скромном ужине, но ведь вы знаете, что их превосходительство вообще ни к кому из должностных лиц в гости не ходит и предпочитает в казарме ужинать с казаками.

Он вдруг резким голосом подозвал к себе Дусю и что-то сказал ей, отчего ее щеки покрылись густым румянцем, и она убежала.

Подали кофе и ликеры, началась тихая беседа.

— Господа, — произнес один из офицеров, — неужели когда-нибудь мы сможем так же сидеть в матушке Москве, в «Славянском базаре»?

— А помните купеческие загулы на Нижегородской ярмарке, господа? — сказал другой офицер.

Миронов заметил, что во время беседы Синайлов часто куда-то отлучался. Наконец он вошел в комнату с веселым торжественным видом, потирая руки, и, по-своему мерзко хихикая, сказал:

— Господа, я вам приготовил подарок в честь посещения моего дома, идемте.

В углу спальни лежал большой мешок.

— Подпорушник Гуцин, разверни мешок, — сказал Синайлов.

Гуцин развернул мешок. В нем была мертвая Дуся.

— Задушена! — прохрипел Гуцин. — Макарка-душегуб!

— Прочь из дома милого хозяина, — закричал какой-то офицер.

Гости бросились вон. Вслед неслись ехидные хихиканья Макарки-душегуба.

В желтом зале Зеленого дворца были выстроены офицеры азиатской дивизии.

— Сегодня пятнадцатый счастливый день, — сказал первый министр. — Оракулы установили, что ближайшим счастливым днем для коронации является пятнадцатый день первого весеннего месяца по лунному календарю. Живой Будда, Богдо-гэгэн, вызвал вас, офицеры, и возвел

в ранг монгольских управителей по Цзинской системе. Вам выдадут жалование из казны, а некоторым и почетные шапочки с шариками разных цветов, в соответствии с шестью управительскими степенями. Первой — высшей — степени полагается красный коралловый шарик, второй — красный с орнаментом, третьей — голубой, прозрачный, четвертой — синий, непрозрачный, пятой — прозрачный, бесцветный, шестой — белый фарфоровый.

Трещал аппарат, снималась хроника. Офицеры по одному подходили и получали жалование и шапочки с шариками. Монгольские чиновники громко и торжественно объявляли звания: «Тузлахчи, дзигтирачи, мерен, дозлан, дзинги, хундэй».

Мионов получил звание дзигтирачи и голубой шарик. Резухин — Гин Ван, сиятельный князь первой степени — и одобренный батыр, командующий. Синайлову, видно, по ходатайству Унгерна, присвоили звание Син Ван — истинно усердный. Тубанову, командиру тибетской сотни, освобождавшей Богдо, — Чин Ван — высочайший благословенный командующий. Наконец настала очередь самого Унгерна.

— Чин Ван, — торжественно объявил Богдо. — Возродивший государство великий батыр, командующий. Такое звание, доступное лишь чингизитам по крови, присваивается белому генералу за большие заслуги. Отныне белый батыр обладает правом на те же символы власти, что и правители четырех аймаков в Халхе. Он может носить желтый халат — карму и желтые сапоги, иметь такого же священного цвета поводья на лошади, ездить в зеленом палантине и вдевать в шапочку навлинь перо.

— Ваштын Резухин, ваштин Синайлов и ваштин Тубанов, — сказал первый министр, — тоже имеют право на желтую карму, но поводья им разрешается иметь не желтые, а коричневые. Только возродивший государство может иметь желтые поводья.

И тут же все монгольские министры и чиновники, все ламы поклонились Богдо-гэгэну, а потом барону. Барон был взволнован, он начал свою речь дрожащим голосом:

— Ваше святейшество, этот день я воспринимаю как счастливейший в своей жизни, триумф моей идеи. Взятие Урги для меня только ступень к главной цели — реставрации монархии на Востоке и в России. Богдо-гэгэн — первый, кому я вернул отнятый престол, теперь на очереди восстановление законных прав Романовых.

Ночью барон и Миронов сехали по степи в автомобиле.

— Есаул, — говорил барон, — хочется передохнуть и одновременно изложить накопившиеся мысли. Особенно о монархии. Вы готовы, есаул?

— Готов, ваше превосходительство. — и Миронов приготовил блокнот.

— О монархии. Я монархист из принципа. Не русский, не монгольский, не китайский. В принципе, монархическая идея для меня то, что Достоевский определяет как идею-чувство.

— Ваше превосходительство, а вам, при ваших идеях, никогда не приходило в голову самому стать царем и основать династию?

Барон пристально посмотрел на Миронова.

— Лично мне ничего не надо, — ответил он. — Я рад умереть за восстановление монархии, хотя бы и не своего государства. Но, признаюсь, иногда я чувствую в себе некую энергию. Это своего рода чакры-центры, через которые в сосуд человеческой плоти вливается животворная космическая энергия. Энергия власти — это приятное чувство. Честный воин обязан уничтожать революционеров, к какой бы нации они ни принадлежали. Ибо они есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе. Мои идеи о революции подсказали мне Данте и Леонардо да Винчи. Новой может быть лишь идея о желтой расе.

Вдруг он замолк и поднял голову.

— Слышите? Это волки, волки, дюжата накормленные нашим мясом и мясом наших врагов. Я не верю, что сумеречная во всем, кроме эмпирической науки и техники, европейская цивилизация сумеет выдвинуть идеологию, способную соперничать с коммунистической. Об этом

и в Писании сказано, в Библии. Люди стали корыстны, наглы, лживы, утратили веру и потеряли истины. И не стало царей, а вместе с ними не стало и счастья. Эти мои мысли навязаны чтением Святого Писания. Помните: и даже люди, нищущие смерти, не могут найти ее. Знаете, откуда это?

— Откровение святого Иоанна, — сказал Миронов и достал Библию, которая всегда была с ним, перелистал и прочел: — «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Откровение, глава девятая, стих шестой.

— Есаул, — сказал барон, — надо бы в ургинской типографии отпечатать брошюру, содержащую выборки из Священного Писания. Займитесь всем этим. Я приму в этом участие. Особенно важно отыскать в Библии то место, где говорится о походе желтой расы на белую. Я попытался отыскать, но не смог. Вы помните это место?

— Нет, ваше превосходительство, не помню, хотя хорошо знаю Писание.

— Оно есть, я уверен, его надо найти. Надо доказать на основании Писания близкий конец мира и торжество большевизма с антихристом. В библейских пророчествах я хочу найти подтверждение моему монархическому и паназнатскому взгляду на мир.

— Это, ваше превосходительство, сделать будет очень трудно. Точнее сказать, невозможно.

— Значит, вы недостаточно хорошо понимаете Писание, — начал сердиться барон. — Для того чтобы лучше понимать Библию, надо читать буддийские книги. В них много общего. Старый мир должен рухнуть — точно как говорят большевики.

— «Мы наш, мы новый мир построим», — поется в их гимне «Интернационал», — сказал Миронов.

— Большевики, — сказал барон, — Ленин и Троцкий, конечно, наши заклятые враги. Однако они понимают, что такое эрос власти. Того, к несчастью, не понимают наши так называемые белые вожди. Ни Колчак, ни Деникин, ни Врангель, ни прочие. Кремлевские властители признают за пролетариатом роль могильщика старого мира. А я верю

в кочевников Азии. Старый мир рухнул навсегда. Здесь кремлевские вожди правы. Об этом говорится где-то в Священном Писании, но не знаю, где именно. Отыщите, есаул, это место. Суть его в следующем: желтая раса должна двинуться на белую, частью — на кораблях, частью — на огненных телегах. Желтая раса соберется вкупе, будет бой, и в конце кощов желтая раса осилит. Колесо учения Будды прокатится по всему миру, и народы объединятся под скипетром единого праведного властителя, каким был в прошлом Чингисхан. А начало всему — наступление на Сибирь.

Меж тем небо посветлело. За дальней горой загорелась рассветная заря. Автомобиль остановился. Ординарцы бросили на талую землю монгольский ковер. Барон вдохнул полной грудью утренний морозный воздух.

— В такие переломные моменты особенно хочется шагнуть точку опоры за пределами видимого мира, мне требуется потустороннее подтверждение истинности задуманных идей.

По знаку барона ординарцы подали нечто порошкообразное и трубки.

— Это кокани, смешанный с опиумом, — сказал барон. — В Южной Америке, где растет кока, эти листья при жевании у туземцев уменьшают потребность в пище, питье и увеличивают способность к умственной и мышечной работе, также и половую способность. Подобные факты установлены.

— Кем установлены, ваше превосходительство?

— При чем тут наука? — ответил барон. — Тут кончается власть эллинизированного разума. Попробуйте, есаул, вы обретете новое ощущение.

Барон затянулся. Миронов последовал его примеру. Очень скоро почувствовалось сильное возбуждение, дыхание стало частым, усилилось сердцебиение, возникла потеря чувствительности в ногах, тело стало легким. Голос барона то доносился откуда-то с большой высоты, то звучал, подобно грому, совсем рядом.

— Я вижу шатер или храм, — говорил барон, — наполненный ласкающим глаз светом. Вокруг алтаря с жертвенными свечами на шелковых подушках восседают те, кто отдал

свою жизнь за праведное дело, перед ними блюдо с дмящимся мясом, вино, чай, печенье, сушеный сыр, изюм и орехи. Герои курят золоченые трубки и беседуют друг с другом. Видите, есаул?

— У меня затемнено зрение, — слабым голосом ответил Миронов.

— Это с непривычки. Вглядитесь, взглянитесь. Я вижу огромные многоцветные лагерь, стада скота, табуны лошадей и синие юрты предводителей. Над ними развеваются старые стяги Чингисхана. Смотрите, небо на севере и на западе, где только видит глаз, покрыто красным заревом. Слышны рев и треск огня, и дикий шум борьбы. Кто ведет этих воинов, проливающих свою и чужую кровь под багровым небом? Знаете ли, есаул?

— Нет, не знаю, ваше превосходительство, — ответил Миронов с трудом, едва шевеля языком.

— Этим человеком буду я сам, — произнес барон. — Я вижу картины развала человеческого общества. Иоанн Богослов, Данте, Гете, Достоевский и тибетский Лама предвидели это, но теперь я вижу ясно: сначала будет побеждать лалло-зло, но конечная победа останется за буддистами и воинством желтой религии. Желтая религия распространится по всей земле, после чего сойдет в мир ламеккий мессия Будда Майтрея, владыка будущего.

Голос барона звучал все глуше и глуше, словно с большой высоты, с неба, потом он вовсе замолк, и Миронов погрузился в небытие.

Очнулся Миронов совсем в другом месте — в юрте. За столом сидела Вера Голубева и печатала на пишущей машинке.

— Вера, это вы? — слабо произнес Миронов.

— Я, — обернувшись, улыбнулась Вера. — Вас принесли совершенно в беспамятстве. Барон велел вас не будить.

Вошел барон.

— Очнулся, есаул, — сказал он. — И со мной такое случалось вначале. А все-таки признайтесь: велики ощущения потустороннего мира?

Дежурный офицер впустил в юрту страшного вида женщину, полумонголку, полубурятку. Гадалка медленно вынула из-за кушака мешочек и вытщила из него песколько маленьких плоских костей и горсть сухой травы. Разожгла небольшой огонь. Бросая время от времени траву в огонь, она принялась шептать отрывистые и непонятные слова. Юрта постепенно наполнилась благовонием. После того как вся трава сгорела, гадалка положила на жаровню кости. Когда кости почернели, она принялась их внимательно рассматривать. Вдруг лицо ее выразило страх и страдание. Она нервным движением сорвала с головы платок и забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы:

— Я вижу! Вижу бога войны! Его жизнь идет к концу. Ужасно. Какая-то тень, черная как ночь тень. Сто тридцать шагов остается еще. За ними — тьма, пустота. Я ничего не вижу! Бог войны исчез.

Быңуюясь в судорогах гадалку ординарцы вынесли из юрты.

— Что, — спросил барон, — я умру? Я умру, но дело восторжествует. Я буддист, и для меня смерть — новое возрождение. Сто тридцать — роковое для меня число. Удеса-теренное тринадцатъ. Мы сейчас же поедем в монастырь Гандан. Глубокая ночь — самое подходящее время для его посещения. Мне хочется знать все до конца.

Мировов, Вера и барон на автомобиле ночью подъехали к монастырю.

— Это храм Мажид Жапрансин, — барон ударил в висевший большой гонг.

Со всех сторон сбежались перепуганные монахи. Увидев барона, они наги ниц, не смея поднять головы.

— Встаньте, — сказал барон, — и впустите нас в храм.

В храме висели многоцветные флаги с молитвами, символические знаки, рисунки. Мерцающие лампы бросали обманчивый свет на золотые и серебряные сосуды и подсвечники, стоящие на алтаре, позе́ди которого висел тяжелый желтый шелковый занавес с тибетскими инсьемнами и знаками тибетской свастики.

Согласно ритуалу, чтобы обратить внимание Бога на свою молитву, надо ударить в гонг, — барон удрился и бросил прятгоршню монет в большую бронзовую чашу.

Мионов и Вера сделали то же. Барон закрыл лицо руками и стал молиться. На кисти его левой руки висели черные буддийские четки.

Вера молча подошла к алтарю и стала на колени, Мионов тоже подошел и стал на колени рядом с ней. Серебряная лампада над головой Будды освещала алтарь, отбрасывая тени на стены и пол. Вдруг Вера припала головой к ногам Будды, и Мионов услышал православную молитву «Отче наш».

— Отче наш, Иже еси на небесех... — шептала Вера, смахивая слезами ноги Будды.

— Да святится имя Твое, — продолжил Мионов.

Вера осторожно протянула Мионову ладнь, он взял ее, холодную и дрожащую. Они молились вместе православной молитвой в буддийском храме.

Выйдя из храма, барон произнес:

— Перед тем как пойти на Сибирь, я хочу пожертвовать ургинскому ламству десять тысяч долларов. В благодарность за совершенные молитвы, которые должны привлечь ко мне благосклонность богов. Пенодалеку есть древняя часовня пророчеств, я хочу повести вас туда.

Часовней было небольшое, почерневшее от времени, похожее на башню здание с круглой, гладкой юншей и висевшей над входом медной доской, на которой изображены были знаки Зодиака. В ней оказались два монаха, певшие молитвы. Они не обратили на вошедших никакого внимания. Барон подошел к ним.

— Бросьте кости о числе моих дней.

Монахи принесли две чапки с множеством мелких костей. Барон наблюдал, как кости покатались по столу, и вместе с монахами стал подсчитывать.

— Сто тридцать! — вскричал он. — Онять с'o тридцать!

Барон отошел к алтарю, где стояла старая индийская статуя Будды, и снова принялся молиться.

...Когда возвращались из монастыря, было уже светло и многолюдно на улицах Урги. Огромного Будду ламы везли на зеленой колеснице, вырывая друг у друга оглобли. Барон велел остановить автомобиль и сказал:

— Сегодня праздник круговращения, доброго Будду везут на колеснице. Они вырывают друг у друга оглобли, ибо кому посчастливится хоть несколько шагов проехать Маидари тот впоследствии возродится для вечной жизни в будущем царстве. Мне такое блаженство недоступно, я предопределен к восьми ужасным. Культ восьми ужасных божеств, призванных карать врагов буддизма.

— Ване превосходительство, — спросил Миронов, — в какого же Бога вы верите?

— Я верю в Бога как протестант. Интерес к буддизму пробужден у меня Шпеннгауэром.

— Но ведь основополагающая заповедь Гаутамы Будды: «Ищи все живое». Можно ли, будучи истинным буддистом, постыть оружием и убивать?

— Вы так говорите оттого, что плохо знаете буддизм. Заповедь «Ищи все живое» остается нетронутой. «Ищи все живое» — это истина для тех, кто стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, взойдящий на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир. Если такой совершенный знает, что какой-то человек может погубить тысячи себе подобных, он может его убить, чтобы спасти тысячи и избавить от бедствия народ. Убийством он очистит душу грешника, приняв его грехи на себя.

В кабинете барон диктовал приказ о высылении на Сибирь. Миронов и новый адъютант барона, поручик Михаил Ружанский, записывали. Ружанский был совсем еще молодой человек, лет девятнадцати-двадцати, стройный красавчик. Но выглядел он еще моложе, как резвый гимназист: розовощекий, с тонкой мальчишеской шеей, на которой видна была золотая цепочка. Он был безумно влюблен в Веру, и Вере явно нравилась страсть красивого мальчика. Стоило барону отвернуться, как они таинственно переглядывались, улыбались друг другу, старались незаметно касаться

друг друга. А однажды, наклонившись, словно случайно, Ружанский осторожно прикоснулся губами к Вериным волосам. Это, безусловно, коробило Миронова, сказывалась и ревность. Однако еще в большей степени — опасение, что барон, обнаружив подобное, может распорядиться очень круто. Когда барон по какой-то причине вышел из комнаты, Миронов сказал:

— Господин Ружанский, вы человек еще очень молодой и, судя по всему, склонны, как гимназист, влюбляться без оглядки. Его превосходительству вряд ли это понравится.

— Простите, господин есаул, но мои личные отношения с женщинами не должны касаться кого бы то ни было. Даже его превосходительства. Так, по крайней мере, происходит в приличном обществе, — ответил Ружанский.

— Николай Васильевич, — обратилась к Миронову Вера, — вы просто ревнуете. А между тем у меня с Мишелем обычные дружеские отношения. Однако неудивительно, если мы начнем испытывать друг к другу симпатию. Мы оба из хороших петербургских семей, у нас обнаружилась масса общих знакомых. Мишель был студентом петербургского политехникума, я окончила Смольный институт. Я просто-напросто стеснялась по прежнему обществу.

— Тем не менее прошу вас быть осторожнее, — сказал Миронов.

Вошел барон, и разговор прекратился.

— Пишите приказ номер пятнадцать. — Барон начал диктовать: — Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия против большевиков...

Барон диктовал, расхаживая по комнате, и когда он останавливался и поворачивался спиной, Вера и Ружанский по-прежнему незаметно, как им казалось, перемигивались, а то и просто томно смотрели друг на друга. Хуже всего, что барон заметил эти любовные игры. Несколько раз он хмуро косился в сторону Ружанского и Веры, но продолжал:

— ...Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии — особенностью государственных

начал. Пока не коснулись России непримиримые с ней по составу и характеру принципы революционной культуры, она оставалась могущественной, крепко сложенной империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд... — Барон вынул карманные часы. — Мне, однако, пора на смотр мобилизованных. Поручик Ружанский, сможете продолжить диктовку без меня?

И протянул листы. Ружанский взял листы, просмотрел их и сказал:

— Так точно, ваше превосходительство, я в политехникуме и юнкерском училище считался специалистом по чужим почеркам. Вашего превосходительства почерк я свободно разбираю.

— Начните, я послушаю.

— ...Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, — читал Ружанский, — сохранил в душе преданность вере, царю и Отечеству. Он начал сбиваться с прямого пути, указываемого всем складом души и жизни народной, теряя прежнее давнее величие и мощь страны, устои, перебрасываясь от бунта к анархической революции, и потерял самого себя...

— Отчего вы улыбаетесь, Ружанский? — вдруг резко прервал его барон.

— Простите, ваше превосходительство?

— Вы диктуете святые слова и при этом улыбаетесь какой-то блудливой улыбкой.

— Я, ваше превосходительство... Этого больше не повторится, ваше превосходительство.

— Хорошо, я вернусь — проверю.

Барон и Миронов сехали в автомобиле.

— В этот приказ я вложил свою душу, — сказал барон. — Сама победа над красными в Забайкалье для меня не цель, а средство. Главным по-прежнему остается для меня план возрождения империи Чингисхана. Ведь я знаю, война

в Сибири, на русских равнинах, должна продолжаться без меня. Долго воевать в России я не хочу. Походом собираюсь прежде всего укрепить свое положение в Урге, где последнее время чувствую себя не твердо. Среди монголов недовольство, к тому же появились красные монголы. Есть монастыри, где прячут монгольских большевиков. Кроме того, дезертирство. Слухи о походе вызвали новую волну дезертирства. Нужны решительные действия, нужна пусть небольшая, но война. Оттого так долго занимался я приказом номер пятнадцать. В нем — идейный и тактический план войны.

— Ваше превосходительство, но почему пятнадцатый? Насколько я помню, в дивизии никогда раньше письменных, а тем более печатных приказов не издавалось. Были инструкции, но не приказы. Этот — единственный, и он получил почему-то порядковый номер пятнадцать.

— Почему пятнадцатый? — усмехнулся барон. — В монгольской астрологии все числа от одного до девяти имеют цветовые эквиваленты. Единица есть знак белого цвета, пятерка — желтого. Число пятнадцать соединяет два знаменательных для меня цвета: я — белый генерал и поклонник желтой религии.

— Значит, это число выбрано по мистическим соображениям?

— Да, кроме того, днем выступления на север я наметил двадцать первое мая. По монгольскому календарю двадцать первое мая приходится на пятнадцатый день четвертой луны. Число пятнадцать ламам определено как счастливое для меня. Я падеюсь на мистика и на лам. А более мне не на кого падеяться.

На площади выстроены были мобилизованные. Среди них много пожилых людей, даже стариков. Барон пошел вдоль строя, расспрашивая о возрасте, занятиях, военных навыках. Миронов делал пометки в блокноте.

— Выгребаем остатки способных носить оружие, — сказал барон, когда схали назад, в штаб. — Из двухсот мобилизованных годны не более полусотни.

...Когда Миронов вошел в штабную комнату, Вера и Ружанский быстро отпрыгнули друг от друга. Вера торопливо поправила прическу. К счастью, барон задержался, вступив в какой-то разговор с казначеем дивизии Бочкаревым. Войдя в комнату, он сел на стул и спросил:

— Кончили работу?

— Так точно, ваше превосходительство, — ответил Ружанский.

— Читайте.

— ...Революционная мысль, льстя самолюбию народному, — начал Ружанский, — не научила народ созданию и самостоятельности, но приучила его к вымогательству и грабежу...

— Вы читайте, — прервав Ружанского, обратился барон к Вере, — текст вам напечатан, читайте по печатному тексту.

— ...1905 год, — начала читать Вера, — а затем 16-й и 17-й годы дали отвратительный преступный урожай революционной свободы. Попытки задержать разрушительные инстинкты худшей части народа оказались запоздалыми. Принципы большевики, посетили идеи уничтожения самобытных народных культур, дело разрушения было доведено до конца. Россию надо строить заново по частям...

Вера замолкла.

— Продолжайте, отчего вы остановились? — недовольно спросил барон, который слушал свой текст, закрыв глаза ладонью.

— Дальше на другом листе, — Вера начала искать в ворохе бумаг.

— Ну, в чем дело? — раздраженно спросил барон. — Нашли наконец?

— Нашла, тут у вашего превосходительства не совсем понятно...

— Текст вашего превосходительства в этом месте правился, — вмешался Ружанский.

— Читайте! — раздраженно повторил барон.

— ...Россия должна принять за образец родоплеменной строй... — прочла Вера.

— Вы пропустили целую фразу, — рассердился барон. — «Что касается общих принципов государственного строительства, то, учитывая прошлый печальный опыт, Россия должна...» — читайте!

— Простите, ваше превосходительство, фраза впечатана сверху, — испуганно сказала Вера и прочла: — ...Что касается общих принципов государственного строительства, то, учитывая прошлый печальный опыт, Россия должна принять за образец родоплеменной строй кочевников и устроить внутреннюю жизнь по рекам...

— Что?! — завопил барон и, подбежав, вырвал лист. — По рекам?! Что вы напечатали? Если бы я не проверил, этот абсурд распространился бы как мои мысли. Обо мне и так уже пишут всякие пробольшевистские газеты в Харбине как об утописте с безумной логикой.

— Ваше превосходительство, — снова вмешался Ружанский, — в тексте тяжелая правка.

— Правка?! — кричал барон. — У меня было написано «по родам», я исправил «по расам» — устроить внутреннюю жизнь порасам. Вы напечатали «по рекам», вы любовными пашнями занимались, а не работой!

И вдруг он несколько раз изо всей силы ударил Веру ладонью по лицу. Из ее носа полилась кровь.

— Я научу вас дисциплине, негодяи! — яростно вопил барон. — Тебя, — переходя на «ты», обратился он к Вере, — отправлю назад в госпиталь сиделкой, а тебя, — повернулся он к Ружанскому, — в строй на фронт. У нас старики в строю, а ты, молодой здоровяк, устроился в штабе, тоже, кстати, по ходатайству окружения Семенова. В строй! Вой пошли оба!

Ружанский жил в небольшой комнатке рядом с Мироновым, и, вернувшись вечером, Миронов услышал доносившиеся оттуда истеричные рыдания Веры.

— Сил моих нет, — сквозь рыдания говорила Вера, — меня секли, как последнюю девку. Теперь по лицу хлещут. Муж от пзора убил себя, я тоже не могу больше, я убью себя.

— Вера Аркадьевна, — слышался прерывистый голос Ружанского, — Вера, Верочка, я люблю тебя страстно. Надо выдержать, я постараюсь добиться перевода в Читту к генералу Семенову. Я по матери Терсицкой, жена Семенова — моя кузина. Мне помогут, надо потерпеть.

— Сколько терпеть?

— Месяц, два.

— Месяц, два? Это целая вечность. Два месяца жить среди палачей. И потом, я знаю обстановку — нас не выпускают живыми. А так хочется жить.

Она заговорила шепотом по-французски. Он отвечал ей по-французски также шепотом, видно, догадался, что Миронов вернулся домой. Утомленный, Миронов лег спать. Но сцена в комнатунке у Ружанского продолжалась.

— Вырваться б из Урги в Китай, — говорила Вера, — к цивилизации, к морю, к железным дорогам, поехать в Шанхай, оттуда в Европу, я давно мечтала об этом... Многие русские беженцы мечтают об этом, но сумасшедший барон под страхом смерти никому не разрешает покинуть Монголию.

— Я помогу тебе, Верочка, мы уедем.

Как ты мне поможешь, Мишель? Нет иного пути спасения, кроме самоубийства.

— Не говори так, Вера, ты терзаешь мне сердце, — он обнял ее и начал страстно целовать. — Вера, ради тебя я готов на все. У меня есть идея. Смотри, вот у меня имеются две написанные карандашом записки барона, записки о получении со склада продовольствия и фуража. Я оставлю только подписи барона, все остальное сотру.

Он торопливо присел к столу и принялся за работу — вытер резинкой текст и осторожно вписал новый.

— Я умею подделывать почерк, не правда ли, почерк барона?

— Правда, не отличишь, — сказала Вера.

— Теперь в одной записке предписывается выдать мне крупную сумму денег, а в другой — оказывать всяческое содействие в моей командировке в Китай вместе с госпожой Голубевой, — Ружанский засмеялся. — Вера, мы будем с тобой жить в Париже, будем ходить в ресторан «Максим».

— Господи, неужели кончится кошмар? — спросила Вера. — Мишель, надо спешить, ты должен сейчас идти! К Бочкареву, зная его характер, лучше всего идти вечером, он побоятся так поздно беснокоить штаб.

Бочкарев долго хмуро разглядывал записку.

— Отчего писано карандашом?

— Это узнаете у его превосходительства, — ответил Ружанский. — Его превосходительство часто пишет карандашом.

— Распишитесь, — Бочкарев полез в сейф за деньгами.

Вернувшись домой, Ружанский высыпал деньги на стол перед Верой.

— Милая, — радостно обнял он ее, — милая, Бог нам помог, мы спасены. Любимая, славная моя, роскошная моя женщина, прекрасная моя.

Он начал жадно целовать её лицо, руки, ноги.

— Мишель, — Вера освободилась из его объятий, — у нас впереди будет много времени, теперь надо спешить. Лучше всего, если мы выедем из лагеря порознь. Я поеду в госпиталь и буду там тебя ждать. Это не вызовет подозрений, барон меня туда послал. Ты заедешь за мной.

— Я уеду после дивизионной вечерней молитвы, — сказал Ружанский. — Если меня не будет на вечерней молитве, то это вызовет подозрение. Выпьем за удачу, у меня остался коньяк.

Он вынул бутылку из шкафа.

— За удачу и нашу любовь, — произнесла тост Вера.

Они выпили и поцеловались.

Среди ночи Миронова разбудили страстные крики и стоны, мужские и женские, не оставлявшие сомнения в том, что происходило за стеной.

Утром, придя в штаб, Миронов застал скандал в разгаре. На барона было страшно смотреть. Перед ним стояли Бурдуковский и бледный Бочкарев.

— Бежали?! — закричал барон. — Подлецы, дураки, я тебя велю сечь до крови, — барон чуть ли не замахнулся на Бочкарева.

— Ваше превосходительство, — бормотал казначей Бочкарев, — опасался ночью беспокоить ваше превосходительство.

— Утром он прибежал ко мне, — начал рассказывать Бурдуковский, — доложил о своих подозрениях. Подлог раскрылся. Однако, ваше превосходительство, заниска, верно, мастерски подделана.

— Воры, подлецы, — чуть ли не стонал от ненависти барон, — схватить подлецов!

— Ваше превосходительство, — сказал вошедший Спайлов, — по какой дороге искать беглецов, выяснилось быстро. Ружанский не может миновать поселок Бравенчат, там его ждет Голубева.

— Арестовать ее немедленно! — закричал барон. — Арестовать ее и Ружанского и доставить их в штаб! Я клянусь порадовать своих людей такой казнью предателей, что сам дьявол в своей мрачной пренеподней содрогнется от ужаса.

Миронову пришлось присутствовать при аресте Веры Голубевой. Арестовывали Спайлов и Бурдуковский. Вера восприняла свой арест спокойно, так показалось, во всяком случае: села на стул, опустил голову.

— Будем ждать вместе твоего женишка, — захихикал Спайлов. — Давно уж должен быть. Видно, в темноте зашлутал, сбился с дороги. Полтора часа ждем.

Наконец оказался Ружанский. Его окружили, сбили с коня, связали. Связали Веру. Обоих, бросив в телегу, повезли.

— Зачем ты это сделал, щенок? — закричал барон Ружанскому, когда того поставили перед строем дивизии. — Ты изменил своему Отечеству, ты изменил присяге, ты изменил государю.

— Я это сделал ради любимой женщины, — пробормотал разбитыми губами Ружанский.

Перед строем дивизии выстроили женщин.

— Ваше превосходительство, — сказал Бурдуковский, — я велел привести всех женщин, служащих в госпитале, в швалыне и прочих местах, чтобы они смогли в желательном смысле влиять на помышляющих о побеге мужей и прочих мужчин.

— Кара будет ужасной, — медленно произнес барон. — Перебить ему ноги, чтоб не бежал.

Ружанскому прикладами перебили ноги.

— Перебить ему руки, чтоб не крал.

Ружанскому перебили руки. Первый раз Ружанский только застонал, а второй раз странно закричал. Вера лишилась сознания.

— Привести ее в чувство, — велел барон. — Пусть присутствует при казни любовника.

На Веру вылили ведро воды и силой заставили подняться на ноги. Стоять она не могла, ее держали.

— Повесить Ружанского на вожжах в пролете Китайских ворот, — велел барон.

— Ваше превосходительство, какую петлю делать? — спросил Синайлов. — Чтоб сразу умер или чтоб помучился перед смертью?

— Пусть мучается! — крикнул барон.

Ружанский задержался, захрипел в петле. Тело извивалось в конвульсиях.

— Бедный мальчик, — прошептал стоящий рядом с Мироновым Гуцин, — еще одна жертва этой дьявольской женщины.

— Но ведь и несчастная женщина страдает, — возразил Миронов.

— Пусть страдает, мне ее не жалко, она получила свое.

— Преступную соблазнительницу отдать казакам и вообще всем желающим, — объявил барон. — В принципе, я никогда не попустительствовал изнасилованиям, однако эту женщину ничем иным наказать нельзя.

— Увести в юрту, — распорядился Бурдуковский.

Возле юрты образовалась очередь казаков. Выходящие из юрты казаки застегивали ширинку и перекидывались шуточками с ожидающими.

— Я тоже воспользуюсь своим правом, — сказал Гуцин.

— Ты, Володя?! Ты хочешь стать насильником? — удивленно спросил Миронов.

— А чем я хуже других? — ухмыльнулся Гуцин.

— Но ведь это скоты, — ответил Миронов. — Я тебя считал порядочным человеком, я тебя считал своим другом.

— Эта женщина погубила многих и должна быть наказана, — Гуцин направился к очереди.

— Я не желаю тебя больше знать, — крикнул Миронов ему вслед. — Как дворянин и как офицер я вызываю тебя на дуэль. Ты подлец и пегодай еще хуже, чем остальные.

— Я принимаю твой вызов. Стреляться будем после окончания войны.

Насвистывая, Гуцин пошел к юрте.

Первоначально из юрты доносились крики Веры. Потом она затихла. Умолкли и шуточки казаков. Все происходило в тишине. У юрты оставалось всего несколько человек. Большинство солдат и офицеров остались в строю. Миронов подошел к юрте и, когда настала его очередь, вошел.

Первое, что он увидел, — расширенные безумные глаза Веры. Она лежала на койке растерзанная. Глядя молча куда-то вверх, тяжело, с надрывом дышала. Подойдя, Миронов стал перед ней на колени и прикоснулся губами к ее сухой горячей руке. Вера смотрела мимо Миронова и тяжело дышала. Миронов одел ее и, обняв за плечи, как ребенка, вывел из юрты. Подбежал Бурдуковский.

— Куда ты Голубеву ведешь? Барон приказал немедленно преступницу пристрелить.

— Я забираю ее к себе, — Миронов выпул маузер. — Застрелю всякого, кто захочет поменять мне воспользоваться своим правом, всякого! — закричал Миронов, ибо первые его не выдержали.

Видно, в лице Миронова было нечто. Бурдуковский уступил ему дорогу. К тому же многие солдаты и офицеры смотрели на Миронова явно одобрительно, а один из офицеров даже заступился за него:

— Ваше превосходительство, есаул Миронов может распоряжаться своим правом, как ему хочется.

— Ну и черт с тобой, — отрезал барон. — Бери ее себе, если тебе хочется. Если ты не сконфужен этой опозоренной дрянью. Остальным разойтись, приготовиться к занятиям.

И он ускакал, сопровождаемый Сипайловым и Бурдуковским.

— Господин Миронов, — подошел к нему доктор, — позвольте пожать мне вашу руку. Я увезу госпожу Голубеву в госпиталь.

— Спасибо, доктор, но я хочу отвести госпожу Голубеву к себе домой.

— Понимаю, я приеду туда.

Всю ночь Вера металась в бреду. Миронов сидел возле ее постели.

— Светло, — бормотала она, — жарко, луна светит, дождь, я хочу дождя...

Миронов снова смачивал тряпочкой ее воспаленный лоб.

Заехал доктор с медицинскими препаратами. Тело Веры было все в сипяках и кровоодтеках. Миронов впервые видел тело Веры обнаженным, но не испытывал никаких вожделений, а лишь жгучее чувство сострадания, как к больному ребенку. Под утро Вера наконец заснула, тяжело дыша. Миронов прикорнул рядом на стуле. Проснулся, словно от толчка. Вера смотрела на него осмысленным взглядом. Лоб ее был в пепарине.

— Николай Васильевич, — прошептала она слабым голосом, — как я хотела умереть в эту ночь, отчего вы не дали мне умереть, для чего, Николай Васильевич?

— Для нашей новой жизни под новым небом, как сказано у пророка Исаии, — ответил Миронов.

— Коля, я большая грешница, достойна ли я этого нового неба? Я великая блудница, разве ты не брезгуешь мной? Миронов наклонился и поцеловал ее в лоб.

-- Поцелуй меня в губы.

Миронов наклонился и поцеловал ее в холодные губы.

— После матери моей ты теперь самый близкий мне человек. Но неужели Господь простит мои великие грехи?

— Господь милостив, — ответил Миронов. — Все мы, живые люди, грешны, за исключением злодеев, которые не чувствуют сердцем своим греха. Злодеям нет Божьего прощения.

Когда Вера окрепла, Миронов проводил ее в небольшой монастырь при русской консульской церкви.

— Будь осторожна, оставайся незамеченной, — сказал Миронов ей на прощание. — Барон может опомниться и передумать.

— Ты будешь приходить ко мне? — спросила Вера.

— Пока я в Урге. Скоро мы выступаем в поход на Сибирь.

— Я буду ждать тебя.

— Я вернусь к тебе, если меня не убьют.

— Я буду горячо молиться за тебя.

— Я тоже буду молиться за нас.

Они обнялись и долго стояли, обнявшись. Слезы их смешались.

— Ваше превосходительство, — докладывал в штабе Бурдуковский, — в Монголии создано монгольское революционное правительство. Премьер — Бодо, переводчик при русском консульстве, военный министр — Сухэ из ургинской офицерской школы.

— Монголы большевики? — закричал барон. — Абсурд! Монголы понятия не имеют о подлом учении Маркса. Это действуют бурятские беженцы с помощью русских большевиков и местных либералов. Есаул, — обратился он к Миронову, — записывайте циркуляр: «Выгнать бежавших из России бурят числом шестьсот юрт. Они совершенно развращены большевиками и распространяют их подлое учение». Я тут их кончу, а стада отберу для войска. Особо громить те монастыри, где ламы и послушники развращены большевизмом, проповедуют дьявольское учение. Вы, есаул, будете при карательном отряде Тубанова.

...При разгроме одного из монастырей вырезали и вешали лам. Мальчишки-послушники, с искаженными ужасом смерти лицами, упав на колени, протягивали руки.

— Нойон, нойон, — кричали они, — пощади, нойон!

Горяча коня, Тубанов сказал на ломаном русском языке:

— Вешай всех и резай.

Сверкнули клинки. Митронов отвернулся. Некоторые офицеры тоже отвернулись, другие усталились в землю, один офицер шепнул Митронову:

— Надо положить конец этому кошмару.

В Кяхте, глухом дальнем монгольском городе, Сухэ принимал парад.

— Красномонгольские циррики, — говорил он, — всякий, кто беззавестно любит наш несчастный народ, должен подняться против барона. Монгольский скот угощают для прокорма белому барону. Белый барон разоряет наши кочевья, грабит караваны. У нас, монголов, белый цвет — знак несчастья и траура. Белые дьяволы обречены. Мы приступаем к созданию красных кочевий и отрядов под красным знаменем революционного буддизма.

Вперед выехал знаменосец с красным знаменем, на котором была изображена черная свастика. Приволокли захваченного в плен связанного казачьего вахмистра.

— По древнему обычаю, белый казак своей кровью освятит наше революционное красное монгольское знамя, — сказал Сухэ.

Закричав, монголы подняли вверх сабли. Один из монголов рассек казаку грудь, вырвал трепещущее сердце и съел его. Знаменосец обмакнул древко знамени в текущую кровь.

— Послушаем, что скажет нам представитель Коминтерна в Монголии товарищ Борисов, — объявил Сухэ.

Борисов, стараясь не смотреть на человеческое жертвоприношение, произнес несколько слов дрожащим голосом:

— Красные монголы! По всей территории аймаков надо провозгласить революционный строй. Революционная

Монголия, минуя прежние века с их темнотой и суевериями, смело шагнет в век двадцатый. После победы над бароном Унгерном надо сместить Богдо-гэгэна и установить социалистическую республику.

— То, что я сейчас слышал, я не хочу слышать второй раз, — сказал Сухэ. — Красная Халка останется монархией, товарищ Борисов. Она останется с Богдо-гэгэном. А если русские большевики думают иначе, то придется обойтись без ваших услуг.

— Мы лишь предлагаем, — ответил Борисов, — ренать будет монгольский народ.

— Во всех бедствиях Монголии виноват не Богдо-гэгэн, а белый барон, — сказал Сухэ. — Под Улясутаем люди барона сдвинули с места древний камень и выпустили на свободу придавленных им злых духов. Этих духов загнал туда один из прежних Богдо-гэгэнов, но белый барон своротил этот камень. Духи разлетались по Монголии, сея смерть и разрушения. Но пришествие Майидари не за горами. Красная Монголия станет страной Майидари.

— Пусть вечно живет Красная Монголия! — хором закричали цирики.

— Я поздравляю вас с новыми чувствами, — провозгласил Сухэ.

Заиграла монгольская музыка. Цирики двинулись парадом мимо Сухэ и Борисова, стоявших под красным знаменем с черной тибетской свастикой.

На автомобиле барон в сопровождении Миронова прибыл к воротам зимней резиденции Богдо-гэгэна. Лама провел их в тропный зал Зеленого дворца. В большом зале царил полумрак, в глубине стоял трон, сейчас пустой. На сиденье лежали желтые шелковые подушки.

— Восемь благородных монголов слушают тебя, белый барон, — произнес лама, сопровождавший барона. — Министры и высшие князья Халки. Среди них джалханцы-лама, премьер-министр.

— Белый барон, садись рядом со мной, — предложил премьер-министр, — садись в это кресло.

Барон сел в кресло, Миренов — в стороне на стул. Сев, барон произнес речь:

— В ближайшие дни покидаю я пределы Монголии для борьбы с большевиками и поэтому призываю вас, министров, самим защищать свою свободу, добытую мной для потомков Чингисхана.

Во время речи министры с застывшими лицами смотрели на барона.

— Джалханцы-лама, — сказал барон, — тут расчеты по снабжению моего войска.

Барон взял у Миронова бумаги, передал их премьер-министру.

— Суточное содержание всадника с конем обходится по местным ценам более чем в один китайский доллар. Для трех тысяч всадников это сто тысяч долларов ежемесячно, — сказал министр. — Такая поща для монголов тяжела, белый барон. Мы благодарны тебе, однако мера благодарности давно исчерпана.

— Но ведь кормиться надо, — не выдержал барон. — Дивизия не может сидеть без мяса, придется грабить.

— У меня есть сообщения, что казаки давно мародерствуют и грабят кочевья. Этим пользуются большевики и красномонголы в своей агитации.

— Я и мое войско всегда были опорой престола. Деньги и гурты скота заслонили великие задачи Монголии и угрожающую ей опасность. Богдо-гэгэну следует иметь вблизи себя безусловно честного, горячо любящего Монголию и ее народ человека. Таким человеком был я сам со своим отрядом.

— Благославляю тебя, белый барон, — джалханцы-лама возложил на голову барона руки. — Проводите гостей в рабочий кабинет Богдо-гэгэна.

Богдо подошел к барону и о чем-то заговорил с ним шепотом по-монгольски.

— Ване святейшество, — сказал барон после того, как они пошептались, — прошу вас вместе со мной прочесть молитву «Ом мани надме хум».

Оба вслух прочли молитву. Затем барон встал и склонился перед Богдо. Тот возложил руки ему на голову, проделывая молитесь. Потом сиял с себя тяжелый амулет и, повесив его на шею Унгерцу, сказал:

— Ты не умрешь, а возродишься в высшем образе живого существа. Помни об этом, возрожденный бог войны.

— Я начинаю поход на север по примеру Чингисхана, — сказал барон.

— Возьми этот рубиновый перстень со свастикой, — сказал Богдо-гэгэн. — Его послал сам Чингисхан. Когда ты двинешься к русской границе, во всех храмах Цогзина и Гандана будут служить молебны о даровании тебе победы.

Барон еще раз поклонился и, сопровождаемый ламами, вышел из дворца. Миронов задержался, чтобы взять бумаги по снабжению дивизии у монгольского чиновника. Вдруг чиновник резко и грубо спросил Миронова:

— До каких пор русские будут сидеть у нас на шее? — и, обернувшись к Богдо-гэгэну, спросил: — Ваше святейшество, сколько это будет продолжаться?

— Надо молиться за победу белого барона, — ответил тот. — В победе белого барона — единственный способ избавиться от него. От поражения барона ничего хорошего Монголии ждать не придется. В таком случае или он сам вернется обратно, или на смену ему придут красные. Победив, белый барон навсегда останется в России.

*Титры: «25 мая 1921 года. Дивизия с боем провалилась через границу в районе реки Селенги. Красные отступали».*

Копница ворвалась в село. Рукопашный бой. Командир батальона красных застрелен, войдя по горло в воду.

— Шикарно, — сказал барон. — Стреляют до последнего, а потом стреляют в себя. Берите пример. Этими людьми владеет дьявольская идея, но они ей преданы до юнца. Как бы к ним ни относились, самоубийство — поступок человеческой чести.

— Ваше превосходительство, — возразил Миронов, — в данном случае это единственный способ избежать пытки.

Четвертования или поджаривания на костре. Красный командир батальона застрелился, войдя по горло в воду, чтобы не надругались над его трупом.

— Что ж, между нами идет беспощадная борьба, и они это знают, потому и стреляются на глазах у победителей, — ответил барон и спросил у Резухина: — Каковы трофеи?

— Нам досталась вся артиллерия, три пушки, — ответил Резухин, — захвачено около четырехсот пленных.

— Пленных постронть. Я хочу по глазам и лицам определить, кто из них является красным добровольцем и коммунистом, а кто достаточно надежен, чтоб вступить в наши ряды.

Барон молча прошел вдоль шеренги, указывая тростью то на одного, то на другого.

— Бурдуковский, — объявил он, — этих тут же уничтожить, изрубить шашками. Коммунистов забить палками. Этого, этого и этого.

— Монгольским способом? — спросил Бурдуковский.

— Монгольским. Ты ведь, Женя, владеешь монгольским способом?

— Так точно, ваше превосходительство, — радостно ответил Бурдуковский. — На спине у человека мясо отстает от костей, но сам он еще остается жив.

Одного из коммунистов уволокли для порки, но второй начал шептать молитву — нечто похожее на буддийскую молитву.

— Что ты шепчешь? — спросил барон. — Отчего не кричишь большевистские лозунги?

— Я буддист, — ответил коммунист.

— Ты буддист? — удивленно сказал барон. — Большевик-буддист?

— Да, я большевик-буддист. Гаутама Будда дал миру законченное учение коммунизма.

— Кто же твой вождь — Будда или Ленин?

— Ленин высоко ценит истинный буддизм.

— В чем же, по-твоему, истинный буддизм? Разве не в мистицизме, отвергаемом большевиками, истинный буддизм?

— Силы, которыми обладает Будда, не чудесные. Его мощь согласуется с общим порядком вещей, система ленинских заветов восходит к учению Будды.

— Вы студент?

— Да, до революции я учился в Московском университете.

— Так я и думал. Профессора подобным материалистическим образом излагают философию буддизма. Вы не верите оракулу. Но ламы-предсказатели умеют находить врагов веры, распознавая их под любым обликом, даже под обликом ученых буддистов. Я свято уверен, что научен у этих оракулов с одного взгляда различать убежденных большевиков от случайных и невольных пособников. Уведите его.

— Сколько дать ему палок? — спросил Бурдуковскнй.

— Палками не бить, — ответил барон, — просто застрелить.

Барон угрюмо ехал через пустые, разоренные села.

— Двигаться будем вдоль Селенги, затем вниз по Енисею и Иртышу. Конечным пунктом являются большие города, расположенные на магистрали Сибирской железной дороги. Твоя бригада, Резухин, наносит удар в иркутском направлении. Господа, наша надежда на успех — повсеместное восстание против советской власти и громадный приток добровольцев.

— Притока нет, ваше превосходительство, — сказал Миронов, — нас встречают пустые села.

— Прежде всего я надеюсь не на русских мужиков-безбожников, а на казачьи станицы и бурятские улусы.

— В казачьих станицах и бурятских улусах к новой власти относятся без симпатии, — сказал Миронов, — но воевать с ней никто не хочет, особенно в страдную пору.

— Кто не хочет, того мы заставим, — резко сказал барон. — В войне всегда надо верить случайности. Я не пуждаюсь в прочности, я пуждаюсь только в военном счастье. Я верю в случайную удачу.

*Хроника.*

Конная атака опрокинула красные стрелковые цепи. Сам барон, скакавший впереди, уже видел, как перепуганные красные артиллеристы в панике рубят постромки орудий. Однако внезапно появились бронемашинны и открыли огонь по всадникам Унгерна. Прилетели аэропланы, и оттуда посыпались бомбы. Началась паника, ряды дивизии смешались. С сопкок открыла ружейный и пулеметный огонь красная пехота.

*Титры: «Потерпев поражение и понеся тяжелые потери, остатки дивизии Унгерна, уходя от преследования, переправились через пограничную реку Селенга назад в Монголию».*

Сухэ вступал в Ургу. Первый министр торжественно поклонился Сухэ.

— Сухэ-Батор, мы встречаем тебя на расстоянии десяти верст от Урги, как встречали раньше цекинского наместника. Живой Будда готов признать революционное правительство и поэтому вручил Сухэ саблю.

Сухэ поцеловал саблю и сказал:

— Живой Будда Богдо-гэгэн не противоречит программе и дисциплине народной революции, ибо буддийское монашество — это преданность старшим.

Сухэ, осененный красным знаменем с тибетской свастикой, сопровождаемый непрерывно трубящим трубачом и верховыми цириками, проехал по главной улице Урги. Навстречу ему под желтым знаменем с тибетской свастикой выехал Богдо-гэгэн в сопровождении своей свиты и монгольских музыкантов. Вдоль домов скромно тянулась цепочкой красная пехота.

— Своим вторжением в Забайкалье Унгерн дал повод красным вступить в Монголию, — шепотом сказал один из русских, наблюдавших церемонию.

Барон, свесив голову на грудь, скакал вместе со своим войском. На его голой груди на ярком пинуре висели многочисленные монгольские амулеты и талисманы. Он посылся вдоль растянувшейся колонны, избивая всякого, на ком оста-

навливался его взгляд. Многие офицеры были с перевязанными головами. Со стороны двигавшихся в обозе госпитальных телег все время доносились стоны, а то и вопли раненых.

Барон приказал:

— Доктора ко мне.

Подъехал доктор.

— Отчего раненые у тебя все время стонут? Помощи им не оказываешь?

— Ваше превосходительство, у нас ранено сто сорок человек. Многие из них — тяжело. Дорога дурна, с колдобинами, камнями, рытвинами. Оттого раненые при движении испытывают боль и страдания.

— Дай им наркотики, чтобы замолчали. Их стоны плохо влияют на боевой дух войска.

— Ваше превосходительство, — сказал доктор, — страдания от тряски слишком велики, чтобы заглушить их инъекцией наркотиков. Уже не менее двадцати раненых умерли от истощения. Раненых, но крайней мере тяжелораненых, надо отправить в монастырский лазарет, где им будет обеспечен нормальный госпитальный уход.

— Об этом поговорим, — буркнул барон. — Сейчас постараюсь им дать наркотик, чтобы не так сильно стонали.

В этот момент барону случайно попался на глаза монгол.

— Ты чего?

— Та, ваше превосходительство, та, эта, я ранен.

— Так почему не пошел к доктору?

— Та... эта... Он не хочет меня перевязывать.

— Что?! — закричал барон. — Ты, мерзавец, почему не лечишь раненых? Вот почему они у тебя стонут.

— Ваше превосходительство, — пытался вмешаться Миронов, — монгол пьян, говорит ли он правду?

— Молчать! Саботажников покрываешь.

— Ваше превосходительство, — начал говорить доктор, — я без сна работаю в перевязочной.

— Врешь! — закричал барон и ударил доктора тростью по голове.

Доктор упал. Тогда барон начал бить хрюпящего доктора ногами.

— Ваше превосходительство, — едва сдерживаясь, сказал Миронов, — доктор уже без сознания.

Барон посмотрел на Миронова диким взглядом и отъехал.

— Унесите доктора в перевязочную, — велел Миронов солдатам.

Отъехав, барон обнаружил в обозе телегу с деревянными крестами.

— Откуда кресты?! Кто велел?!

— Его благородие есаул Миронов, — испуганно ответил ездовой.

— Есаула Миронова ко мне.

Миронов подъехал.

— Ты велел кресты делать?

— Я, ваше превосходительство.

— Здесь, в монгольской степи, дерево стоит дорого. Деревья необходимы для переправы через реки и болота пушек и пулеметов, а ты сколачиваешь кресты. В Монголии вовсе не хоронят мертвецов, предоставляя это делать силам природы.

— Ваше превосходительство, — сказал Миронов, — мы христиане, не буддисты. Каждый павший христианин достоин христианского погребения.

— Ах, ты еще пререкаешься! — барон поднял ташур.

— Ваше превосходительство, — сказал Миронов, положив правую руку на кобуру, — я царский офицер. Если вы меня ударите, я за себя не отвечаю.

Барон молча отъехал прочь.

В штабной палатке барон говорил Резухину:

— Я решил идти не в Маньчжурнию и даже не на запад Монголии, как должно быть объявлено по дивизии, а в Тибет. Я собираюсь пересечь пустыню Гоби, привести дивизию в Лхасу и поступить на военную службу к Далай-ламе. Согласен ли ты с этим планом?

— Ваше превосходительство, — осторожно возразил Резухин, — я выражаю сомнение в осуществимости плана. Без запасов продовольствия, без воды едва ли удастся пройти через Гоби. Это приведет к большим людским потерям.

— Людские потери меня не пугают. Помни, Резухни, что в Маньчжурии и в Приморье нам обоим появляться небезопасно.

— Но ваше решение идти в Тибет столь неожиданно.

— Оно неожиданно только на первый взгляд. Если под натиском революционного безумия пала Монголия, исполнявшая роль внешней стены буддистского мира, нужно перенести линию обороны в цитадель желтой религии — Тибет. Обсудим детали.

Они перенли почти на шепот. Но Миронову, находившемуся близ палатки, удалось подслушать почти весь разговор.

Заговорщики собрались в лесу при свете костра.

— Барон принял окончательное решение идти в Тибет, — сказал Миронов, — надо немедленно действовать.

— Тибет для казаков, — поддержал его один из офицеров, — и вообще для всех нас, русских, — это дикая страна, где русскому человеку совершенно нечего делать.

— Сама идея похода вызывает ужас, — подтвердил другой офицер. — Летом и осенью Гоби совершенно непроходима. Большинство из нас будут обречены на гибель на безводных каменистых равнинах.

— Пусть погибнет лучше барон! — вскричал третий офицер.

— Итак, решено, — сказал Миронов. — Господа, надо бросить жребий, кто застрелит барона.

Бросили жребий. Жребий пал на Миронова. Тут же при свете костра Миронов вынул маузер и проверил его.

— Не будем терять времени, господа, — медленно произнес один из офицеров.

Перекрестились и пошли.

Была чернильная тьма. Почти на ощупь пришлось добираться до палатки барона, возле которой горел небольшой костер.

— Кто идет? — окликнул часовой.

— К его превосходительству.

В этот момент кто-то выглянул из палатки.

— Барон! — первно закричал молодой подпоручик и выстрелил, но от волнения промахнулся.

Часовой выстрелил в ответ. Миронов поднял маузер и увидел, как барон смотрит на него в упор своим диким взглядом. Это длилось мгновение. Барон тотчас же по-звериному упал на четвереньки и быстро уполз в кусты.

Бригаду подняли по тревоге.

— Заговор?! — кричал Резухин. — Большевистский заговор?!

В ответ из рядов бригады загрели выстрелы. Резухин упал.

— Надо немедленно покончить с бароном, — сказал один из офицеров, — расплатиться за его жестокости, как с Резухиным.

Окруженных конвоем, вели Бурдуковского и Спайлова.

— Куда нас ведут? — испуганно спрашивал Спайлов. — Доктор, — спросил он доктора, который был на костылях, — куда нас ведут?

— Туда, куда ты отравил столь многих, — ответил доктор.

— Барон будет пытаться уговорить монголов подавить мятеж, — сказал один из офицеров. — Есаул, вы поедете к князю Сундай-гуну и постараетесь его убедить не поддерживать барона.

Миронов быстро переоделся в монгольскую одежду и поехал.

Миронов приехал к монголам под утро. Князь Сундай-гун с несколькими старшинами сидел на корточках, о чем-то тихо говоря. Все они курили трубки.

— События, происшедшие у русских, удивляют нас, — сказал князь.

— Мы не хотим служить барону, — ответил Миронов. — Вы тоже не должны ему служить.

— Отчего же? — спросил князь. — Разве он больше не Цаганбурхан, бог войны?

— Он сошел с ума, он погубит нас и погубит вас.

Вдруг монголы, стоящие в карауле, закричали:

— Цаганбурхан! Цаганбурхан!

Монголы начали стрелять, но барон продолжал ехать, не обращая внимания на пули.

— Князь, не говори барону, что я здесь, — попросил Миронов.

— Хорошо. Ты наш гость, я тебя не выдам.

Когда барон подъехал, монголы пали ниц и начали просить прощения.

— Князь Сундай-гун, я обстрелян своим войском, подстрелен мятежниками. Но зачем вы, монголы, стреляете в меня?

— Прости, мы стреляли в тебя по ошибке. Мы, монголы, не посмели бы убить Цаганбурхана, своего бога войны. К тому же мы твердо верим, что не в силах это сделать. Ты не можешь быть убит, только что мы получили верное тому доказательство.

— Князь, помоги мне подавить мятеж, — сказал барон.

— Хорошо, я посоветуюсь со старейшими.

— Мое войско плохое, надо многих перебить.

— Русские вообще плохой народ, — ответил князь. — Барон, не хочешь ли с нами выкурить трубку мира?

Барон невольно вытятил из-за пазухи правую руку с револьвером, хотел взять кисет, но в этот момент один из монголов сзади прыгнул барону на плечи и вместе с ним упал с коня на землю. Подбежавшие со всех сторон монголы навалились на барона.

— Сундай-гун, — схваченный барон говорил спокойно, — позаботься о моей лошади. Мне вели дать жбан воды.

Принесли большое деревянное ведро с водой. Барон долгопил, выпил чуть ли не полведра. Потом сказал:

— Дайте мне водки.

Принесли водку. Он выпил.

— Теперь я буду спать.

Барон, пошатываясь, пошел в палатку и тотчас же уснул. Тогда монголы по кивку князя бесшумно вползли в палатку, нагнули барону на голову тарлык, скрутили руки и ноги и, отдавая поклоны, удалились.

Потом они начали совещаться, что с ним делать.

— Пуш его не берут, — указал один из монголов, — но его можно убить пожом, а голову и печень отвезти в Ургу к Сухэ. Новая власть приговорила барона к смерти. И этим убийством мы заслужим прощение.

— Нет, — возразил другой монгол, — отдадим его белым казакам И пойдем с ними в Маньчжурню. Там неплохо можно жить возле дороги с торговыми караванами.

— Барона надо выдать китайцам, — предложил третий. — Китайцы обещали занею, мертвого, серебра столько, сколько весит его тело. А за живого — столько же золота, сколько весит его тело.

— Посадим его в телегу и будем двигаться, — сказал князь.

Миринов ехал среди монголов, стараясь держаться подалше, чтоб барон не узнал.

— Смотрите с меня тарлык, — сказал барон.

Тарлык слегка приподняли, но не сняли. Барон беспокойно глядел вправо, шумно вдыхая воздух. Уже всходило солнце.

— Князь, вы взяли неверное направление, — сказал барон. — Так можно нарваться на красных.

Монголы ничего не ответили, один из них опять натянул барону тарлык на голову.

— Зачем ты едешь с нами? — спросил Миринов князь. — Возвращайся к своим казакам.

— Мне надо в Ургу, — ответил Миринов.

— У тебя там родные?

— Жена.

— Касные! — вдруг закричал один из схавших впереди монголов.

— Сколько их? — спросил князь.

— Немного. Будем стрелять?

— Нет, — ответил князь. — Мы, монголы, возвращаемся к своему народу для мирной жизни.

Миринову удалось незаметно исчезнуть, увдя с собой верховую лошадь.

...Красные, среди них были и монголы и русские, поскакали в атаку с криками «ура!». Но, увидев, что монголы бросили оружие, красный командир сказал:

— Поедем в наш лагерь.

По дороге красноармейцы все время пели. Один из них подъехал к телеге и спросил:

— А это кто, в тарлык закутанный?

— Я — барон фон Унгерн-Штернберг, — ответил он из-под тарлыка.

— Врешь! — воскликнул красноармеец. — Товарищ командир, этот в тарлыке врёт, что он барон Унгерн.

Командир подъехал, сорвал тарлык и невольно отшатнулся. На него смотрело помятое, небритое, красное лицо с рыжими усами. На плечах были старые помятые генеральские погоны, а на груди поблескивал Георгиевский крест.

— Кто вы? — спросил командир.

— Я — барон Унгерн.

— Доставить в штаб полка к товарищу Щетинкину.

В старой китайской фанзе Щетинкин сидел за столом и ел суп из котелка. Рядом сидел представитель Коминтерна Борисов и, жуя хлеб, что-то писал в блокнот.

— Товарищ Щетинкин, — доложил командир, — наш конный разезд захватил группу монголов и среди них человека, который называет себя бароном Унгерном.

— Унгерн? — удивленно спросил Щетинкин и вышел из фанзы вместе с Борисовым. — Этот сидящий на подводе тощий и грязный человек в поношенном монгольском халате и есть кровавый барон?

— Сомнений нет, это Унгерн, — подтвердил Борисов. — Я узнаю его по имеющимся у нас фотографиям.

— Я представлял его иным, таким пожилым, холемым, в мундире, как у старорежимного генерал-губернатора, — медленно проговорил Щетинкин и обратился к барону: — Вы Унгерн?

— Я — начальник азиатской дивизии генерал-лейтенант барон фон Унгерн-Штернберг, — ответил барон. — Я сделал

все, что мог, в борьбе с красным насилием. Много крови лилось, я многих ненавидел. Но не бойтесь больше моей ненависти. Мертвые не могут ненавидеть.

— Товарищ Щетинкин, — сказал Борисов, — захват кровавого барона ни в коем случае не должен выглядеть случайным. Это подвиг! Подвиг красных бойцов.

— Не будет ли это некоторым преувеличением, товарищ Борисов?

— Не преувеличением, а возвеличиванием. В обстановке ожесточенной классовой борьбы партия учит нас использовать каждую возможность для всенародной агитации и пропаганды. Надо сообщить в газеты, что вместе с бароном захвачены девятьсот всадников и три боевых знамени.

Неожиданно один из красноармейцев закричал:

— Барон удушился!

Барон со связанными руками просунул голову в конский повод и, вращая шеей, пытался этот повод затянуть. Хрипящего барона вытащили из петли.

— Приставить к нему большой конвой! — закричал Борисов. — Отвезти в Троицкосавск в штаб армии к товарищу Блюхеру. Знаете ведь, что еще в начале боев на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба, предписывающий в случае поимки Унгерна беречь его, как самую драгоценную вещь.

— Я голоден, — сказал барон.

— Накормить, — приказал Борисов, — но только не развязывайте. Особенно на переправах следите. Он может броситься в воду.

Барона, как ребенка, начали кормить с ложки.

Подъехали к переправе. Барона, связанного, погрузили на барку. Монголы и красноармейцы поплыли на лошадях.

— Товарищ Щетинкин, — доложил командир батальона, — тут мелководе, барка не может причалить.

— Ты, комбат Перцев, перенесешь связанного барона на закорках.

Барона посадили Перцеву на плечи.

— Последний раз сидишь ты, барон, на рабочей шее, — назидательно сказал Перцев.

...Маленький православный монастырь располагался за консульской церковью. Миронов привязал лошадь у дерева возле ограды и пошел тронкой. По едва войдя в калитку монастыря, сразу увидел Веру, сидящую у окна. Она выбежала, держа в руках маленький саквояж, в котором петербургские барышни-институтки носят свои дамские принадлежности.

— Откуда ты узнала о моем приезде? — спросил Миронов, целуя ее мокрое от слез лицо.

— Я ждала тебя каждый день, — плача, ответила Вера. — Каждый день по многу часов сидела я у этого окна. Милый мой, я знала, что ты придешь. Спаситель хранил тебя.

— У нас мало времени, — сказал Миронов.

— Я готова. В этом саквояже все самое мне необходимое и дорогое: фотографии близких, немного еще оставшихся драгоценностей — все мое состояние.

Черное монашеское одеяние еще больше подчеркивало ее бледность.

— Поедем. Ты умешь ездить верхом?

— Не слишком. Но постараюсь.

— Тебе надо переодеться, у меня монгольское платье. Вокруг большевистские патрули, но будем надеяться на удачу.

— Бог нам поможет. Я молилась день и ночь. Надеюсь, Бог простил меня.

Губы ее задрожали. Она хотела что-то сказать, но не смогла, лишь прошептала опять:

— Бог нам поможет.

Бригада расположилась в поросших лесом сопках.

— Вы носители вовремя, — сказал один из офицеров Миронову, — завтра мы начинаем движение на восток, к китайской границе. Путь нелегкий и неблизкий.

Он покосился на Веру.

— Вера Аркадьевна — моя жена перед Богом.

— Я не буду в тягость. Я могу быть медсестрой, — предложила Вера.

— Медсестры нужны, — согласился офицер. — Придется пробираться с боями.

Миронову и Вере отвели отдельную палатку. Они были счастливы в эту ночь, как могут быть счастливы животные, без слов, без мыслей.

Утром встретили Гуцина.

— Мы давно не виделись, господин Миронов, — сказал Гуцин, улыбаясь. — Эта наша встреча — дурное предзнаменование.

— Для кого? — спросил Миронов. — Для меня или для вас?

— Не знаю. Наша дуэль не отменена. Во всяком случае, женщину вы выиграли, а выиграете ли жизнь, покажет будущее.

Он отвернулся и пошел прочь.

— Трудно себе представить, что этот человек когда-то был моим другом, — проговорил Миронов.

— Он дурно смотрел. Я беспокоюсь за тебя. — Вера говорила псуганно.

— Не стоит так всерьез принимать этого сумасброда. Нам всем, в том числе и ему, угрожают более серьезные опасности. Но дороге к границе предстоят тяжелые бои с красными.

В Тронкосавске допрашивали барона. Барон сидел в низком мягком кресле, закинув ногу на ногу, и курил.

— Унгерн-Штериберг, — сказал Борисов, — это начальник разведки Зайцев и адъютант командарма Герасимович. Согласны вы отвечать на наши вопросы?

— Вначале я отказывался, но теперь передумал, — ответил барон.

— Отчего вы передумали? — спросил Зайцев. — Может быть, к вам применяли недозволенные методы?

— Нет, со мной обращаются вежливо, обслуживают хорошо. Вот, дорогие папиросы принесли. Очень ароматные папиросы, — он, улыбнувшись, выпустил дым. — В принципе, я должен был бы молчать до конца, как будто вам досталось мое мертвое тело. Но, с другой стороны, имею желание в последний раз поговорить о себе, о своих планах, идеях, толкнувших меня на путь борьбы.

— Что вы можете сказать о репрессиях? — спросил Герасимович.

— Не помню, — глубоко затянувшись, ответил барон.

— Прошу напомнить, — обратился Герасимович к одному из помощников. — Зачитайте факты.

— Не надо, — возразил барон. — Это не террор, а необходимость избавиться от вредного элемента.

— О детях вы давали приказания?! — крикнул Герасимович.

— Товарищ Герасимович, возьмите себя в руки, — сказал Борисов. — Вы, гражданин Унгерн, приказывали расстреливать детей?

— Это было сделано с моего ведома.

— Для чего? — спросил Борисов.

— Чтоб не оставалось хвостов.

— Чтоб не было хвостов?! — крикнул Герасимович. — Твоих бы детей так, кровавый барон!

— У меня нет детей, — ответил барон, — я одинок.

— Вы не раскаиваетесь? — спросил Зайцев.

— Я исполнял свой долг.

— Долг убийцы! — крикнул Герасимович. — Чего с ним церемониться? Расстрелять или шанками изрубить.

В этот момент в комнату вошел широкоплечий военный с орденом на гимнастерке. Донрашивающие вскочили и стали по стойке «смирно».

— Что тут за крики, товарищ Борисов? — спросил он.

— Ведем допрос барона Унгерна, товарищ Блюхер.

— Отчего же крики?

— Трудно спокойно воспринимать циничные ответы убийцы.

— Можете идти, товарищ Герасимович, — приказал Блюхер, — вы здесь больше не нужны.

— Слушаюсь, товарищ командующий, — ответил Герасимович и вышел.

— Хороший командир, но после конгузии первы у него не в порядке. Нам нужны люди с крепкими первами, — глядя ему вслед, сказал Блюхер, затем обратился к барону: — Вот вы какой, барон Унгерн.

Блюхер подошел и сел напротив барона.

— Я — командующий армией Василий Блюхер. Хорошо вы нас потрепали.

— Сил было маловато, — ответил барон. — Если бы мне побольше артиллерии и бронемашин, никто бы из вас не ушел. Мне странно было ваше намерение окружить меня пехотными частями.

— Да, у нас еще мало военных профессионалов, таких, как вы. Отвергая ваши идеи, как военный профессионал я уважаю в вас достойного и храброго противника.

— Не надо все-таки забывать, с кем мы имеем дело, — напомнил Борисов. — От пленных известна его жестокость даже по отношению к своим подчиненным. Так ли, барон?

— Из подчиненных я был жесток только к плохим офицерам и солдатам. Такое обращение вызывается требованиями дисциплины, как я ее понимаю.

— На сегодня допрос окончен, — сказал Блюхер. — Дальнейшие допросы продолжим в Иркутске.

К вечеру остатки бригады под командованием Миронова въехали в узкую долину.

— В этом месте разобьем лагерь на ночь, — обратился к офицерам Миронов, разворачивая штабную карту. — Долина тянется еще на четыре мили к северу, затем резко поворачивает к югу, туда, где находится знаменитый монастырь. Оттуда недалеко до китайской границы.

Разожгли костры.

— Ходят слухи, что барон бежал, — начал говорить один из офицеров. — Какие-то беженцы рассказывали, что на станции Маньчжурия видели барона переодетым в штатское.

— Напротив, — возразил другой офицер, — я слышал, что барон будто бы перешел на сторону красных.

— Как бы то ни было, — сказал Миронов, — приятно оказаться подальше от барона, так как жизнь в его армии была невыносима.

Подали ужин. Не успели съесть и две-три ложки, как патрульные подняли тревогу. Побежали вверх по склону и залегли. Вега легла рядом с Мироновым.

- Уйди, ты нужна в лазарете, — сказал Миронов.  
 — Нет, если тебя убьют, я тоже застрелюсь.  
 — Не говори глупости, уходи.  
 — Нет, без тебя мне жить страшно, — шепотом ответила

Вера.

Вдали замелькали силуэты приближающихся всадников. Подпустили их ближе и открыли огонь. Несколько упали, остальные повернули коней.

— За Россию, ура! — закричал Миронов.

— Ура! — откликнулся казак.

Вскочив на коней, поскакали в контратаку, пока красные не скрылись в лесу. Трубач созвал обратно.

— Наконец мы получили возможность спокойно съесть свой ужин и немножко поспать, правда, не расставаясь с впитовками, — сказал Миронов.

Вера подогрела котелок с оставшимся ужином на костре.

— Скоро Пасха, — сказала Вера, — однако так холодно.

— Это здесь, в горах, в горных долинах холод, — ответил Миронов. — Внизу, поближе к границе, уже цветет вишня. Такой тут климат.

— В прошлую ночь я ненадолго вздремнула, и мне приснилась мама. Мама играла на фортепьяно, и перед ней стояло зеркало, в которое она смотрела. У нас было имение под Москвой. На Пасху мы все собирались там. Сестра Толя приезжала с мужем из Финляндии. — Она заплакала. — Коля, за что все это? За что эти мучения? Мы грешны, да, мы грешны, но неужели Господь так жесток? Неужели он так беспощаден?

— Если после всех наших грехов Господь все-таки оставил нам путь к спасению, значит, он не жесток, а справедлив, — ответил Миронов.

— Каков же этот путь спасения, для всех ли этот путь?

— Да, для всех, — ответил Миронов, — потому что даже в безвыходной ситуации всегда можно умереть. Смерть — последний дар Божий, спасение от мучений. Не спасутся лишь злодеи, ибо они умрут дважды. Вторая смерть — вечное осуждение.

Окончив ужин, Миронов начал собираться. Проверил револьвер, подвесил к поясу несколько гранат.

— Ты уходишь? Я с тобой.

— Иди к доктору в госпитальную палатку. Ты там нужна.

— Коля, я тебя люблю и ревную.

— Ревнуешь? Милая моя, к кому же ты меня ревнуешь?

Не к смерти ли?

— Может быть, ведь смерть тоже женщина. Но я надеюсь отбить тебя у нее.

Они поцеловались.

В мягком купе пульмановского вагона лишь зарешеченное окно и шаги часового в коридоре указывали на положение барона как арестанта. Вошел официант, начал сервировать стол.

— Отчего на две персоны? — спросил барон.

— Так велено, — ответил официант, ставя на стол дорогое шампанское в серебряном ведерке со льдом, семгу, икру и прочие деликатесы.

Вошел Блюхер.

— Я решил составить вам компанию, не возражаете? — спросил он по-немецки.

— У меня нет теперь права возражать, — ответил барон тоже по-немецки. — Вы немец?

— Нет, я русский. Русский, из крестьян. Мои помещик любил давать своим крепостным имена знаменитых людей. Моему деду он дал фамилию знаменитого немецкого маршала Блюхера. — Командующий засмеялся. — Дело, барон, может показаться вам странным. Но так ли оно странно для разумного человека? После предательства ваших офицеров, убийства Резухина и вашего пленения белая армия перестала существовать. Гражданскую войну можно считать оконченной. Остатки вашей дивизии бегут в Маньчжурню, но не сомневайтесь, мы их постигнем и уничтожим.

— В ваших газетах пишут, — барон указал на пачку газет, — что меня захватили на поле боя вместе с моим штабом и охраной. Это ложь.

— Пропаганда, барон, пропаганда, — засмеялся Блюхер. — Но мы с вами не пропагандисты, а солдаты.

Блюхер разлил шампанское. Они выпили.

— Итак, гражданская война окончена, — продолжал Блюхер. — Небольшое сопротивление еще оказывается в Приморье, но скоро будет ликвидировано. Однако война за пределами наших границ желательна. У вас есть опыт войны с Китаем. Мы нуждаемся в вашем опыте. Соглашайтесь, барон.

— Куда меня везут? — спросил барон. — Судить?

— Да, вас будут судить, следствие окончено, трибунал получил материалы допросов, свидетели не приглашены, они излишни, поскольку подсудимый не скрывает своих преступлений. Ваших, барон, признаний вполне достаточно для приговора, который может быть только смертным. Но, барон, есть великая Россия, красная ли, белая ли. Наша политика меняется. Некоторые наши бывшие враги это уже поняли. Скоро я встречаюсь с японцами. России и Японии одинаково невыгодно, чтобы такие страны, как Америка, имели влияние в Китае. Кроме того, вы — немец, у вас связи с Германией. Германия ограблена Вергальским договором и должна понять, что у нее с Россией много общего.

— Это так, — ответил барон. — Россия, как и Германия, противостоит западному разложению человечества.

— Если вы согласитесь, мы дадим вам некоторое количество хороших солдат...

— Чекистов?

— ...хороших солдат, остальных подберете по своему усмотрению. Нам вы больше не опасны, а косоглазых можете резать, как резали раньше.

Блюхер рассмеялся.

— А трибунал и приговор? — спросил барон.

— Вас приговорят к смерти, но не расстреляют. Мы можем вам бежать из тюрьмы. Мы поможем вам перейти границу. Соглашайтесь.

— А если нет?

— Тогда вас расстреляют.

— Я буддист, — ответил барон. — День смерти для меня счастливый. Конечно, хочется умереть достойно, как офицер и дворянин. Не в петле или в подвале с пулей в затылке.

— Лучшая смерть для нас, солдат, — на поле боя, — сказал Блюхер. — Соглашайтесь.

Он снова разлил шампанское.

Небольшой грузовик остановился в глухом лесу у поляны. Барону приказали встать у заранее выкопанной могилы. Выстроился стрелковый взвод. Красно-багровое, опускалось солнце. Было время вечерней молитвы. Барон перекрестился лютеранским крестом и зашентал буддийскую вечернюю молитву.

Раздался залп. Барон, истекая кровью, опустился на колени. Жизнь еще не покинула его. В широко раскрытых глазах не ужас и боль, а, скорее, удивление. В ушах раздался глухой звон и конский топот тысячного монгольского войска. Впереди он сам — рыжебородый Чингисхан. Яростные лица буддийского воинства, крупы холщевых лошадей, вздымающиеся пыль, конские копыта. Сквозь серебристые облака пыли, пробиваемые яркими солнечными лучами, явились ему один за другим Будда, Христос и вечный его антагонист Достоевский... Черная тень накрыла kaleйдоскоп предсмертных видений. Черное дуло маузера смотрело барону в лицо. Герасимович несколько раз выстрелил и сникнул ногой окровавленный труп в могилу.

— Закопать и тщательно разровнять землю, — командовал Герасимович. — Чтоб никто никогда не нашел его могилу.

Он глянул в могилу и кинул на мертвого барона ком сырой глины. Солдаты схватили лопаты и бросились выкопывать приказание командира.

Доктор Клингенберг и Вера не успевали перевязывать раненых. Всюду лежали трупы. Стонали раненые. Мирнов слышал чей-то стон и голос, который монотонно повторял:

— Темнота, темнота.

Это был Гуцин. Он сидел на земле, прижимая руки к лицу, и кровь струилась у него меж пальцев.

— Темнота, темнота, — повторял он.

— У него агония, — сказал доктор.

Но, услышав шаги, Гуцин с невероятным трудом поднялся на ноги и резко приказал:

— Вернуться в строй, кто бы вы ни были!

— Володя, это я, Коля Миронов.

— Коля. Вот и кончилась наша дуэль. Прощай.

— Володя, здесь Вера.

— Вера, подойди, Вера.

Сдерживая рыдания, Вера подошла. Гуцин протянул вперед окровавленную руку и начал опускывать лицо Веры, начкая ее щеки, губы и лоб кровью.

— У него голова прострелена, — шепотом сказал доктор, — повреждены оба зрительных нерва, и он потерял зрение.

— Вера, прости меня, если можешь, — наконец произнес Гуцин.

— Ты прости меня, Володя, — Вера поцеловала Гуцина.

— Коля, Вера, поживите вместо меня, порадуйтесь жизни.

Вдруг совсем близко раздалась пулеметная очередь. Пули зацеликали о камни. Все упало, прижимаясь к земле.

— У них внизу, под скалой, пулемет, — сказал Гуцин, — метров сто, не больше. С гор они стрелять не могут — туман. Если пулемет уничтожить, можно прорваться. Дай мне ручную гранату.

Миронов дал ему гранату. Гуцин пополз в сторону, откуда слышались пулеметные очереди. Раздался взрыв, пулемет умолк. И тотчас же, словно вторя взрыву, прозвучал сильный удар грома. Ливень, будто во время всемирного потопа, обрушился с неба.

— Будем прорываться, — сказал Миронов. — Это наш последний шанс. Отомстим за погибших товарищей.

Под сильным проливным дождем, сопровождаемым блеском молнии и громом, казаки вскочили на коней и без приказа выхватили шашки.

— Вперед, в атаку! — крикнул Миронов.

Громовое «ура!» слилось с очередным ударом грома. Вихрем понеслись впиз по склонам. Началась рукопашная. Стрелковая цепь, преграждавшая выход из долины, была смята. Под прикрытием темноты и грозы вырвались на простор.

Светало. всюду лежали трупы красноармейцев. Некоторые еще стонали, и казаки с руганью добивали их шанками. Миронов хотел остановить убийство, но доктор сказал:

— Все равно они умерли бы от потери крови. Брать их нам некуда и перевязывать нечем. Наши госпитальные подводы и без того переполнены. — Помолчав, он добавил: — Бог нам судья, хоть я и атеист.

Собрав поредевшее войско, Миронов обратился к нему с короткой речью:

— Господа, хватит крови, мы устали от крови. Хочется верить, что это последнее сражение между красными и белыми. Это конец белого движения в Монголии. Оно поставило точку в Гражданской войне как для нас, так и для русской революции. В сложившихся обстоятельствах нам не остается ничего другого, как спасать свои жизни.

Было холодно, по-прежнему дул с гор влажный ветер.

— Какая холодная пасхальная погода, — сказала Вера, — совсем как во французской поговорке: «Новый год — на балконе, Пасха — перед каминном».

— Когда мишем скалу и выйдем к озеру Далап-Нор, потеплеет, — успокоил Миронов. — До озера Далап-Нор миль три-четыре. Это уже китайская граница.

Впереди блестела освещенная солнцем озерная гладь. Потеплело. Пришлось снять верхнюю одежду и остаться в одних гимнастерках.

— Наконец тепло по-пасхальному, весной запахло, — Вера глубоко вдохнула. — Какое благоухание!

— Это цветет дикая вишня, — предположил Миронов. — Долина наполнена благоуханием цветущей вишни.

— Благодатные места, — сказал один из казаков, глядя по сторонам.

— Верно, места такие, что умирать не надо, — отозвался другой. — Тут и хлебный урожай — не пожалуешься, и пчелка медку да принесет.

— Вдоль озера по обе стороны границы есть хутора и поселения русских колонистов. Пойти бы и нам с тобой, Вера, в пахарь, как народники-интеллигенты в крестьяне шли и как Лев Николаевич Толстой пахарь, — предложил Миронов.

— Нет уж, не хочу, — возразила Вера. — Лев Николаевич пахарь не ради хлеба насущного, а из идейного желанья опроститься. А у меня совсем другие идеи.

— Какие же?

— Надеть шелковые чулки и пойти к «Максиму». Видишь, какая я осталась куртизанка.

— Бедная, — Миронов поцеловал ее.

— О другом, Коля, мы уже и мечтать не можем. Сидеть в собственном имении на балконе, заросшем жасмином, пить чай с мамным вишневым вареньем и читать Толстого. Это несбыточные мечты. Мама умерла, имение разграблено и сожжено милыми папши крестьянами, в которых Толстой учил нас видеть основу природного и божественного.

— Зачем же упрекать крестьян в нарушении заповедей, если мы все их нарушали когда-то? На меня, молодого студента, произвела очень сильное впечатление статья Толстого «Не убий никого!». Эта правильная мысль в подтверждение древнего закона не содержит в себе, однако, объяснений, где лежит препятствие, мешающее ее осуществить, — вне нас или внутри нас?

— Что же делать?

— Что делать? Не знаю. Жить и не бояться смерти. Мне кажется, ужас перед смертью делает человека убийцей. Впрочем, это называется инстинктом самосохранения или, в нашем военном деле, солдатской доблестью и храбростью. Как часто бывает в философии, круг замкнулся вопросом о квадратуре круга. Слова становятся бессильны, остаются только безмолвная вера и безмолвная красота природы, этой земли, сочных листьев, травы, голубизны бескрайнего неба, пения птиц.

Казакн, схавшше следом, тоже любуясь красотой окрестных мест, вели меж собой нехитрые свои разговоры.

— После красной мобилзации вернулись мы к осени, — говорил один, — да сею доканивали еще в октябре.

— А Унгерн пришел — и вовсе разорение, — продолжал другой. — У нас в Забайкалье паров запастн не успели, сеять придется по старым живьям. Ежели лето засушливое — все стогит. Урожай выйдет сам-два, а местами не взять даже и затраченных семян.

Он вздохнул и вдруг, встряхнув чубатой головой, запел:

— Скакал казак через долину, через маньчжурские края.

Казакн хором подхватили:

... Скакал казак через долину, через маньчжурские края.

— Кисет казачка подарила, когда казак пошел в поход, — пел казак.

— Она дарила, говорила, что через год будет твоя, — снова подхватили казаки.

Конное войско, обойдя озеро Далан-Нор, пересекло китайскую границу. Китайские солдаты стояли в полном вооружении по обеим сторонам, но не приближались. Казаки слезли с коней, сложили оружие и далее двинулись пешей колонной. Миронов взял большой деревянный могильный крест с подводы и пошел впереди. Этот жест пасхального смирения произвел впечатление на казаков. Многие глаза увлажнились, потекли слезы. Из расположенного неподалеку поселка русских колонистов доносился торжественный звон пасхальных колоколов.

— Христос воскрес, Вера, — сказал Миронов, глядя на ее лицо со скорбными чертами.

— Воистину воскрес! — ответила она, подняв голову.

Томительно-призывно, по-бетховенски звучали колокола.

*Хроника.*

Кресты, кресты, кресты... Русские кладбища, разбросанные по миру, на чужбине.

# **МАРИЯ МАГДАЛИНА**

Жаркое палестинское солнце. Пыль. У дороги на Иерусалим вереницей стоят кресты с распятыми мятежниками. Некоторые из распятых уже мертвы, другие еще шевелятся на крестах. Иные из распятых недавно еще полны сил. Некоторые плачут, стонут, просят еды или питья. Другие умоляют римских легионеров добить их. Шум голосов, крики и плач сливаются с звуком заступов. Рабы пленные в сухой, каменной земле долбят новые ямы, устанавливают новые кресты. Работа тяжелая, пот течет по лицам. Высокий, широкоплечный центурион Тит подходит к тысяченачальнику Луцию, голубоглазому патрицию с тонкими чертами лица, умного, но с признаками пороков. Тут же римский офицер Антоний, черноглазый, горбоносый, с орлиным профилем. Рядом с ним иудейский купец и богатый промышленник, владелец ткацких мастерских и красильни в Магдале Ананий, толстый, потный, одетый в прохладные шелковые одежды. Когда очередного мятежника выводят из длинной вереницы связанных пленников, Ананий, угодливо улыбаясь, шепчет на ухо Луцию, что он знает о мятежнике.

Тит приветствует Луция римским салютом и говорит, что воды не привезли, рабы и пленные выбиваются из сил, а работы еще много. Он указывает на длинную вереницу людей, ожидающих казни. Луций распоряжается послать людей привезти воду из родника. Ананий, хихикая, говорит, что на жаре лучше всего освежиться холодными о урцами и подкрепиться финиками. За спиной Анания слуг держит поднос с огурцами и финиками, прикрытый от жары платком. Ананий предлагает огурцы Луцию и Антонию. Те берут и едят. Ананий предлагает Титу, тот отказывается, мол-

ча отворачивается и уходит. В этот момент римские воины поднимают на кресте человека с длинными рыжими волосами, крючковатым носом и бешеными глазами. Полным ненависти голосом он кричит, что гордому римскому орлу недолго уже осенять своими несчастными крыльями священный город. Свергнуты будут и языческий Рим, и иудейский похититель царского престола Ирод, потомок презираемого Измаила и ненавистного Исава, святотатственный расхититель гробницы Давида.

Апаний говорит Луцию, указывая на кричащего, что это обманщик, который объявил себя Мессией, Симон Волхв, который обещал народу показать скрытые на горе Герезим Моисеем ковчег и священные сосуды. Этим он хотел разжечь в народе ненависть к Риму. Луций говорит о том, что в этой стране фашизм повсюду, но император Тиверий, у которого он был в Риме, откуда вернулся недавно, сказал ему, что он хочет, чтобы этой стране не причиняли ненужных, излишних обид. Надо, чтобы иудеи спокойно послали свои цепи. Антоний соглашается с Луцием и говорит, что предпочел бы не распятие мятежников, а повешенье их или отсечение головы. Это не требует такого труда и на это не так мучительно смотреть. Луций отвечает, что Понтий Пилат требует распятия для устрашения мятежников. Но он, Луций, думает, что Пилат делает это просто из ненависти к иудеям. Однако, по некоторым сведениям, главный ненавистник иудеев при императорском дворе и покровитель Пилата министр Сеян как будто впал в опалу, и, возможно, все изменится к лучшему. Мятежи утихнут и жизнь станет спокойней. Антоний спрашивает, как обстоит дело с золотыми римскими цитами, которыми Пилат велел украсить Иродов дворец в Иерусалиме, что способствовало народному бунту. Луций отвечает, что император велел перенести циты из Иерусалима в храм Августа в Кесарии.

Луций и Антоний разговаривают, отвернувшись, чтоб не смотреть на страшное зрелище, которое продолжается. Во время их разговора слышны стоны, хриплые крики боли, стук молотов, вбивающих гвозди в ладони. Мимо Луция и Антония центурион Тит и воины ведут на распя-

тие очередную жертву. Человек, которого должны распять, робок, жилист, очень загорел, с подвижными, полными веселой ненависти глазами, которые смотрят без страха. Ананий сообщает Луцию, что это Бар-Авва, знаменитый мятежник, разбойник, вор и убийца. Бар-Авва усмехается и говорит, что он еще отрежет Ананию голову. Ананий отвечает, что Бар-Авву черти из ада не выпустят. Луций велит быстрее вести Бар-Авву к кресту. Бар-Авва кричит Луцию, что он его и с того света пайдет. А если не он, то его брат, а если не брат, то сын а если не сын, то внук. Тит и легионеры волокут Бар-Авву к кресту, который лежит на земле. Бар-Авву валят на крест, и римский легионер представляет к его раскрытой правой ладони огромный острый гвоздь, в то время как второй легионер замахивается молотом, чтоб пригвоздить ладонь к кресту. Вдруг Бар-Авва ногой ударяет легионера с молотом, тот падает. Правой рукой Бар-Авва вырывает гвоздь, вскакивает, и не успевает Тит выдернуть меча из ножен, как Бар-Авва втыкает ему гвоздь в правый глаз. Воспользовавшись общим смятением, Бар-Авва бежит, сбивая по дороге Анания и слугу с огурцами. Один из воинов поскользнулся на огурцах и упал. Бар-Авва вскакивает на колесницу и нахлестывает лошадей. Колесница несется по дороге. Римские легионеры скачут следом.

Несется колесница. Мелькает по сторонам дороги хлебные поля, луга, на которых бродят стада. Люди с удивлением и страхом смотрят на происходящее. Бар-Авва поворачивает лошадей с дороги на узкую известковую тропу. Он проносится через мостик над ручьем, и за поворотом открывается вид на Генсаретское озеро, лежащий в долине город Магдалу и возвышающуюся над Магдалой сторожевую башню — Магдалай, по которой и назван город.

Бар-Авва пытается сдержать лошадей, но они несут, скачут бешено. Колесо соскакивает, колесница разваливается. Бар-Авва падает и успевает откатиться с тропы в кустарник. Погоня проносится мимо. Бар-Авва лежит без сознания, зажав гвоздь в руке.

Поздний вечер. Бар-Авва приходит в сознание. Поднимается, оглядывается, спускается вниз по откосу к озеру.

Озеро тихо плещет, вокруг покой и красота. Мелькают на берегу вдали огни городов и деревень, мелькают огни на далеких сплутэтах римских военных кораблей, слышны всплески весел проплывиной недалеко лодки с рыбаками. Бар-Авва присел в камышах. Когда лодка удаляется, он падает и долго, жадно пьет. Утирается, идет, раздвигая рукой камыши, сжимая в правой руке гвоздь. Вдруг он видит на берегу костер и сидящего у костра человека. Напряженно смотрит на человека из камышей.

Человек, сидящий у костра, был со светлыми, несколько вьющимися длинными волосами. Брови его были темны, лицо овально и бледно, но со смуглым оттенком. Глаза светлые, нос правильной формы, но несколько велик. Когда человек привстал, чтоб подбросить сучьев в огонь, Бар-Авва увидал, что он высок ростом, но несколько сутуловат. Человек был бос, рядом с ним стояли простые грубые сандалии, какие в Галилее носили многие бедные люди. Одет он был в красный полотняный хитон без швов. Рядом на траве лежал бело-голубой плащ с кисточками на концах. На чистом платке лежали дымящаяся вареная рыба, кусок грубого ячменного хлеба и на листьях — соевый дикий мед. В котелке варилась еще рыба.

Бар-Авва огляделся и, раздвинув кусты, шагнул к человеку, зажав гвоздь в руке. Человек поднял глаза и спокойно посмотрел на Бар-Авву. Так длилось некоторое время: Бар-Авва стоял с гвоздем, а человек смотрел на него. Потом человек вытер руки об полотенце, взял кусок рыбы и протянул Бар-Авве. Бар-Авва смотрел недоверчиво, потом взял рыбу и начал жадно есть. И пока Бар-Авва ел, человек молча смотрел на него.

Бар-Авва, зажав гвоздь в руке, крадется улицами ночной Магдалы. Вокруг римские патрули... Бар-Авва хочет перебежать улицу, и в этот момент на улицу въезжает конный патруль. Римские солдаты хватают Бар-Авву, но он ранит гвоздем руку схватившего и перепрыгивает через забор. Бе-

жит, запылавшись. Снова перепрыгивает через забор. Мелькают во тьме факелы, слышны голоса: «Здесь он, недалеко... Сюда побежал...» Римские ноги ходят у самого лица Бар-Аввы. Бар-Авва ползет вдоль забора, перепрыгивает на балкон какого-то дома, ложится и слышит из раскрытого окна любовный разговор. Это разговор Марии Магдалины и Луция.

Мария Магдалина — высокая красивая женщина лет под тридцать, очень хорошо сложена, с длинными вьющимися светло-рыжими волосами. Луций привез ей из Рима много подарков: золотые браслеты, жемчуг и цветное пурпурное платье. Все это она надела и смотрит на себя в зеркало. Луций в восторге от ее красоты. Он читает ей на память Катуллы, римского поэта, стихи о красоте женщины. Мария отвечает, что лучше б он вместо стихов принес бы ей еще драгоценных камней. Раньше она любила жемчуг, но теперь ей больше нравятся бриллианты и сапфиры. Луций ревниво спрашивает ее, дарят ли ей другие любовники больше, чем дарит он. Мария смеется и спрашивает, о каких любовниках он говорит. Луций начинает перечислять ей любовников:

— У тебя был сукошник, у тебя был сборщик податей, две недели назад у тебя был сирийский купец.

Мария смеется:

— Какой был купец? Ах, это тот, который подарил мне эту шаль?

Она берет шаль и набрасывает ее на себя.

— Правда, я красивая в ней? — говорит она.

Луций ревниво отвечает, что она должна быть только его.

— У меня слишком большое сердце, оно дорого стоит, один человек его не купит.

Луций отвечает, что он один возьмет все.

— Что ты дашь мне за это?

Луций отвечает, что дает ей много золота, дорогих камней. Мария говорит, что хотела бы стать римской гражданкой. Луций обещает ей гражданство. Тогда Мария берет из вазы розы, лепестками усыпает свою постель, ложится на нее, томно закинув руки, и зовет Луция:

— Люби меня, Луций.

Весь этот разговор слышит Бар-Авва, лежа на крыше. Потом разговор прерывается, и он слышит любовные стоны, визг и смех.

За дверью у Марии дежурят ее слуги. Это два раба-пубница. Один огромного роста с вздутыми мышцами и широким лицом, другой маленький, пожилой. Едва послышались любовные стоны хозяйки из-за закрытых дверей, огромный пубнец сунул руку под бурнус и начал зашмыгиваться рукоблудием. Другой пубнец смотрел спокойно и безразлично.

— Осторожно, — сказал пожилой пубнец, — не пролей семя на землю. От пролитого на землю семени рождается бес.

И едва он так сказал, как сосуд с вином, стоящий на столике, опрокинулся сам по себе, послышался шум, хлопнуло окно.

— Я же говорил, осторожней, — сказал старый пубнец.

Луций, усталый и удовлетворенный, выходит на балкон. Темно, тихо. Луна зашла за тучи. Луций, глубоко вдыхая ночной воздух, говорит о том, как прекрасна ночь и как отвратителен мир людской, где нельзя жить, не проливая кровь, где, чтоб сберечь свою кровь для радости и любви, надо лить чужую.

Бар-Авва, узнавший Луция, стоит с гвоздем, готовый его убить. Еще шаг, и Луций увидит Бар-Авву, но в этот момент Мария позвала Луция, чтоб еще раз показать, как красива она в драгоценностях. Луций целует ее.

Мария надевает платье и провожает Луция к колеснице, потом она возвращается, отдает распоряжение пубнице приготовить воду в бассейне и садится разгримировываться. Рабыни ей помогают. Она снимает с себя золото, камни, благоуханными мазями протирает лицо, идет в бассейн.

Бар-Авва лезет в окно спальни и прячется там.

Мария, не стесняясь, раздевается при пубнице. Едва Мария разделась, как огромный детородный орган пубница поднялся и напрягся. Мария привычно вешает на него полотенце и прыгает в воду. Затем утирается, возвращается

в спальню, одевает легкую ночную сорочку. В этот момент появляется Бар-Авва с гвоздем. Он кричит, что она продажная сука, спит с врагом родины, римским язычником. Этим гвоздем римляне хотели его распять, и этим гвоздем он убьет ее, римскую проститутку. Мария спокойно отвечает, что она не верит, будто такой красивый мужчина убьет ее, такую красивую женщину. Если уж он пришел к ней в спальню, то между ними не может быть крови. Бар-Авва утихает, потом он говорит, что живет ради борьбы за свободу родины.

— Давно ли ты трогал женскую грудь в борьбе за свободу родины? — спрашивает Бар-Авву Мария. — Хочешь меня?

— Хочу.

— Что ты мне дашь за это?

— У меня ничего нет.

— Дай мне этот гвоздь, которым тебя хотели распять.

Бар-Авва отдает ей гвоздь. Мария тут же прыгает в сторону от него и кричит:

— Ишим!

Вбегает пубиец.

— Возьми его.

Пубиец хватается за Бар-Авву. Тот пытается вырваться, но у пубийца железная хватка.

— Мальчик, — говорит Мария, — ты не знаешь, с кем вмешаешь дело.

Потом поворачивается к пубийцу:

— Я поймала вора. Возьми его, одень и обуи в старую одежду моего мужа, накорми, напои, держи до утра, а утром выпусти.

Восход солнца. Раннее утро, туман. Человек, накормивший Бар-Авву, одиноко сидит на горе и смотрит на бесконечную дорогу, у обочины которой кресты с распятыми, на спокойное озеро, по которому скользит множество грубых лодок рыбаков, позолоченных шляпок Ирода, военных кораблей римлян. Далее крыши Магдалы, и множество голубей летает над долиной голубей у Магдалы.

День. Шумные улицы Магдалы. В лавках идет оживленная торговля, работают красильные, ткацкие мастерские. Римские солдаты выступают из города, садятся на коней, грузят на повозки военное имущество.

По улице идет Иахим, сборщик податей. Это маленький, подвижный, худой человек в одежде государственного служащего. За ним следует юнша-инсец с бумагами. Иахим кланяется римлянам, затем заходит в одну из мастерских и встречается там Анания. Они сердечно здороваются. Иахим говорит, что поскольку к торговым лавкам своим Ананий купил еще красильни и ткацкие мастерские, надо платить новый налог. Ананий, улыбаясь, отвечает, что он честно служит царю Ироду и честно служит римскому кесарю. Он всегда аккуратно платит долги. Он помнит, что имеет личный долг Иахиму, и готов отдать его немедленно, а о государственных долгах поговорим завтра. Иахим берет менючек с деньгами, кланяется и уходит.

Он подходит к воротам Марии и стучится. Мария сидит у себя и красит лицо, надевает золотые украшения. Появляется слуга и говорит, что пришел сборщик податей. Мария снимает с себя украшения, смывает краску с лица и выходит. Иахим поднимается ей навстречу, заглядывает в бумаги и официально объявляет:

— Мария, вдова кунца Паания, у тебя за прошлый год не уплачен еще долг в двести драхм.

Мария отвечает, что она бедная вдова, наследство, оставленное мужем, растратчено, она продала даже свои украшения. Иахим говорит, что двор у нее богатый, дом большой, надо платить налоги. Тем более, добавляет он:

— Я видел тебя недавно на рынке в множестве золотых украшений, которые тебе к лицу.

Мария смотрит на Иахима и говорит, что у нее к нему серьезный разговор. Пусть мальчик посидит здесь, а мы пройдем, чтоб нам не мешали. Нубисец дает мальчику абрикосы. Мария и Иахим проходят в соседнюю комнату. Мария говорит, что видела недавно на рынке жену Иахима. Бедная женщина, худая, там щупать нечего. Как он с ней живет? Она что, больная?

— Да, болеет.

— А ты мне давно нравишься. Я люблю таких маленьких, худеньких, немолодых. В них больше сил, чем в мускулистых.

Мария садится к Иахиму на колени, берет его руки и завсываает за пазуху. Иахим, обомлев, смотрит в одну точку.

— Я надеюсь, что долг оплачен, — говорит Мария.

— Но это долг за прошлый год, — хихикает Иахим. — Новый год, новые долги...

...Иахим входит в комнату, где мальчик ест абрикосы. Делово говорит Марии:

Хорошо, спасибо. До свидания, уважаемая.

Иерусалим. Большой шумный город. Огромный дворец Ирода, который занимает теперь Пилат. Масса высоких стен, башен и сверкающих кровель. У входа часовые. Входит и выходит множество народа, римляне и иудеи. Огромные залы вымощены белым мрамором. Луций идет по этим залам. У входа в кабинет дежурят легионеры. Луций входит, приветствует Пилата римским салютом. Пилат уже не молод, смотрит недоверчиво. Во время доклада прохаживается по комнате, заглядывает в окна. Кабинет с колоннами разноцветного мрамора, пол вымощен богатой мозаикой. Луций докладывает, что мятеж подавлен. К счастью, он не был слишком опасным, соседние области не поддержали галлеяев. Но положение трудное, всюду иудеи ждут Мессию, чтобы взяться за оружие, сражаются с фанатизмом, в его легионе немалые потери.

— Что с мятежниками? — спрашивает Пилат.

Триста человек расято вдоль дороги, как приказано, — отвечает Луций.

Пилат останавливается у окна и подзывает Луция. Из окна открывается великолепный вид на Иерусалим. Виден сад при дворце, где бьет множество фонтанов. Пилат говорит, что город красив и дворец красив, но фанатизм иудеев мешает наслаждаться этой роскошью, и он предпочитает большую часть времени проводить в Кесарии. Пилат спрашивает мнение Луция о причинах восстания. Луций отвечает уклончиво. Последнее время он провел в Риме

и, вернувшись, сразу должен был возглавить свой легион для подавления мятежа. Поэтому конкретные причины ему недостаточно известны. Пилат сухо отвечает, что причины должны бы быть известны каждому римскому начальнику. Пилат кивком показывает, что аудиенция окончена. Луций задерживается. У него еще один, частный вопрос. Он просит римское гражданство для одной иудейки из Магдалы.

— Любовница? — спрашивает Пилат.

— Да, я люблю ее, — отвечает Луций.

Тогда Пилат достает письмо и спрашивает, знакомо ли оно Луцию. Луций говорит, что нет, тогда Пилат возмущенно протягивает ему это письмо и говорит, что оно перехвачено его людьми.

— Это твое письмо, Луций, это твоя жалоба на меня императору. Ты пишешь, что причина восстания — я, правитель Иудеи. Ты пишешь, что даже полезные и необходимые мероприятия, такие, как строительство водопровода, я обращаю против интересов Рима, что иудеи восстали потому, что я использовал для строительства деньги, собранные ими на храм. Но это ложь. Иудеи против водопровода, потому что это делает их город более уязвимым при осаде. Отключая водопровод, мы оставим их без воды. Каждый римский патриот должен понимать, что иудеи — враги Рима.

Луций отвечает, что он не меньше, чем Пилат, римский патриот, он не купил свое гражданство, старинный род его восходит к Энею. Пилат отвечает, что когда речь идет о служении Риму, знатность и родственные связи не имеют значения. Немало знатных римлян казнено. Впрочем, он, Пилат, не злопамятен. Если Луций хочет получить римское гражданство для своей иудейской любовницы, он должен написать другое письмо. Луций стоит молча, потом садится, пишет, потом встает, разрывает письмо и уходит.

День. Магдала. Мария идет по улице. Она подходит к дому и стучит в ворота. Отпирают слуги. Мария входит во двор. Двор большой, с амбарами. Лежат мешки с зерном, стоят ящики. Рабы и слуги грузят зерно, перебирают оливки. Здесь же работает машина, выдавливающая масло из оливок.

Навстречу Марии выходит женщина лет тридцати пяти. Из разговора между ними выясняется, что это ее сестра Марфа. Марфа настроена враждебно и агрессивно против Марии. Она спрашивает Марию, зачем она пришла. Мария отвечает, что пришла повидать брата Лазаря. Марфа говорит, что ей здесь делать нечего. Мария возражает, что это дом ее отца. На что Марфа отвечает: «Наш отец перед смертью проклял тебя и просил меня не пускать тебя на порог. Ты блудница, подлая женщина, позоришь нашу честную семью». Мария, не слушая ее, входит в дом, спрашивает, где Лазарь. Марфа вдруг переходит на шепот и просит Марию тоже говорить шепотом. Марфа говорит, что Лазарь занят. Мария идет по комнатам и, когда она подходит к одной из дверей, Марфа загораживает ей дорогу. Она говорит, что дальше не пустит. Мария спрашивает, почему, Марфа отвечает, что там отдыхает их друг. В этот момент появляется Лазарь с сандалиями в руках. Сандалии большие и грубые, очевидно, Лазарь чистил их. Увидав Марию, Лазарь обрадовался, отдал сандалии Марфе и обнял сестру, они поцеловались. Мария спрашивает, чьи это сандалии. Лазарь отвечает, что это сандалии их друга, учителя. Мария говорит, что, судя по сандалиям, их друг бедняк и бродяга. Бедняка и бродягу они принимают с почтением, а родную сестру гонят. И чему же учит этот учитель? Лазарь отвечает, что он учит различать, что есть свет, а что есть тьма. Мария смеется и говорит, что ей и без учения это ясно. Мария поцеловала Лазаря и дала ему жемчужину на книги. Лазарь радуется, Марфа же сердито просит не смеяться громко, чтоб не разбудить учителя. Мария замечает на столе фрукты и вино, хочет взять их и попробовать, но Марфа говорит, что это для учителя. Мария говорит, что хотела бы хоть воды попить в доме своего отца. Она замечает стоящую на столе кружку с водой, берет эту кружку, пьет. Потом спрашивает, откуда эта вода, не шел ли кто из этой кружки? Потому что ее начало лихорадить после этой воды. Марию трясет все сильнее, ее вдруг вырвало, пена проступила на губах. Она упала на пол и забилась в припадке. Испуганный Лазарь побежал за слугами. Слуги подняли Марию, вынесли ее, положили на повозку и повезли домой.

Поздний вечер. Улицы Магдалы. Лают собаки. Вдоль заборов крадется фигура с закутанным лицом. Оглядывается, перелезает через забор, заглядывает в окно. В комнате при свете двух светильников сидят Ананий и Иахим. Ананий считает деньги. Иахим ему помогает. Одновременно они ведут разговор о Мессии. Ананий не верит в Мессию и говорит, что слухи о нем распространяют обманщики и бунтовщики, чтоб возбудить народ, которому хорошо живется при власти Ирода и римляни. Мессия же принесет с собой беду и разрушения. Иахим возражает, что приход Мессии предсказали пророки. Пророк Михей предсказал рождение Мессии в Ветлехеме. Мессия придет и спасет страну. Ананий смеется и говорит, что другие мудрецы предсказывают рождение Мессии из Генсаретского озера. Это всё фарисеи говорят о Мессии и воскресении мертвых, тогда как надо учить народ честно трудиться, здесь, на земле и быть верным царю Ироду и римскому кесарю.

В этот момент, фигура, разбив окно, ворвалась в комнату с криком: «Смерть предателю! Смерть римскому прислужнику!» И мгновенно перерезала горло Ананию пожом. Платок на лице развязался. Это был Бар-Авва. В страхе упал Иахим, дрыгая ногами. Бар-Авва спрашивает его, не хочет ли он пойти вслед за другом. Иахим отвечает, что нет. Тогда Бар-Авва говорит ему, чтобы он помогал собирать деньги в мешок. Бар-Авва спрашивает его, умеет ли он молчать. Иахим, дрожа, отвечает, что умеет. «Хорошо», — говорит Бар-Авва и бьет Иахима светильником по голове. Тот падает без сознания.

Поздний вечер. Бар-Авва стучит в дверь дома Марии. Открывает слуга. Бар-Авва говорит:

— Я хочу видеть хозяйку.

Выходит Мария.

— Я принес тебе деньги.

— Сколько здесь?

— Все твои.

— Поїдем.

Они идут и ложатся на постель.

Дом Анашия. Ананий лежит в луже крови. Вокруг него разбросаны деньги, которые Бар-Авва не успел подобрать. Тут же лежит без сознания Иахим. Иахим приходит в сознание, оглядывается, хватается за голову. Встает и начинает торопливо собирать разбросанные вокруг Анашия монеты, прятать их в карманы. Потом подбегает к ящичкам. Ящички заперты. Он находит топор, взламывает ящички. Упорно трудится, набивает мешки деньгами и драгоценными камнями. Наконец ящички и сундуки пусты. Он вытаскивает мешки и прячет их. Возвращается. Слышит с пальцев убитого перстни, выворачивает карманы, находит там мелочь и тоже прячет у себя. Все это делает, оглядываясь, дрожащими руками. Потом выбегает на улицу с криком: «Убили!» Распахиваются окна, зажигается свет. Иахим бежит, рвет на себе волосы, кричит и плачет: «Нашего Анашия убили!» Поды его одеяния развеваются, за ним с лаем бегут собаки.

Спальня Марии. Мария с растрепанными волосами, в одной рубашке, пересчитывает деньги, золотые и серебряные монеты. Отбрасывает одну: «Эта фальшивая». Замечает, что некоторые монеты вымазаны кровью. В это время за окном крики: «Убили! Убили!» Мария, улыбаясь, вытирает монеты и продолжает считать. Бар-Авва смотрит на нее с ужасом.

— Ты, Мария, — дьявол, — говорит он.

Мария пересчитывает деньги, поднимает глаза и говорит Бар-Авве:

— В следующий раз я за такие деньги с тобой спать не буду. Приноси больше. Ты слишком воюешь.

Яркий солнечный день. Шумный восточный базар. Блеют бараны, кудахчут куры. Шум голосов. Продают и покупают. В толпе выделяется красавица Мария, вся в золоте. За ней слуги с корзинами. Ведут осла с корзинами. Мужчины смотрят ей вслед и причмокивают, женщины плюют ей вслед. Одна женщина стукнула своего мужа, который загляделся на Марию. Мария идет, гордо, независимо улыбаясь.

В другом конце базара Марфа и Лазарь торгуют оливковым маслом. Подходит Мария. Здоровается. Лазарь радуется ей, Марфа хмурится и говорит, что она может купить оливковое масло в другом месте. Мария отвечает, что она хочет купить это масло. Она знает, что самое лучшее масло наше, с наших оливковых деревьев. Спрашивает, сколько стоит. Марфа называет очень высокую цену. Мария говорит, что дорого. Марфа отвечает, что денег у Марии хватает и ее деньги самые дешевые. Мария говорит, что ей завидно. Ее, Марфу, ни один мужчина не любит. Марфа отвечает, что только неприличная женщина может говорить такие слова при мальчишке, и указывает на Лазаря. Мария и Марфа продолжают обмениваться едкими репликами, когда подходит Иуда из Кариота с ящичком и просит подать на нищих.

— Здравствуй, Марфа, — говорит Иуда.

— Здравствуй, Иуда. Где учитель? — говорит Марфа.

— Он удалился для молитвы.

Марфа дает Иуде деньги. Иуда просит у Марии. Мария отвечает:

— Пошел прочь.

— Такая богатая женщина, и жалко дать на нищих, — говорит Иуда. — Нищие — это Божьи люди.

— Не приставай, — отвечает Мария, — Знаю я этих Божьих людей. Только и шуют, где б что украсть.

Подходит слуга-пубиец и пинает Иуду ногой. Вмешиваются посторонние, разрастается скандал. Мария ругается с толпой. Иуда говорит Марфе:

— Успокой свою сестру.

— Она мне не сестра, не хочу ее знать, — отвечает Марфа.

Толпа подступает к Марии. Она кричит толпе:

— Вы завидуете мне! Мужчины врут своим женам, потому что хотят мое тело, а женщины завидуют, потому что тела их дряблые, никому не нужные.

Появляется женщина, которая вытаскивает своего мужа и кричит:

— Скажи развратнице, кто она. Как она детей моих хотела оставить без куса хлеба.

Тут же плачут дети. Толпа угрожающе шумит. Тогда Мария вскакивает на помост и кричит толпе, что все они слабоумные и коварные грешники. Римские язычники чище и лучше их, жителей этой грязной страны. Толпа в ярости начинает метать в воздух пыль, бросать свои одежды и кричать, что эта блудница, которая спит с врагами, с язычниками, смеет оскорблять их, благочестивых иудеев. Марию хватают, она яростно сопротивляется, кого-то укусила за руку, кого-то ударила ногой. И при этом продолжает кричать оскорбления толпе. Какая-то женщина плюнула на нее, посыпались удары. Бьют и ее разбегающихся слуг. Марфа торопливо уводит плачущего Лазаря, который пытался помочь Марии.

— По Моисееву закону ее надо побить камнями, — кричали из толпы.

И Марию поволокли на пустырь.

— Народ, — сказал появившийся перед толпой Нахим. — У нас, иудеев, есть хороший обычай: в сомнительных случаях советоваться со знаменитыми раввинами. Не забывайте, что эта женщина все-таки из уважаемой семьи и вдова уважаемого человека.

— Отведем ее к тому пророку Галилейскому, — сказал какой-то книжник. — Пусть объяснит нам, как с этой женщиной поступить. Вы ходите слушать этого пророка, верните ему, вот и испытаем его, насколько он мудр. Как, с одной стороны, не нарушить Моисеев закон, а с другой стороны, проявить милосердие.

— Где учитель? — спросил кто-то у Иуды.

— Учитель сидит на берегу, — ответил Иуда.

Марию волокут, тащат за волосы по земле. Она продолжает кричать, извиваться. Ее держат несколько мужчин. Наконец ее бросили на землю, придавив голову ногой, и она видит перед собой грубые сандалии и слышит голос из толпы.

— Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?

Перед лицом Марии появился палец, который что-то чертил на земле. Толпа молчала, дышала вокруг, ожидая ответа. Палец исчез от лица Марии. Значит, человек выпрямился.

— Кто из вас без греха, первый брось в нее камень, — услышала Мария.

И опять палец появился перед ней и чертил что-то, писал на земле. Мария почувствовала, что ее отпустили. Ноги у лица ее исчезли, и лишь сандалии учителя были перед ней, и палец продолжал что-то писать на земле. Мария бессильно лежала в крови, истерзанная, пыльная. Палец вновь исчез, и учитель сказал:

— Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя.

— Никто, — отозвалась Мария разбитыми губами.

— И я тебя не осуждаю. Иди и больше не грехи.

Сандалии пропали от лица ее. Мария силлась подняться, но не могла. Она видит, с трудом приподняв голову, удаляющуюся фигуру в голубом плаще. Мария долго лежит обессиленная. Потом она чувствует, что кто-то касается ее. Это плачущий Лазарь. Лазарь оправляет на Марии одежды и целует ее.

— Будь они прокляты, — все время повторяет Мария.

Она сидит на жарком солнце, и ее трясет озноб.

— Мне холодно, — повторяет она, стуча зубами. — Будь они прокляты.

Лазарь приводит избитую, окровавленную Марию к себе в дом, сажает ее на лавку, бежит за водой. Входит Марфа, спрашивает, где Лазарь был, она искала его по всему городу. Марфа видит избитую Марию и спрашивает, зачем он ее сюда привел, она здесь не пужна. Мария сидит обессиленная, ничего не отвечает. Лазарь продолжает вытирать лицо Марии мокрым полотенцем, говорит Марфе:

— Ее учитель не осудил, а ты осуждаешь.

Марфа замолчала, сидит и смотрит. Потом поднялась, вышла, вернулась со своим платьем и подала Марии. Вдруг слезы брызнули у Марфы из глаз. Заплакала и Мария. Они

обнялись. И Лазарь обнял их обеих. Так и стояли плача. Потом начали между собой говорить. Какой-то трогательный разговор. Марфа говорит, что часто думала о ней и плакала псалмисте с собой. Ей надо отсюда уезжать. Куда-нибудь. Здесь ей жизни не будет. Мария отвечает:

— Я и сама это поняла. И хочу уехать в Рим.

Марфа замолчала, побледила, но потом сказала:

— Может, для тебя это лучше.

— Есть человек, который меня любит. Знатный римлянин. Он меня возьмет в Рим.

Марфа говорит ей, что жить с римлянином, с язычником — большой грех. Мария отвечает, что ей грехи не страшны, одним грехом больше.

Вечерние сумерки. Стоят упакованные тюки. Нубиенцы носят ящики. Мария укладывается, перебирает вещи, потом бросает их, складывает украшения и в одной из шкатулок находит гвоздь, смотрит на него и кладет в свою сумку.

Дорога в Иерусалим. Мария, Марфа и Лазарь на повозке. Проезжают мимо крестов. Вороны посятся вокруг трунов. Вдали на горе маячит одинокая фигура человека, смотрящего вдаль.

Дождь. Вечер. Повозка подъезжает к долине Геенна Огненная. На огромном пространстве кучи мусора и нечистот, объятые пламенем. Какие-то горбатые, длиннорукие люди ворочают горящие нечистоты, подбрасывая все новые с подъезжающих повозок. Дым и смрад в воздухе. Над горящими нечистотами посятся вороны и грифы. Марфа рассказывает испуганному Лазарю, что после смерти царя Соломона часть иудеев, соблазнившись и перенея обычай у живущих вокруг язычников, закалывала здесь младенцев, принося их в жертву идолу огня Молоху. Позднее, обратившись, иудеи так возненавидели это место, что превратили долину Геенну в большую свалку, куда свозят отовсюду нечистоты и сжигают их. С тех пор долина Геенна начала называться Геенна Огненная и стала земным образом ада. Ла-

зари притих и попросил ехать быстрее. Но вдруг у Марии глаза радостно заблестели. Она стала возбужденной, хрипло засмеялась и на хриплом, мужском, непонятном языке стала кричать непонятные слова:

— Алука... Алука... Ранеф... Девер... Азazel... Дай... Дай...

Лошади начали биться, стали на дыбы. Повозка опрокинулась, все вывалились. Мария вскочила и начала прыгать и плясать меж огней. Больших трудов стоило Марфе и Лазарю с помощью горбатых и хромых работников свалки поймать Марию, повалить ее и связать. Мария отбрасывала их от себя с пчеловеческой силой. Марию перенесли на повозку и с трудом, сдерживая хрипящих и косящих глазюм лошадей, повезли назад в Магдалу.

Магдала. Поздний вечер. Марфа принимает у себя в доме Иисуса. Целует ему руку. Говорит, что не знает, как быть. Плачет. Руки у нее искусаны, забинтованы. Говорит, что рабы и слуги боятся подойти к сестре, она бьет всех, кусает. Из соседней комнаты слышен вой и визг. Иисус говорит Марфе, чтобы она принесла таз с водой.

В соседней комнате Мария лежит вся в лохмотьях, мокрая, в испарине, с пеной на губах. Лазарь кормит ее с палки, заталкивает пищу в рот, как животному. Руки Марии скованы цепью. Она тянется к еде, но цепь не дает. Тогда она напрягается и разрывает цепь. Слуги бегут от нее.

Ночь. Луна светит в окно. Иисус велит поставить таз, полный воды, у открытого окна. Отражение луны колеблется на воде. Иисус спокойно подходит к беснующейся Марии и кладет ей руку на воспаленный лоб.

— Выйди из человека, ты, нечистый дух, — строго и властно сказал Иисус. — Как имя твое?

— Бельфегор, — послышался горластый выкрик из Марии.

— Я повелеваю тебе, Бельфегор, выйти из Марии и впредь в нее не входить.

Раздались визг, стои, Марию сотрясло, и таз с водой задрожал, часть воды расплескалась.

— Теперь ты, бес Лефиафан, — сказал Иисус. — Изыди вон.

Вновь сотрясся таз с водой, и вода расплескалась.

— Маммон, изыди... Изыди в бездну.

Снова сотрясся таз.

— Бес Асмодей, овладевший телом Марии, изыди... Изыди, Асмодей.

Таз задрожал.

— Изыди в бездну, бес Люцифер, я повелеваю тебе.

Таз едва не опрокинуло, много воды расплескалось.

— Вельзевул, — сказал Иисус. — Я узнаю тебя, Вельзевул.

Лицо Марии перекошилось, покраснело, потом посинело, челюсти ее злобно щелкнули.

-- Выйди вон, Вельзевул, в преисподнюю.

Сильный удар сдвинул таз к самому окну.

-- Сатана, -- возвысил голос Иисус. -- Я помню тебя, Сатана. Я видел, как ты, Сатана, подобно молнии, падал с небес. Так же изыди из Марии.

-- Ты, Христос, сын Божий, -- крикнула, корчась, Мария грубым, чужим голосом.

— Запрещаю тебе, Сатана, сказывать, что я Христос. Изыди прочь...

Медный таз сиюминутно от удара, таз опрокинулся, вода закипела, обратившись в пар. Мария задрожала и затихла, побледнев.

— Она умерла, — воскликнул Лазарь.

— Она спит, — сказал Иисус.

Он взял сияющую Марию за руку, поднял ее и сияющей усадил на скамью. Лицо Марии стало спокойным. Она дышала ровно и глубоко — бесы оставили ее, она здорова.

День. Жарко. Слышно блеянье овец, кудахчут куры. Мария лежит одна в комнате. На ней чистая рубашка. Открывает глаза, осматривается, встает, ходит по комнате, не осознавая, что с ней произошло. Выходит в соседнюю комнату. Там сидит Лазарь и читает книгу. Лазарь откладывает книгу, обнимает Марию, целует. Спрашивает, хочет ли она есть.

Мария отвечает, что не хочет. Лазарь говорит, что наконец-то она здорова. Мария отвечает, что не помнит, что с ней было. Последнее, что помнит, это как ее била толпа. Лазарь говорит, что ей надо бы пойти к учителю. Мария спрашивает, к какому учителю. Лазарь отвечает: к тому, кто тебя не осудил, к тому, кто тебя спас, к тому, кто тебя вылечил.

— Зачем мне идти к нему? — говорит Мария. — Что может он мне сказать об этом мире мужчин? Что может он мне сказать, чего я не знаю?

Дом Марии. Жара. Летают мухи, кудахчут куры. Мария сидит опущенная, подавленная. Входит пубнец-слуга и говорит, что нужны деньги на угощение. Должен прибыть караван богатого купца из Сирин. Мария достает деньги. Это мешок, который дал ей Бар-Авва. Он иссачкан в крови. Мария бросает мешок на пол, деньги рассыпаются.

— Возьми, сколько тебе надо, — говорит Мария.

Сама сидит, подобрвав под себя ноги. Ее начинает бить дрожь.

Улица Магдалы. Идет караван. Верблюды, ослы, лошади. Много товара. В караване едет группа богатых одетых всадников. Среди них богатый купец Кемал в окружении свиты. Он говорит, что сейчас познакомит спутников с самой красивой женщиной, которую можно встретить в Иудее. Как персик.

Мария у себя в комнате наверху. Красится перед зеркалом, подводит брови, щеки, навешивает украшения. Все это она делает механически, душа ее где-то далеко отсюда. Ей прислуживают рабыни. Еще одна рабыня подбирает разбросанные деньги.

Двор дома Марии. Богато накрытый стол. Сидят купец Кемал и его свита. Пубнец и остальные слуги подают им еду и питье. Тут же Мария. Купец Кемал говорит ей:

— Пойдем наверх, мало времени у меня.

— Я не пойду с тобой, — отвечает Мария.

Купец удивляется, спрашивает, почему.

— И за это не пойдешь? — Дает ей еще денег.

— И за это не поиду, ты мне не нравишься.

Купец в гневе:

— А деньги мои тебе нравились? Подарки мои тебе нравились? Ты мне должна много денег. Ты мне должна свою любовь дать, хочешь ты или не хочешь.

Разговор накаляется. И в этот момент Мария замечает в свите кунца молодого горбатого погонщика: — С ним хочу, а с тобой — нет.

Купец задет, это его оскорбляет, и он принимает вызов.

— Давай, — говорит он.

— Только здесь, при всех, — говорит Мария.

— Давай, — говорит купец.

Мальчик-уродец неумело залезает на нее, что-то неумело пытается делать. Мария во время его попыток разговаривает с ним и с остальными, спрашивает, хорошо ли ему, правится ли это всем. Зрелище неприятное, все отворачиваются. Купец не выдерживает, сбрасывает уродца с Марии, бросает ей деньги и говорит:

— Ты дьявол, Мария.

Купец и его свита уходят. Мария остается лежать, потом вскакивает, хватается за деньги, выбегает на улицу и бросает часть денег вслед кунцу:

— Это за то, чтоб ты больше не приходил.

Она начинает кричать:

— Кто хочет меня? Сегодня бесплатно.

Через улицу слепит слепой, просит милостыню. Она подбегает к нему:

— Хочешь меня? Вот тебе деньги. — Бросает ему деньги. — Понюхай меня.

Слепой нюхает и улыбается. Мария кричит, обращаясь к народу. Открываются окна. Мария кричит, что сегодня бесплатно для всех, кто хочет ее. Окна начинают закрываться. Женщины отталкивают мужчин. Какой-то пьяный увязался за Марией. Кричит, что он хочет. Мария, не обращая на него внимания, идет в сторону рыска, крича:

— Кто хочет меня?

Рынок. Толпа. Мария раздвигает толпу, выходит на середину крича:

— Мужчины, кто хочет меня? Посмотрите на мои волосы, посмотрите на мои плечи, на мои бедра. Я одна ваша любовница, ваша богиня!

Женщины отворачиваются, плюются. Кто-то поднимает камень. Мария замечает и кричит:

— Кидай в меня, кидай!

Взявший камень замер.

— Почему вы не побили меня камнями тогда? Сделайте это сейчас.

Мария рвет на себе одежду, разбрасывает золотые украшения. Вокруг хохочут, потом пугаются.

— Нет мне прощения! — кричит Мария.

Расталкивая толпу, к Марии пробирается Луций с римскими солдатами. Луций обвиняет ее, она вырывается, не узнает его, кричит. Вырывающуюся Марию кладут на повозку и увозят.

Повозка. Луций спрашивает Марию, отчего она так бледна, что с ней случилось. Он слышал, что она была больна.

— Я послал тебе своего врача-грека, твоя сестра не приняла его. Но теперь все позади, мы уедем в Рим. Пилат отказал тебе в гражданстве, но мы добьемся гражданства для тебя через Сенат. В Риме совсем другие нравы, совсем другая жизнь.

Мария на все эти разговоры, как бы не слыша их, отвечает:

— Нет мне прощения.

Кесария. Большой порт. Много кораблей. Идет погрузка на корабли. На берегу одного из кораблей Луций разговаривает с капитаном о маршруте корабля, о продолжительности плавания.

Потом Луций спускается в каюту. Луций весел, возбужден, рассказывает Марии о маршруте плавания, о стоянках, об островах, куда они по дороге приплывут. Вдруг

Мария говорит: «Я не поеду». Луций ошарашен, спрашивает, почему. Она повторяет: «Я не поеду». Луций начинает уговаривать ее, говорит, какая жизнь ожидает ее в Риме. Если ей угодно, он согласен, чтоб она имела любовников. Пусть даже она станет любовницей императора, он согласен. Главное, увезти ее отсюда. Мария непреклонна, она идет к двери. Тогда Луций преграждает ей дорогу, хватается за нее, начинает срывать с нее одежды, бросает на кровать. Мария борется с ним, нащупывает свою сумку, нащупывает гвоздь, который дал ей Бар-Авва, и втыкает этот гвоздь Луцию в спину.

В это время слышен топот ног, матросы убирают сходни. Мария вскакивает, выбегает на палубу, бежит по сходням вниз. Луций с окровавленной спиной бежит за ней. Он сбегает с пристани на берег, ищет ее в толпе, мечется и вдруг видит ее, сидящую на песке, обхватившую колени руками. Он подходит и садится рядом. Они долго сидят молча. Луций говорит ей:

— Я не сержусь на тебя, я понимаю твое состояние. И я не могу сердиться на тебя, потому что я люблю тебя. Ты лучшая женщина из тех, кого я знал, а я знал многих женщин. Ты должна быть моей. Я дам тебе новую жизнь.

Мария отвечает:

— Ты мне новую жизнь дать не можешь.

Рынок. Стараясь быть неузнанной, закутав лицо платком, Мария покупает у торговца дорогое миро. Она дает за него свой дорогой золотой браслет с бриллиантами. В этот момент жена купца узнает ее. Она кричит, что это та сама прелюбодейка. Вокруг собирается толпа, начинаются насмешки. Она идет в окружении смеющейся, издевающейся над ней толпы. Кто-то бросил в нее арбузную корку, кто-то сорвал с ее головы платок, который так и остался лежать на земле. И постепенно из затравленной униженной женщины среди толпы Мария преобразуется: выпрямляется, прижимая к себе миро, глаза ее начинают светиться. Она идет, не обращая внимания на насмешки и оскорбления.

Дом Симона-фарисея. В передней много обуви. Среди обуви грубые сандалии учителя. Мария в том же состоянии, с миром в руках проходит через комнаты. На нее смотрят. Кто-то преградил ей дорогу, но отступил. В глазах ее какая-то сила и решительность.

Обедающие возлежат за столом. Босые ноги их обращены в сторону. Иисус говорит Симону-фарисею, что собирается идти на Иерусалим, чтоб принести свое учение в храм. Мария прямо подходит к Иисусу. Обильные слезы ее текут на его босые ноги. Она склоняется все ниже и начинает длинными своими волосами вытирать ноги Иисуса, целовать их и мазать миром. Симон-фарисея недовольно отвернулся, и какой-то гость шепнул ему:

- Если б он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему

Иисус сказал:

- Симон! Я имею нечто сказать тебе.

Симон ответил:

- Скажи, учитель.

Иисус сказал:

- У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?

- Думаю, тот, которому более простил, - отвечал Симон.

- Правильно ты рассудил, - сказал Иисус и, обратившись к Марии, которую до того как бы не замечал, сказал Симону: - Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты водил на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор как пришла, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.

Иисус положил руку на голову Марии и сказал:

- Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром.

Мария, пошатываясь, счастливо выходит из дома. Она идет на какой-то задний двор, где телята и ягнята, прислоняется к глинобитной стене, сползает вниз. Светлые тихие слезы текут по ее лицу. Вокруг нее играют ягнята и телята. В первый раз с надеждой смотрит Мария на небо.

Мария продает свой дом Иахиму. Прощается со слугами, дает им деньги. Иахим говорит ей, что как старый друг ее покойного мужа он постарается, чтоб в доме все оставалось, как было. Иахим дает Марии деньги в тех мешочках, которые он украл у Анания. Мария узнает мешочки, улыбается.

Берег Генисаретского озера. Толпа ожидает Иисуса. Разные лица, разные разговоры в толпе.

Одни говорят:

— Он точно пророк.

Другой:

— Он Мессия Христос.

Третий:

Нет, он обольщает народ.

Четвертый:

— Не Иисус ли это, плотник, назарянин, которого мать и отца, братьев и сестер мы знаем? Как же это он говорит: я сошел с небес?

В толпе несколько римлян. Среди них Луций, которому Иахим все время шепчет на ухо. Луций слушает его довольно рассеянно, смотрит по сторонам, спрашивает, будет ли здесь Мария. Иахим отвечает, что женщина эта, по его мнению, с ума сошла, все деньги раздает нищим и ученикам этого назарянина. Такой дом продала, я дал ей столько денег, а она все раздает.

В это время на горизонте показалась лодка. Люди подошли ближе к берегу. Иисус начинает проповедовать с лодки, но Луций его не слышит, он увидел в толпе Марию и пробирается к ней. Мария говорит ему:

— Прости меня, но уходи, я тебя больше не хочу видеть.

Луций отвечает:

— Ты променяла меня на этого нищего, на этих сумасшедших бродяг. Мы таких видим каждый день, сколько мы их уже распяли вдоль дороги. Ты ведь умная женщина, и удивляюсь, как ты можешь в это верить. Я достаточно слышал о вашем учении и не могу понять, как можно прельщаться пустыми сказками этой веры.

— Если б ты, Луций, знал дар Божий, заключающийся в нашей вере, то с радостью принял бы нашу веру. И ты сам, и народ твой отверг бы ложных богов, идолов, сделанных человеческими руками.

— Ты порицаешь богов, покровителей Римского государства. Без этих богов рухнул бы мир и варвары задавили бы всю цивилизацию. И вашу Иудею тоже. Ты и верно сошла с ума, раз говоришь такое. Ты знала милость Рима, но ты еще не знаешь гнева Рима. Ты и твои бродяги будете раздавлены.

День. Жара. Дорога в Иерусалим. У дороги сидит слепец, просит милостыню. Он слышит топот многих ног.

— Что за народ идет? — спрашивает он.

— Иисус Назорей с людьми своими идет на Иерусалим, — отвечают из толпы.

Мимо слепца проходит толпа. Иисус идет, окруженный учениками. Среди них и Мария.

Дом Марии, Марфы и Лазаря в Вифании. На постели лежит умирающий Лазарь. Он прощается с плачущими Марией и Марфой. Тут же лекарь говорит Марии и Марфе, что ничем нельзя помочь. Марфа платит лекарю, тот уходит. Мария говорит, что помочь может только один человек. Он в Иерусалиме. Она выбегает из дома, хватается коня и скачет в Иерусалим.

Иерусалим. Храм. Проводеи Иисуса и его борьба с врагами, задающими коварные вопросы. В самый разгар спора к Иисусу подбегает человек и говорит:

— Иисус Назорей, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя.

Иисус отвечает:

— Иди и скажи посланной тебя лисице, учу сегодня и завтра и в третий день кончу.

Подходит Мария и говорит:

— Господи! Тот, кого ты любишь, болен.

— Это болезнь не к смерти, но к славе Господней. Да прославится через нее сын Божий, — отвечает Иисус.

— Придешь ли, учитель? — спрашивает Мария.

— Приду через два дня.

Мария и Марфа над умершим Лазарем. Горе Марии и Марфы.

По дороге идет Иисус с учениками. Петр говорит:

— Равви! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда.

Иисус отвечает:

— Лазарь, наш друг, уснул, но я иду разбудить его.

— Господи, если уснул, то выздоровеет, — сказал Иоанн.

— Лазарь умер, и радуюсь, что меня не было там, дабы вы уверовали, — ответил Иисус. — Но пойдём к нему.

— Пойдем и мы, умрем с ним, — сказала Фома.

Вифания. Похоронная процессия. Хоронят Лазаря. Убитые горем Мария и Марфа. Здесь же воят наемные плакальницы, дуют флейтисты. Среди гостей скорбный Иахим, который утешает Марию, нежно держа ее за талию.

Вифания. Собирается возбужденная толпа. Приехал всадник, сообщил, что опять этот назарянин идет сюда. Он бунтовщик, и римляне за него покарают нас. Толпа берет камни и палки.

Поминки у Марии и Марфы. Кричат наемные плакальницы, дуют флейтисты. Много гостей едят и пьют. Приходит слуга и тайно шепчет Марфе на ухо, что пришел учитель. Марфа спрашивает, где он. Слуга отвечает, что на дороге у входа в Вифанию.

Лучше б он уходил. Лазарь уже умер, а для учителя опасно здесь. Я пойду ему скажу, чтоб он уходил. Никому больше не говори, что он здесь.

Марфа идет, оглядываясь. Видит Иисуса сидящим на камне у дороги. Марфа говорит, плача:

— Господи! Если б ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог.

Иисус отвечает:

— Воскреснет брат твой.

Марфа говорит:

— Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день.

Иисус ответил:

— Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Вернишь ли сему?

— Так, Господи! Я верую, что ты Христос, сын Божий, грядущий в мир.

— Где Мария?

— Я припшлю ее.

Поминки. Марфа приходит, отзывает Марию в сторону и тайно шепчет ей:

— Учитель здесь и зовет тебя.

Мария поспешно вышла. Иахим говорит другому гостю:

— Она пошла на гроб, плакать там. Поїдем за неї следом.

Иахим и еще несколько гостей встают и выходят.

Мария видит Иисуса сидящим на том же камне. Она падает ему в ноги и говорит:

— Господи! Если б ты был здесь, не умер бы брат мой.

И Мария начинает сильно плакать. Иахим и другие гости тоже начали плакать. И Иисус тоже заплакал.

— Смотри, как он любил его, — сказал Иахим.

Другой гость сказал:

— Не мог бы сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?

Иисус говорит:

— Где вы положили его?

К тому времени неподалеку собралась большая толпа с камнями и палками, требуя, чтоб Иисус удалился, и угрожала ему. Иахим, оглянувшись, увидел толпу, понялся и побежал. Он прибежал назад в дом к Марфе, сел за стол и начал есть. Вокруг никого нет, все пошли к гробу. Иахим сел, трусливо прислушиваясь. Вдруг он слышит крики толпы. Иахим выглянул и видит Иисуса и Лазаря. Оба идут обнявшись, улыбаясь. Вокруг толпа радостно приветствует, крича: «Осанна! Ты чудотворец! Ты Мессия, царь Иудейский!»

Иахим выбежал, сел на осла и задними тропками поскакал в Иерусалим.

Иерусалим. Во дворце у Храмовой горы в зале Тесаных камней заседает синедрион. Заседают седобородые старцы, саддукеи и фарисеи. На возвышении меж фарисеями и саддукеями восседает первосвященник Канафа. Иахим как свидетель чуда выступает перед синедрионом.

— Это подлинное чудо, — говорит Иахим, — но мы не можем верить в этого чудотворца. После воскресения Лазаря многие уверовали в него.

— Если оставить это так, — говорит один из саддукеев, — то придут римляне и овладеют местом нашим и пародом.

Говорит Иахим:

— Народ объявит его царем Иудейским и откажется платить подати.

Среди фарисеев сидело двое с лицами помоложе. Один из них был Иосиф, другой Никодим, богатые люди и уважаемые члены синедриона. Никодим сказал:

— Не следовало ли бы сначала узнать назаретское учение, прежде чем осуждать?

Ответил саддукей:

— И ты из Галилеи. Рассмотря и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.

— А откуда вышел Иона? — сказал Иосиф. — Откуда пришел Бог, откуда пришел Иосия?

— Вы ничего не знаете, — властно прервал дискуссию Канафа, — и не подумаете, что лучше нам, чтоб один человек умер за людей, чем весь народ погиб.

— Только не в праздник, реб Канафа, — сказал Иахим. — Может произойти бунт среди преданного ему народа.

— Надо искать удобного случая, — сказал Канафа. — Или в Иерусалиме, или в ином месте, где тот ученик покажет, но после праздника, когда в священном городе опять восстановится покой.

— А может, тайно умертвить назарянина? — сказал фарисей. — У нас нет основания для законного суда над ним. По талмуду полагается два свидетеля, и обвиняемый может вызвать свидетелей в свою защиту.

— Нет, — говорит Канафа, — тайно убить надо Лазаря как живого свидетеля чуда, а назарянина надо публично подвергнуть позорной казни, чтоб запугать толпу.

Канафа просит голосовать. Все члены синедриона, в том числе Иосиф и Никодим, голосуют за смерть. Иахим кланяется Канафе, целует у него руку и уходит. Члены синедриона встают со своих мест, расходятся, каждый говоря о своем. Один саддукей рассказывает другому, что на свадьбе дочери одного раввина подали триста блюд из рыбы.

— Этот синедрион давно уже не соблюдает иудейские законы, — тихо говорит Никодим Иосифу. — С тех пор, как Ирод избил многих фарисеев, в синедрионе заседают не истинные, а подкрашенные фарисеи. А саддукеи давно уж служат не иудейскому закону, а римлянам и Ироду. Если бы вместо Канафы здесь сидел покойный Гиллель, назарянина никогда бы не приговорили к смерти.

— Почему же ты не сказал это? — спросил Иосиф.

— Я боюсь, — ответил Никодим.

— И я боюсь, — говорит Иосиф. — Симон, сын покойного реб Гиллеля, недаром сказал: нет ничего выше молчания.

Вифания. Дом Марии. Мария сидит у окна и вышивает полотенце. Входит Иахим и шепотом сообщает ей, что у него есть сказать нечто важное. Нашептывает Марии, чтоб она и Марфа забрали Лазаря и быстрее уехали отсю-

да. Будет плохо всем, кто общался с назарянином. Надо преждать, пока утихнет. Марня молча слушает с печальным и озабоченным лицом.

Дом Марни, Марфы и Лазаря в Вифании. Иисус с учениками обедают. Марфа хлопочет, Марня сидит между Иисусом и Лазарем. Марня встает, берет сосуд с миром и, разбив сосуд, возливает Иисусу на голову.

— К чему сия трата мира? — говорит Иуда. — Ибо можно продать миро более, чем за триста динариев и раздать нищим.

Иные ученики тоже ронцут, согласные с Иудой.

— Оставьте ее, — говорит Иисус, — что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда вместе с собой и, когда захотите, можете их благотворить, а меня не всегда вместе. Она сделала, что могла, предварила помазать мое тело к погребению. Истинно говорю вам, где ни будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет, в память ее о том, что она сделала.

Раннее утро. Марня идет по двору с вышитым полотенцем в руках. Слышен шум из старой плотницкой. Марня подходит. Иисус работает на столярном верстаке. Маленькое каменное колесо вертится силой другого большого колеса. Иисус приставляет к колесу деревянную соху, которую чинит, — и дождь опилок летит от соприкосновения дерева с быстро вращающимся колесом верстака. Марня долго стоит и смотрит, как работает учитель. Потом дает ему вышитое полотенце. Иисус берет, вытирает лицо и повязывает полотенце вокруг талии.

Вифания. Ветреный холодный вечер. Тучи застилают Елионскую гору. Апостолы стоят в отдалении тесной кучкой, ожидая, пока Иисус простится с Марней, Марфой и Лазарем. Иисус обнимается с каждым из них, целуется.

— Да не смущается сердце ваше, — говорит Иисус. — Веруйте в Бога и в меня веруйте.

— Мы любим тебя, учитель, — говорит Марня.

— Если любите, соблюдайте мои заповеди, — сказал Иисус. — Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей.

Иисус повернулся и пошел. Мария, Марфа и Лазарь долго смотрят вслед Иисусу, пока он, окруженный апостолами, не скрылся на горизонте.

Вифания. Ночь в доме Марии, Марфы и Лазаря. Лазарь хочет идти к учителю. Мария и Марфа не пускают его, отнимают у него одежду. Тогда он вырывается и, набрасывая на голое тело одеяло, убегает.

Рассвет. Лазарь бежит по улице. Холодно. Лают собаки. Слышны возбужденные голоса. Лазарь подбегает к Гефсиманскому саду. Сквозь ветви масличных деревьев мелькают красные языки светильников и факелов. Возбужденная толпа с кольями и мечами теснилась и переговаривалась. И все это освещалось утренней бледной луной. «Как связали Иисуса Назорея, так свяжем и всех, кто с ним», — говорили в толпе. «Он хотел принести свое презренное учение из Галилеи в святой храм».

Лазарь вошел в толпу, слушая разговоры. Он понял, что учителя арестовали и увели, но не знал, куда. Он ходит и прислушивается. Кто-то из толпы узнает его: «Это Лазарь! Тот, кого воскресил пазарянин». Испуганный Лазарь побежал. Толпа погналась за ним, схватила за одеяло, но он, оставив одеяло у них в руках, побежал нагой.

Мария бежала к дому, где была тайная вечеря. Она входит в дом. Двери распахнуты, никого нет. Стоят блюда с остатками пицци, бокалы недопитого вина. На полу лежит оброненное полотенце, которое Мария вышила и подарила Иисусу. Мария поднимает полотенце и прячет его у себя на груди.

Голый Лазарь прибегает домой и говорит Марфе, что учителя схватили и увели, но он не знает, куда. Плачущая Марфа одевает плачущего, дрожащего Лазаря, отпаивает его теплым вином. Зубы Лазаря стучат о край стакана.

Мария по мостику переходит через Кедронский ручей, спускается по откосу. Навстречу ей, карабкаясь по склонам, бегут апостолы, то скрываясь, то появляясь меж кустарников.

— Где учитель? — спросила у них Мария. — Куда его повели?

Не отвечая, апостолы продолжают бежать.

— Петр, где учитель?

— Не знаю... Ничего не знаю.

Потом Петр остановился и сказал:

— Они хотят убить нас.

И скрылся в кустах.

— Мария, — вдруг окликнул кто-то.

Мария обернулась. Это был Иуда.

— Куда? — спросила Мария, — Где учитель наш?

— Предал я учителя нашего, Мария, — громко плача, сказал Иуда. — За цену бедного раба предал. Я видел, как бродяги и слуги плевали ему в лицо, били его по щекам. Нет мне прощения.

Он пошел к кустам, потом обернулся.

— Я не знал, Мария, я не знал... Я бросил тридцать серебрянников.

— Где учитель?

— Учитель сказал мне: сын человеческий идет, как инею, но о нем, по горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше б этому человеку не родиться.

И Иуда скрылся в кустах.

— Иуда, пойдем с тобой к учителю нашему. Пади ему в ноги, проси о прощении. Он простит тебя.

Иуда скрылся в кустах, потом снова появился.

— А они что, Мария, любимые ученики... Они все оставили его и бежали. А Петр отрекся... Я слышал... До третьих петухов... Не я один... Они тоже предатели.

И Иуда скрылся в кустах.

— Иуда! — кричала Мария, продираясь сквозь кустарники.

— Я здесь, — снова выглянув из кустов, тихо сказал Иуда. — Знаешь ли ты, Мария, что я учителю родствен-

ник, троюродный брат... Как и ты, я был бесноватый и, как из тебя, учитель изгнал из меня бесов... Да видно, вернулись...

И Иуда скрылся.

— Иуда, где учитель наш? — звала Мария.

Иуда больше не отвечал. Потом Мария, словно чувствуя, что кто-то на нее смотрит, обернулась. Иуда смотрел на нее сквозь кустарник пристально расширенными глазами.

— Где учитель, Иуда?

Иуда не отвечал. Мария подошла, тронула его, он поколебался. Лишь тогда она заметила веревку у него на шее. Иуда висел низко над землей, почти касаясь мокрой травы концами своих сандалий.

Иерусалим. В одной из комнат Иродова дворца стоит у окна Клавдия Прокула, жена Понтия Пилата. Она видит в окно внутренний двор. Там стоит связанный Иисус под охраной солдат. Рядом с ним, тоже связанный, плохо видимый мужчина. Среди охранников Тит с повязкой на глазу. У столика сидит усталый, сердитый и растерянный Пилат. Со стороны площади слышны злобные крики толпы, требующей смерти Иисуса. Клавдия Прокула просит мужа, чтоб он не делал ничего дурного этому праведнику. Она рассказывает, что видела тревожный и мучительный сон об этом праведнике в утренние часы, когда сны бывают истинны. Такой же сон видела Кальпурния, жена Цезаря, накануне его убийства. Пилат с растерянностью и злобой отвечает, что эти иудейские фанатики хотят смерти назарянина. На него, Пилата, достаточно уже написано доносов императору, и он не может довести дело до нового взрыва. В толпе могут быть доносчики. Тем более что министр Сеян, покровитель Пилата, теперь в немилости у императора. Из-за окон доносятся крики: «Расши, расши его!» Пилат говорит: «Слышите, они считают этого человека опасным преступником». Клавдия Прокула отвечает, что по праздникам у иудеев существует обычай отпускать одного из преступников. Пилат соглашается и велит привести двух заключенных: назарянина и опасного убийцу.

Во дворе под охраной солдат стоит Иисус. Тут же священный Бар-Авва.

— Теперь ты не уйдешь, — злорадно говорит Бар-Авве Тит, — заплатишь мне за мой глаз.

Приходит посыльный и велит вести обеих арестантов наверх к Пилату.

Пилат выводит Иисуса и Бар-Авву на балкон. Он говорит толпе:

— У вас есть обычай в праздники отпускать одного из преступников. Вот перед вами Иисус Назорей и Бар-Авва. Я считаю, что Иисус Назорей невиновен, он ничего дурного не сделал. А Бар-Авва — убийца, разбойник и вор. Кого вы хотите, чтоб я отпустил?

— Бар-Авву! — кричит возбужденная толпа.

— Се царь ваш Иудейский, — говорит Пилат, указывая на Иисуса.

— Нет у нас царя, кроме римского кесаря. Ты не друг кесаря, если так говоришь.

— Се человек.

— Распни его! Распни его! Кровь его на нас и детях наших.

Пилат велит отпустить Бар-Авву, а Иисуса передает Луцию для пытки и распятия. Он велит подать себе воды и на глазах толпы умывает руки. Луций с солдатами уводят Иисуса. Недовольный Тит развязывает руки Бар-Авве.

— Береги второй глаз, — говорит Бар-Авва Тигу.

Он спускается с балкона и попадает в объятия ликующей толпы.

Двор претории. Римляне весело и злобно обступают Иисуса. Луций велит сорвать с него одежды и с издевкой просит одеть по-царски. С Иисуса срывают пронитанные кровью одежды и одевают его в старый пурпурный военный плащ, принесенный из гардероба. Луций велит вместо венца надеть венок из терний. Солдаты со смехом сблевают венец из колючих ветвей и надевают на голову Иису-

са. Кровь течет по лицу Иисуса. Луций велит дать Иисусу в руки скипетр. Приносят старую бамбуковую трость. Слабые, связанные руки Иисуса не держат трости. Тогда Луций в злобе хватается трость и бьет Иисуса этой тростью по голове.

Мария с полотенцем в руках бежит по узким тропкам, вбегает в город.

Претория. Вереница солдат движется мимо Иисуса, становится со смехом перед ним на колени, кланяется ему, потом поднимается и плюет на него.

— Готов ли крест? — спрашивает Луций.

С Иисуса снимают военный плащ и одевают его в прежние одежды.

Иерусалим. Двигается крестное шествие. Отряд римлян с Луцием во главе окружает приговоренного. Вокруг теснится толпа. Иисус идет, согнувшись, избитый, истерзанный, оставляя на дороге кровавые следы своих босых ступней. Мария с трудом продирается сквозь толпу. Впереди Иисуса идет герольд, который выкрикивает преступления, в которых Иисус обвиняется. Римский воин несет табличку с насмешливой надписью: «Се царь Иудейский».

Мария приблизилась к Иисусу, их глаза встретились, и она полотенцем вытерла кровь и пот с лица учителя. Ее оттесняют. Крестное шествие движется дальше. Мария разворачивает полотенце. На полотенце — сияющий лик Иисуса в терновом венце.

Голгофа, облаженное круглое лобообразное возвышение. Здесь на землю положены три креста. Рабы еще заканчивают копать три ямы, в которые кресты с распятыми будут вставлены. Римлянин приколачивает к кресту посередине табличку: «Се царь Иудейский». С Иисуса и с двух разбойников, предназначенных для казни вместе с ним, снимают одежды. Осужденных кладут на кресты.

— Отче, — говорит Иисус, лежа на кресте, — прости им, ибо не знают, что делают.

Римлянин перебирает огромные острые гвозди, лежащие в ящичке, чтоб выбрать, какие именно вогнать в ладони. Луций подходит к нему, достает гвоздь, которым его ранила Марья, и говорит:

— Этот гвоздь вколотишь в левую ладонь царя Иудейского.

Римский солдат берет гвоздь.

Мы следим за распятием по разным лицам у креста. Многие молчат, но некоторые издеваются, издают оскорбительные возгласы, предлагают Иисусу сойти с креста, если он уж так могуч, что мог разрушить храм и в три дня построить его. И седые книжники не стыдятся кричать оскорбления вместе с чернью, переговариваются между собой. «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израиля, сойди с креста, чтоб мы видели и уверовали». Римские солдаты смеются вместе со всеми, подносят к его воспаленным устам кислое вино. Злословят и разбойники, распятые вместе с ним. Но среди этих лиц лицо Марии и других благочестивых женщин. И лицо учителя, полное царственного безмолвия. В угасающем земном сознании Иисуса звучат божественные псалмы, которыми он пронзается со своей земной жизнью.

Голгофа, вечернее солнце опускается над горизонтом. Кресты разбойников уже пусты, их сняли и погребли. К кресту с телом Иисуса пришли Иосиф и Никодим. С ними Марья и иные женщины. Снимают тело с креста. Иосиф принес дорогое полотно, Никодим со слугами своими — сто литров смирны и алая. Марья и другие женщины обрядили тело. Марья просит у Иосифа продать ей гвоздь, но Иосиф отвечает, что купил право на похороны и все сохранил у себя как святыню.

Тело Иисуса переносят в сад Иосифа, кладут в гробницу, высеченную в скалистом холме. Вход в гробницу заваливают тяжелым камнем.

Иерусалим. Ночной сумрак раннего рассвета. Мария с миром идет к гробу. В городе крики, мелькают факелы. Мимо Марии пробегает окровавленный человек. Мария успела встать за угол. Появляется озлобленная толпа с камнями и кольями. Впереди толпы, несмотря на хромоту, быстро бежит маленький, кривобокый, одноглазый человек.

— Савл, — крикнул одноглазому соглядатай, — он туда побежал.

Савл с толпой бежит следом за человеком. Переждав, Мария идет дальше. Подойдя к пещере в саду, она видит, что камень отвален, и бежит назад в Иерусалим, чтоб известить апостолов. Мария стучит в дверь. Долго не открывают. Наконец отперли, узнали ее. Мария говорит:

— Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его.

Тотчас вышли Петр и Иоанн и побежали к гробу. Иоанн был моложе и бежал быстрее. Подбежав первым, он увидел лежащие пелены, которыми было обвито тело, но не вошел в пещеру. Следом прибежал Петр и вошел в пещеру. Иоанн вошел тоже. Потом они вышли в смущении и пошли назад. Когда они ушли, к гробу прибежала Мария. Плача и безутешно скорбя, она наклонилась в низкий вход пещеры и видит двух юношей в белом одеянии. Это были ангелы, но Мария не поняла этого.

— Жена, чего ты плачешь? — говорят они ей.

— Унесли Господа моего, и не знаю, где его положили.

Юноши в этот момент встали почтительно, кого-то приветствуя. Мария оборотилась назад и видит неясную фигуру позади себя. Фигура спрашивает:

— Жена, чего ты плачешь?

— Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его.

— Мария, — сказала фигура.

— Учитель! — крикнула Мария и бросилась к ногам его.

— Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему. Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему.

Сказав это, фигура учителя стала невидимой. Обрадованная, счастливая Мария восклицает сначала тихо, сама для себя, а потом громко:

— Христос воскрес!

Иерусалим. Толпы озлобленно гонятся за последователями Иисуса. Многих выволакивают из домов, вяжут, ведут в темницу. Мария, не замечая ничего вокруг, идет и проносит:

— Христос воскрес! Воистину воскрес!

Мария приходит в дом Иоанна и возвещает воскресение Христа. Но апостолы и все бывшие в доме ей не верят. Они печальятся, плачут, говорят о погибших надеждах. Они надеялись, что их учитель-Мессия откроет славное земное царство Израиля, но позорная его смерть на кресте разрушила их надежды. Мария идет в другие дома, она не может оставаться на месте, переходя из дома в дом и возвещая бесконечное число раз: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Мария идет по дороге во главе небольшой кучки людей, главным образом, женщин, и восклицает: Христос воскрес!

К ней подбегают полуодетые, перепуганные Марфа и Лазарь, которые говорят, что дом их разгромили и ее и их нщут убить. Набегает толпа с камнями и налками. Марию, Марфу и Лазаря хватают. Их хотят побить камнями, но Иахим, который тоже был в толпе, предлагает посадить их в лодку без весел и отправить в открытое море.

— Если тот, в кого они верят, действительно Мессия, он спасет их, — хихикает Иахим.

Марию, Марфу и Лазаря бросают в лодку без весел и сталкивают в штормовое море. Бушует стихия, гремит гром, сверкает молния, идет дождь. Лодку едва не переворачивает. Волны быстро уносят ее в открытое море. Сгущается ночная мгла. Иахим стоит на берегу и смотрит вслед удаляющейся лодке.

— Может, Мессия когда-нибудь и явится, — говорит он, — но я не хотел бы быть при этом.

Тихое солнечное утро. Ласковое, успокоенное море выбрасывает на берег лодку с мокрыми, измученными Марией, Марфой и Лазарем. Они выходят из лодки, идут, осматриваются. Это совсем иная страна, не похожая на Палестину. Девственные леса, высокая зеленая трава. Вдруг слышны звуки бубна. Идет шествие язычников, одетых в шкуры. Колдун несет на заклание плачущего младенца в жертву идолу огня Молоху. Среди язычников — плачущая мать младенца. Колдун подходит к горящему костру, приставляет нож к шейке младенца. Звучат заклятия. Но в этот момент перед язычниками появляется Мария, достает с груди своей под мокрым платьем полотенце, и сияющий лик Иисуса Христа ошеломляет растерявшихся язычников. Мария забирает младенца из рук колдуна и оборачивает его в полотенце с ликом Иисуса.

— Христос воскрес, — говорит она радостно. — Восстину воскрес.

Шум свежей листвы и плеск моря как бы переходят в пахальный гимн о Воскресении Христовом.

**ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОРИИ,  
РАСКАЗАННЫЕ  
В ИЗРАИЛЬСКИХ  
РЕСТОРАНАХ**

Своеобразие сценария должно состоять в том, что он будет содержать на первый взгляд несовместимое: документальные репортажи и журналистские интервью с реальными людьми, сцены, разыгранные актерами, из жизни этих людей и даже из жизни их предков, известные по преданиям и легендам, а также рекламный путеводитель по иезуитским ресторанам с описанием подаваемых там блюд и кулинарным объяснением их приготовления. Но несовместимость эта — только на первый взгляд; точнее, эта несовместимость связана с нынешним состоянием массовой культуры, лишенной жизненного полнокровия, ущербной, с ее комиксами-бестселлерами, скульптурами из ржавых гаек, супердорогими фильмами на вкус детей и подростков, для того чтобы привлечь к себе объевшегося жирными сенсациями потребителя. Точно так же в кулинарии, в определенных ресторанах, богатые бездельники-гурманы едят жареных мух или змеиное мясо.

Как верно замечено, во времена расцвета культуры, во времена Ренессанса, между фресками Джотто и сельским рукомоишником существовала тесная связь. И то и другое составляло единую жизнь. Искусство было бытом, а быт — искусством. И нынешнее искусство способно составить общую картину с бытом. Надо только вернуться к семейному ренессансному соглашению между высоким и низким, между талантом и ремеслом. Впрочем, и в киноискусстве, и в кулинарии можно обнаружить сочетание таланта и профессионального ремесла.

Подобные мысли, определенным образом обработанные, должны составить короткое вступление к фильму.

Теперь перейдем к изложению фильма.

Схемой фильма, его структурой должны стать израильские рестораны, по которым совершаются путешествия и где происходят встречи с разными людьми, рассказывающими о своей жизни. Название очередного ресторана будет указано в титрах и повторено ведущей-журналисткой. Будет указана и показана местность, в которой находится ресторан.

### РЕСТОРАН «ЭЛИ МЕЛЕХ»

Польско-еврейская кухня. Находится возле старой центральной станции. Маленький Тель-Авив. Там, где строились первые дома Тель-Авива. Улица Вольфсон недалеко от улицы Алленби. Будут указаны адрес и телефон ресторана.

Интервью с владелицей ресторана Бьянкой Гуревич. Родилась в маленьком польском местечке в 1929 году. Когда в Польшу вошли немцы, она вместе с родителями и тремя сестрами попала в концлагерь Майданек. Только ей удалось остаться в живых. Вся семья погибла. Помогло ей остаться в живых то, что она попала в лагерьный пищеблок, где готовилась пища для заключенных.

Далее идет сцена в пищеблоке лагеря Майданек. В лагере был распорядок: рабочее время не связано ни с какими ограничениями, все процедуры, в том числе прием пищи, сокращены до минимума. В пищеблоке была тяжелая и опасная работа, если можно говорить об опасности в Майданеке. Главный повар — поляк, несмотря на то что сам был заключенным, антисемитизмом своим не уступал эсэсовцам. Таким же был и его помощник-литовец. Оба придирались, а случалось, и избивали Бьянку. Но именно здесь, в концлагерном пищеблоке, Бьянка встретила свое счастье, Эли Мелеха, молоденького подростка-спроту, ибо все его родные тоже были убиты.

Однажды в пищеблоке испортилась печка, и из мужского лагеря привели несколько человек, знакомых с печным делом. Среди них был и Эли Мелех. С первого взгляда

Эли и Бьянка поправились друг другу и успели шепнуть свои имена. Несколько раз Бьянка видела Эли, когда колонны из мужского лагеря вели на работу. В мыслях своих Бьянка считала себя невестой Эли. Однажды она устроила помолвку, сварив праздничное блюдо из картофельных очистков и брюквы. Вместо вина была вода. Мелеха она вообразила рядом с собой, разговаривала и шла вино-воду вместе с ним. Праздновала она, спрятавшись в подобном помещении, и при этом просила Бога помочь остаться им в живых. Но, видно, у Бога просили тогда многие, и не все молитвы успевали до него доходить. Бьянка была обнаружена поварами шницблота, которые начали ее избивать, явно намереваясь убить. Эта «помолвка» стала бы смертельной, если бы Бог в последний момент все-таки не услышал ее молитвы и не послал бы спасение. В патологические времена и спасение бывает патологическое. Еврейскую девушку спасли эсэсовцы. Повар-поляк и литовец крали жир и другие продукты из шницблота охраны. Это обнаружилось, и эсэсовцы явились по души убитой, оба были схвачены и расстреляны.

На этом сцена кончается. Мы вновь выходим из ресторана в Израиле, где ведется интервью.

Бог помог им остаться в живых, они нашли друг друга, после освобождения приехали в Израиль, сыграли свадьбу, некоторое время жили в киббце, потом работали в монахах, сельских поселениях. Работали, чтобы осуществить свою мечту. Сколотить деньги, чтобы открыть ресторан польско-еврейской кухни, который бы напоминал родной дом.

Теперь это самое теплое и домашнее место в Тель-Авиве. Оно славится на весь Израиль прекрасной кухней. Блюда готовят не ресторанным способом, а маленькими порциями. Также славится это место прекрасным пивом, которое Эли Мелех, несмотря на свой подростковый возраст, помогал варить своему отцу. У них была в Польше маленькая пивоварня. У семьи Эли Мелеха родилось трое детей: две дочери и сын. Сын учится в Гарварде, но собирается вернуться в Израиль. По-прежнему ресторан — самый известный в Тель-Авиве.

### *Кухня ресторана.*

Еврейская икра. Промыть печень, обжарить и остудить. Обжарить лук. Порубить печень, крутые яйца смешать с луком. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать с халой.

Ци м е с. Вымыть чернослив, 500 граммов, 400 граммов сушеных яблок, 200 граммов сушеных груш, изюм без косточек. Нарезать кубиками, перемешать и добавить корицу. Положить в кастрюлю, налить воды, чтобы она покрывала продукты. Тушить в духовке до готовности.

Мя с о х о л е т. Субботнее блюдо. Замочить фасоль на ночь, нарезать мясо кубиками, обвалить в муке и обжарить с луком. Добавить перловую крупу и фасоль. Налить воды, чтобы она покрывала продукты, и потомить некоторое время. Делается из говяжьей грудки с костями.

## **РЕСТОРАН «ХАЛЛАБИ»**

Сирийская кухня. Ресторан «Халлаби» находится в одном из самых старых районов Иерусалима, улица Яффо, возле знаменитого иерусалимского рынка Махаве Иегуда. Туда приходят в основном евреи из Сирии, которые, особенно пожилые, продолжают жить своим укладом и очень любят свою кухню.

Выходец из Сирии, Иосиф Михаэли. Несколько лет назад он рассказал в своем интервью: бежало из Сирии четыре молодых еврея, девятнадцати и двадцати лет. Мы решились на этот отчаянный шаг, так как в Сирии у нас не было будущего и не было надежды на легальный выезд. Евреи в Сирии живут как заложники в отдельном квартале, гетто: им запрещена переписка со своими родственниками, запрещено перемещение без разрешения, они ограничены в правах. Им разрешается заниматься мелким бизнесом — торговлей, но никто у них ничего не покупает, они покупают только друг у друга. Есть, правда, синагога, и разрешается отмечать праздники, еврейские праздники; есть еврейские школы.

Продолжается рассказ. Вот четыре друга, вместе учились в школе. С детства мечтали жить в Израиле. Планировали побег во всех деталях. Мы досконально изучили местность, запаслись всем необходимым для длительного перехода. Жили в городе, который граничит с Турцией. Изучали работу пограничников, смены караула. Кроме трудностей перейти страшную сирийско-турецкую границу надо было найти способ сообщить в Израиль родственникам о своих планах, для того чтобы они ожидали нас в Турции в случае успеха. Наконец письмо удалось передать через западных туристов.

Далее — небольшие сцены подготовки к побегу. Часть материала из интервью будет использована для этих сцен: прощание с родными, отправление в путь. Понимали, что шансов очень мало. Будет показан переход, ночь. Понимали, что только Бог может нам помочь. Во время перехода были обнаружены, за нами погоня. Они на волоске от смерти. Уже попрощались друг с другом, но ним стреляют, слышен лай собак.

На этом сцена прерывается. Выход на ресторан.

Бог помог нам. Начался сильный дождь. Собаки потеряли след. Погоня отстала. Это было сродни чуду Исхода. Мы почувствовали, что ведомы, что нами руководит Высшая сила.

Кельнер приносит блюдо. Выливает за спасение и во славу Бога.

### *Кухня ресторана.*

П л о в - д а м а с к и. Репчатый лук тушат в бараньем жире, добавляют кусочки жира, посыпанные мукой. Солят, посыпают красным перцем. Добавляют воду, томат-пюре, зелень, корицу и тушат вместе с мясом на слабом огне. Затем вынимают зелень и корицу. Мясо укладывают в центре блюда, окружая отварным обсушенным рисом.

## РЕСТОРАН «БОМБЕЙ»

Индийская кухня. Иерусалим. Старый город, против Яффских ворот.

Зива, индийская еврейка: мой отец, известный физик, который получил образование в Англии и там был в левых студенческих кругах. Вернулся в Индию и работал в Бомбее, позднее работал в США, был активным коммунистом, получил приглашение работать в Москве. Уехал туда с женой-еврейкой, дочерью профессора физики. Я родилась в Москве, в 1930 году, затем через год родилась моя сестра. Отец получил предложение кафедры в МГУ и решил остаться жить постоянно в России, а мать не захотела жить в России, оставила отца и нас, своих детей, вернулась в Индию. Отец женился на домработнице, немке Эмме Генриховне, которая меня с сестрой воспитала.

Я никогда не забуду день ареста отца во время чисток как английского шпиона, хотя о самом аресте узнала позднее. В этот день в клубе МГУ был утрешник — концерт для детей научных работников. Наша приемная мать Эмма Генриховна повела нас с сестрой на концерт.

Далее сцена концерта: музыкальный спектакль «Красная шапочка». Волк съедает бабушку, и дети плачут. Эмма Генриховна успокаивает детей. Параллельно сцена ареста отца, прямо в научной лаборатории. Одной из ассистенток удается сообщить Эмме Генриховне о происходящем, о том, чтобы она объяснила детям о вынужденном отъезде отца. На сцене охотник освобождает бабушку из волчьего живота. Дети радуются и смеются. Кончается спектакль. Эмма Генриховна покупает детям в ларьке сладости и тут начинает плакать. Дети успокаивают ее: ведь бабушка спасена.

Далее ресторан. Рассказывает Зива. Отец погиб в сталинских лагерях. После смерти Сталина я и моя сестра как иностранцы граждане и дочери пострадавших коммунистов выехали к матери, в Индию, а Эмма Генриховна выехала к сестре в Германию. Потом я решила жить в Израиле. Преподаю в Театральной школе при Иерусалимском

университете. Очень люблю готовить, особенно индийские блюда, или хожу в индийский ресторан. Отец мой был большой поклонник индийской кухни, вообще был большой гурман, а ему довелось в последние годы довольствоваться отвратительной лагерной похлебкой. Он любил теплую индийскую землю, а его кости сгнили в массовой могиле, где-то в русской мерзлоте. Мне это место не известно, но я верю, что боги — небесные музыканты, которые составляют свиту богов брахманизма, они нашли это место и согревают с неба его прах и его душу божественной музыкой.

Звучит индийская музыка. Зива выходит на сцену, поет. Официантка приносит блюдо.

#### *Кухня ресторана.*

Салат «Бомбей». Смешивают листья салата, сладкий стручковый перец и рис, предварительно сваренный в подсоленной воде. Обильно посыпают черным перцем. Добавляют уксус, масло, соль.

К а м а к - н а р а. Из муки, сливочного масла, соли, соды, сахара и воды замешивают крутое тесто. Раскатывают его пластом в один миллиметр. Вырезают лепешки, укладывают их на лист, ставят в теплое место. Жарят во фритюре на растительном масле. Подают в горячем виде.

### **РЕСТОРАН «МАДРИД»**

Испанская кухня. Улица Хаяркон. Недалеко от набережной отелей, по дороге в Яффо.

Рауль родился в Мадриде. Его семья — выкресты, которые остались жить в Испании. Недавно исполнилось пятьсот лет с тех пор, как в 1492 году евреи были изгнаны из Испании в год открытия Колумбом Америки и через двенадцать лет после освобождения России при Великом князе Иване III от татарского ига. В течение пятисот лет, из поколения в поколение, семья Рауля тайно соблюдала все еврейские обычаи, обрезала своих детей, соблюдала кошер и все еврей-

ские праздники. В Испании есть небольшая коммуна евреев, которые сохранили таким образом веру своих предков.

Фамилия Рауля означает «задний двор», или «погреб». У многих еврейских семей в Испании такая фамилия, означающая «тайное убежище». Сохранилась семейная легенда о том, что один из предков, Диего, все-таки был обнаружен во времена инквизиции как тайный еврей и сожжен вместе с мужской частью семьи.

Стена тайного веселого праздника нурым, с соблюдением всех еврейских обрядов и всех мер предосторожности. Были приготовлены христианское евангельское распятие и жареная свишня, которая должна была быть поставлена на стол вместо еврейских блюд. На улице дежурили люди, чтобы предупредить опасность. Но, видно, в этот раз был донос, и, скорее всего, от соседа, такого же еврея-выкреста, однако ставшего ярым христианином. В городок, где жила семья Диего, внезапно явился сам главный инквизитор от верховного трибунала, тщательно наблюдавший за моранами, то есть обращенными. Все еврейские блюда и предметы религиозного обряда были спрятаны. Но главному инквизитору удалось обнаружить крошки хументаша (озней Аман) в бороде Диего. Затем были найдены вместе с еврейскими обрядовыми предметами и едой также книги объявленных еретиками бен Эзры, бен Габриэли и Маймониды. Все предметы обряда, вся еда и все книги были сожжены вместе с мужчинами семьи. Женщины отдали в католический монастырь. А младшему брату Педро Пинхосу удалось бежать. Он пробрался в Кастилию и продолжил род.

Потомок этого рода, Рауль, приехал в Израиль, женат на израильянке, соблюдает еврейские традиции и еврейскую жизнь. При этом любит блюда Испании — страны, где его предки прожили много веков.

#### *Кухня ресторана.*

Салат «Андалузский». Помидоры, огурец, редька и лук тонко нарезаются и осторожно перемешиваются. Добавить соль, зелень, перец, укроп, уксус, растительное масло. В конце положить два крутых яйца.

Молочный суп по-мадридски. Пшеничный хлеб нарезать, посыпать сахаром и подрумянить в духовке. После этого положить в кастрюлю, залить яично-молочной смесью и кипятить. Для яично-молочной смеси молоко надо закипятить и влить туда взбитые яйца.

## **РЕСТОРАН «РОКСАН»**

Польская кухня. Тель-Авив, улица Дизенгоф. Центральная улица Тель-Авива.

Я, Анджей Жак, родился в Бразилии, мать моя еврейка, а отец поляк. Мой отец — врач-практик. Женясь на еврейке, он потерял все.

Мы переехали в Польшу в тридцатые годы. Сцена. Местная газета, в ней объявление: «Общество польских патриотов „Грюнвальд“ оповещает ясновельможных паней и панове, что доктор Станислав Жак женился на жидовке». Практик доктора Жака переполнен пациентами. Доктор Жак начинает прием. Пациенты устраивают ему скандал, ругают и проклинаят как жидовскую собаку, а некоторые вместе с явившимися с улицы личностями начинают погром, разбивают аппаратуру и мебель. Полиция приезжает с большим опозданием.

Снова выходим на ресторан. Нана семья вынуждена была уехать в Бразилию, где жили дальние родственники. Там родилось трое детей. Когда началась война с Германией, отец решил вернуться защищать свою родину, Польшу.

Сцена, в которой доктор Станислав Жак объявляет жене об этом и объясняет, почему, несмотря ни на что, в трудный для Родины час надо быть вместе со своим народом. Жена соглашается и говорит, что поедет с ним вместе с тремя детьми. Когда вернулись, Польша была уже оккупирована. Мы поселились в маленьком польском городке. Мать в совершенстве владела немецким языком и выдала себя на прусскую немку. Отец открыл практик, который посещали даже и немцы.

Сцена. Прием пациентов. Вдруг с улицы послышались крики, какие-то люди выгнали из соседнего дома мужчину, женщину и четверых детей. Прямо на улице их убили, потом начали грузить на телеги награбленное. Немецкий офицер — пациент объяснил, что это сами поляки убивают евреев, не дождавшись приказа немцев.

*Кухня ресторана.*

Яйцо с сельдью по-польски. Сельдь разделяют на филе и нарезают на ломтики. Вареные яйца нарезают пополам. В зеленый салат кладут яйца, желтками вверх, сверху укладывают ломтики сельди. На сельдь кладут лук с яблоками, нарезанными мелкими кубиками, и заправляют сметаной, поливают майонезом и украшают зеленью.

Оладьи из тыквы с колбасой. Тыкву очищают от кожуры и трут или рубят. Сырые желтки растирают с жиром, соединяют с тыквой и колбасой, добавляют муку и соль. Все это очень хорошо размешивают. Ложкой выкладывают оладьи на сковородку и подрумянивают с обеих сторон. Подают с томатным соусом.

В промежутке между ресторанами виды Израиля: почные, темное море с огнями; солнечный день, пейзажи, лица людей, — положенные только на музыку и на песни.

\*\*\*

Датская кухня. Холон, город — спутник Тель-Авива.

Мой отец был советским атташе в Дании в тридцатые годы. Мать — датчанка. Вернувшись вместе с матерью в Москву, очень скоро отец оказался в лагере. Мать моя добровольно поехала за ним в Сибирь и поселилась недалеко от лагеря. Перед самой войной родственникам моей матери, влиятельным датским дипломатам, удалось добиться освобождения отца, и он вместе с матерью и детьми

выехал в Данию. Скоро началась война, оккупация Дании, и датчане организовали акцию переправки датских евреев в Швецию.

Мы переносимся в Данию времен войны. Стена спасения датских евреев, переправа через пролив.

#### *Кухня ресторана.*

Огурцы по-датски. Тщательно измельченную семгу протирают сквозь редкое сито, добавляют сливки и сливочное масло. Делают шоре и заправляют его по желанию. Маринованную сельдь и круглое яйцо мелко нарезают, смешивают с шоре и добавляют каплю уксуса. Удаляют из свежесочищенных огурцов семена и начиняют готовым шоре. Подают с тертым хреном.

Салат «Копенгагенский». Рис отваривается в очень небольшом количестве воды. Удаляют кости, разделяют рыбу на кусочки. Помидоры, огурцы и яблоки нарезают кубиками и соединяют с кусочками рыбы. Добавляют соль, перец, горчицу. Смешивают с майонезом.

## РЕСТОРАН «БАЙКАЛ»

Русская сибирская кухня. Ресторан расположен в очень старой, бедной части Тель-Авива. Много борделей, по ночам гуляют проститутки, зазывая клиентов. В ресторане поют русские песни и гуляют до утра. Хозяин — бывший чемпион по боксу в тяжелом весе, рыбак и охотник.

Единственная повелла, главный герой которой не еврей — Владимир Шиковский, офицер КГБ и спецназа, учился в специальной академии, после окончания отправлен в спецназ. Участник нескольких кровавых акций как-то выжив, сказал: «У меня руки по локти в крови». Потом направлен на работу в США, жил в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго. Решил остаться на Западе, потому что больше не мог вынести службы в КГБ и спецназе. Стал сотрудничать с израильской разведкой «Шенбет». В течение года работал двойным агентом, передавал ценные сведения израильской разведке. Затем попросил убежища в Израиле. Тайно переправ-

леп под чужим именем в Израиль, где получил израильское подданство. Сейчас работает инженером в телевизионной компании, но, возможно, подлинное место работы другое. Прекрасно владел ивритом, считает себя израильтянином и пользуется большим успехом у израильских девушек.

В сцене должна быть, возможно, одна из особо кровавых акций, в которых он участвовал; детективная сцена, после которой решил порвать со своим прошлым; и, может быть, сцена тайного переезда в Израиль.

#### *Кухня ресторана.*

**Раки вареные.** В кастрюлю с водой кладут соль, стебли укропа, петрушки, перец, лавровый лист. Доводят до кипения, кладут живых мытых раков, закрывают крышкой. Варят 10–15 минут, дают остыть и подают на блюде.

**Каша пшеница с тыквой по-сибирски.** Тыкву очистить, нарезать кубиками, положить в кипящее молоко. Добавить соль, сахар и довести до кипения. Затем вымачивать пшено и варить до готовности.

**Овсяные блины по-байкальски.** Варят жидкую овсяную кашу, протирают ее, добавляют яйцо и выпекают тонкие блины. Едят с кислым молоком, сметаной, подают к ухе.

## **РЕСТОРАН «АЗУРА»**

Иракская кухня. Ресторан расположен в Иерусалиме на рынке Махане Иегуда, внутри рынка. Один из самых известных в Иерусалиме. Его хозяин, Азура, готовит все блюда на специальных примусах, как раньше в Багдаде. Здесь встречаются старые террористы ЭЦЛ — военной националистической организации, которая боролась с англичанами террористическими методами с целью выгнать их из Палестины. Ветераны терроризма играют в шеш-беш, специальную игру, распространенную на Ближнем Востоке, и вспоминают былое. Многие говорят о нынешнем положении Израиля, очень не любят Рабина и Переса. Считают, что арабы понимают только язык силы и нельзя отдавать территории.

Ицхак Ицхаки. Ицхаки — боец ЭЦЛ. Родился в Хевроне, в 1922 году. Когда ему был год, семья переехала в Иерусалим. Окончил гимназию в Иерусалиме. Воевал против англичан, а во время войны — в английской армии против немцев. Возможно, игровые сцены должны быть, эпизоды из войны против англичан и эпизод войны в английской армии против гитлеровской Германии. После окончания университета стал одним из директоров банка «Израэль». Имеет троих детей, один из сыновей погиб на войне Судного дня. Дружит со многими владельцами ресторанов на рынке. Трое из них были бойцами ЭЦЛ.

### *Кухня ресторана.*

Винный кебаб из баранины. Мякоть баранины нарезают кусочками, обжаривают в жире, затем добавляют речатый лук, муку, перец, томат-пюре, черный перец горошком, лавровый лист. Все заливают вином и теплой водой. Варят на слабом огне, пока не станет мягким. Гарнир — пюре из фасоли.

Пахлава со сметаной. Тонко раскатанные листы слоеного теста укладывают стопкой на противни. Каждый пятый лист сбрызгивают сливочным маслом, смешанным со сметаной, и каждый десятый посыпают рубленым миндалем, лесным орехом. Потом выпекают и охлаждают. Пропитывают горячим сиропом. Подают через один-два дня после приготовления.

## **РЕСТОРАН «У МИШИ НА КРЫШЕ»**

Еврейско-молдавская кухня. Ресторан находится в центре Тель-Авива, вблизи набережной. Одно из самых красивых мест в Тель-Авиве. Хозяин ресторана — Миша, бывший литературовед. Открыл ресторан на крыше старого тель-авивского дома. Отсюда видно море, очень красивое ночью в огнях.

Генрих Альтов приехал из Москвы за год до войны в Залливе. Поселился с семьей в городе Раматган, возле Тель-

Ливива. В этом городе живут в основном евреи — выходцы из Прага. Парадоксально, что Саадам Хусейн, точнее, «Скады» Саадама Хусейна во время войны надали в основном на этот город, как бы особенно метя бывшим соотечественникам.

Далее сцена. В один из дней войны Генрих Альтов сидел у себя на балконе и работал над своим архивом. В течение долгих лет он собирал документы о евреях, погибших в сталинских лагерях, точнее, надо сказать, не о евреях он собирал, а о еврейских писателях, погибших в сталинских лагерях. Внезапно послышались sireны и тут же страшный грохот: «Скад» угодил в дом. Начался пожар. Генрих Альтов упал, оглушенный. Придя в сознание и все еще полуоглушенный, с затемненным сознанием бросился вниз по разрушенной лестнице с криком: «Мой архив!». Листки разлетелись в разные стороны. Был пожар и паника. Подбирали и увозили раненых, а он искал и подбирал листки. Его приняли за сумасшедшего, за сошедшего с ума от контузии. В общем-то, он таковым и был. Санитары пытались уложить его на носилки, а он рвался и кричал: «Архивы!». Пожар вскоре удалось потушить. Паника улеглась. Раненых увезли. Альтову удалось объяснить, в чем дело, и его отпустили. Люди начали помогать ему собирать бумаги архива на развалинах дома. Сейчас дом восстановлен. Жизнь вошла в привычную колею. Альтов работает журналистом на израильском радио. В который раз враг пытался взорвать Израиль, но Израиль живет, трудится и веселится.

«У Миши на крыше» собираются люди, любящие литературу, поговорить, послушать стихи и прозу, почитать свое, а также послушать еврейскую и еврейско-молдавскую музыку. «У Миши на крыше» хорошие музыканты, особенно хорош скрипач на крыше. Все звучит совсем по-пагаловски. Марк Шагал написал книгу стихов и прозы, которая называется «Ангел над крышей». Великий художник не был великим писателем, но его стихи и проза интересны семейными бытовыми нотами. Это как бы домашнее рукоделие всемирного мастера. Прошлое человека и прошлое народа напоминает словидение. Еврейские словиде-

ния чаще всего у иных народов сопровождалась кровавыми конмарамми. Наверное, это предопределено Творцом и предопределено библейским избранием, за которое приходилось и приходится платить странно дорогую цену. Но всякий раз за величием черной трагедии приходили по-шагаловски веселые разноцветные будни, домашние, семейные, бытовые. Враги были, враги есть, враги будут, но тут «но»: был, есть и будет над крышей еврейского дома Божий посланец (Ангел-хранитель). Тем более теперь не над чужой, а над своей, и над ближайшей крышей будет играть музыка, будет слышен свободный смех и будет совершаться именно ренессансное чревоугодие, потому что Израиль и есть ренессансное возрождение народа, который много раз пытался похоронить разнообразные могильники и кровопийцы. Обратной стороной трагедии является веселая комедия, а обратной стороной похорон является веселая свадьба. Вечная свадьба народа с Творцом, избравшим его себе в суженые. Оттого и слышна возбуждающая музыка — для эротики. Звучат радостные песни, и подаются ароматные блюда, и кто-то смачно, увлеченно рассказывает рецент.

*Кухня ресторана.*

К р е н л а х - в а р и н и ч к и. Поджарить печенку, затем парубить, мелко нарезать лук, обжарить до золотистого цвета, смешать печенку с луком, одним сваренным вкрутую и порубленным яйцом, с солью и перцем. Замесить тесто из муки и воды. Добавить туда одно сырое яйцо. Тесто тонко раскатать, нарезать на квадратики, три на три. На каждый квадрат положить немного фарша. Сложить его по диагонали и защипать края. Сварить в кипящей воде, откинуть на дуршлаг и разогреть на горячей сковороде в масле. Подавать в горячем виде.

Потом будет петь певица.

## **ФИЛЬМОГРАФИЯ**

- 1965 **Первый учитель**  
Реж. Андрей Кончаловский  
Автор (переработки) сценария — Фридрих Горенштейн (в титрах не указан)
- 1966 **Андрей Рублев**  
Реж. Андрей Тарковский  
Автор диалогов и монологов — Фридрих Горенштейн (в титрах не указан)
- 1972 **Седьмая пуля**  
Реж. Али Хамраев  
Авторы сценария: Андрей Кончаловский,  
Фридрих Горенштейн
- 1972 **Солярис**  
Реж. Андрей Тарковский  
Авторы сценария: Андрей Тарковский,  
Фридрих Горенштейн
- 1973 **Щелчки (телевизионный)**  
Реж. Резо Эсадзе  
Авторы сценария: Фридрих Горенштейн, Резо Эсадзе  
Экранизация сатирических рассказов Фридриха Горенштейна «Непротивленец», «Мыслитель», «От имени коллектива», «Человек на дереве»

- 1975 **Раба любви**  
Реж. Никита Михалков  
Авторы сценария: Фридрих Горенштейн,  
Андрей Кончаловский
- 1978 **Комедия ошибок**  
Реж. Вадим Гаузнер  
Автор сценария — Фридрих Горенштейн
- 1980 **Восьмой день творения (короткометражный)**  
Реж. Сурен Бабалян  
Авторы сценария: Сурен Бабалян, Фридрих  
Горенштейн  
По рассказам Рея Брэдбери «Марсианские  
хроники», «Апрель 2026», «Долгие годы»

## НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

### СЦЕНАРИИ

- 1963 **Дом с башенкой**
- 1964 **Девочка родилась в 47 году**
- 1968 **Ленин. 1903 год**
- 1971 **Чудесное посещение** (литературный сценарий по мотивам повести Герберта Уэллса)
- 1971 **Испытание** (совм. с Юрием Кленниковым)
- 1974 **Скрябин** («Зависть», совм. с Андреем Кончаловским)
- 1975 **Сестричка Саша** (по мотивам повести Сергея Баруздина «Просто Саша»)
- 1975 **Снег над морем**
- 1976 **Археологические страсти**
- 1976 **Волшебная лавка** (литературный сценарий по мотивам рассказов Герберта Уэллса)
- 1979 **Долгие годы**
- Светлый ветер** (совм. с Андреем Тарковским, по роману Александра Беляева «Ариэль»)

**Потусторонние путешествия** (по мотивам произведений Герберта Уэллса и сочинениям по оккультизму и магии)

1989 **Тамерлан** (совм. с Али Хамраевым)

1990 **Летит себе аэроплан** (о жизни Марка Шагала)

1999 **Унгери**

## СИНОПСИСЫ

**Мария Магдалина** (совм. с Андреем Кончаловским)

**Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах** (совм. с Линой Красниц)

**Дагмар и ее сын Николай II**

**По небу полуночи** (по рассказу Андрея Платонова)

## **ЗАЯВКИ НА СЦЕНАРИИ**

**Люди из захолустья**

**Серебряный олень**

**Белокаменная**

**Солнечная**

**Ленин. Август. 1900 год...**

**Обреченные на бессмертие**

**Астрономия** (совм. с Резо Эсадзе)

**Золотой ключик** (совм. с Андреем Кончаловским)

**Кефир** (комедия)

**Три года** (телевизионный фильм по повести  
Антон Чехова)

**Каплан** (для Семена Арановича)

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

I Фридрих Горенштейн

II «Седьмая пуля» (реж. А. Хамраев)

III–V «Солярис» (реж. А. Тарковский)

VI–XI «Раба любви» (реж. Н. Михалков)

XII–XIII «Искушение» (реж. А. Прошкин)

XIV Участники альманаха «Метрополь» 1979, Москва. Внизу (слева направо): В. Ракитин, Г. Сапгир, Д. Боровский. В середине: А. Арканов, Ф. Искандер, И. Лисянская, А. Брусиловский, М. Розовский. Стоят: Ю. Карабчиевский, В. Тростников, Ю. Кублановский, С. Липкин, Е. Попов, В. Аксенов, В. Высоцкий, В. Ерофеев, Л. Баткин, Ф. Горенштейн

XV–XVI Фридрих Горенштейн

*Литературно-художественное издание*

**ГОРЕНИШТЕЙН**  
**Фридрих Наумович**

**РАБА ЛЮБВИ**

Ответственный редактор *Юрий Векслер*  
Редактор-координатор *Василий Степанов*  
Верстка *Алексей Белоэров*  
Корректоры *Алексей Белоэров, Валентина Кизилю*

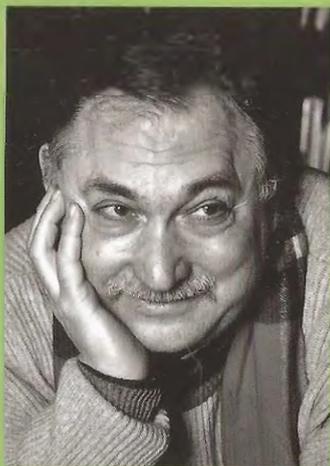
Подписано в печать: 9.12.2014  
Формат издания 84×108 $\frac{1}{32}$  Печать офсетная  
Усл. печ. л. 37 + 0.84 вкл. Гарнитура *PeterburgC*  
Тираж 1000 экз.  
Заказ № 730

Издательство «Мастерская „Сеанс“»  
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 10  
+7 (812) 237-08-42, +7 (812) 232-49-25 (факс)  
info@seance.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ООО «Контраст»  
192029, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, 38  
+7 (812) 677-31-19, +7 (812) 677-31-19

Телефоны: +7(812)677-31-19, +7(812)677-31-19

# БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГА



## Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Писатель, кинодраматург.  
Автор многочисленных романов, повестей, рассказов и сценариев. Произведения Горенштейна легли в основу картин «Щелчки» (реж. Р. Эсадзе), «У реки» и «Дом с башенкой» (реж. Е. Нейман), повесть «Искушение» экранизована Александром Прошкиным. По его сценариям сняты фильмы «Солярис» (реж. А. Тарковский) и «Раба любви» (реж. Н. Михалков). Работал с Андреем Кончаловским («Первый учитель») и Али Хамраевым («Седьмая пуля»). Помимо написанного в соавторстве с Андреем Кончаловским и публикуемого впервые сценария «Раба любви» в настоящий сборник вошли нерезализованные сценарии «Скрябин», «Дом с башенкой» (продолжение), «Тамерлан» и «Унгерн».

Кто-то в темноте сказал:

— Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя... В конце концов, здесь дети...

Мальчик торопливо вынул варежку и принялся растирать лужу по полу вагона.

— Почему ты упрямисься? — спросил какой-то мужчина. — Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылечат. А в эшелоне она может умереть...

«Дом с башенкой»

Была пасхальная неделя 1915 года, когда в большой красивой церкви Николы на Песках отпевали Александра Николаевича Скрябина. Хаос венков покрывал гроб, и среди них выделялся один особенно большой с надписью: «Прометею, похитившему огонь с неба и ради нас в нем смерть принявшему». ...В церкви было тесно и душно, синодальный хор пел литургию Кастаньского, скорбные звуки которой столь отличались от ликующих, утонченно-томительных мажорных аккордов, которыми Скрябин дерзко мечтал проводить в последний путь, к последнему своему празднику все человечество.

«Скрябин»

— Ужасно болит голова, — сказал Лоуренс, — ужасно, скорее бы избавиться от головной боли. Вы меня везете кончать?

— Да, Саша, — пробормотал Миронов, — прости, если можешь.

— Нет, хорошо, что ты. Бурдуковский или Сипайлов меня бы мучили перед смертью.

Выехали за территорию военного лагеря. Кучер-казак повернулся:

— Прикажете остановиться, господин есаул?

— Да.

Лоуренс сам прыгнул с коляски.

— Ты меня рубить будешь или стрелять?

В ответ Миронов направил револьвер в голову Лоуренса и выстрелил. Лоуренс упал и простонал:

— Какой ты плохой стрелок.

«Унгерн»



ISBN 978-5-905669-09-5

CEAFC

SEANCE.RU